



РОМЕН
РОЛАН

3

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ

РОМЕН РОЛЛАН

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

В ЧЕТЫРНАДЦАТИ ТОМАХ

Государственное издательство
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Москва 1955

РОМЕН РОЛЛАН

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

ТОМ ТРЕТИЙ

ЖАН-КРИСТОФ

*Книги первая,
вторая и третья*

Государственное издательство
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Москва 1955

Собрание сочинений
осуществляется под общей редакцией
И. АНИСИМОВА

Переводы с французского
под редакцией
Б. ПЕСИСА

*СВОБОДНЫМ ДУШАМ ВСЕХ НАЦИЙ,
КОТОРЫЕ СТРАДАЮТ, БОРЮТСЯ И ПОБЕЖДАЮТ*

Для этого издания «Жан-Кристофа», содержащего его окончательную редакцию, мы приняли новое деление, иное, чем в десяти томном издании. Там десять книг романа были разбиты на три части:

- | | | |
|-------------------------|---|-----------------------|
| 1. Жан-Кристоф | } | 1. Заря |
| | | 2. Утро |
| | | 3. Отрочество |
| | | 4. Бунт |
| 2. Жан-Кристоф в Париже | } | 1. Ярмарка на площади |
| | | 2. Антуанетта |
| | | 3. В доме |
| 3. Конец пути | } | 1. Подруги |
| | | 2. Неопалимая купина |
| | | 3. Новый день |

В отличие от прежнего построения мы следуем не фактам, а чувствам, не логическим и в известной мере внешним признакам, а признакам художественным, внутренне обоснованным, в силу чего мы и объединяем книги, близкие по атмосфере и звучанию.

Таким образом, произведение в целом предстает как четырехчастная симфония:

Первый том («Заря», «Утро», «Отрочество») охватывает юные годы Кристофа — пробуждение его чувств и сердца в родительском гнезде, в узких пределах «малой родины» — и ставит Кристофа перед лицом испытаний, из которых он выходит весь истерзанный, но зато перед ним открывается, как бы во внезапном озарении, его жизненная миссия и весь его удел — удел человека, мужественного в страданиях и в борьбе.

Второй том («Бунт», «Ярмарка на площади») — единая по своему замыслу история бунта, ристалище, на

котором юный Зигфрид, простодушный, нетерпимый и необузданный, вступает в схватку с ложью, разведающей как общество, так и искусство того времени, и, подобно Дон Кихоту, разившему своим копьем погонщиков мулов, алькальдов и ветряные мельницы, он разит все и всяческие Ярмарки на площади — в Германии и во Франции.

Третий том («Антуанетта», «В доме», «Подруги»), овеянный атмосферой нежности и душевной сосредоточенности, служит контрастом к предыдущей части с ее исступленным энтузиазмом и ненавистью и звучит, как элегическая песнь во славу Дружбы и чистой Любви.

И, наконец, четвертый том («Неопалимая купина», «Новый день») есть по сути великое Испытание в середине жизненного пути, картина разбушевавшихся Сомнений и опустошительных страстей, душевных бурь, которые угрожают снести все и разрешаются безмятежно ясным финалом при первом блеске невиданной Зари.

Каждая книга романа, впервые обнародованного в журнале «Двухнедельные тетради» (февраль 1904 — октябрь 1912 гг.), имела эпиграфом следующую надпись, которую обычно высекали на постаменте статуи св. Христофора, стоящей в нефе готических соборов:

*Christofori faciem die quacumque tueris,
Illa nempe dic non morte mala morieris*¹.

Эти слова выражали сокровенную надежду автора, что его Жан-Кристоф станет для читателей тем, кем он был для меня самого: верным спутником и проводником во всех испытаниях.

Испытания выпали на долю всех; и автор не обманулся в своих надеждах, как о том свидетельствуют отклики со всех концов мира. Автор и сейчас выражает все ту же надежду. Ныне, когда разразились новые бури, которым еще предстоит греметь и греметь, пусть Кристоф тем более остается другом сильным и верным, способным вдохнуть радость жизни и любви, — вопреки всему.

Ромен Роллан

Париж, 1 января 1921 г.

¹ В тот день, когда ты будешь взирать на изображение Христофора, ты не умрешь дурной смертью (лат.).

Книга первая

ЗАРЯ

Dianzi, nell'alba che precede al giorno
Quando l'anima tua dentro dormia...

Purg. IX

Когда заря была уже светла,
А ты дремал душой...

*Данте, «Божественная комедия»,
«Чистилище», песнь IX.*

Перевод
О. ХОЛМСКОЙ

Часть первая

Come, quando i vapori umidi e spessi
A diradar cominciarsi, la spera
Del sol debilmente entra per essi...

Purg. XVII¹

Глухо доносится шум реки, протекающей возле дома. Дождь стучит в окна — сегодня он льет с самого утра. По запотевшему надтреснутому стеклу ползут тяжелые капли. Тусклый, желтоватый свет дня угасает за окном. В комнате тепло и душно.

Новорожденный беспокойно зашевелился в колыбели. Старик еще на пороге снял свои деревянные башмаки, но половица все же хрустнула под его ногой, и ребенок начинает кряхтеть. Мать заботливо склоняется к нему со своей постели, и дедушка спешит ощупью зажечь лампу, чтобы ребенок, проснувшись, не испугался темноты. Маленькое пламя озаряет обветренное, красное лицо старого Жан-Мишеля, его щетинистую седую бороду, насупленные брови и живые, острые глаза. Он делает шаг к колыбели, шаркая по полу толстыми синими носками. От его плаща пахнет дождем. Луиза поднимает руку — не надо, чтобы он подходил близко! У нее очень светлые, почти белые волосы; осунувшееся кроткое лицо усыпано веснушками, полуоткрытые бледные и пухлые губы робко улыбаются; она не отводит глаз от ребенка — а глаза у нее голубые, тоже очень светлые, словно выцветшие, с узкими, как две точки, зрачками, но исполненные бесконечной нежности...

Ребенок проснулся и начинает плакать. Мутный взгляд его блуждает. Как страшно! Тьма — и внезапно

¹ ...когда опять начнет

Редеть густой и влажный пар, — как хило

Шар солнца сквозь него сиянье льет... (итал.)

Данте: «Божественная комедия», «Чистилище», песнь XVII. — Прим. ред.

во тьме яркий, резкий свет лампы; странные, смутные образы осаждают едва отделившееся от хаоса сознание; еще объемлет его со всех сторон душная колышущаяся ночь; и вдруг в бездонном мраке, как слепящий сноп света, возникают не испытанные дотоле острые ощущения; боль вонзается в тело, плывут какие-то призраки, огромные лица склоняются над ним, чьи-то глаза сверлят его, впиваются в него — и нельзя понять, что это такое... У него нет даже сил кричать, он оцепенел от страха, глаза широко открыты, рот разинут, дыхание вырывается с хрипом. Вздутое, припухшее личико все сморщилось, жалкое и смешное... Кожа на лице и руках у него темная, почти багровая, в коричневатых пятнах...

— Господи! До чего безобразный! — с чувством проговорил старик и, отойдя, поставил лампу на стол.

Луиза надулась, как девочка, которую разбранили. Жан-Мишель искоса поглядел на нее и засмеялся.

— Не говорить же мне, что он красавец! Ты бы все равно не поверила. Ну, ничего, это ведь не твоя вина. Они, когда родятся, всегда такие.

Младенец вышел из оцепенения, в которое повергли его свет лампы и взгляд старика, и разразился криком. Быть может, он инстинктом угадал ласку в глазах матери и понял, что есть кому пожаловаться. Она простерла к нему руки.

— Дайте его мне!

Старик, как всегда, начал читать ей наставления.

— Нельзя во всем уступать детям, как только они заплачут. Пускай себе кричит.

Все же он подошел и вынул ребенка из колыбели, бормоча себе под нос:

— Ну и урод! Таких безобразных я еще не видывал!

Луиза жадно схватила ребенка и укрыла его у себя на груди. Она всматривалась в него со смущенной и сияющей улыбкой.

— Бедняжка ты мой! — пролепетала она, вся застыдившись. — Какой ты некрасивый, ой, какой некрасивый! И как же я тебя люблю!

Жан-Мишель вернулся к очагу и с брюзгливым видом стал ворошить угли, но улыбка морщила его губы, противореча напускной суровости.

— Ну! Ты славная женщина,— сказал он.— Не огорчайся, он еще похорошеет. А если нет, так что за беда! От него только одно требуется — чтобы он вырос честным человеком.

Ребенок утих, прильнув к теплой материнской груди. Слышно было, как он сосет, захлебываясь от жадности. Жан-Мишель откинулся на стуле и повторил торжественным тоном:

— Честность — вот истинная красота!

Он помедлил, соображая, не следует ли еще развить эту мысль. Но слова не приходили, и после минутного молчания он сказал уже с сердитой ноткой в голосе:

— А муж твой где? Как это вышло, что его в такой день нет дома?

— Он, кажется, в театре, — робко ответила Луиза. — У них репетиция.

— Театр закрыт. Я только что проходил мимо. Опять он тебе наврал.

— Ах нет, не нападайте на него! Наверно, я сама спутала. Он, должно быть, на уроке.

— Пора бы уже вернуться, — недовольно проворчал старик. И потом, понизив голос, словно стыдясь чего-то, спросил: — А он что... опять?

— Нет, нет! Вовсе нет, отец, — торопливо проговорила Луиза.

Старик пристально посмотрел на нее, она отвела глаза.

— Неправда, — сказал он. — Нечего меня обманывать.

Луиза молча заплакала.

— Господи, боже мой! — воскликнул старик, ударяя ногой в подпечек.

Кочерга с шумом упала на пол. Мать и ребенок вздрогнули.

— Не надо, — сказала Луиза. — Я вас прошу! А то он опять заплачет.

Ребенок, казалось, несколько секунд колебался, заплакать ему или продолжать свою трапезу. Но так как нельзя было делать то и другое сразу, он в конце концов снова принялся за еду.

Жан-Мишель продолжал уже тише, но еще с гневными раскатами в голосе:

— Чем я согрешил, за что мне такая кара, что сын у меня пьяница! Стоило жить, как я жил всю жизнь, — всегда во всем себе отказывать!.. Ну а ты-то, ты почему его не можешь удержать? Ведь это же, черт возьми, твоя обязанность! Что это за жена, у которой муж никогда не сидит дома!

Луиза расплакалась еще сильнее.

— Не браните меня, мало у меня и так горя! Я уже все делала, что только можно. Вы думаете, мне самой не страшно, когда я тут одна его дожидаясь?.. Мне все мерещится — вот его шаги на лестнице. Потом ждешь — вот сейчас откроется дверь, а какой он войдет? Какой будет? Мне прямо нехорошо, когда я об этом подумаю.

Она задыхалась от рыданий. Старик встревожился. Он подошел к ней, укрыл одеялом ее вздрагивающие плечи, погладил по волосам загрубелой рукой.

— Ну, ну перестань, не бойся, я же тут, с тобой.

Она заставила себя успокоиться — ради ребенка; даже попыталась улыбнуться.

— Напрасно я вам сказала.

Старик глядел на нее, покачивая головой.

— Бедняжка, — проговорил он. — Неважный я тебе сделал подарок.

— Я сама виновата, — откликнулась она. — Не надо было ему на мне жениться. Теперь вот жалеет.

— О чем это ему жалеть, скажи пожалуйста!

— Вы сами знаете. Ведь и вы тоже не хотели, чтобы он на мне женился.

— Ну, что об этом вспоминать. Мне, правда, было немножко досадно. Такой молодец, как он, — я не в обиду тебе говорю, но ведь верно, — и образованный — я для него ничего не жалел — и музыкант какой, настоящий виртуоз — он мог бы и получше тебя найти. А то что это — из простых совсем, и денег-то ни гроша, и даже не музыкантша! Чтобы у кого-нибудь из Крафтов жена была не из семьи музыкантов — этого уже сто лет не бывало! Но ведь я же на тебя зла не держал, а потом, когда лучше узнал тебя, то даже и полюбил. Да и вообще

раз выбор сделан, так назад не пьятятся! Выполняй честно свой долг — и все!

Он вернулся к очагу, снова сел и, помолчав, изрек с той торжественностью, с какою он произносил все свои афоризмы:

— Главное в жизни — это выполнять свой долг!

Он помедлил, как бы ожидая возражений; потом сплюнул в огонь. Но так как ни мать, ни дитя не обнаружили желания ему противоречить, он хотел было продолжать — и не сказал ни слова.

Долгое время оба молчали. Старый Крафт, сидя у очага, Луиза, откинувшись на подушки, предавались невеселым мыслям. Старик думал о женитьбе сына, и, вопреки всем своим недавним уверениям, не без горечи. Луиза думала о том же и винила во всем себя, хоть ей и не в чем было себя упрекнуть.

Она работала прислугой. И вдруг Мельхиор Крафт, сын Жан-Мишеля, женился на ней, очень удивив этим всех и в первую очередь самого себя. Крафты были люди небогатые, но пользовались большим уважением в прирейнском городке, где Жан-Мишель поселился около полувека назад. Все Крафты были музыканты из поколения в поколение, и в среде музыкантов по всему Рейну от Кельна до Маннгейма они были хорошо известны. Мельхиор играл первую скрипку в придворном театре, Жан-Мишель в свое время дирижировал на концертах, которые устраивал великий герцог. Старый Крафт был в отчаянии от женитьбы сына; он возлагал большие надежды на Мельхиора и мечтал для него о славе, в которой ему самому отказала судьба. Неосторожный поступок сына положил конец этим честолюбивым замыслам. Не удивительно, что вначале старик неистовствовал и осыпал проклятиями и Мельхиора и Луизу. Но он был добрый человек и когда ближе познакомился со своей невесткой, то простил ее и даже стал питать к ней отеческие чувства, которые, впрочем, выражались главным образом в том, что он бранил ее без милосердия.

Никто не мог понять — и меньше всех сам Мельхиор, — что толкнуло его на этот брак. Уж, конечно, не

красота Луизы. В ее наружности не было ничего такого, что могло бы покорить мужчину. Маленькая, бледная, хрупкая, она представляла разительный контраст с Мельхиором и Жан-Мишелем, краснолицыми гигантами с широкой грудью и увесистыми кулаками, любившими, если поест, так уж вволю, если выпить, так на славу, и всюду приносившими с собой шумный говор и оглушительный смех. Рядом с ними она казалась совсем серой и незаметной; никто не обращал на нее внимания, и сама она старалась еще больше стушеваться. Будь у Мельхиора доброе сердце, можно было бы подумать, что он всякому внешнему блеску предпочел тихую доброту Луизы; но Мельхиор был воплощенное тщеславие. И уж, конечно, никто не ожидал, что молодой человек такого пошиба, недурной собою, — что ему самому было небезызвестно, — не лишенный таланта и притом отчаянный фат, имея возможность взять невесту с приданным и, может быть, даже — кто знает! — вскружить голову какой-нибудь из своих богатых учениц, — он не раз хвалился такими победами! — изберет себе в подруги жизни совсем простую девушку, бедную, необразованную, некрасивую и даже никогда не старавшуюся ему понравиться.

Но Мельхиор был из тех людей, которые всегда делают обратное тому, чего от них ожидают, и даже тому, чего они сами хотят. И не оттого, что они чересчур доверчивы, — жизнь их достаточно учила, а ведь за ученого, говорят, двух неученых дают. Они даже особенно гордятся тем, что их не собьешь, что они умеют твердо вести свой корабль к намеченной цели. Но одного они не принимают в расчет — самих себя, ибо себя-то они и не знают. Приходит минута душевной опустошенности, — чему они вообще подвержены, — и они бросают руль; а вещи, предоставленные самим себе, имеют коварный обычай вести себя как раз наперекор желаниям своих хозяев. Лодка, которой никто не правит, устремляется прямо на подводный камень — и честолюбец Мельхиор женился на кухарке, хотя в тот день, когда он на всю жизнь связал себя с нею, он не был ни пьян, ни отуманен страстью — до страсти тут вообще было очень далеко! Но есть, быть может, что-то иное, что движет челове-

ской судьбой, — не ум, не сердце и даже не чувственность, — иные таинственные силы, которые захватывают власть в те минуты, когда молчит сознание и дремлет воля, и не они ли глянули на Мельхиора из светлых глаз, робко поднятых к нему, — глаз простой девушки, встреченной им на берегу реки, где он однажды вечером присел с ней рядом среди камышовых зарослей и, сам не зная почему, предложил ей руку.

Назавтра после свадьбы он уже горько раскаивался и не считал нужным скрывать это от Луизы, а та, смиренница, робко просила у него прощения. Он охотно прощал ее — он был не злой человек, но вскоре что-нибудь снова бредило его рану — чья-нибудь усмешка, когда он сидел в кругу приятелей, или презрительная гримаска какой-нибудь богатой ученицы, которая уже не вздрагивала больше от прикосновения его руки, когда он поправлял ей пальцы на клавишах. В такие дни он возвращался домой мрачный, как туча, и Луиза в первом же его взгляде читала привычные упреки; либо он до позднего вечера засиживался в кабачке, пока не обретал на дне стакана довольства собой и снисходительности к другим. Тогда он входил в дом с веселым смехом, который удручал Луизу еще больше, чем язвительные намеки или глухая враждебность. Она чувствовала себя в какой-то мере ответственной за неразумное поведение мужа, тратившего на выпивку последние гроши и топившего в вине скудные остатки здравого смысла. Мельхиор все больше опускался. В том возрасте, когда ему бы следовало особенно усердно работать, совершенствуя свое небольшое дарование, он шел уже не вперед, а назад — и другие занимали его место.

Но что было до этого той неведомой силе, которая свела незадачливого музыканта и служанку с льняными волосами? Мельхиор выполнил свое назначение, и маленький Жан-Кристоф вступил в этот мир, куда его толкала нествратимая судьба.

Ночь уже глядела в окна. Голос Луизы пробудил Жан-Мишеля от дремоты, в которую он впал, размышляя о своих прошлых и настоящих печалях.

— Отец, — ласково окликнула его молодая женщина, — пора вам домой. Наверно, уже поздно, а вам далеко идти.

— Я дождусь Мельхиора, — ответил старик.

— Ах нет, не надо. Пожалуйста, не ждите.

— Почему?

Она промолчала.

— Ты боишься? — сказал он. — Ты не хочешь, чтоб мы встретились?

— Ну да, — призналась она. — Зачем? Чему это поможет? Вы поссоритесь. Я не хочу. Лучше идите. Пожалуйста!

Старик вздохнул и поднялся со стула.

— Хорошо.

Он подошел к ней, коснулся ее лба жесткой бородой, спросил, не нужно ли ей что-нибудь подать, прикрутил огонь в лампе и направился к дверям, натываясь в полутьме на стулья. Но, выйдя на лестницу, он остановился. Он представил себе, как его сын, вдребезги пьяный, возвращается домой. И мысль о всех несчастиях, какие могут случиться, если не присмотреть за ним, заставляла Жан-Мишеля медлить на каждой ступеньке...

В постели, возле матери, ребенок снова беспокойно задвигался. Какая-то боль поднималась из глубины его существа. Он попытался бороться с ней — напряг все тельце, сжал кулачки, нахмурил брови. Боль усилилась, она медленно нарастала, неотвратимая, уверенная в своей власти. Ребенок не знал, что это такое и где предел этому. Казалось, страданию не будет конца. И ребенок залился надрывным плачем. Тотчас нежные руки матери приласкали его. Боль поутихла. Но он продолжал плакать, ибо чувствовал, что она еще где-то тут, возле него, в нем. Взрослый человек может бороться с болью, так как знает по крайней мере, откуда она идет; в мыслях он связывает ее с определенным участком своего тела, который можно вылечить, можно, в крайнем случае, отрезать; он очерчивает границы своего страдания и отделяет его от себя. Ребенок лишен этого обманчивого утешения. Его первая встреча с болью намного страшнее и реальнее. Он не ощущает границ своего тела, и боль представляется ему такой же безграничной. Он чувствует,

как она проникает ему в грудь, заползает в сердце, навечно водворяется в его теле как хозяйка. И это так и есть: она больше его не покинет, пока не изгрызет до конца.

Мать прижимает его к себе, твердя бессмысленные нежные слова:

— Ну вот и все, ну вот и прошло, ну и не надо плакать, ангельчик ты мой, рыбочка ты моя золотая...

Но прерванный было плач возобновляется. Как будто этот жалкий, бесформенный и бессознательный комочек предчувствует, какая цепь страданий суждена ему в будущем. И ничем нельзя его утешить...

Вдруг запевают в ночи колокола. Это зазвонили в церкви святого Мартина. Медленные, задумчивые звуки. Во влажном от дождя воздухе они проходят приглушенной поступью, как шаги по мху. И младенец вдруг умолк, не dokonчив плача. Чудесная музыка вливается в него словно струя молока. Ночь озарилась, воздух стал мягким и теплым. Боль исчезла бесследно, сердце смеется от радости. И со вздохом облегчения он погружается в сон.

Все три колокола продолжали мерно звонить — завтра праздник. И Луиза, прислушиваясь к ним, думала о своих прошлых горестях и о том, кем станет со временем этот обожаемый крошка, спящий сейчас у ее груди. Бог весть сколько уже часов пролежала она тут одна! Как она устала, как все у нее болит. Руки ее горели, все тело тоже. Пуховик давил, как каменный; от темноты было тесно и душно. Но она не смела пошевелиться. Она глядела на ребенка, и сумрак не мешал ей читать грядущее в его сморщенном, старобразном личике. Ее клонило в сон, смутные видения, спутники лихорадки, проплывали в ее мозгу. Вдруг ей почудилось, что Мельхиор открывает дверь, — она вздрогнула всем телом... Временами гул реки становился громче; он раскатывался в тишине, как рычание зверя. Раз или два прозвенело еще оконное стекло под пальцем дождя. Колокола пели все медленнее, все тише, наконец умолкли совсем. И Луиза уснула возле своего ребенка.

Все это время старый Жан-Мишель, дрожа от холода, стоял на страже перед домом; дождь забирался ему за

ворстник, борода намокла. Он ждал возвращения своего беспутного сына, ибо воображение рисовало ему картины одну страшнее другой: мало ли что может наделать пьяный человек! И хоть он сам не верил своим страхам, он не сомкнул бы глаз во всю ночь, если бы не удостоверился, что сын вернулся и все обошлось благополучно. Пение колоколов навеяло на него тоску, воскресив в памяти все погибшие надежды. Он думал о том, из-за чего ему приходится сейчас, ночью, стоять под дождем на улице. И он плакал от стыда.

Медленно катится огромный поток времени. Ночь и день наплывают и откатываются в непрерывном однообразном движении, словно прилив и отлив безбрежного моря. Проходят недели и месяцы — проходят и начинаются сызнова. И череда дней ощущается как один-единственный день.

Бесконечный безмолвный день, отмечаемый лишь ритмом света и тени и ритмом жизни в крохотном, погруженном в полусон создании, дремлющем в своей колыбели, — властными потребностями его тела, приносящими боль, приносящими радость, возникающими так неотвратимо и равномерно, что, кажется, не смена дня и ночи порождает их, но сами сны порождают и ночь и день.

Мерно и тяжело раскачивается маятник жизни. Эти медлительные колебания поглощают все существо новорожденного. Остальное — только сны, только обрывки снов, мутных, дрожащих; только пляска пылинок, водоворот, клубящийся вихрь, который проносится над ним, то пугая его, то заставляя смеяться. Какие-то гулы и шумы, какие-то ежесекундно искажающиеся очертания, боль, ужас, смех — и сны, сны без конца... Один непрерывный сон и днем и ночью... И среди этого хаоса — свет ласковых глаз, улыбающихся ему, сладостная струя, которая из материнского тела, из набухшей молоком груди вливается в тело младенца, и растущая в нем огромная бессознательная сила, океан, который бурлит и бьет в стены своей тесной тюрьмы — крохотного детского тельца. Кто сумел бы его постичь, тот увидел бы еще наполовину по-

гребенные во мраке мира, уплотняющиеся туманности, вселенную в процессе становления. Его существо не имеет границ. Он есть все сущее...

Проходят месяцы... В реке жизни возникают островки воспоминаний. Сперва это крошечные затерянные среди вод клочки суши, подводные скалы, едва выступающие над поверхностью. Вокруг них, за ними в предрастветных сумерках во все стороны простирается безмерная водная гладь. Потом еще островки, уже позлащенные солнцем.

Из темной бездны души выплывают случайные образы, до странности четкие. В огромном едином дне, который вечно возобновляется, неизменный, всегда один и тот же, в мощных, однообразных его колебаниях вырисовывается хоровод дней, подающих друг другу руки; уже можно различить их лица, одни смеющиеся, другие печальные. Но звенья цепи то и дело рвутся, и память шагает через провалы, в которых бесследно исчезли месяцы и недели...

Шум реки... Звон колоколов... В самых ранних воспоминаниях, в далях времени, в любой час, вызванный из прошлого, — эти два столь знакомых, звучных голоса поют Кристофу...

Ночь. Ребенок дремлет... Тускло белеет окно... Слышен гул реки. В тишине ее мощный голос покрывает все; он властвует над всеми живыми существами. То он укачивает их сон и сам словно засыпает под шелест бегущих волн. То вдруг он нарастает, в нем слышится злоба, это вой разъяренного зверя, готового броситься и укусить. Потом рев утихает; теперь это нежнейший лепет, серебристые звуки, словно чистый перезвон колокольцев, словно детский смех, тихое пение, танцующая музыка. Великий материнский голос, не умолкающий никогда! Он баюкает Кристофа, как баюкал в прошедших веках, от колыбели до гроба, те поколения, что жили до него; он вливается в мысли ребенка, заполняет его сны, овеивает его своими текучими гармониями; и они будут веять над ним и тогда, когда он заснет последним сном на маленьком кладбище высоко над Рейном...

Колокола... А, уже заря! Они перекликаются тягуче и чуть-чуть грустно, ласковые, спокойные. Стоит прозвучать их медлительным голосам — и перед Кристофом встает сонм грез, грез о прошлом — желания, надежды, тоска по умершим, которых он никогда не видел и не знал, и, однако, он — это они, ибо он жил в них и они воскресают в нем. Целые века воспоминаний дрожат в этих созвучиях. Сколько слез, сколько празднеств! И когда в тесной запертой комнате он внимает переключке колоколов, ему кажется, что над ним в светлом воздухе проходят широкие звучные волны, пролетают вольные птицы, проносится теплый ветер. А в окно, улыбаясь, глядит уже кусочек голубого неба. Сквозь занавеску пробился луч солнца и упал на постель. И маленький мир, столь привычный для глаза ребенка, все, что он, пробуждаясь утром, видит из своей кровати, все, что он — ценой таких усилий — научился распознавать и называть по имени, для того чтобы подчинить себе, — все его царство внезапно озаряется. Вот стол, за которым едят; вот буфет, в котором Кристоф прячется играя; вот пол из каменных плиток, по которому он ползает; на стенах обои — их узоры корчат ему рожицы и рассказывают целые истории, то страшные, то смешные; а там часы с болтливым маятником, который, заикаясь, торопливо бормочет какие-то слова, понятные одному Кристофу. Чего только нет в этой комнате! Кристоф всего еще и не знает. Каждое утро он отправляется в путешествия, исследуя эту подвластную ему вселенную, ибо все здесь принадлежит ему. Ничто ему не безразлично; все одинаково важно — и человек и муха; все живет: кошка, стол, огонь в печке, пылинки, выходящие в солнечном луче. Комната — это целая страна; один день — это целая жизнь. Как не заблудиться среди таких необъятных просторов! Мир так велик! Кристоф совсем затерялся в нем. А эти огромные фигуры, шагающие ноги, взмахи рук, движение, шум, какой-то непрерывный вихрь вокруг него!.. Он устал, глаза слипаются, он засыпает. Сладкий, глубокий сон находит на него внезапно, когда и где угодно, на коленях ли у матери, или под столом, где он любит прятаться... Как хорошо ему! Как все хорошо!..

Эти первые дни шумят в его воспоминаниях, как листва на ветру, как волнующаяся нива, по которой пробегают огромные тени от облаков...

Тени рассеиваются, солнце проникает в чашу. Кристоф начинает находить свою тропу в лабиринте дней.

Утро... Отец и мать спят. Сам он лежит в своей кроватке и смотрит, как полосы света пляшут на потолке. До чего занятно! Можно глядеть без конца. И вдруг он смеется — звонким детским смехом, от которого радуется сердце у всякого, кто его слышит. Мать наклоняется над ним:

— Чему ты, дурачок?

В ответ он смеется еще громче, он смеется уже нарочно, потому что теперь у него есть слушатель... Мама делает строгое лицо, прикладывает палец к губам: не разбуди отца! Но ее усталые глаза тоже невольно смеются. Мать и дитя перешептываются... Вдруг сердитое ворчание отца. Мама скорее поворачивается спиной к Кристофу, словно напугавшая девочка, притворяется спящей. Кристоф ныряет под одеяло; он лежит, затаив дыхание... Немая тишина...

Немного погодя головенка его опять высовывается из-под одеяла. На крыше скрипит флюгер. Из водосточной трубы мерно падают капли. Звонят к заутрене. Когда ветер с востока, слышно, как на том берегу, где-то далеко, далеко, откликаются колокола деревенских церквей. На поросшей плющом стене стоя воробьев поднимает отчаянную возню, и, как в толпе играющих детей, среди общего гама выделяются одни и те же, три-четыре, особо пронзительных голоска. На трубе воркует голубь. Все эти звуки баюкают Кристофа. Он и сам начинает напевать, сперва тихонько, потом погромче, потом совсем громко, пока снова не раздастся гневный окрик отца:

— Да замолчишь ли ты, осел! Вот погоди, я встану — надеру тебе уши!

Кристоф опять скрывается под одеялом. Он не знает, смеяться ли ему, или плакать. Он напуган и обижен, но вдруг прыскает со смеху — ему так живо представился

осел, с которым его только что сравнили! Притаившись в кровати, он пробует подражать ослиному крику. И получает за это несколько увесистых шлепков. Он плачет, плачет горько, безутешно. Что он такого сделал? Ему так хочется смеяться, двигаться. А ему запрещают даже пошевелиться. Эти взрослые только и делают что спят! Когда же можно будет, наконец, встать?..

Однажды он не выдержал. На улице мякнула кошка или залаяла собака, там что-то случилось, наверно, страшно интересное! Он прыгнул с кровати и, неловко топоча ножонками, устремился к двери — выйти на лестницу, посмотреть! Но дверь оказалась запертой. Он вскарабкался на стул, чтобы ее открыть. И вдруг все с грохотом обрушилось, он больно ушибся, расплакался, и в довершение всего его отшлепали. Вечно его за что-нибудь шлепают...

Вот Кристоф в церкви, с дедушкой. Ему скучно и вообще как-то не по себе. Двигаться ему не велят, а сидящие кругом люди то вдруг все разом произносят какие-то непонятные слова, то опять умолкают. Лица у них торжественные и строгие, совсем не такие, как всегда. Кристоф робко их разглядывает. Рядом сидит их соседка, старушка Лина; вид у нее такой, будто она сердится; даже дедушка иногда кажется совсем чужим. Кристофу немножко страшно. Потом он привыкает и пробует хоть чем-нибудь развлечься. Он раскачивается взад и вперед, запрокидывает голову и смотрит в потолок, корчит гримасы, дергает дедушку за рукав, разглядывает плетеное сидение стула и пытается пальцем проколоть в нем дырочку, прислушивается к щебету птиц и зевает во весь рот.

Вдруг — водопад звуков: заиграл орган. Холодок пробегает по спине Кристофа. Он поворачивается на стуле, опирается подбородком на спинку и слушает, притихнув. Он не знает, что это за звуки, откуда, что они значат: что-то сверкает, кружится, ничего не разберешь. Но ему хорошо. Как будто и не сидел целый час на жестком, неудобном стуле в старом, унылом здании. Кажется, что паришь в воздухе, словно птица; и когда

волна звуков прокатывается по всей церкви, заполняя своды, ударяясь в стены, она подхватывает Кристофа, бросает его ввысь, несет точно на крыльях... Как хорошо! Какая свобода, какое солнце! Кристоф засыпает...

Дедушка недоволен им. Он говорит, что Кристоф не умеет вести себя в церкви.

А вот он дома, сидит на полу на коврике, подобрав под себя ноги. Он только что выдумал новую игру: коврик — это лодка, а пол — река. Если сойти с коврика — утонешь. Кристофа очень удивляет и даже сердит, что другие этого не видят и ходят как ни в чем не бывало по всей комнате. Он хватается мать за юбку:

— Мама! Там же вода! Надо идти по мосту! (Мост — это полоска из красных плиток.)

Мать даже не слушает и проходит мимо. Кристоф обижается на нее, как мог бы обидеться автор, увидев, что публика разговаривает во время представления его пьесы.

Через минуту все уже забыто. Пол больше не море. Кристоф⁴ лежит плашмя, упершись подбородком в каменную плитку, распевает какую-то арию собственного сочинения и сосет палец, пуская слюни. Он погружен в созерцание узкой щели между плитками. Щели слагаются в узор, и эти узоры гримасничают, как живое человеческое лицо. Чуть заметное углубление ширится, превращается в ущелье; вокруг вздымаются горы. Пробегает двухвостка — она огромная, как слон. Если бы рядом грянул гром, Кристоф бы не услышал.

Никто им не занимается, да ему никого и не нужно. Он может обойтись даже без ковриков-лодок и без ущелий в полу с их фантастической фауной. Ему довольно самого себя. Сколько тут интересного! Кристоф часами разглядывает свои ногти и громко хохочет. У каждого ноготка свое лицо, и некоторые даже очень на кого-то похожи, на кого-то знакомого. Кристоф заставляет их разговаривать друг с другом, танцевать, драться. А остальное тело... Кристоф обследует все эти принадлежащие ему чудеса. Сколько тут удивительных вещей!

Есть прямо-таки очень странные. Кристоф разглядывает их с величайшим любопытством.

Когда его ловят на этом занятии, ему здорово попадает.

В иные дни, уловив минуту, когда мать чем-нибудь занята, Кристоф удирает из дому. На первых порах за ним бежали, ловили его, приводили назад. Потом привыкли: пусть себе бродит, лишь бы не уходил чересчур далеко. Дом стоит на самой окраине, почти сейчас же за ним начинаются поля. Пока Кристофа еще видно из окон, он идет не останавливаясь, мерными шажками, по временам припрыгивая на одной ножке. Но за поворотом дороги, где его уже заслоняют кусты, он разом меняет свои повадки. Прежде всего он останавливается и, засунув палец в рот, соображает, какую сегодня рассказать себе историю. Этих историй у него огромный запас. Правда, все они очень похожи одна на другую, и каждая уместилась бы в трех-четыре строчки. Кристоф выбирает. Чаще всего он продолжает начатую вчера — или с того места, на котором остановился, или опять сначала, внося новые подробности; но довольно какого-нибудь пустяка, какого-нибудь мельком услышанного слова, чтобы мысль Кристофа устремилась по новому следу.

Любая случайность открывает перед ним целые богатства. Трудно даже себе представить, как много может подсказать какая-нибудь щепка или сбломанная веточка, — их всегда сколько угодно валяется вдоль изгородей (а если не валяется, так можно отломить). Это волшебная палочка. Если она длинная и прямая, она превращается в копье или шпагу; достаточно ею взмахнуть — и возникает войско. Кристоф — генерал; он марширует во главе своих полков, он их ведет, он бросается в атаку на ближайший пригорок. Если веточка тонкая и гибкая, она превращается в хлыстик. И вот уже Кристоф мчится верхом, перелетая через пропасти. Бывает, что конь спотыкается на всем скаку, и всадник, очутившись в канаве, не без смущения разглядывает свои перепачканные руки и расцарапанные колени. Если палочка коротенькая,

Кристоф становится дирижером. Он и дирижер и оркестр одновременно: машет палочкой и распевает во все горло; а потом раскланивается перед кустами, которые при каждом порыве ветра кивают ему своими зелеными головками.

Кристоф вообще великий волшебник. Вот он шагает по полю, глядя в небо и размахивая руками. Он — повелитель туч. Он приказывает им идти направо. А они все равно идут налево. Тогда он бранит их и повторяет приказание. С бьющимся сердцем он исподтишка следит за ними — может быть, хоть одна, хоть самая маленькая, все-таки его послушается. Но они попрежнему идут и идут себе налево. Тогда он топает ногой, он взмахивает своим волшебным жезлом и гневно приказывает — идите налево! И, смотри-ка, на этот раз они беспрекословно повинуются. Кристоф очень доволен; он горд своим могуществом. Он прикасается палочкой к цветку и велит ему превратиться в золоченую карету — ведь именно так бывает в сказках! Правда, до сих пор у него ни разу еще не получалось, но он уверен, что когда-нибудь получится, нужно только терпение. Он ловит кузнечика, чтобы превратить его в лошадь, осторожно кладет свою палочку ему на спину и произносит заклинание. Кузнечик пытается улепетнуть, Кристоф преграждает ему дорогу, а через минуту он уже лежит, растянувшись на земле, позабыв свою роль мага и волшебника. Теперь Кристоф перевернул кузнечика на спину и хохочет от души, глядя, как тот изворачивается, пытаясь снова стать на лапки.

А не то, привязав к своему волшебному жезлу веревочку, Кристоф забрасывает ее в реку и терпеливо ждет, пока клюнет рыба. Он отлично знает, что рыбы не имеют обычая ловиться на простую веревочку, без крючка и наживки, но он считает, что один-то разок могут же они сделать для него исключение! Ему даже случалось в безграничном своем доверии удить прямо на улице, пропустив кнутик сквозь решетку канализационной ямы. И время от времени он в волнении выдергивал кнутик — ему казалось, что леска отяжелела и сейчас он вытащит сокровище, как было в одной из тех сказок, что ему рассказывал дедушка...

Но случается — и нередко, — что во время этих игр на Кристофа находит вдруг странная греза, минута полного забвения. Тогда все окружающее исчезает; он уже не помнит, что он только что делал, не помнит даже, кто он такой. Это происходит в один миг и совершенно неожиданно. Идя по улице, поднимаясь по лестнице, он вдруг словно проваливается в пустоту. Ему кажется потом, что в эту минуту он ровно ни о чем не думал. Но когда он приходит в себя, все плывет у него перед глазами, ему странно, что он стоит, как стоял, на той же самой полутемной лестнице. Как будто за это время он прожил целую жизнь, — а он всего-то поднялся на две ступеньки...

Отправляясь на вечернюю прогулку, дедушка часто берет Кристофа с собой. Малыш семенит рядом со стариком, держась за его руку. Они бредут по тропинкам, через распаханные поля, от которых идет сильный, приятный запах. Стрекогут кузнечики. Большие сороки стоят поперек тропинки, боком поглядывая на дедушку и Кристофа, и тяжело взлетают при их приближении.

Дедушка покашливает, Кристоф хорошо понимает, что это значит. Старiku не терпится начать рассказ, но он хочет, чтобы мальчуган сам попросил. Кристоф охотно это делает. Они с дедушкой вообще отлично ладят. Старик обожает внука и счастлив, что нашел в нем внимательного слушателя. Для него огромное удовольствие рассказывать какие-нибудь случаи из собственной жизни или из жизни великих мужей древности и более поздних времен. Голос его в такие минуты звучит торжественно, иногда даже прерывается от волнения и ребяческого восторга, хоть дедушка и старается не показывать своих чувств. Но ясно, что он сам наслаждается своим рассказом. К несчастью, ему то и дело не хватает слов. К этой беде ему пора бы уже привыкнуть, ибо она постигает его всякий раз, как он пытается воспарить на крыльях красноречия. Но он тотчас забывает о прежних неудачных попытках и повторяет их снова и снова.

Он говорит о Регуле, об Арминии, о стрелках Лютцова, о Кернере, о Фридрихе Штабсе, покушавшемся на

жизнь императора Наполеона. Когда рассказ доходит до каких-нибудь геройских подвигов, лицо Жан-Мишеля сияет. Исторические фразы он произносит таким торжественным тоном, что понять их невозможно. Ему нравится томить слушателя, он видит в этом особое искусство; в самый острый момент он останавливается, делает вид, что поперхнулся, шумно сморкается; и сердце его ликует, когда Кристоф спрашивает, дрожа от нетерпения:

— А дальше?.. А дальше что, дедушка?..

Позже, когда Кристоф подросток, он разгадал дедушкины уловки и стал назло ему притворяться, будто его ничуть не интересует конец истории. Это очень огорчало бедного старика. Но сейчас мальчик весь во власти рассказчика. Он слушает, зажав дыхание; в наиболее драматических местах сердце у Кристофа начинает сильно биться. Он, правда, толком не разбирается в событиях и не представляет себе, где и когда совершались все эти подвиги; очень возможно, что дедушка был лично знаком с Арминием, а Регула — бог весть почему это взбрело ему в голову! — Регула сам Кристоф, может быть, видел в церкви в прошлое воскресенье. Но все равно, при рассказе об этих героических деяниях и у старика и у ребенка сердце ширится в груди от гордости и восторга, словно они сами все это совершили — ибо и дедушка и внук оба в равной мере дети.

Но куда скучнее получалось, когда дедушка в самую патетическую минуту прерывал рассказ и переходил к своим излюбленным поучениям на духовно-нравственные темы. Поучения эти можно было свести к какой-нибудь совсем простой мысли — весьма почтенной, конечно, но не слишком новой, например: «Лучше действовать лаской, чем грубостью»; или: «Честь дороже жизни»; или: «Лучше быть добрым, чем злым» — только у дедушки это выходило гораздо запутаннее. Старик не опасался критики со стороны своей юной аудитории и разглагольствовал всласть с обычной для него неуклюжей высокопарностью, не стесняясь повторять одни и те же слова или оставлять фразы неоконченными или даже, безнадежно увязнув посреди речи, болтать что ни попало, лишь бы заполнить пробелы мысли. Стараясь придать своим сло-

вам бóльшую силу, он сопровождал их жестами, которые частенько вовсе не вязались со смыслом. Кристоф слушал его с почтением: он считал, что дедушка очень красноречив, но немножко скучен.

Оба любили обращаться мыслью к легендарным похождениям воинственного корсиканца, покорившего Европу. Дедушке самому довелось иметь с ним дело. Он чуть было не принял участия в одном из исторических сражений. Но он умел признавать величие противника: он тысячу раз говорил, что отдал бы правую руку, лишь бы такой человек родился по сю сторону Рейна. Судьба решила иначе; ну что ж, а все-таки он преклонялся перед ним и сражался против него, то есть чуть было не начал сражаться. Но так как оказалось, что Наполеон всего в десяти милях, то маленький отряд, выступивший ему навстречу, внезапно охватила паника, и все бойцы разбежались по лесу с криком: «Измена!» Тщетно пытался дедушка остановить беглецов — так по крайней мере выходило по его рассказам, — напрасно преграждал им путь, грозя и умоляя чуть не со слезами; он сам был увлечен волной бегущих и опомнился лишь на следующий день на весьма значительной дистанции от поля боя — так ему угодно было называть то место, откуда они пустились наутек. Но Кристоф нетерпеливо прерывал его и требовал рассказа о подвигах любимого героя: его приводили в восторг эти легендарные рейды по Европе. Он представлял себе Наполеона во главе бесчисленных армий, встречавших полководца приветственными кликами и по мановению его руки бросавшихся на врага, который неизменно обращался в бегство. Для Кристофа это была настоящая волшебная сказка. Дедушка еще немножко прибавлял от себя, приукрашая историю: у него Наполеон покорял Испанию и чуть ли даже не Англию — англичан старый Крафт терпеть не мог.

Иногда старик вплетал в свой восторженный рассказ гневные обличения по адресу своего героя. В нем пробуждался патриот — и чаще всего тогда, когда он доходил до поражений императора, но не тогда, когда речь шла о битве под Иеной. Он останавливался, грозил кулаком в сторону реки, плевался, осыпал императора бранью,

правда, только в самом возвышенном стиле — он никогда не унижался до вульгарной ругани. «Злодей! — восклицал он. — Кровожадный зверь! Человек, лишенный нравственности!» Если он надеялся этим способом пробудить в ребенке чувство справедливости, то не достигал желаемого, ибо Кристоф по детской своей логике легко мог сделать обратный вывод: «Если такой великий человек был лишен нравственности, значит нравственность вещь неважная, — гораздо важнее быть великим человеком». Но старик не догадывался, какие мысли бродили в голове у малыша, семенившего с ним рядом.

Затем оба погружались в задумчивость, переживая, каждый на свой лад, только что рассказанную героическую сагу, и уже до самого дома не прерывали молчания — разве что им попадался по пути кто-нибудь из дедушкиных знатных клиентов, тоже совершавший послеобеденную прогулку. Тогда дедушка останавливался, отвечивал низкий поклон, рассыпался в изъявлениях подобострастной учтивости. Кристоф всегда краснел в такие минуты, сам не зная почему. Но дедушка втайне преклонялся перед людьми, достигшими высокого положения, «сделавшими карьеру»; и своих любимых героев он чтил, может быть, именно потому, что видел в них счастливых, которым удалось сделать карьеру лучше других и возвыситься надо всеми.

В жаркие дни старый Крафт присаживался иногда отдохнуть под деревом; через минуту он уже дремал. Кристоф устраивался где-нибудь поблизости — на куче камней, на придорожном столбике или каком-нибудь другом столь же неподходящем и неудобном сиденье, лишь бы повыше — и мечтал бог весть о чем, болтая ножками и напевая себе под нос. А не то ложился на спину и смотрел, как по небу бегут облака: они были такие разные — одно совсем как бык, другое как шляпа, или как великан, или как старуха в наколке, а иногда они слагались в целый пейзаж. Кристоф тихонько разговаривал с ними; его волновала судьба маленького облачка — другое, побольше, старалось его пожрать; а тех, что были синими, почти черными и бежали очень быстро, тех он боялся. Ему казалось, что от них многое зависит в жизни людей; очень странно, что ни мать, ни дедушка не обра-

щают на них внимания! Для него это были грозные существа, которые, если б захотели, могли причинить ему страшное зло. К счастью, они проходили над ним, не останавливаясь — плыли и плыли себе дальше, добродушные и немнотра смешные. Под конец, оттого что он так долго смотрел вверх, у него начинала кружиться голова и он хватался за землю и дрыгал ногами — ему казалось, что он сейчас упадет в небо. Потом он начинал моргать все чаще и чаще — сон уже подкрадывался к нему... Кругом тишина. Чуть колеблются листья и поблескивают на солнце, над землей встает светлая дымка; сонный мушиный рой висит в воздухе и гудит, как орган; опьянённые от солнца кузнечики пронзительно стрекочут ликуя. Все замерло... Слышен только крик дятла: под зелеными сводами леса он звучит таинственно, почти волшебю. С далекой пашни долетает голос крестьянина, понукающего волов, с белой от пыли дороги — мерное цоканье копыт... Веки Кристофа смыкаются. У самого его лица по сухой веточке, лежащей поперек бороуды, ползет муравей. Кристоф впадает в забытье... Проходят века. Он пробуждается. Муравей не успел еще добратъся до конца веточки.

Случалось, что дедушка, разморившись, спал чересчур долго; тогда лицо у него застывало, как неживое, длинный нос еще больше вытягивался, подбородок отвисал. Кристоф поглядывал на него с тревогой: ему чудилось, что дедушкина голова прямо на глазах превращается во что-то загадочное и страшное. Чтобы разбудить деда, он принимался громко петъ или с грохотом скатывался с груды камней, на которой сидел. Как-то раз он придумал новую уловку: набрав в горсть сосновых игл, бросил их в лицо старику, а потом сказал, что они сами ссыпались с ветки. Старик поверил, и Кристоф исподтишка хохотал над ним. Но на свою беду он вздумал повторить эту шалость и, уже занеся руку, увидел вдруг устремленные на него глаза старика. Дело обернулось плохо для Кристофа. Старик не понимал шуток и не терпел неуважения к своей особе. Целую неделю после этого дед и внук дулись друг на друга.

Чем хуже была дорога, тем больше она нравилась Кристофу. Каждый камешек имел для него значение; он

знал их все наперечет. Выступы дорожной колеи были для него горами, по меньшей мере такого же значения, как Таунус. Он хранил в памяти подробную карту местности на два километра вокруг дома: там была отмечена каждая выбоина и каждый бугорок. И если ему случалось что-нибудь преобразовать в этом ландшафте, он преисполнялся гордости, словно инженер во главе партии рабочих; когда он разбивал каблуком сухой гребень какой-нибудь кочки и засыпал пролежавшую у ее подножья долину, он чувствовал, что недаром прожил этот день.

Иногда им попадался навстречу крестьянин в тряской своей тележке. Почти всегда он оказывался одним из дедушкиных знакомцев. Дедушка с внуком тоже усаживались в тележку. Это уже было райское блаженство. Лошадь бежала быстро, и Кристоф хохотал от восторга, разумеется пока на дороге никого не было. Но стоило появиться вдали прохожему, и Кристоф сейчас же принимал равнодушный и непринужденный вид, точно ему не в диковину было кататься на лошади, а у самого сердце трепетало от гордости. Дедушка разговаривал с возницей, на Кристофа ни тот, ни другой не обращали внимания. Затиснутый между ними, прижатый их коленями, сидя на самом краешке, а то и вовсе ни на чем не сидя, Кристоф блаженствовал — и все время он болтал без умолку, не заботясь о том, слушают его или нет. Он смотрел, как шевелятся уши у лошади. До чего же странные зверюшки эти уши! Они поворачивались во все стороны, направо, налево, наставлялись вперед, свисали набок, закладывались назад — такие смешные, что Кристоф хохотал во все горло! Он теребил дедушку, чтобы тот тоже посмотрел. Но дедушку уши ничуть не интересовали. Он отстранял Кристофа: не приставай с глупостями! Кристоф погружался в раздумье: вот, значит, что это такое быть взрослым; взрослые — сильные, они все знают и уже ничему не удивляются. И Кристоф старался тоже быть, как взрослые: скрывать свое любопытство и казаться ко всему равнодушным.

Он умолкал. Тарахтенье тележки убаюкивало его. Прыгаи и звенели бубенчики на сбруе у лошади. Динь-дон, динь-дон. В воздухе рождались мелодии. Они ви-

лись вокруг серебряных колокольцев, словно пчелиный рой; они взлетали и падали в такт постукиванию колес. Это был неисчерпаемый источник песен: одна сменялась другой. Все они казались Кристофу очень красивыми, а одна была прямо чудесная. Кристофу захотелось, чтобы и дедушка тоже послушал. Он пропел ее погромче. Никто даже и не заметил. Он пропел опять — еще громче, потом еще раз — уже во весь голос. И дедушка сердито прикрикнул на него:

— Да замолчишь ли ты наконец! Вот надоед, трубит, как труба!

От обиды у Кристофа перехватило дыхание; он покраснел до ушей и смолк уязвленный. В глубине души он презирал обоих стариков: вот глупые, не понимают, какая это чудная песня. Небо раскрывается, когда ее слышишь, а им все равно. И какие противные — на щеках седая щетина, видно неделю не брились, и как от них дурно пахнет!

Но вскоре он утешился, глядя на тень от лошади. Вот тоже удивительное зрелище! Как будто рядом с дорогой, лежа на боку, бежит какое-то черное животное. Позже вечером, когда они уже возвращались домой, тень становилась длинная, длинная, она закрывала чуть не половину луга, и если по пути попадался стог сена, голова этой черной твари вдруг взлетала на самую его вершину, а потом, когда стог оставался позади, опять водворялась на прежнее место; морда у нее была вытянутая и обмякшая, как воздушный шарик, если из него выпустить воздух, уши длинные и прямые, словно свечки. Да уж тень ли это? А может быть, она живая? Неприятно было бы встретиться с ней один на один. Кристоф не посмел бы побежать за ней, как он бегал за тенью дедушки, стараясь наступить ей на голову и поплясать на ней. Тени деревьев, под вечер, когда солнце садилось, тоже вызывали Кристофа на размышления. Они ложились поперек дороги, словно преграждая путь. Казалось, то были какие-то унылые, тощие призраки, которые говорили: «Дальше идти нельзя!» А скрип осей и стук копыт повторяли за ними: «Дальше нельзя!»

Дедушка и возница вели меж собой нескончаемую беседу. По временам они повышали голос, особенно когда

речь шла о местных делах, о своих и чужих обидах. Кристоф выходил из задумчивости и поглядывал на них с опаской. Ему казалось, что они сердятся друг на друга, что они сейчас подерутся. А как раз в эти минуты между обоими стариками царило полное единодушие: их объединяла общая ненависть. Но еще чаще в них не было ни ненависти, ни какой-либо иной страсти: они говорили о вещах самых безразличных и кричали во все горло просто потому, что им это нравилось, — люди из народа любят покричать. Кристоф же, не понимавший, о чем идет речь, слышал только раскаты их голосов, видел искаженные лица и думал со страхом: «Боже мой, до чего же он злой! Как они ненавидят друг друга! Как он поворачивает глазами, как разевает рот! Все лицо мне заплывало! Господи! Он сейчас убьет дедушку!..»

Потом тележка останавливалась. Крестьянин говорил:

— Ну, вот вы и приехали.

Недавние враги пожимали друг другу руки. Дедушка сходил первым. Потом хозяин тележки ссаживал ему на руки Кристофа, ударял кнутом по лошади. Тележка катила прочь, а дедушка с внуком вступали на узкую, меж высоких обочин, дорожку, тянувшуюся по берегу Рейна. Позади, за полями, садилось солнце. Тропинка вилась у самой воды. Густая, сочная трава похрустывала под ногами. Старые ветлы низко склонялись над рекой, затопленные до половины. Целым облаком плясала в воздухе мошкара. Бесшумно проплывала лодка, влекомая спокойным, но мощным течением. Ветви плакучих ив окунались в воду, и волны засасывали их, словно прихватывая губами, с легким чмокающим звуком. Светлая дымка окутывала берег, воздух был свежий, река серебристо-серая. Пели сверчки. И вот уже виден дом, и с порога улыбается бесконечно милое лицо мамы...

О, сладостные воспоминания, благодатные облики — всю жизнь будут они сопровождать нас звенящим, поющим роем!.. Путешествия, которые совершаешь взрослым, огромные города, волнующиеся океаны, невиданной красоты пейзажи, любимые лица — ничто не запечатлится в душе с такой безошибочной точностью, как эти про-

гулки детских лет или незатейливый уголок сада, который ты ребенком, прильнув к окну, разглядывал иной раз от нечего делать сквозь затуманенное твоим дыханьем стекло...

Настает вечер, двери заперты на запор, Кристоф дома. Дом... Надежное убежище от всего, что внушает страх, — от темноты, от ночи, от всех неизвестных и потому страшных вещей. Ничто враждебное не смеет переступить порог... В очаге пылает огонь. Медленно вращается вертел и на нем золотой от жира гусь. По комнате разливается восхитительный запах жареного. Какой он вкусный, этот гусь, какая на нем подрумяненная, хрустящая корочка! О, блаженство еды, несравненное счастье, священный восторг, неудержимое ликование! От тепла в комнате и усталости за день, от говора знакомых голосов Кристофа совсем разморило. Он словно пьян от сытости, и все, что его окружает, — фигуры людей, тени на стене, абажур на лампе, пламя, которое, рассыпаясь дождем искр, пляшет в черном жерле печки, — все кажется ему сейчас каким-то особенным, радостным, волшебным. Он прижимается щекой к тарелке, чтобы полнее насладиться своим счастьем...

А потом вдруг он оказывается в своей теплой постельке. Как он туда попал? Приятная усталость сковывает тело. Голоса в комнате и все увиденное за день перемешалось в его сознании. Отец вынимает скрипку; и вот уже звучит в ночи ее пронзительная и нежная жалоба. Но самое большое счастье наступает, когда приходит мама и, взяв за руку уже засыпающего Кристофа, склонившись над ним, поет по его просьбе старую песенку, слова которой ничего не значат. Отец говорит, что это дурацкая мелодия, но Кристофу она никогда не надоедает. Он слушает, затаив дыхание; ему хочется и плакать и смеяться — сердце его полно до краев. Он не помнит, где он, что он; нежность захлестывает его, как волна; охватив ручонками шею матери, он стискивает ее изо всех сил.

— Да ты меня задушишь! — смеясь, говорит мама.

Он сжимает ее еще крепче. Как он ее любит! Как он любит все на свете! Всех людей, все вещи. Все такие добрые, все так прекрасно... Он засыпает. Сверчок поет за

печкой. В блаженном сумраке проплывают героические образы из дедушкиных рассказов... Быть героем, как они... Он будет, будет героем!.. Он уже сейчас герой... Ах, как хорошо жить!..

Какая огромная сила, какая радость и гордость заключена в этом маленьком существе! Какой избыток энергии! И тело его и ум вечно в движении; его словно уносит, словно кружит и кружит в неудержимом хороводе. Как маленькая саламандра, он день и ночь пляшет среди пламени. Им владеет восторг, который не угасает, для которого все служит пищей. Самозабвенная мечта, веселье, как бьющий фонтан, неиссякаемая надежда, смех, песня, непрестанное опьянение. Действительность еще не наложила на него руку, он ежеминутно ускользает от нее и уносится в бесконечность. Как он счастлив! Как все в нем приспособлено для счастья! Он верит в счастье каждой крупинкой своего существа, он страстно тянется к нему всеми своими детскими силами!..

Жизнь позаботится о том, чтобы его отрезвить.

Часть вторая

L'alba vinceva l'ora mattutina
Che fuggia innanzi, sì che di lontano
Conobbi il tremolar della marina...

*Purg. I*¹

Крафты были родом из Антверпена. Жан-Мишель провел там весьма бурную молодость: по своему задорному нраву он вечно ввязывался в драки; одна имела печальные последствия, и молодому человеку пришлось покинуть родину. Лет пятьдесят назад он бросил якорь в одном из немецких княжеств, в маленьком городке, где дома с островерхими красными крышами и тенистые сады, сбегая по мягким, пологим склонам, смотрятся в бледнозеленые глаза Рейна. Жан-Мишель был прекрасным музыкантом и быстро завоевал признание в этих краях, где все любят музыку. Он осел здесь прочно, особенно после того, как сорока с лишком лет женился на Кларе Сарториус, дочери придворного капельмейстера, и тесть передал ему свою должность. Клара была кроткая, флегматичная немочка, имевшая только две страсти — к стряпне и к музыке. Мужа своего она окружила таким же преклонением, каким раньше окружала отца. Жан-Мишель боготворил ее; они прожили пятнадцать лет в полном согласии и родили четверых детей. Потом Клара умерла. Жан-Мишель неутешно оплакивал ее, а через пять месяцев женился на Оттилии Шварц, двадцатилетней краснощекой толстухе и хохотунье. Оттилия имела не меньше добродетелей, чем Клара, и Жан-Мишель не меньше любил ее. После восьми лет замужества

¹ Уже зоря одолевала в споре
Нестойкий мрак, и, устремляя взгляд,
Я различал трепещущее море (итал.).

Данте, «Божественная комедия», «Чистилище», песнь I. — Прим. ред.

она умерла, успев подарить супругу семерых детей. Всего, стало быть, у него их было одиннадцать, из которых в живых остался только один. Жан-Мишель горячо их всех любил и горячо всех оплакивал; но даже столько похорон не поколебали его несокрушимого благодушия. Самым тяжелым ударом была смерть Оттилии; он потерял ее три года назад, в том возрасте, когда уже трудно строить жизнь заново и создавать себе новый семейный очаг. И в первую минуту он растерялся; но никакое несчастье не могло надолго выбить его из колен, и скоро к нему вернулось обычное спокойствие.

Нельзя сказать, чтобы он не был способен на глубокую привязанность; но этот здоровяк питал органическое отвращение ко всякой печали: ему был нужен смех — быющее через край, шумное веселье на фламандский манер. Какое бы горе на него ни свалилось, он не терял схоты к вкусным блюдам и не отказывался пропустить стаканчик; и музыка в его доме никогда не умолкала. Под его руководством придворный оркестр приобрел в прирейнских городах даже некоторую славу — и оркестр и его дирижер; сколько там ходило анекдотов о его могучем сложении и его вспыльчивости! В минуту гнева он не знал удержу, а потом переживал припадки раскаяния, ибо этот буян был в сущности робкий человек: он любил благообразие и дрожал перед общественным мнением. Но гнев слепил его, кровь ударяла в голову, и бывали случаи, что он не только на репетициях, но даже во время придворных концертов швырял оземь свою дирижерскую палочку, топал ногами, как одержимый, и, заикаясь от ярости, диким голосом орал на провинившегося оркестранта. Герцога это забавляло, но музыканты, посрамленные публично, затаивали в душе обиду. Тщетно старался потом Жан-Мишель, через минуту уже стыдившийся своей выходки, усиленной любезностью и даже угодливостью восстановить добрые отношения, — по первому же поводу он взрывался снова, и эта неудержимая вспыльчивость, возрастая с годами, делала его положение все более трудным. Он сам, наконец, это понял, и однажды, когда такая бурная сцена чуть не вызвала забастовку всего оркестра, подал в отставку. Он надеялся, что из уважения к его долголетней службе от-

ставку не примут, будут упрашивать его не уходить. Этого не случилось, а самому пойти на попятный ему не позволяла гордость. И он удалился с сокрушенным сердцем, горько сетуя на человеческую неблагодарность.

Оставшись не у дел, он заскучал. Ему было уже за семьдесят, но сил еще хватало, и он стал давать уроки, бегал день-деньской по городу, спорил, разглагольствовал, вмешивался во все, что вокруг происходило. Он был не лишен способностей и скоро нашел себе еще занятие — ремонт музыкальных инструментов; он делал опыты, придумывал усовершенствования — и подчас довольно удачно. Кроме того, пытался писать музыку, — готов был лечь костями, лишь бы хоть что-нибудь написать. Когда-то он сочинил торжественную мессу, о чем часто заговаривал сам и чем немало гордилась вся семья Крафтов. Это произведение стоило ему таких трудов, что чуть не довело до апоплексического удара. Он старался уверить себя, что его месса гениальная вещь, но в глубине души слишком хорошо знал, что во всем этом творении нет ни единой настоящей мысли; и он даже боялся заглядывать в рукопись, так как, перечитывая ее, в музыкальных фразах, которые считал своими, узнавал вдруг обрывки чужих мелодий, насильственно слепленные вместе. Это была его давняя, незаживающая рана. Случалось, что в голове у него как будто начинала звенеть мелодия — чудесная, божественная! Он бросался к столу — может быть, хоть на этот раз его посетит вдохновение! Но едва он брал перо в руки, как все умолкало. Он опять был один, в немой тишине. И все усилия заставить вновь зазвучать угасший голос приводили лишь к тому, что в уши ему лезли избитые мотивы Мендельсона или Брамса.

«Есть, — говорит Жорж Санд, — несчастные гении, которым не дано выразить себя; они уносят в могилу тайну своих размышлений, так ни с кем ею и не поделившись, чему примером служит один из представителей этой многочисленной семьи пораженных немотой или косноязычием великих людей — Жоффруа де Сент-Илер». Старый Жан-Мишель тоже принадлежал к этой семье. Он бессилием был выразить себя как в музыке, так и в речи, и все еще не мог с этим примириться — ему так хотелось говорить, писать, быть великим музыкантом, знаменитым

оратором! Это было его тайное горе; он не поверял его никому, даже самому себе; он старался об этом не думать — и все же думал беспрерывно, и эта мысль его убивала.

Бедный старик! Ни в чем не удавалось ему быть вполне самим собой. Столько прекрасных и могучих ростков носил он в своем сердце, но они так и не могли расцвести. Глубокая трогательная вера в высокое назначение искусства, в духовную ценность жизни — а выражалась она в напыщенном, нелепом краснобайстве. Такая благородная гордость — а в жизни чуть не рабское преклонение перед сильными мира сего. Такая любовь к независимости — а на деле жалкая покорность. Претензии на вольнодумство — и ворох предрассудков! Восхищение героизмом, истинная отвага — и столько робости!.. Душа, остановившаяся на полдороге.

Жан-Мишель перенес все свои честолюбивые мечты на сына, и вначале Мельхиор как будто обещал оправдать эти надежды. Еще в детстве он проявлял большие способности к музыке. Он усваивал все с необыкновенной легкостью и еще совсем юношей достиг такой виртуозности в игре на скрипке, что надолго сделался любимцем, даже кумиром посетителей придворных концертов. Он также не без приятности играл на рояле, да и мало ли еще на чем. Поговорить он тоже умел и обладал недурной внешностью того типа, который в Германии считается образцом классической красоты: широкий, невыразительный лоб, правильные крупные черты, курчавая борода — Юпитер с берегов Рейна. Старый Жан-Мишель наслаждался успехами сына; его приводили в восторг изощрения виртуоза, тем более что сам он за всю жизнь так и не научился порядочно играть ни на одном инструменте. Про Мельхиора уж никак нельзя было сказать, что его затрудняет выражение мыслей; беда только в том, что мыслей у него никаких не было, да он и не стремился их иметь. У него была душа посредственного актера, который следит лишь за переливами своего голоса, не заботясь о том, что они выражают, и отмечает с самолюбивым беспокойством, какое впечатление они производят на слушателей.

Любопытно, однако, что и в нем, несмотря на его постоянную оглядку на зрительный зал, как и в Жан-Мишеле, несмотря на его боязливое почитание общественных условностей, проявлялось по временам что-то порывистое, неожиданное и сумасбродное, заставлявшее людей говорить, что, видно, все эти Крафты с придурью. Сперва это ему не вредило; наоборот, его чудачества считались признаком гениальности, ибо люди, гордящиеся своим здравым смыслом, убеждены, что гению природа в нем отказала. Но скоро всем стала ясна подоплека его сумасбродств: источником их чаще всего бывала бутылка. Ницше говорит, что Бахус — бог музыки, и Мельхиор, должно быть догадываясь об этой истине, чтит помянутое божество, к которому, однако, платило ему черной неблагодарностью, ибо, вместо того чтобы даровать своему поклоннику недостающий разум, отняло у него и те крупицы, какие еще оставались. После своей нелепой женитьбы — нелепой в глазах света, а стало быть, и в его собственных — Мельхиор совсем отпустил поводья. Музыкой он вовсе перестал заниматься: он так был уверен в своем превосходстве, что и сам не заметил, как его потерял. Появлялись другие виртуозы, и публика на них переносила свое благоволение; это больно ранило Мельхиора, но, вместо того чтобы пробудить его энергию, неудачи убили в нем последние остатки мужества. Он мстил своим соперникам, злословя на их счет в кругу завсегдаев кабачка. Самоуверенность его была такова, что он рассчитывал получить пост придворного капельмейстера после отца; но назначили другого. Тогда он решил, что его травят, и стал разыгрывать непризнанного гения. Из уважения к старому Жан-Мишелю за Мельхиором сохранили место первой скрипки в оркестре, но все свои уроки в богатых домах он мало-помалу растерял. Это был жестокий удар по его самолюбию и еще худший — по карману. С тех пор как счастье от него отвернулось, доходы семьи сильно уменьшились. Прежде было довольство, даже избыток, теперь приходилось урезывать себя во всем — и чем дальше, тем больше. Но Мельхиор отказывался это замечать и ни на грош не сокращал трат на свои костюмы и развлечения.

Он был не злой человек, но только наполовину доб-

рый, — а это, пожалуй, еще хуже, — слабохарактерный, без всякой способности к сопротивлению, без нравственной стойкости; вместе с тем он искренно считал себя хорошим отцом, хорошим сыном, хорошим мужем и добряком в душе; и, может быть, он и заслуживал такое название, если для этого достаточно той ленивой доброты, которая так охотно проливает слезы умиления, и той животной привязанности к своим, которая основана на ощущении, что они часть тебя самого. Его нельзя было даже назвать эгоистом — для этого он был недостаточно сильной личностью. Он вообще не был ничем. Самое страшное в жизни — это люди, которые представляют собой полное ничто. Как балласт, сброшенный с высоты, их неудержимо влечет вниз; они неизбежно должны упасть и, падая, тащат за собой всех, с кем связала их судьба.

Как раз к тому времени, когда семья Крафтов оказалась в особенно стесненных обстоятельствах, Кристоф подрос настолько, что стал способен понимать происходящее вокруг.

Он уже не был единственным ребенком. Мельхиор плодил детей, нисколько не задумываясь над тем, что с ними будет дальше, — Луиза рожала каждый год. Двое умерли во младенчестве. Оставалось, кроме Кристофа, еще двое: одному было три года, другому четыре. Луиза, уходя из дому, поручала Кристофу смотреть за ними, а ему и самому-то было всего шесть лет.

Для него это было большой обузой: из-за братишек приходилось отказываться от столь любимых послеобеденных прогулок в поле. Но он гордился тем, что с ним обращаются, как со взрослым, и ревностно выполнял свою обязанность. Он забавлял малышей, как умел: показывал им свои игрушки, разговаривал с ними, подражая матери, — он ведь не раз слышал, как она воркует над младенцем. А иногда он брал их на руки и носил по комнате — сперва одного, потом другого; он видел, как это делают взрослые. Кристофу это было нелегко: он шатался под тяжестью, стискивал зубы, изо всех сил прижимал ребенка к груди, боясь его уронить. А малышам нравилось: они вечно требовали, чтобы их носили, и

когда Кристоф выбивался из сил, поднимали стчаянный рев. Много было с ними хлопот, и подчас даже непосильных для Кристофа: когда малышам случалось намочить штанишки, он не знал, что с ними делать, — тут нужны были материнские руки. Надоедали они ему смертельно — иногда так и хотелось их треснуть; но он говорил себе: «Они же маленькие, они не понимают» — и великодушно сносил их шипки, пинки и всяческие капризы. Эрнст готов был реветь по любому поводу; он топал ногами, катался по полу от злости; это был нервный ребенок, и Луиза постоянно внушала Кристофу, что ему нельзя перечить. Рудольф — тот отличался обезьяньей хитростью, и стоило Кристофу отвернуться, взясь с Эрнстом, как он тут же начинал проказить — ломал игрушки, опрокидывал кувшин с водой, пачкал свое платьице, забирался в буфет и сбрасывал на пол тарелки.

Столько бед успевали они натворить, что, когда Луиза возвращалась домой, Кристоф вместо похвалы получал от нее одни упреки. Она, правда, не бранила его, но, глядя на произведенный в комнате разгром, говорила с досадой:

— Бедный мой мальчик, какой же ты неловкий!

Это очень огорчало Кристофа; у него становилось грустно на сердце.

Луиза, никогда не упускавшая случая немного подработать, продолжала и после замужества наниматься поварихой в богатые дома, когда там нужно было устроить парадный обед по какому-нибудь особому случаю, вроде крестин или свадьбы. Мельхиор делал вид, что ничего об этом не знает; самолюбие его страдало, но он не прочь был, чтобы Луиза работала, лишь бы ему это не было известно. Маленький Кристоф не догадывался еще о том, как сложна жизнь; он не знал иных запретов для своей воли, кроме тех, что налагали на него родители, — запретов не слишком обременительных, ибо он рос почти что без присмотра; и он мечтал скорее стать взрослым; тогда, думалось ему, он будет делать только то, что захочет! Он понятия не имел о преградах, с которыми человек сталкивается на каждом шагу, и уж во всяком случае не подозревал, что его родители не всегда могут посту-

пать по своему желанию. Когда ему впервые открылось, что люди делаются на тех, кто приказывает, и тех, кому приказывают, и что его родители не принадлежат к числу первых, все в нем возмутилось; этот день стал для него переломным.

Однажды Луиза еще с утра нарядила его в самый лучший костюм — поношенное старье, кем-то ей подаренное, которому она ценой бесконечного терпения и изобретательности ухитрилась придать приличный вид. Затем она ушла, а во вторую половину дня Кристоф, как было уговорено, отправился в тот дом, где она тогда работала. Ему было очень страшно входить одному. На крыльце, зевая по сторонам, стоял лакей. Он остановил мальчика, спросил свысока, что ему надо. Краснея от смущения, Кристоф пролепетал, что хочет видеть «госпожу Крафт», — сказать так велела ему мама.

— Госпожу Крафт? А что тебе нужно от госпожи Крафт? — осведомился лакей, иронически подчеркивая слово «госпожа». — Ах, она твоя мать? Ступай по этой лестнице, потом по коридору в самый конец. Луиза на кухне.

Кристоф покраснел еще больше: ему стало стыдно оттого, что этот человек запросто называл его мать Луизой. Он почуял в этом какое-то оскорбление, и ему захотелось убежать на милую его сердцу реку, забиться в гущу зеленых кустов, где он любил бродить, рассказывая себе сказки.

Растворив дверь в кухню, он очутился в толпе слуг — его встретили шумными восклицаниями. В глубине, возле плиты, стояла мама и улыбалась ему ласково и чуть смущенно. Он бросился к ней и спрятал лицо в ее юбках. На ней был белый фартук, в руках — большая деревянная ложка. Но мама еще усугубила его конфуз: ей вздумалось показать сына всем присутствующим, и она велела ему поднять голову и пойти поздороваться с каждым за руку. Кристоф ни за что не хотел, он отвернулся к стене и закрылся локтем. Потом он немного осмелел: над плечом из-под руки показался блестящий, смеющийся глаз; но стоило кому-нибудь посмотреть в ту сторону — и глаз скрывался. Кристоф украдкой разглядывал людей, суетившихся в кухне. Мать была, видимо,

очень занята, и какая она была важная — дома он никогда ее такой не видал. Она открывала то одну, то другую кастрюлю, что-то пробовала, распоряжалась: прибавьте того, сделайте то, уверенным тоном объясняла, как готовить то или другое блюдо, и постоанная кухарка внимала ей с почтением. Кристофа распирало от гордости — как все здесь уважают его маму! Она тут самая главная, в этой великолепной кухне, сверкающей золотом и начищенной медью.

Вдруг все разговоры смолкли. Дверь растворилась. Шелестя шелками, вошла какая-то дама. Остановилась, обвела всех подозрительным взглядом. Она была уже немолода, но одета в нарядное светлое платье с широкими рукавами. И одной рукой она все время подбирала шлейф — должно быть, боялась испачкаться. Это, однако, не помешало ей подойти к плите, заглянуть в кастрюли и даже отведать от всех кушаний. Когда она поднимала руку, рукава откидывались, и видны были голые локти. Кристоф нашел, что это очень некрасиво и неприлично. Как сухо и повелительно разговаривала она с Луизой! И как покорно отвечала ей та! Сердце у Кристофа сжалось. Он совсем притих в своем уголке, надеясь, что его не заметят, но напрасно. Дама спросила, кто этот мальчик. Луиза вытащила его из угла и, крепко держа за руки, чтобы он не мог закрыть лицо, подвела к вновь пришедшей, и, как ни хотелось ему вырваться и убежать, он каким-то смутным инстинктом понял, что на этот раз противиться нельзя. Дама взгляделась в перепуганное лицо малыша и по первому, чисто материнскому, побуждению ласково ему улыбнулась, но тотчас же приняла покровительственный вид и стала спрашивать Кристофа, как он себя ведет, ходит ли в церковь, а тот в ответ молчал, как убитый. Она пожелала также посмотреть, впору ли ему пришелся костюмчик, и Луиза торопливо ответила, что в самый раз, как будто на него шито, и начала обдергивать на Кристофе курточку. Кристоф чуть не плакал: курточка была тесная, ему было больно и неудобно. И он не понимал, за что мама так благодарит эту женщину.

Потом дама взяла его за руку и сказала, что хочет познакомить со своими детьми. Кристоф бросил на мать

взгляд, полный отчаяния, но Луиза так заискивающе улыбалась хозяйке, что ему стало ясно — тут на помощь нечего рассчитывать; и он поплелся за своей водительницей, как ягненок, которого ведут на бойню.

Они пришли в сад. Там было двое детей такого же примерно возраста, как и Кристоф; они сидели, отвернувшись друг от друга, оба очень сердитые, — должно быть, только что поссорились. Появление Кристофа их развлекло. Они подошли ближе и уставились на него. Дама удалилась, а Кристоф остался стоять посреди аллен, не смея поднять глаза. Дети разглядывали его с головы до ног, подталкивали друг друга локтями, хихикали. Наконец, решились заговорить. Они спросили Кристофа, как его зовут, где он живет, чем занимается его отец. Кристоф молчал, онемев от страха; особенно он испугался девочки; у нее были белокурые косы, очень короткая юбочка и голые коленки.

Потом они затеяли игру. Кристоф уже начал понемножку приходить в себя, как вдруг маленький барич остановился перед ним, ткнул пальцем в его курточку и воскликнул:

— Да это моя!

Кристоф не понял. С какой стати этот мальчишка называет своей его курточку? Он негодуяще замотал головой.

— Ну как же, я-то ведь знаю! — продолжал мальчик. — Это мой старый синий костюм. Вот тут еще есть пятно, — и он показал пальцем. Потом оглядел ноги Кристофа и спросил, откуда тот взял такие башмаки, все в заплатках.

Кристоф покраснел, как рак. Девочка вздернула носик и шепнула брату на ухо: это же маленький нищий! Кристоф слышал и так возмущился, что даже обрел дар речи. Он был уверен, что может одним словом посрамить своего обидчика — и, запинаясь, придушенным голосом пролепетал: неправда, он сын Мельхиора Крафта, а его мама — кухарка Луиза! Ему казалось, что это звание не хуже всякого другого, и в этом он, конечно, не ошибался. Но дети, хотя и заинтересовались, видимо не разделяли его мнения. Наоборот, они сейчас же приняли с ним снисходительный тон. А кем он

сам будет, когда вырастет? — спросили они. Тоже поваром? А может быть, кучером? Кристоф опять умолк. Он чувствовал, что в сердце ему проникает какой-то ледяной холод.

Его молчание раззадорило маленьких барчуков. Как это часто бывает с детьми, они вдруг — неизвестно почему — невзлюбили Кристофа и стали придумывать с бессознательной детской жестокостью, чем бы еще помучить маленького бедняка. Особенно усердствовала девочка. Она заметила, что Кристофу трудно двигаться в его слишком тесной одежде, и тотчас же коварно предложила: пусть покажет, как он умеет прыгать через барьер! Принесли две скамеечки, приставили одну к другой и велели Кристофу прыгать. Несчастный мальчик не смел сказать, что ему мешает; собравшись с духом, он прыгнул — и растянулся на земле. Дети захохотали. Еще раз! — потребовали они. Со слезами на глазах Кристоф сделал отчаянное усилие — и перепрыгнул. Но маленькие истязатели не унимались; они решили, что барьер недостаточно высок, и принялись громоздить на него всякую всячину, пока не получилось такое сооружение, что вряд ли можно было через него перепрыгнуть, не сломав себе шеи. Кристоф попробовал взбунтоваться: он объявил, что не станет прыгать. Тогда девочка сказала, что, значит, он просто трусишка. Этого Кристоф не снес; зная наперед, что упадет, он все-таки прыгнул — и действительно упал. Он зацепился за что-то ногой, и вся баррикада обрушилась с ним вместе. Он ободрал себе руки, чуть не разбил голову; и в довершение позора, штанишки лопнули у него на коленях и еще в других местах. Кристоф не помнил себя от стыда; он слышал, как дети пляшут вокруг, радуясь его несчастью; страдание его перешло всякую меру. Он чувствовал, что его презирают, что его ненавидят — за что? За что? Он жаждал умереть. Что может сравниться с болью, которую испытывает ребенок, впервые столкнувшись с человеческой злобой! Ему кажется, что весь мир ополчился на него, и уж нигде, ни у кого не найти ему защиты, — ни у кого, нигде!.. Кристоф попытался встать; мальчик толчком свалил его на землю, девочка пинала его ногами. Он попробовал опять, тогда оба накинулись на него, усадились ему на

спину, тыча его лицом в песок. И тут Кристоф вдруг словно обезумел от гнева. Нет, это уж слишком! Руки у него все в ссадинах, новый костюм испорчен, а это была катастрофа! Столько несчастий сразу! Стыд, боль, обида, возмущение против несправедливости — все вместе мгновенно вылилось в неудержимую ярость. Он уперся в землю руками и коленями, привстал, встряхнулся как собака, сбросил с себя своих мучителей, а когда они спать хотели на него напасть, он ринулся вперед, нагнув голову, закатил девочке сплеуху и ударом кулака опрокинул мальчишку на клумбу с цветами.

Какой тут поднялся крик! Дети бросились к дому, визжа, как будто их резали. Захлопали двери, послышались гневные возгласы. Нарядная дама прибежала бегом, путаясь в шлейфе. Кристоф видел, как она бежит к нему, но не пытался удрать. Он уже и сам испугался того, что сделал; это была неслыханная дерзость, преступление. Но он ни в чем не раскаивался. Он ждал. Он знал, что погиб. Ну и пусть! Все равно! Им овладело отчаяние.

Дама в ярости бросилась к нему. Он чувствовал удары. Он слышал, как она что-то злобно кричит, но ничего не мог понять в этом потоке слов. Его маленькие враги вернулись в сад, чтобы присутствовать при расправе; оба ревели во всю глотку. Слуги, наверно, тоже были тут — Кристоф слышал их голоса. Наконец, прибежала Луиза: ее вызвали из кухни. И тут Кристоф испытал худшую за весь день обиду, ибо, вместо того чтобы его защитить, мать, даже не разобрав в чем дело, прежде всего дала ему затрепину, а затем велела сейчас же попросить у детей прощения. Он в бешенстве отказался. Она встряхнула его, как котенка, и потащила к нарядной даме и ее детям, требуя, чтобы он стал перед ними на колени. Кристоф вопил, топал ногами, укусил мать за руку. Наконец, вырвался и убежал под смех собравшихся слуг.

Он шел по улице, подавляя рыдания; лицо у него горело от гнева и от полученных пощечин. Он старался ни о чем не думать, только идти быстрее, потому что не хотел плакать на улице. Скорее бы домой! Там можно будет дать волю слезам. Горло у него сжималось, кровь стучала в висках; еще минута — и он не выдержит.

Наконец, дошел! Бегом взбежал по темной лестнице. Вот и оконная ниша, где он любил сидеть, глядя на реку; задыхаясь, он бросился на подоконник и разразился рыданиями. Он сам не знал, о чем плачет, но ему нужно было выплакаться. И когда вылились первые слезы, переполнявшие его сердце, он продолжал плакать уже нарочно, потому что хотел плакать, — плакал даже с какой-то злобой, чтобы еще сильнее страдать, как будто своим страданием он наказывал и других, а не одного себя. Потом он вспомнил, что скоро должен вернуться отец; мама ему расскажет; мучения еще не кончились. Он решил бежать куда глаза глядят и больше никогда не возвращаться домой.

Но едва он начал спускаться по лестнице, как столкнулся с отцом.

— Ты что тут делаешь, малыш? Ты куда? — спросил Мельхиор.

Кристоф не ответил.

— Напроказил, что ли? А? Что ты сделал, признавайся!

Кристоф упорно молчал.

— Что ты наделал? — повторил Мельхиор. — Ну! Будешь ты говорить или нет?

Кристоф опять заплакал, а Мельхиор стал кричать на него. Рыдания одного и крики другого становились все громче, пока на лестнице не послышались торопливые шаги. Это возвращалась домой Луиза. Она вошла все еще расстроенная и сердитая и с ходу начала бранить Кристофа, попутно угощая его подзатыльниками, к которым Мельхиор, как только узнал в чем дело, а может быть, и раньше, прибавил от себя несколько таких затрепщин, что у Кристофа зазвенело в ушах. Теперь уже оба вопили — и Мельхиор и Луиза. Кристоф захлебывался от крика. Потом родители перенесли свой гнев друг на друга. Отвешивая сыну пощечины, Мельхиор одновременно орал, что мальчишка прав! Чего и ждать, когда идешь в услужение к чужим людям, которые думают, что им все позволено, потому что у них есть деньги! А Луиза, награждая Кристофа тумаками, кричала мужу, что он зверь, а не человек, что она не даст ему пальцем тронуть ребенка, что он его изувечил! У Кристофа дей-

ствительно текла кровь из носу, но он этого даже не замечал и не почувствовал никакой благодарности к матери, когда та принялась вытирать ему лицо мокрой тряпкой, так как она при этом больно прижимала ему нос и вдобавок не переставала браниться. В конце концов его втокнули в темный чулан и заперли там, не дав поужинать.

Он еще долго слышал перебранку родителей, и в эту минуту он сам не знал, кого больше ненавидел — отца или мать. Должно быть, мать, — он не ожидал, что она такая злая! Ему было очень нехорошо: как будто все случившееся за день разом навалилось ему на сердце; все, что он перестрадал, несправедливость детей, несправедливость дамы, несправедливость родителей и еще эта новая, свежая рана, не осознанная им пока, но уже мучившая его больше, чем все остальное, — добровольное унижение родителей, которыми он так гордился, перед теми, другими людьми, злыми и достойными презрения. Впервые он смутно почувствовал душевную слабость своих близких, и она его оскорбляла. Все в нем было поколеблено: привязанность к родным, благоговение, которое они ему до сих пор внушали, доверие к жизни, наивная потребность любить и быть любимым, вся его вера в добро, слепая, но оттого еще более страстная. Это было полное крушение; он был раздавлен грубой силой — и нечем было защититься и не на что надеяться. Он задыхался; ему казалось, что он умирает. Но он не хотел сдаваться — еще раз, в последнем усилии, он напрягся весь, руками, ногами, головой стал биться об стену, дико закричал и в судорогах упал на пол, ушибаясь о мебель.

Отец и мать прибежали, подняли его, взяли на руки. Теперь они наперебой выказывали ему нежность. Мать раздела его, уложила в постель, села у изголовья и отошла только тогда, когда он немного успокоился. Но он не смирился; он не хотел простить мать и притворился спящим, чтобы избежать ее поцелуя. Злая. Трусливая. Не посмела за него заступиться. Так думал он о матери. Он не знал, как трудно было ей жить и сохранять жизнь ему, как она страдала оттого, что вынуждена была идти против собственной плоти и крови.

Когда Кристоф выплакал все слезы — бездонное море их заключено в глазах ребенка! — ему стало немножко

легче. От усталости он не мог шевельнуть пальцем, он был весь разбит, но слишком напряженные нервы не давали ему заснуть. Он лежал в полузабытии, и впечатления дня снова оживали перед ним. Особенно ярко вспоминалась ему девочка: ее блестящие глаза, презрительно поднятый носик, косы по плечам, голые ножки, манера говорить, ребяческая и вместе деланая, как у актрисы. Он даже вздрогнул — так явственно ему вдруг послышался ее голос. Он вспоминал, как глупо вел себя с нею, и сердце его глодала неутолимая ненависть. Он не прощал ей своего унижения, он жаждал унижить и ее, заставить ее плакать. Он стал придумывать, как это сделать, — и ничего не придумал. Наверяд ли они даже встретятся. Она и не вспомнит никогда о нем. Он это знал, но, в утешение себе, вообразил, что все сделалось по его желанию. Во-первых, сам он прославился, стал знаменитостью и богачом. А она... ну, она, конечно, влюбилась в него. И Кристоф принялся рассказывать себе одну из тех фантастических историй, в которые под конец сам начинал верить; они становились для него реальнее, чем сама действительность.

Она любила его без памяти. А он ее презирал. Когда он проходил мимо ее дома, она провожала его взглядом, прячась за занавесками. Он знал, что она на него смотрит, но делал вид, что ничего не замечает, и весело болтал с друзьями. Он даже покидал родной город, отправлялся в далекие путешествия, чтобы еще больше ее помучить. Он совершал подвиги... Тут он вводил в свой рассказ какой-нибудь эпизод из героических повествований дедушки. А она тем временем заболела от горя. Ее мать, эта надменная дама, приходила к нему. «Моя бедная дочь умирает, — говорила она. — Умоляю вас, посетите ее!» Он шел к ней. Она лежала в постели, бледная, исхудавшая. Она не могла говорить, но брала его руку и целовала, обливаясь слезами. Тогда он обращал к ней взгляд, полный неизъяснимой доброты и кротости. «Выздоровливайте, — говорил он, — я согласен, чтобы вы меня любили!» Эта сцена так нравилась Кристофу, что он несколько раз принимался рассказывать ее себе сначала, меняя отдельные слова и положения. И незаметно к нему подкрался сон, и он заснул утешенный.

Но когда он открыл глаза, было светло, начинался день. И этот новый день не был уже таким сияющим и безмятежным, как вчерашнее утро. Что-то изменилось в мире: Кристоф познал несправедливость.

Иногда в доме бывало совсем туго с деньгами. И это случалось все чаще и чаще. В такие дни все ели впроголодь. И голоднее всех приходилось Кристофу. Отец — тот ничего не замечал; он первый накладывал себе на тарелку, и на его долю всегда хватало. Громко разговаривая и сам хохоча над своими остротами, он не слышал, каким принужденным смехом отвечала ему жена, не видел, как настороженно следила она за ним, когда он брал себе кушанье, а потом передавал ей наполовину опустевшее блюдо. Луиза оделяла малышей. Когда доходила очередь до Кристофа, на блюде оставалось всего три картофелины, а мама еще не ела! Он наперед знал, что так будет, — он еще раньше успевал сосчитать все порции, — и, собравшись с духом, нарочито небрежно говорил:

— Мне только одну, мамочка.

Мама как будто удивлялась:

— Почему одну? Две, как всем.

— Нет, пожалуйста, только одну.

— Разве ты не голоден?

— Да, мне что-то не хочется.

Но тогда она и себе клала только одну. Каждый старательно очищал свою картофелину, резал на крохотные кусочки, старался есть как можно дольше. Мать поглядывала на сына. Когда он кончал, она говорила:

— Ну, возьми еще одну.

— Нет, спасибо.

— Да ты болен, что ли?

— Ничего я не болен, а просто не хочу.

И случалось, что отец обзывал его привередником и забирал последнюю картофелину. Но против этого Кристоф стал принимать свои меры: он брал сразу две и одну оставлял у себя на тарелке для Эрнста — тот всегда бывал голоден и с самого начала обеда жадным взором

следил за спорной картофелиной; под конец он не выдерживал.

— Ты больше не хочешь? — спрашивал он Кристофа. — Ну, дай мне!

Ах, как ненавидел Кристоф отца в такие минуты! Почему отец нисколько не думает о них? Ведь он даже и не заметил, что съел их долю! Кристофа до того мучил голод, что в сердце у него накалилась злоба — и так хотелось высказать ее вслух отцу! Но гордый мальчик считал, что не имеет на это права, потому что живет на чужой счет. Отец отнимает у них кусок хлеба — но ведь этот кусок он сам и заработал. А от него, Кристофа, никому нет никакой пользы; он сидит на чужой шее, ну, значит, и должен молчать. Но когда-нибудь он заговорит, когда-нибудь он все скажет, если только доживет до этого дня! Да нет, куда там — он еще гораздо раньше умрет с голоду!..

Кристоф, больше чем любой другой ребенок на его месте, страдал от этих вынужденных постов: здоровый желудок требовал пищи. Временами Кристоф испытывал настоящие муки: его бросало в дрожь, начинала болеть голова, под ложечкой становилось пусто, как будто там высверлили буровом огромную дыру; и бурав все вертелся, и дыра делалась все больше. Но он не жаловался: он знал, что мама следит за ним, и старался принять равнодушный вид. Луиза догадывалась с болью в сердце, что ее первенец отказывается от еды для того, чтобы другим осталось больше; она гнала от себя это подозрение, но оно возвращалось снова и снова. Она не смела проверить, не смела в упор спросить Кристофа, правда ли это; потому что, если бы это оказалось правдой, что она могла сделать? Сама она с малых лет привыкла молча терпеть лишения: что толку жаловаться, раз нельзя ничего изменить? Но она не брала в расчет, что ей, при ее слабом здоровье и малых потребностях, было все-таки не так трудно, как Кристофу. Она не отваживалась прямо заговорить с ним, но иной раз после обеда, когда все расходились — дети на улицу, Мельхиор по делам, она просила старшего остаться и помочь ей в чем-нибудь. Кристоф держал на распыленных руках моток шерсти, мать разматывала нитку. Вдруг она все бросала,

привлекала его к себе, сажала на колени, — хоть он для этого был уже слишком велик и тяжел, — страстно прижимала к груди. И Кристоф изо всех сил обнимал ее за шею; оба заливались слезами и осыпали друг друга поцелуями.

— Бедный мой мальчик!..

— Мамочка! Милая моя мамочка!..

Больше они ничего не говорили, но они понимали друг друга.

Кристоф долго не знал, что его отец пьяница. Напиваясь, Мельхиор все же не переходил известных границ, особенно вначале: он не буянил во хмелю, а только становился чересчур весел — болтал всякую чепуху, распевал песни, отбивал такт кулаком по столу, а иногда пускался в пляс и требовал, чтобы Луиза и дети составляли ему компанию. Кристоф, правда, видел, что мама в таких случаях становится очень грустной: она садилась где-нибудь в уголке, низко склонялась над работой, избегая даже смотреть на мужа, и кротко старалась его унять, когда он отпускал шуточки, от которых ее бросало в краску. Но все это было недоступно пониманию Кристофа, а жажда веселья была в нем так сильна, что каждое шумное возвращение отца он приветствовал как праздник. Обычно в доме царил уныние, и эти сумасбродства служили Кристофу отдушиной. Он смеялся над нелепыми жестами и глупыми шутками отца, пел и плясал вместе с ним и очень обижался на маму, когда та сердито приказывала ему перестать. Разве это может быть дурно, если сам папа так делает? С острой детской наблюдательностью, которая ничего не пропускает и все запечатлевает в памяти, Кристоф не раз уже замечал в поведении Мельхиора много такого, с чем не мирилось его по-детски взыскательное чувство справедливости. А все-таки он обожал отца. Это такая властная потребность в ребенке! В ней проявляется, должно быть, все та же неискоренимая любовь к себе. Когда человек слаб или считает себя слабым и его желания и честолюбие поневоле остаются неутоленными, тогда он переносит свою мечту на другого — ребенок на своих родителей, старик, побежденный жизнью, на своих детей. Они совершат все

то, что ему уже не удалось или что ему еще недоступно; они — борцы за его права, они его отомстители; и в этом горделивом отречении в пользу другого сладко переплетаются любовь и эгоизм. Поэтому Кристоф охотно забывал все обиды, нанесенные ему отцом, и находил тысячу оправданий для своей любви к нему: он восторгался статной фигурой Мельхиора, его мускулистыми руками, его голосом, смехом, веселостью; сиял от гордости, когда кто-нибудь хвалил виртуозную игру отца или когда тот сам, вдвое преувеличивая, рассказывал о полученных похвалах. Хвастовство Мельхиора он принимал за чистую монету и готов был видеть в отце гения, героя, вроде тех, о которых рассказывал дедушка.

Однажды вечером Кристоф сидел дома один. Было часов около семи. Младшие братья гуляли с Жан-Мишелем, Луиза на реке стирала белье. Дверь распахнулась, и появился Мельхиор, без шляпы, в растерзанной одежде. Переступая порог, он высоко задрал ногу, словно готовясь выкинуть лихое коленце, потом тяжело плюхнулся на стул. Кристоф захохотал — ну, сейчас начнется потеха! — и подошел к отцу. Но, поглядев ему в лицо, он перестал смеяться. Мельхиор сидел, свесив руки, уставившись куда-то вдаль озовелыми, беспрестанно мигавшими глазами; лицо у него было багровое, рот разинут — и из этого разинутого рта вылетали какие-то кудахтающие звуки — бессмысленный, пьяный смех. Кристоф обомлел. Он подумал в первый миг, что отец делает это нарочно, что он шутит, но Мельхиор сидел, как неживой, и Кристофу стало страшно.

— Папа! — воскликнул он. — Папа!

Мельхиор продолжал кудахтать по-куриному. Не помня себя, Кристоф схватил его за руку и потряхнул сколько было сил.

— Папа! Папочка! Да отвечай же! Скажи хоть что-нибудь!

Тело Мельхиора мотнулось в сторону, словно было без костей, и чуть не сползло со стула; голова повисла, глаза обратились к сыну: он что-то пробурчал невнятно и сердито. Когда эти тусклые зрачки глянули в глаза Кристофу, мальчика охватил настоящий ужас. Он отбежал в самый дальний угол комнаты, бросился на колени

перед кроватью, зарыл лицо в подушки. Так прошло довольно много времени. Мельхиор тяжело раскачивался на стуле, все так же глупо хихикая. Кристоф затыкал себе уши, чтобы не слышать, и дрожал всем телом. Бог весть что происходило в нем в эту минуту. Он был потрясен до глубины души; ужас леденил его; и такая боль щемила сердце, как будто при нем только что умер кто-то, кого он любил и перед кем благоговел.

Никто не возвращался домой, они были одни. Темнело, и страх Кристофа возрастал с каждой секундой. Он невольно прислушивался; кровь застывала у него в жилах, когда в тишине комнаты — и еще более страшный от этой тишины — долетал к нему неузнаваемый, как будто вовсе незнакомый голос; а маятник прерывисто постукивал словно в такт этому невнятному бормотанью. Наконец, Кристоф не выдержал: он решил бежать. Но чтобы добраться до двери, надо было пройти мимо отца. Еще раз увидеть его глаза! Кристоф дрожал при одной этой мысли; ему казалось — случись это, он умрет. Он пополз на четвереньках, едва дыша, не смея глянуть в сторону, замирая на месте при каждом движении Мельхиора, чьи ноги видны были под столом, — и вдруг одна заерзала! Но вот Кристоф уже у двери; трясущейся рукой он поднял щеколду и от волнения не удержал — она упала со стуком. Мельхиор повернулся к дверям, потерял равновесие и вместе со стулом грохнулся на пол. У Кристофа с перепугу подкосились ноги; он застыл, прильнув к стене, остоленело глядя на отца, распростертого на полу, и отчаянным голосом стал звать на помощь.

Падение немного отрезвило Мельхиора. Он выругался, помянул бога и черта, треснул кулаком стул, сыгравший с ним такую штуку, попытался встать. Это ему не удалось. Тогда он сел поудобнее, прислонившись к ножке стола, и стал обозревать окрестность. Он увидел плачущего навзрыд Кристофа и поманил его к себе. Кристофу очень хотелось убежать, но ноги не слушались. Мельхиор опять его позвал, а увидев, что мальчик не идет, разразился бранью. Кристоф, наконец, подошел, дрожа всем телом. Мельхиор привлек его к себе, посадил на колени. Для начала он надрал ему уши и заплетающимся языком повел речь о том, что дети должны почитать своих

родителей. И тут же настроение его изменилось, — он принялся подкидывать Кристофа на коленях, хохоча во все горло и бормоча какой-то вздор. Затем, без всякого перехода, им овладели мрачные мысли: он начал оплакивать судьбу Кристофа и собственную горькую участь; сжимая мальчика в объятиях, так что тот чуть не задышался, он осыпал его поцелуями и поливал слезами; а под конец стал баюкать, как младенца, и громко затянул «De Profundis»¹. Кристоф не делал попыток высвободиться: он оцепенел от страха и отвращения. В нос ему было винным перегаром и зловонной отрыжкой, все лицо было мокро от пьяных слез отца и его слюнявых поцелуев; он задышался, его тошнило. Он хотел закричать, но ни один звук не вылетел из его горла. Этот кошмар продолжался, как ему казалось, целую вечность; вдруг растворилась дверь, и вошла Луиза, неся в руках корзину с бельем. Она вскрикнула, уронила корзину, бросилась к Кристофу и с неожиданной силой вырвала сына из объятий Мельхиора.

— Ах ты! — закричала она. — Мерзкий пьяница!

Глаза ее пылали гневом.

Кристоф подумал, что отец убьет ее. Но Мельхиора так поразил грозный вид жены, что он даже не пикнул, а потом ударился в слезы. Он валялся на полу, колотясь головой о стулья, причитая и всхлипывая: да, да, она права, он мерзкий пьяница, он разорил семью, пустил детей по миру, лучше ему умереть! Луиза с презрением отвернулась. Она унесла Кристофа в другую комнату, ласкала его, старалась утешить. Но мальчик только дрожал и на все ее расспросы не отвечал ни слова; потом вдруг разразился рыданиями. Луиза обмыла ему лицо, нежно его уговаривала, плакала вместе с ним. Наконец, оба успокоились. Луиза опустилась на колени, поставила Кристофа рядом с собой. Они стали молиться: дай, господи, чтобы папа исцелился от этого отвратительного порока и опять стал таким же добрым и хорошим, каким был раньше! Луиза уложила мальчика в постель; он умолял ее не уходить, поддержать его за руку. И она пол-

¹ Из глубины, из бездны (лат.) — начало известного псалма «De Profundis clamo...» — *Прим. ред.*

ночи просидела с ним: у Кристофа сделался жар, он бредил. А в комнате рядом храпел Мельхиор, растянувшись на полу.

Вскоре после этого с Кристофом в школе случилась неприятность. Он не был примерным учеником и заслужил нелюбовь учителя, так как двух минут не мог посидеть смиренно и никогда не учил уроков. Действительно, в классе он занимался главным образом тем, что разглядывал мух на потолке или толкал в бок соседа, стараясь спихнуть его с парты; там, где сидел Кристоф, вечно слышался смех. Но однажды спихнули его самого; он шлепнулся на пол, и учитель, распекая его, позволил себе намекнуть на некое всем в городе известное лицо, по чьим стопам Кристоф, повидимому, намерен следовать. Дети расхохотались, и кое-кто поспешил уточнить этот намек в весьма ясных и далеко не учтивых выражениях. Кристоф поднялся на ноги, весь красный от стыда, схватил чернильницу и запустил в голову первому, на чьем лице увидал усмешку. Учитель налетел на него с кулаками; Кристофа высекли, поставили в угол, задали в наказание двойной урок.

Он вернулся домой бледный и молчаливый, скрывая ярость, и объявил, что больше в школу не пойдет. На его слова не обратили внимания. Но когда на следующее утро мать напомнила ему, что пора уже идти, он совершенно спокойно ответил:

— Я же сказал, что не пойду!

Тщетно Луиза усовещивала его, бранилась, грозила — ничто не помогало. Кристоф сидел в углу, упрямо сдвинув брови. Мельхиор исколотил его без пощады; Кристоф отчаянно ревел, но после каждой трепки — а отец несколько раз принимался за него — он на все уговоры отвечал с еще большей злобой: «Нет!» Его просили хоть объяснить, почему он не хочет; он стискивал зубы и молчал. Наконец, Мельхиор сгреб его в охапку, насильно отнес в школу и усадил за парту. Тогда Кристоф принялся не спеша приводить в негодность все, что было у него под рукой: разбил чернильницу, сломал перо, изорвал учебник и тетрадки — все это он делал в открытую, вызываяще глядя на учителя. Его заперли в тем-

ный карцер. Немного погодя учитель зашел туда и увидел, что Кристоф, обмотав шею платком, изо всех сил тянет за концы: он хотел удавиться.

Пришлось отослать его домой.

Кристоф был вынослив, как все Крафты. От отца и деда он унаследовал могучее здоровье. В семье вообще не принято было нежничать: здоров ты или болен — жаловаться не полагалось, и никакая сила в мире не могла, кажется, заставить Мельхиора и Жан-Мишеля отступить от раз установленных привычек. Они выходили в любую погоду, и летом и зимою; часами мокли под дождем или жарились на солнце, не устаивая даже запахнуть воротник или покрыть голову, то ли по небрежности, то ли из молодечества; вышагивали, без всяких признаков усталости, мило за милей и с презрительным сожалением смотрели на бедную Луизу, которая не смела ничего сказать, но то и дело останавливалась, бледная, как полотно, — ноги у нее распухали, а сердце, казалось, готово было выскочить из груди. Кристоф почти что разделяя их пренебрежение к матери: сам он просто не понимал — что это такое быть больным; и если ему случалось упасть, ушибиться, порезаться, обжечься, он не плакал, а только злился, как на врага, на причинивший ему боль предмет. Грубость отца и маленьких товарищей Кристофа — уличных мальчишек, с которыми он дрался, — послужила ему хорошей закалкой. Он привык стойко переносить удары и нередко являлся домой с разбитым в кровь носом и шишками на лбу. Один раз Кристофа даже пришлось спасать: его вытащили из свалки еле живого, ибо противник, насеив сверху, в упоении колотил его головой о мостовую. Все это Кристоф находил в порядке вещей и всегда готов был на удар ответить ударом.

И вместе с тем он многого боялся. Правда, никто об этом не знал. Кристоф был очень горд и скорее бы умер, чем выказал себя трусом, но долгое время — несколько лет подряд — его детство было омрачено постоянными страхами. Особенно тяжелы были два-три года: страх мучил его тогда, как болезнь.

Его пугало то неведомое, что таится в темноте, злые

силы, подстерегающие все живое, чудовища и уроды, чей фантастический образ ребенок с трепетом носит в своем мозгу и невольно примешивает ко всему, что видит. Быть может, то всплывали в нем последние остатки древней, вымершей фауны или вновь оживала память о призраках, терзающих младенца в первые дни по выходе из небытия, о снах в плену материнского лона, о пробуждении зародыша в недрах материи.

Он боялся, например, двери на чердак. Она открывалась на лестницу и почти всегда стояла полуотворенная. Когда надо было пройти мимо, сердце у Кристофа начинало колотиться. Он бросался бегом и прыгал через три ступеньки. Ему казалось, что кто-то или что-то гонится за ним. А в те дни, когда дверь бывала закрыта, он ясно слышал, через форточку для кошек, что там внутри что-то шевелится. И не удивительно — на чердаке было полно крыс. Но Кристоф представлял себе нечто совсем иное — скелет с клочьями мяса на костях, лошадиную голову, глаза, от взгляда которых можно умереть. Он не хотел об этом думать, но ему думалось против воли. Дрожащей рукой он пробовал, хорошо ли задвинута задвижка; и хотя знал, что запор надежен, все же десять раз оборачивался, пока спускался по ступенькам.

Он боялся ночью выходить из дому. Ему случилось иногда допоздна задерживаться у дедушки, а иногда его вечером посылали к старику с каким-нибудь поручением. Старый Крафт жил на отлете, в крайнем доме на шоссе по дороге в Кельн. От последних освещенных окон города надо было пройти еще шагов триста; Кристофу это расстояние казалось вдвое больше. В одном месте дорога делала поворот, тут даже городские огни пропадали из виду. Кругом были только пустынные поля; в сумерках земля становилась черной, небо злое еще бледным. Когда кончались кусты, росшие по краям дороги, и Кристоф поднимался на пригорок, впереди низко над горизонтом еще тлели желтые отблески заката. Но этот свет ничего не освещал: он давил на сердце хуже любого мрака, и темнота от него делалась еще гуще, — это был какой-то похоронный свет. Тучи нависали над самой землей. Кусты становились огромными; в них что-то шевелилось. Голые деревья походили на уродливых стариков. Белые

придорожные столбики тускло отсвечивали, как саван на покойнике. Тьма оживала. В канавах, притаившись, сидели гномы, в траве вспыхивали искры, что-то проносилось в воздухе, что-то стрекотало, потрескивало то тут, то там, не поймешь где. Кристоф каждый миг ожидал увидеть что-то ужасное, противное всем законам естества. Он пускался бежать со всех ног, и сердце у него билось, как птица в клетке.

Завидев свет в окнах у дедушки, он успокаивался. Но иногда оказывалось, что старый Крафт еще не вернулся. Это было хуже всего. В ветхом доме, затерянном среди полей, на Кристофа даже и днем иной раз находила жуть. Он не боялся, когда дедушка был дома, но иногда старик куда-нибудь отлучался, не сказавшись Кристофу. Мальчик не сразу это замечал. Комната выглядела так мирно. Всюду давно знакомые, привычные предметы. Широкая кровать из некрашеного дерева; на полочке у изголовья большая библия; на камине букетики бумажных цветов и выстроившиеся в ряд фотографии обеих жен старого Крафта и его одиннадцати детей; под каждой старик записал даты рождения и смерти того, кто был на ней изображен. По стенам в рамках стихи из священного писания и две плохие литографии — Моцарт и Бетховен. В одном углу кабинетный рояль, в другом виолончель; несколько полок — и на них книги, в большом беспорядке; развешенные на крючках трубки; на подоконнике горшки с геранью. Казалось, тебя со всех сторон окружают друзья. В комнате рядом слышались шаги дедушки; он что-нибудь строгал или приколачивал, а иногда разговаривал сам с собой, обзывал себя дураком, басистым голосом напевал вперемежку отрывки из хоралов, сентиментальные *Lieder*¹, воинственные марши и застольные песни. Кристоф чувствовал себя в безопасности. Он сидел в большом кресле у окна с книгой на коленях и рассматривал картинки. День угасал, становилось все темнее; под конец Кристоф уже не глядел в книгу: он грезил бог весть о чем с открытыми глазами. Издалека с дороги доносилось тарахтенье телеги; на лугу мычала корова. В городе устало и сонно начинали зво-

¹ Песни (нем.).

нить к вечерне колокола. Неясные желания, смутные предчувствия вставляли в сердце замечтавшегося ребенка.

Вдруг Кристоф пробуждался от грез, охваченный беспокойством. Он поднимал глаза — темно! Он прислушивался — тишина! Значит, дедушка ушел. Давно или только сейчас? Дрожь пробегала по спине Кристофа. Он выглядывал в окно: может быть, дедушка не успел еще уйти далеко? Но дорога была пуста. И тотчас все знакомые предметы принимали угрожающий вид. Господи! А вдруг оно войдет! Что? Кристоф и сам не знал. Но что-то ужасное. Ни одна дверь в доме толком не запиралась. А на лестнице уже слышался легкий треск, как будто скрипнула ступенька под чьими-то шагами. Кристоф вскакивал одним прыжком, перетаскивал кресло, оба стула и стол в самый укромный угол комнаты. Он сооружал из них ограду — кресло к стене, слева один стул, справа другой, спереди стол. Посередине он ставил стремянку и забирался на самый верх, захватив ту книгу, которую читал, и еще несколько других, как боеприпасы на случай осады. Тут он вздыхал свободнее, ибо у него был уговор с самим собой, правило, созданное его ребяческим воображением: он свято верил, что враг ни за что не посмеет переступить за ограду. Это ему не дозволено.

Но враг иногда появлялся из книги, которую Кристоф держал в руках. Среди ветхих книжиц, без разбору накупленных старым Крафтом, попадались иллюстрированные; и некоторые из этих иллюстраций произвели неотразимое впечатление на Кристофа: они и притягивали его и страшили. Сюжеты были самые фантастические: каксе-нибудь искушение святого Антония — одна из тех странных картин, на которых птичьи скелеты гадят в графины, в распоротых лягушечьих животах копошатся, как черви, мириады зародышей, отрезанные головы выступают на звериных лапах, толстые зады играют на трубе, а кухонная утварь и трупы животных шествуют торжественным шагом, драпируясь в простыни, и приседают в глубоком реверансе, словно старые дамы. Эти картинки внушали Кристофу отвращение, но его так и тянуло еще раз поглядеть — и отвращение только усиливало соблазн. Он подолгу их рассматривал и

одновременно косился на занавеску: не шевелится ли она, не прячется ли что-то там, в складках? Но еще омерзительнее был рисунок в анатомическом атласе, изображавший ободранного человека. Кристоф не решался перевернуть страницу, когда подходил в книге к этому месту. Грубо раскрашенная схема приобретала для него необычайную живость; творческое воображение, присутствующее детям, дополняло недостатки рисунка. Кристоф не видел разницы между этой пакостней и действительностью. Ночью, во сне, эти немудреные изображения вставали перед ним с большей яркостью, чем все увиденное за день.

Он боялся заснуть. Несколько лет подряд страшные сны отравляли ему ночной отдых. Он блуждал по бесконечному, тесному подземелью; вдруг в слуховое окно просовывался ободранный человек и корчил ему отвратительные гримасы. Или же он сидел один в комнате; вдруг в коридоре раздавался шорох шагов, — Кристоф бросался к двери, он успевал еще ухватиться за ручку, но кто-то стоял по ту сторону, кто-то тянул дверь к себе; Кристоф никак не мог повернуть ключ, руки у него слабели, он звал на помощь — ему хорошо было известно, кто стоит за дверью, кто хочет войти! Или он был дома среди своих; вдруг лица их искажались, они начинали проделывать самые невероятные вещи... Или же он спокойно сидел читая; внезапно он чувствовал, что он не один — что-то копошилось вокруг... Он хотел бежать — руки и ноги у него были связаны; хотел закричать — рот у него был заткнут. Чья-то омерзительная рука сжимала ему горло. Он просыпался задыхаясь, стуча зубами, и долго еще дрожал, как в лихорадке: даже пробуждение не освобождало его от страха.

Он спал с братьями в тесном чуланчике без окон и двери; старая занавеска на железном пруте отделяла их угол от спальни родителей. В спертom воздухе было трудно дышать. Братья, спавшие в одной с ним постели, брыкались во сне. Голова у Кристофа горела; не сон, а какое-то лихорадочное полузабытьe овладевало им: все дневные заботы и огорчения возвращались удесyтеренные, чтобы снова его мучить. В этом напряженном состоянии, близком к кошмару, малейший звук причинял

ему боль. Треск половицы пугал его до дрожи. Сонное дыхание отца становилось все громче, громче, раскатывалось по всей комнате — и Кристоф холодел от страха: это уже не человек дышал, нет, там в углу притаилось какое-то страшное животное. Ночная темнота давила Кристофа; казалось, этому не будет конца, утро никогда не наступит, он уже целые месяцы лежит во мраке. Задышавшись, он приподнимался в постели, садился, отирал рукавом рубашки мокрый от пота лоб. Иногда он толкал Рудольфа в надежде, что тот проснется, но братишка только что-то бурчал сквозь сон, стаскивал с Кристофа последний уголок одеяла и засыпал еще крепче.

Так продолжалось, пока на пол из-под края занавески не ложилась тусклая, чуть светлеющая во мгле полоска. Это первое, робкое предвестие далекой еще зари проливалось мир в душу Кристофа. Он улавливал эту смутную белизну, когда еще ничей глаз не смог бы отличить ее от тени. И тотчас лихорадка начинала спадать, биение крови утихало, как будто вышедшая из берегов река мирно возвращалась в свое русло. По всему телу разливалось ровное тепло, воспаленные от бессонницы веки смыкались сами собой.

Но вечером он опять со страхом ждал часа, когда надо будет ложиться спать. Он решал про себя, что ни за что не поддастся сну, что будет бодрствовать всю ночь — что угодно, только не переживать опять эти ужасы! Но усталость брала свое, и, как раз когда он меньше всего ожидал, на него вновь набрасывались чудовища.

О, грозная ночь! Столь мирная для большинства детей, но для иных столь мучительная! Кристоф боялся заснуть. И боялся не засыпать. Во сне ли, наяву ли под покровом ночи его обступали безобразные видения, призраки, порожденные его собственным мозгом, таинственные страшилища, населяющие предрассветный сумрак детства, так же как населяют они мрачную полутьму болезни.

Но вскоре пришел для Кристофа час, когда все эти возбуждаемые страхи отступили перед страхом величайшим, тем, который грызет всех людей и который мудрость тщетно силится отрицать или забыть, — перед страхом Смерти.

Однажды, когда Кристоф зачем-то рылся в шкапу, под руку ему попались две вещицы, которых он еще не видал, — детское платьице и полосатая шапочка. Он с торжеством принес свою находку матери, но Луиза, вместо того чтобы улыбнуться, строго приказала ему положить все обратно. Кристоф не сразу послушался: он стал спрашивать, почему эти вещи нельзя трогать; тогда мама, не отвечая, вырвала их у него из рук и спрятала на самую верхнюю полку, куда он не мог дотянуться. Это разожгло его любопытство, и он до тех пор приставал к матери, пока она, наконец, не объяснила, что платьице и шапочка принадлежали маленькому братцу, который умер еще до того, как Кристоф родился. Кристоф был очень удивлен: он даже никогда не слышал об этом маленьком братце. Помолчав с минуту, он опять принялся за расспросы. Мама отвечала как-то рассеянно, но рассказала все-таки, что маленького братца тоже звали Кристофом, только он был куда умнее и послушнее. Кристоф спрашивал еще и еще, но маме, видно, не хотелось говорить: она ответила только, что сейчас братик на небе и молится за всех родных. Больше Кристоф от нее ничего не добился. Под конец она даже прикрикнула на него: замолчи и не мешай работать! И склонилась над шитьем; вид у нее был озабоченный, она не поднимала глаз. Но немного погодя она посмотрела на Кристофа, который, надувшись, сидел в углу, улыбнулась и сказала: «Иди на улицу, играй...»

Этот случайный разговор глубоко взволновал Кристофа. Значит, у мамы был еще ребенок, еще один маленький мальчик, совсем как он, и звали его тоже Кристофом — и он умер! Что такое «умер», Кристоф ясно себе не представлял; он знал только, что это что-то страшное. И подумать только, что об этом другом Кристофе в семье никогда не говорили: он был совершенно забыт. Значит, и с ним так будет, если он умрет? Эта мысль еще грызла Кристофа, когда вечером все сели за стол и сам он вместе со всеми; он смотрел на них и видел, что они смеются, он слышал, как весело они разговаривают о всяких пустяках. Вот так же они будут болтать и смеяться, когда и он умрет! Кто бы подумал, что мама может быть такой бессердечной! Смеяться после

того, как у нее умер маленький сыночек! В эту минуту Кристоф ненавидел всех своих родных; ему до слез было жаль себя: он заранее оплакивал свою смерть. Вместе с тем ему о стольком хотелось расспросить маму! Но он не осмеливался: он помнил, как сердито она велела ему замолчать. Под конец он не выдержал. Когда он уже лег и Луиза пришла поцеловать его на ночь, он вдруг сказал: — Мама! Он тоже спал в этой кровати?

Луиза вздрогнула:

— Кто? — спросила она с деланным безразличием.

— Маленький мальчик... тот, что умер, — продолжал Кристоф, понизив голос.

Мать вдруг стиснула его в объятиях.

— Молчи, молчи! — вскрикнула она.

Голос Луизы дрожал. Кристоф, припав к груди матери, слышал, как сильно забилося у нее сердце. Мгновение оба молчали; потом мама сказала:

— Не надо об этом говорить, мой маленький... Никогда не надо. Спи спокойно... Нет, он не спал в этой кровати.

Она поцеловала Кристофа, и ему показалось, что щека у нее мокрая. Ах, если бы знать наверное!.. Ему стало немного легче: значит, мама все-таки горюет об умершем мальчике. Но через минуту он опять усомнился: из соседней комнаты донесся к нему голос матери — совсем спокойный, такой, как всегда. Что же правда: то, что сейчас, или то, что было минуту назад?.. Он долго ворочался в постели, не находя ответа. Ему хотелось, чтобы мать страдала — жалко, конечно, маму, но это так бы его утешило! Он бы не чувствовал себя таким одиноким. И он заснул, а на другой день уже не вспоминал о вчерашнем.

Неделю или две спустя один из мальчиков, с которыми Кристоф играл, не пришел в обычное время на улицу. Другой мальчик сказал, что он болен, и дети скоро привыкли к его отсутствию: оно имело объяснение, всё было очень просто. Но однажды вечером Кристоф лежал в постели; было еще не поздно; из закоулка, где стояла кровать, Кристоф видел свет в спальне. В дверь постучали — пришла соседка. Кристоф только в пол-уха слушал ее разговор с родителями — он по обыкновению

рассказывал себе какую-то историю; слова доходили до него урывками. Вдруг он услышал, как соседка сказала: «Он умер». Сердце у Кристофа остановилось: он сразу понял, о ком идет речь. Затаив дыхание, он стал прислушиваться. Отец и мать что-то говорили, изумлялись, жалели. Потом отец громко крикнул:

— Кристоф! Слышишь? Бедняжка Фриц умер.

Кристоф сделал над собой усилие и ровным голосом ответил:

— Да, папа.

Грудь его сжимало, как тисками.

Мельхиор рассердился.

— «Да, папа»! Больше тебе нечего сказать? Тебя это не огорчает?

Луиза, лучше понимавшая сына, шикнула на Мельхиора:

— Тсс. Не мешай ему спать!

Они заговорили тише. Но Кристоф все слышал — он был весь внимание, и ни одна подробность от него не ускользнула: как мальчик захворал — его болезнь называлась тифом, — как ему делали холодные ванны, как он бредил, как горевали родители. Кристоф едва дышал, какой-то комок застрял у него в горле; он дрожал, точно в лихорадке; эти страшные подробности неизгладимо запечатлелись в его сознании. Больше всего его потрясло то, что эта болезнь заразная, — значит, и он, Кристоф, может ее схватить и тоже умереть, как тот! Он похолодел от ужаса: ведь он брал Фрица за руку, когда они виделись в последний раз; и не дальше как сегодня он проходил перед самым их домом! Но он молчал, притворяясь спящим, чтобы не надо было говорить, и когда отец, проводив соседку, окликнул его: «Кристоф! Ты спишь?» — он не ответил. Он слышал, как Мельхиор сказал Луизе:

— Совершенно бессердечный ребенок!

Луиза ничего не ответила, но минуту спустя тихонько отдернула занавеску и поглядела на Кристофа. Он едва успел закрыть глаза и задыхать ровно — он помнил, что так дышали во сне его братья. Луиза отошла на цыпочках. А как ему хотелось ее позвать! Сказать, что ему страшно! Умолять, чтобы она его спасла или хоть успокоила! Но он боялся, что над ним станут смеяться, что

его назовут трусом; да кроме того он понимал, что никакие успокоения не помогут. И долго еще, час за часом, он лежал без сна, в невыносимой тревоге; он чувствовал, что болезнь уже заползает в него — вот заболела голова, вот уже давит сердце, и он твердил про себя в отчаянии: «Кончено, все кончено, я захворал, я умру! Умру!..» Раз он даже привстал в постели, тихонько позвал маму. Но мать и отец спали, и он не посмел их будить.

С этого дня все его существование было отравлено мыслью о смерти. Его мучили беспричинные нервные боли — стеснение в груди, колотье, удушье. И в самом ничтожном симптоме его расстроенное воображение видело предвестие конца, подкрадывающиеся шаги страшного зверя, который отнимет у него жизнь. Сколько раз он переживал предсмертные муки, сидя в двух шагах от матери, а она и не догадывалась! Ибо при всем своем малодушии Кристоф имел достаточно мужества, чтобы скрывать страх; его побуждали к тому самые разные чувства: гордость — он не желал ни у кого просить помощи; стыд — он не хотел признать себя трусом; любовь — ему жаль было беспокоить маму. Но про себя он думал: «Я болен, болен, на этот раз уж наверно, я тяжело заболел. У меня начинается ангина...» Где-то он услышал это название, и оно засело у него в памяти. «Господи! Только бы на этот раз не умереть!»

Кристоф был верующий мальчик. Он с готовностью принимал все, что ему внушала мать: что душа после смерти возносится к богу и, если она была праведной, идет в рай. Но эта перспектива скорее пугала его, чем привлекала. Ему не казалась завидной участь добрых детей, которых, по словам матери, бог в награду за хорошее поведение призывает к себе во время сна и без страданий берет на небо. Засыпая, он всякий раз дрожал от страха: а что, если богу придет в голову призвать его, Кристофа! Как это, должно быть, страшно — вдруг вырвут тебя из теплой постельки и потащат через необозримые пространства, а потом поставят перед лицом божьим! Бога он представлял себе в виде огромного солнца с громовым голосом; стоять перед ним, наверно, очень больно! От него, наверно, пышет огнем — и глаза тебе спалит, и уши, и самое сердце. А кроме того, бог

ведь может и наказать; разве наперед угадаешь!.. К тому же это вознесение на небо не исключало всех прочих ужасов, которых Кристоф подробно не знал, но о которых догадывался по разговорам взрослых: тело твое полагат в ящик и опустят в яму, и будешь там лежать в тесноте, среди других могил, на этом противном кладбище, куда Кристофа иногда водили молиться... Господи! Господи! Как это грустно — умирать!..

Правда, и жить было невесело: вечно ходить голодным, видеть пьяного отца, терпеть побои, всячески мучиться — от злых шуток других детей, от оскорбительного сожаления взрослых — и не находить ни в ком понимания и сочувствия, даже в собственной матери. Каждый старается тебя унижить, никто тебя не любит, ты всегда один, один, тебя ни во что не ставят! Да, но именно это и пробуждало в нем жажду жизни. Гнев закипал в нем, и в гневе он черпал силу. Странная это была сила! Она еще ничего не могла, она казалась какой-то далекой, связанной, скованной, оцепенелой: Кристоф не знал, ни чего она хочет, ни чем станет в будущем. Но она была в нем — это он знал; он чувствовал, как она бурлит и клокочет. Завтра, завтра она всем им покажет! Он бешено хотел жить, чтобы отомстить за все свои страдания, за все несправедливости — покарать злых, совершить великие подвиги. «Ах, только бы дожить до... — тут он на мгновение задумывался, — до восемнадцати лет!» Иногда он увеличивал срок: «До двадцати одного года!» Это уже был предел. Кристоф считал, что этого ему хватит, чтобы покорить мир. Он вспоминал своих любимых героев — Наполеона и другого, более отдаленного во времени, но более близкого его сердцу — Александра Великого. Он тоже станет таким, как они, только бы прожить еще двенадцать лет... пусть даже десять! Тех, кто умирал в тридцатилетнем возрасте, Кристоф нисколько не жалел. Это уже старики; вон им сколько было отпущено жизни! Если она им не удалась, значит сами виноваты. Но умереть сейчас — какая обида! Исчезнуть, когда ты еще совсем маленький, навсегда остаться в людской памяти несчастным мальчишкой, которого всякий мог бранить и попрекать! Кристоф плакал от ярости, как будто жизнь его уже была кончена.

Этот ужас перед смертью преследовал его долгие годы — большую часть детства, и только отвращение к жизни, мысль о беспросветном ее унынии умеряла по временам терзавший его страх.

Но среди этого гнетущего мрака, как раз тогда, когда с каждым часом все теснее смыкалась вокруг угрюмая тень, перед Кристофом, как звезда, затерянная в ночи, впервые забрезжил свет, который должен был озарить всю его жизнь: божественная музыка...

Дедушка подарил своим внукам рояль. Это была старая рухлядь, которую ему даром отдали в каком-то богатом доме, только бы сбыть с рук; но старый Крафт, затратив уйму терпения и изобретательности, ухитрился кое-как подлечить калеку. Подарок деда не вызвал больших восторгов. Луиза жаловалась, что в комнате и без того было тесно, а теперь уж и вовсе не повернешься; Мельхиор заметил, что папенька любит дарить так, чтобы себе не в убыток. Разве это рояль? Дрова! Один только Кристоф, сам не зная почему, обрадовался новому пришельцу. Рояль представлялся ему волшебной шкатулкой, битком набитой чудесными историями, вроде той книги сказок, — томика «Тысячи и одной ночи», — из которой Жан-Мишель иногда читал ему вслух две-три странички, равно восхищавшие и дедушку и внука. Еще в первый день, как только рояль привезли, Мельхиор присел к нему, чтобы попробовать звук, — и Кристоф услышал, как из-под пальцев отца пролился вдруг мелкий дождь арпеджий, словно те блестящие капли, что осыпаются с мокрых после ливня ветвей, когда их встряхнет порывом теплого ветра. Кристоф забил в ладоши и крикнул: «Еще!» — но Мельхиор с презрением захлопнул крышку и объявил, что рояль никуда не годится. Кристоф не посмел настаивать — только с этого дня он бродил словно привороженный вокруг рояля и, стояло взрослым отвернуться, тихонько поднимал крышку и осторожно нажимал клавишу — так, бывало, он тыкал пальцем в зеленый кокон какого-нибудь крупного насекомого, чтобы посмотреть, что оттуда выползет. Иногда второпях он ударял слишком сильно; тогда мать кричала на него:

— Да посиди ты, наконец, спокойно! Все тебе надо руками трогать!

А случилось, что, захлспывая крышку, он больно прищемлял себе палец и корчил жалобные гримасы, по-сасывая ушибленное место...

Теперь он радовался, когда мать уходила из дому — в город ли за покупками, или на работу, — она попрежнему нанималась иногда кухарить. Кристоф чутко прислушивался к ее шагам: вот они на лестнице, вот уже на улице... Вот их уже не слышно. Он один. Он открывает рояль, подтаскивает стул, взбирается на сидение; подбородок его приходится чуть повыше клавиш — ничего, хорошо и так. Зачем ему нужно быть одному? Ему не запретили бы играть, лишь бы не очень громко; но ему стыдно перед другими, при них он не смеет. И потом, когда кто-нибудь дома, в комнате ходят, разговаривают — это портит все удовольствие. Совсем другое дело, когда ты один, — как тогда хорошо!.. Кристоф даже старается не дышать, чтобы стало еще тише, да и кроме того ему немножко теснит грудь от волнения, как будто он готовится выстрелить из пушки. С бьющимся сердцем он кладет палец на клавишу, отнимает его, не нажав до конца, кладет на другую... Какую выбрать? Что скрыто в этой? А что вон в той?.. Внезапно рождается звук — иногда он низкий, иногда высокий, иногда звенит, как стекло, иногда раскатывается, как гром. Кристоф подолгу вслушивается в каждый, он следит за тем, как постепенно затихают и гаснут звуки... При этом они словно бы колеблются, стансвятся то громче, то слабее, как колокольный звон, когда его слышишь где-нибудь в поле и ветром его то наносит прямо на тебя, то относит в сторону. А если хорошенько прислушаться, то там, в глубине, можно различить еще и другие голоса — они переплетаются, порхают, выются, как рой мотыльков, они словно зовут, увлекают тебя куда-то... все дальше, дальше... в ту таинственную даль, где они тонут и замирают... Исчезли... Нет! Еще слышен их лепет... Биение крыльев... Как все это странно! Они — точно духи. А вместе с тем они повинуются тебе: сидят вот запертые в этой старой коробке! Нет, это просто удивительно!

Но лучше всего получается, когда положишь один палец на одну клавишу, а другой на другую и нажмешь обе сразу. Никогда нельзя наперед сказать, что из этого выйдет. Иногда эти два вызванных духа оказываются врагами: они сердятся, дерутся, ненавидят друг друга, они обиженно ворчат; их голос превращается в крик, порою гневный, порою жалобный. Кристофу это страшно нравится: ему чудится, что это два скованных чудовища грызут свои цепи и бьются в стены своей тюрьмы — вот сейчас они сбросят путы и вырвутся на свободу, как те джины, о которых говорится в арабских сказках, — могучие духи, запертые в ларец и запечатанные печатью Соломона. А другие как будто хотят подольститься к тебе, они ласкаются, заигрывают, но чувствуешь, что они вот-вот укусят — какие-то они беспокойные. Кристоф не понимает, чего они хотят, но они и привлекают его и тревожат — он даже слегка краснеет от смущения. А есть звуки, которые любят друг друга: они обнимаются и целуются, как люди; они ласковые и прелестные. Это хорошие духи; у них нежные, смеющиеся лица, без единой морщинки; они любят маленького Кристофа, и Кристоф их любит; он слушает их со слезами на глазах и готов вызывать их снова и снова. Это его друзья, дорогие, любимые друзья...

Так бродит ребенок в чаще звуков, ощущая вокруг себя тысячи неведомых сил, которые манят его и подстерегают — то ли чтобы приласкать, то ли чтобы поглотить...

Однажды Мельхиор застиг его за этим занятием. Кристоф даже подскочил на стуле, услышав вдруг над собой громкий голос отца, и поспешно закрыл руками уши — его ведь всегда драли за уши, когда ему случилось в чем-нибудь провиниться. Но, против ожидания, его не разобрали; наоборот, отец смотрел на него с любопытством, добродушно посмеиваясь.

— Ишь ты! — сказал Мельхиор и ласково потрепал сына по голове. — Значит, это тебе интересно, а, малыш? Хочешь, я поучу тебя играть?

Хочет ли он!.. Кристоф пролепетал: «Да!» — не помня себя от радости. Оба уселись рядом, — отец предварительно положил на стул Кристофа несколько толстых книжек — и начался первый урок. Вряд ли у Мельхиора

был когда-нибудь такой внимательный ученик. Кристоф ловил каждое его слово. Он узнал в первую очередь, что эти говорливые духи имеют названия: у них были странные имена, как у китайцев, — из одного слога, даже из одной буквы. Это очень удивило Кристофа; он представлял себе их прозвища совсем другими — звучными и красивыми, как у принцесс в сказках. И ему не нравилось, что отец так запросто говорит о них. Впрочем, и сами духи, когда их вызывал Мельхиор, были уже не те, что раньше; вылетая из-под его пальцев, они утрачивали таинственность. Все же Кристофу любопытно было услышать, что они находятся друг с другом в определенных отношениях, что у них своя иерархия; гаммы развешивались, словно армия с королем во главе или веренища шагающих гуськом негров. Он с удивлением узнал, что каждый солдат или каждый негр в свою очередь может стать монархом или вожаком в другой подобной же колонне, что можно даже выстроить их в целые батальоны и заставить маршировать из одного конца клавиатуры в другой. Его очень забавляло, что он держит в руках нить, управляющую их движением. Но все это было уже гораздо проще и ребячливее, чем то, что виделось ему раньше. Куда девался его волшебный лес! Скучно ему все же не было, и он усердно трудился, дивясь про себя терпению отца. Тому не лень было по десять раз заставлять Кристофа проигрывать одно и то же. Это растрогало мальчика. Вот ведь как папа для него старается! Значит, он его любит? Какой он добрый! И Кристоф сам старался изо всех сил: благодарность переполняла его сердце.

Он был бы, пожалуй, менее послушным, если бы знал, какие мысли бродят в голове его учителя.

С этого дня Мельхиор стал брать Кристофа с собой, когда шел к соседу, с которым они три раза в неделю устраивали вечера камерной музыки. Мельхиор на этих вечерах исполнял партию первой скрипки, Жан-Мишель играл на виолончели. Кроме них участвовали еще двое — служащий банка и старый часовщик с Шиллерштрассе. Иногда к ним присоединялся аптекарь со своей флейтой.

Начинали в пять часов и играли до девяти. В промежутках пили пиво. Заходили соседи и молча слушали, прислонясь к стене, покачивая головой и притоптывая в такт; комната мало-помалу наполнялась клубами дыма. Музыканты играли страницу за страницей, пьесу за пьесой с неистощимым терпением. Они не разговаривали между собой: сморщив лоб, поглощенные игрою, они лишь изредка крякали от удовольствия, хотя, по правде говоря, не только не умели словами описать красоту того или другого произведения, но даже и почувствовать ее. Они играли не очень верно и не очень в такт, но никогда не сбивались и аккуратно соблюдали все оттенки, указанные в партитуре. Нельзя сказать, чтобы они были бездарны, но, невзыскательные к себе, они мирились на малом, и в их игре было то совершенство посредственности, которое не так уж редко встречается у представителей народа, прославившего самым музыкальным в мире. Отсюда же шел и неразборчивый их вкус, ценивший в музыкальной пьесе не столько ее достоинства, сколько размер, — тот солидный аппетит, для которого любое блюдо хорошо, было бы посытнее, та всеядность, которая не видит разницы между Брамсом и Бетховеном, а среди произведений одного композитора — между бессодержательным концертом и волнующей сонатой: ведь тот же повар их стряпал в конце концов!

Кристоф на этих вечерах держался в сторонке; он любил себе уголок позади фортепиано — там уж он знал, что никто ему не помешает; ему и самому-то приходилось становиться на четвереньки, чтобы туда пролезть. В этом закоулке было темно; сидеть можно было только на полу, да и то скорчившись — иначе не хватало места. От табачного дыма ело глаза и першило в горле, и от пыли тоже: она висела тут большими хлопьями, похожими на овечью шерсть; но Кристофу было все равно: он сидел, поджав ноги по-турецки, проковыривал грязным пальчиком дырки в парусиновой задней стенке инструмента — и слушал. Не все, что играли, ему нравилось, но над этим он не задумывался, ибо считал, что он еще маленький и, наверно, просто не понимает, тем более, что скучно ему никогда не бывало. В одних случаях музыка его усыпляла, в других пробуждала, но слушать все

равно было приятно. Сам он, конечно, не отдавал себе в том отчета, однако именно хорошая музыка обычно приводила его в волнение. Он принимался гримасничать — благо его никто не видел! — морщил нос, стискивал зубы, высовывал язык, свирепо тарашил глаза или томно их закатывал, с вызовом или с угрозой потрясал кулаками. Ему хотелось маршировать, сражаться, обратить земной шар в пепел. Он поднимал такую возню, что, случалось, чья-нибудь голова появлялась над фортепиано, и слышался голос:

— Что с тобой, малыш, ты с ума сошел! Оставь фортепиано в покое! Убери руки! Вот я тебе сейчас уши надеру!

Кристоф затихал пристыженный и сердитый. Почему люди всегда стараются испортить тебе удовольствие? Он ничего плохого не делал, а к нему вечно придираются! И отец с ними заодно. Кристофа корили за то, что он шумит, за то, что он не любит музыки. В конце концов он и сам этому поверил. Как удивились бы эти честные чиновники, готовые часами перемалывать концерты, если бы им сказали, что из всех собравшихся только один умел по-настоящему чувствовать музыку — этот вот маленький мальчуган!

Если хотят, чтобы он сидел смирно, зачем ему играют мелодии, от которых так и подмигивает вскочить? В этих нотных страничках заключено так много — бешеный стук копыт, звон шпага, воинственные клики, упоение победой, а взрослые хотят, чтобы он сидел, как они, покачивая головой и мерно отбивая носком такт! Тогда пусть играют что-нибудь тихое и мечтательное или одну из тех болтливых страничек, которые всё что-то говорят, говорят, да так в конце концов ничего и не скажут, — ну хоть ту пьесу Гольдмарка, про которую старый часовщик недавно говорил с довольной улыбкой:

— Прелестно! Ни одного острого угла... Все закруглено...

Такая музыка не мешала Кристофу сидеть спокойно. На него находила дрема. Он уже не замечал, что играют, а потом и совсем переставал слышать. Но ему было хорошо: истома обволакивала его тело, он отдавался мечтам.

Эти мечты не представляли собою связанных историй, — обычно у них не было ни начала, ни конца. По временам возникал какой-нибудь образ: мама на кухне готовит пирожное и счищает ножом пристающие к пальцам кусочки теста; водяная крыса, которую Кристоф вчера видел на реке; ветка ивы, из которой он хотел сделать себе кнутик... Бог весть почему всплывали вдруг эти воспоминания! Но чаще всего он ничего не видел, зато бесконечно много чувствовал. Вдруг что-то поднималось в душе — очень важное, но такое, что нельзя выразить словами, да и не нужно — и так понятно! Что-то, что было всегда и что Кристоф всегда знал... Иногда на него находила глубокая грусть, но в этой грусти не было ничего безобразного, грязного, мучительного — совсем не так, как в жизни, когда он получал пощечины от отца или, корчась от стыда, вспоминал о каком-нибудь пережитом унижении; от этой грусти в сердце водворялось меланхолическое спокойствие. А иногда его охватывала радость, словно в душе разливался свет — и Кристоф думал: «Да, да, это так... вот так когда-нибудь и я сделаю!» Он не сумел бы объяснить, что он понимает под этим так и почему он это говорит, но ему самому все было ясно, как божий день, и почему-то непременно надо было это сказать. Он словно слышал рокот моря: оно было совсем рядом, за узкой полоской дюн. Что это за море, чего оно хочет, он не знал. Но он знал твердо, что когда-нибудь оно перехлестнет через все преграды — и тогда... Тогда все будет хорошо. Тогда он будет счастлив. Уже и сейчас, оттого только, что рядом звучал этот могучий голос, все мелкие огорчения и все обиды теряли свою злую власть; они еще печалили сердце, но уже не ранили и не оскорбляли; они казались естественными, в них даже была какая-то сладость.

Как ни странно, но часто именно посредственная музыка вызывала в нем это пьянящее чувство. Ее писали люди с мелкой душой, думавшие только о том, как бы заработать, или старавшиеся скрыть от себя пустоту собственной жизни; для этого они прилежно нанизывали ноты согласно установленным правилам или, если хотели быть оригинальными, против этих правил. Но в звуках, даже когда они выходят из-под пальцев глупца,

заключена такая сила жизни, что они могут поднять бурю в неискушенном сердце. И, может быть, видения, вызванные этой музыкой, даже более таинственны и более свободны, чем те, что навязывает нам мощная мысль гения, властно увлекающая нас за собой, ибо пустая болтовня и бесцельное движение не мешают духу углубляться в самого себя...

Так, забывая обо всем и забытый всеми, грезил Кристоф в своем тайнике за фортепиано, пока по онемевшим ногам у него не начинали бегать мурашки. Тогда, внезапно очнувшись, он словно видел себя со стороны: маленький мальчуган сидит в пыльном углу, обхватив руками колени, уткнувшись носом в стенку, и ногти у него грязные, и нос перепачкан в извештке.

В тот день, когда Мельхиор, войдя на цыпочках, увидел Кристофа, сидящего на стуле перед слишком высокой для него клавиатурой, он не сразу окликнул сына: с минуту он молча наблюдал за ним, и за эту минуту его осенила блестящая мысль: вундеркинд! Как он раньше об этом не подумал! Ведь это сущий клад для семьи! Правда, Мельхиор всегда считал, что от мальчишки ждать нечего — вырастет деревенщиной, как его мать... Но отчего не попробовать? Попытка не пытка. А вдруг да выйдет! Тогда можно будет устроить турне по Германии, а то и за границей. Вот была бы жизнь! Веселая, и благородная при этом! Мельхиор всегда искал благородства в своих поступках и, поразмыслив, обычно находил.

Уверившись в возвышенности своих побуждений, он после ужина, не дав Кристофу доестъ кусок, снова усадил его за рояль и до тех пор заставлял повторять утренний урок, пока у мальчика глаза не стали слипаться от усталости. Назавтра опять — три раза. И послезавтра тоже. А дальше так и пошло — каждый день, без передышки. Кристофу эти уроки скоро надоели; потом стали вызывать смертельную скуку; наконец, он не вытерпел и взбунтовался. Зачем все это нужно — то, что его заставляют делать? Бегать как можно быстрее руками по клавишам, подвертывая большой палец, или без конца

упражнять безымянный, который никак не хочет подниматься отдельно от своих соседей, — что в этом красивого? Только устаешь до боли в висках. Где волшебные отголоски, таинственные духи, мир грез, который, бывало, приоткрывался перед ним в то мгновение, когда палец нажимал клавишу?.. Гаммы, упражнения, сухие, монотонные, скучные до слез, еще скучнее, чем разговоры за столом, а уж что, кажется, скучнее этих разговоров — каждый день одно и то же: все о еде, а и еда-то каждый день одна и та же... Кристоф стал невнимателен на уроках, получил нахлосбучку, но не исправился. На него посыпались тумачи — это его только озлобило. Последней каплей послужил подслушанный им как-то вечером из соседней комнаты разговор Мельхиора с Луизой, в котором отец излагал свои планы насчет карьеры Кристофа. Вот, значит, для чего его заставляют целый день перебирать эти костяшки — для того, чтобы потом показывать, как дрессированную собачку! Умирай вот тут от скуки! Даже на реку некогда сходить — проведать милые его сердцу уголки. Да что они все, сговорились, что ли, его мучить! Кристоф был возмущен: мало того, что держат взаперти, еще хотят сделать из него посмешище. Он решил, что больше не станет играть или будет играть так дурно, что отобьет у отца охоту с ним возиться. Конечно, придется пострадать, но надо же спасти свою независимость.

На следующем уроке он попытался привести свой план в исполнение. Он старательно ударял не по той клавише и делал все ошибки, какие мог придумать. Мельхиор стал кричать на него, потом орать от бешенства, потом пустил в ход линейку. На уроках у него всегда в руках была тяжелая линейка. При каждой фальшивой ноте Кристоф получал удар по пальцам, а над ухом у него гремел оглушительный голос отца — казалось, барабанные перепонки сейчас лопнут. Мальчик кривился от боли, кусал губы, чтобы не заплакать, но стоически продолжал мазать — только втягивал голову в плечи в предчувствии ударов. Но он избрал неправильную тактику — в этом он скоро сам убедился. Мельхиор был не менее упрям и поклялся, что не спустит ему ни одного промаха, хотя бы пришлось двое суток просидеть за роялем. Кроме того,

Кристоф переусердствовал: он не брал уже ни одной верной ноты, и Мельхиор скоро заподозрил неладное, видя, как маленькая рука нарочито неуклюже опускается на клавиши, всякий раз попадая не туда, куда надо. Лийкейка заработала еще быстрее. Кристоф от боли уже не чувствовал собственных пальцев. Он молчал, только плакал все горше, давясь рыданиями, захлебываясь и глотая слезы. Наконец, он понял, что так ничего не выйдет, и принял отчаянное решение. Он снял руки с клавиш и, заранее трепеща при мысли о том, какая сейчас разразится буря, храбро проговорил:

— Папа, я не хочу больше играть.

Мельхиор задохнулся от негодования.

— Что?.. Что?.. — закричал он и так дернул мальчику за руку, что чуть ее не вывихнул.

Кристоф, трясаясь от страха и наперед заслоняясь локтем, продолжал:

— Не хочу больше играть. Во-первых, потому, что не хочу, чтобы меня били. А потом...

Он не договорил. От оглушительной пощечины у него перехватило дыхание. Мельхиор закричал:

— Ах, ты не хочешь, чтобы тебя били? Ты не хочешь!

Удары посыпались градом. Кристоф вопил сквозь рыдания:

— А потом... я не люблю музыки!.. Я не люблю музыки!..

Он сполз со стула. Мельхиор насильно посадил его обратно, схватил за руки, стал колотить ими по клавишам. Он кричал:

— Будешь играть!

А Кристоф кричал в ответ:

— Не буду! Не буду!

Мельхиору не удалось его переупрямить. В конце концов, избив мальчика до полусмерти, он выбросил его из комнаты, прибавив в виде напутствия, что есть ему не дадут ни сегодня, ни завтра, — месяц будешь сидеть голодный, пока не проиграешь все упражнения, все до единого! И, поддав Кристофа ногой под зад, он захлопнул за ним дверь.

Кристоф очутился на лестнице, на хорошо знакомой ему темной и грязной лестнице с подгнившими ступеньками. Сквозь разбитое стекло тянуло сквозняком; стены слезились от сырости. Кристоф присел на липкую ступеньку; сердце у него колотилось от гнева и пережитых волнений. Он вполголоса ругал отца:

— Скотина! Вот ты кто! Скотина... грубиян... изверг... Да, да, изверг!.. Ненавижу тебя! Ненавижу!.. Чтоб ты скорее умер! Ах! Чтоб ты скорее умер!..

Ему все сильнее теснило грудь. С тоской оглядел он замусоренную лестницу, паутину над разбитым стеклом, качавшуюся от сквозняка. Один, один, никому не нужный, один со своим горем, словно в пустыне... Он заглянул через перила в пролет лестницы... Броситься туда?.. Или в окно?.. Убить себя, им назло? Вот тогда они пожалеют! Глухой удар от падения. Дверь наверху распадается. Встревоженные голоса: «Упал! Упал!» Бегут по лестнице. Мать и отец припадают к его телу. Мама рыдает: «Это ты виноват! Ты его убил, ты!» А он, отец, бьет себя в грудь, падает на колени, колотится головой о перила, кричит: «Я негодяй! Я негодяй!» Кристофу стало легче, когда он все это вообразил. Он даже чуть было не пожалел своих скорбящих родителей, но потом решил: нет, так им и надо! Он упивался мстью...

Но, кончив рассказывать себе эту драму, он опять увидел, что сидит в полутьме на лестнице. Заглянул еще раз вниз, и ему совсем не захотелось туда бросаться. Наоборот, по спине у него пробежал холодок, он отодвинулся подальше от края — вдруг упадешь! И тогда он окончательно понял, что он в плену: заперт, как птица в клетке, навсегда, без всякой надежды — и нет никакого выхода, кроме как разбить себе голову, а ведь это, наверно, очень больно! Он заплакал, и плакал долго. Слезы катились у него по лицу, он тер глаза грязными кулачками, так что в один миг весь перемазался. Но, хныча и всхлипывая, он все же поглядывал по сторонам, и то, что он видел, его невольно развлекало. На минуту его рыдания совсем утихли: паук шевельнулся в паутине, и Кристоф с любопытством следил за ним. Потом он опять принялся плакать, но уже не так безутешно. Он все еще ныл потихоньку и сам прислушивался к этому тягучему звуку,

забывая уже по временам, из-за чего собственно он плачет. Наконец, он встал: его тянуло к окну. Он уселся на подоконник, как можно дальше от края, искоса поглядывая на паука, который очень его занимал, хотя и внушал ему отвращение.

Внизу у самого дома протекал Рейн. Если смотреть из окна, казалось, что висишь прямо над рекой, покачиваясь в небе. Кристоф всегда выглядывал в окно, когда вприпрыжку спускался по лестнице. Но никогда еще он не видел реку так, как сейчас. Горе обостряет восприятие, как будто слезы вымывают из глаз пыль воспоминаний, и все зримое предстает с невиданной яркостью. Кристоф увидел теперь реку, как живое существо — загадочное, но насколько же более могущественное, чем все люди, которых он знал! Он нагнулся, чтобы лучше видеть, прижался губами и носом к стеклу. Куда она спешит? Зачем? Она неслась так свободно, как будто сама выбирала себе дорогу. Ничто ее не остановит. В любой час дня и ночи, тучи ли, солнце ли на небе, скорбь ли, веселье ли царит в доме, река течет мимо, вперед, вперед, не замедляя бега; ей дела нет до наших печалей, сама она не ведает горя, она наслаждается своей силой. Какое счастье быть, как она, бежать среди лугов, под ветвями прибрежных ив, по блестящей гальке, по светлому песку и не знать забот, не ощущать над собой ничьей власти — быть свободным!..

Кристоф с жадностью смотрел и слушал: ему казалось, что река уводит его за собой, что он уже странствует где-то далеко вместе с нею... Закрывая глаза, он видел переливы красок — синие, зеленые, желтые, красные; огромные тени пробегали над ним, вокруг растянулась сияющая гладь... Потом его видения стали более отчетливы. Вот широкая равнина, камыши, нивы, волнующиеся на ветру; оттуда веет запахом свежей травы и мяты. И цветы, всюду цветы — васильки, маки, фиалки. Какая красота! Какой чудный воздух! Как хорошо бы растянуться на мягкой густой траве... Кристофу весело, пожалуй он чуточку опьянел, как в праздники, когда отец давал ему отпить немножко рейнского вина из своего большого стакана... Но река течет дальше... И все кругом меняется... Теперь по берегам толпятся большие деревья,

низко склоняя ветви; узорчатые листья, словно крохотные ладони, окунаются в воду, плещутся, трепещут, переворачиваются под волной... Укрытая в зелени деревушка смотрится в реку. Кипарисы и кресты над белой оградой кладбища, которую лижут волны... А дальше скалы, теснина среди гор, виноградники на склонах, сосновая рощица, развалины старинных замков... Потом опять луга, нивы, птицы, солнце...

Огромный поток катит свои зеленые воды — сплошной, единый, как единая мысль, без ряби, без морщинки, отливая атласным маслянистым блеском. Кристоф не видит его — он закрыл глаза, чтобы лучше слышать. Немолчный гул реки заполняет его слух; у него кружится голова, его зовет, его уносит извечная властительная греза, стремящаяся неведомо куда. Из плеска волн рождаются быстрые ритмы, они взвиваются вверх с пламенным весельем. И по этим ритмам, как виноградная лоза по решетке, поднимаются мелодии: серебристые арпеджио рояля, жалобное пение скрипок, круглые, бархатные звуки флейт... Горы и луга исчезли, река исчезла. Кругом разливается какой-то странный, нежный, сумеречный свет. Сердце у Кристофа трепещет от волнения. Что это перед ним? О, какие прелестные лица!.. Темнокудрая девочка манит его, томно и лукаво усмехаясь... Бледный голубоглазый юноша задумчиво смотрит на него... Еще улыбки, еще глаза — любопытные, вызывающие... Кристоф краснеет под их взглядом — и добрые, печальные, как глаза собаки, и глаза, которые повелевают, и глаза, полные страдания... А эта женщина, без кровинки в лице, с черными как смоль волосами... Губы ее плотно сжаты, бездонные глаза впиваются в него с таким страстным вниманием, что от этого больно... Но вот та всех милее — та, с ясными серыми глазами, с полураскрытыми губками, меж которых белеют маленькие ровные зубы... Какая добрая, ласковая улыбка! От нее тает сердце. Как она радуется, какое дарит счастье! Еще! Улыбнись еще! Не уходи!.. Исчезла! Но в душе остается какое-то неизъяснимое блаженство, как будто нет уже больше на свете зла, нет печалей, ничего нет... Только легкий сон, безмятежная музыка — она плывет в солнечном луче, как паутинки по ветру в погожие летние

дни... Но что же это было? Чьи это лица, почему наполняют они Кристофа скорбным и сладким волнением? Он никогда их не видел, но они знакомы ему, он их узнает... Откуда же они возникли? Из каких темных бездн бытия? Из прошлого... или, может быть, из будущего?..

Но вот уже все тает... Стираются все ясные очертания. Еще раз сквозь пелену тумана, точно с огромной высоты, где ты паришь, как птица над землей, видна река в разливе, затопившая луга и поля, величавая, спокойная, почти неподвижная... А там, вдали, на горизонте, стальной блеск, водная ширь, гряда бегущих волн, — море! Река стремится к нему. Оно как будто бежит к ней. Оно зовет ее. Она покорствуется зову. Сейчас они сольются... Музыка нарастает, как буря, стремительные, плясовые ритмы взлетают и кружатся, все сметено их победным вихрем... Освобожденная душа уносится сквозь пространство, как опьяневшая от солнца ласточка, врезающаяся в небо с пронзительным криком... О, радость! Радость! Ничего больше нет!.. О, нескончаемое счастье!..

Прошел не один час, наступил вечер, на лестнице стало совсем темно. Пролился дождь; от его капель по гладкой одежде реки разбегались колечки, и волны, танцуя, уносили их с собой. Бесшумно проплывали сломанные ветки и черные куски коры, увлекаемые течением. Паук вдоволь напился крови и уполз отдыхать в самый темный угол. А маленький Кристоф все еще лежал, склоня голову на край окна, с блаженной улыбкой на бледном, перепачканном личике. Он спал.

Часть третья

Et la faccia del sol nascere ombrata...

Purg. XXX¹

Пришлось покориться. Кристоф героически сопротивлялся, но побой сломили в конце концов его упорство. Теперь каждое утро и каждый вечер он по три часа кряду просиживал перед орудием пытки. Скривившись от напряжения, изнывая от скуки, он играл, и крупные слезы скатывались по его щекам и по носу; красные ручки, окоченевшие от холода, — в комнате не всегда бывало тепло, — бегали по черным и белым клавишам; при каждой неверной ноте на пальцы Кристофа обрушивалась линейка, и над самым его ухом гремел зычный голос отца, что было для него еще мучительнее, чем удары. Он был убежден, что ненавидит музыку. Однако занимался он с таким рвением, которое нельзя было объяснить одним только страхом перед Мельхиором. Несколько слов, обретенных как-то дедушкой, глубоко запали ему в душу. Однажды, видя слезы Кристофа, старик сказал тем значительным тоном, какой всегда сохранял в разговорах с внуком: можно немного и пострадать ради того, чтобы овладеть прекраснейшим и благороднейшим из искусств, дарованных человеку для его утешения и для его славы. И Кристоф, всегда признательный дедушке за то, что тот говорил с ним, как со взрослым, втайне был тронут этим бесхитростным советом, так хорошо согласовавшимся с его ребяческим стоицизмом и нарождающимся честолюбием.

Но еще больше, чем все доводы рассудка, повлияли на него глубокие волнения, которые ему как раз об эту

¹ И солнца лик, поднявшись невысоко... (итал.)

Данте, «Божественная комедия», «Чистилище», песнь XXX. — *Прим. ред.*

пору довелось пережить в связи с музыкой; они-то окончательно покорили его и сделали на всю жизнь рабом этого ненавистного искусства, против которого он тщетно пытался взбунтоваться.

В их городе, как почти во всех городах Германии, имелся театр, в котором ставились оперы, музыкальные комедии, оперетты, драмы, водевили, одним словом все, что можно поставить на сцене, во всех родах и жанрах. Представления происходили три раза в неделю, от шести до девяти часов вечера. Жан-Мишель не пропускал ни одного и ко всем проявлял одинаковый интерес. Однажды он взял внука с собой. Еще за несколько дней до спектакля он во всех подробностях рассказал Кристофу содержание пьесы. Кристоф мало что понял; он уловил только, что будут происходить какие-то ужасы, и хотя ему очень хотелось все это посмотреть, в душе он порядком трусил. Он знал, что будет гроза, и боялся, как бы и его не спалило молнией; знал, что будет сражение, и не был уверен, что и его не убьют. Накануне вечером, ложась в постель, он уже дрожал от страха, а утром в день спектакля готов был молить бога, чтобы дедушке что-нибудь помешало и он бы не пришел. Но, по мере того как приближался назначенный час, — а дедушка, и правда, не шел, — Кристоф стал все больше волноваться и по минутно выглядывать в окно. Наконец, старик появился; они отправились. Сердце у Кристофа сильно билось, в горле так пересохло, что он не мог выговорить ни слова.

Они подошли к таинственному зданию, о котором так часто поминалось в разговорах домашних. У входа Жан-Мишель повстречал кого-то из знакомых, и Кристоф, судорожно цеплявшийся за дедушкину руку, чтобы, не дай бог, не потеряться, смотрел на них с изумлением: как это можно в такую минуту болтать о чем-то, да еще и смеяться?

Дедушка уселся на свое обычное место в первом ряду у самого оркестра и тотчас, опершись на балюстраду, затеял нескончаемый разговор с контрабасом. Тут он был в своей среде, тут его слушали со вниманием, уважая его многолетний музыкальный опыт, и старый Крафт этим пользовался, можно даже сказать — злоупотреблял. Кристоф ничего не слышал. Он был совершенно подав-

лен и собственным страхом в ожидании спектакля, и великолепием зала, который казался ему пределом роскоши, и многолюдством — эти сотни лиц повергали его в неистовое смущение. Он не смел повернуть голову: ему чудилось, что все смотрят на него; судорожно зажав между колен свой картузик, он не отрывал широко раскрытых глаз от волшебного занавеса.

Наконец, прозвучали три удара. Дедушка высморкался и достал из кармана либретто — он всегда так старательно следил за ходом действия по либретто, что забывал иной раз смотреть на сцену. Заиграл оркестр. При первых же аккордах Кристоф успокоился. В мире звуков он чувствовал себя, как дома, и с этой минуты, какие бы нелепости ни происходили на подмостках, ему уже все казалось естественным.

Поднялся занавес; за ним обнаружили картонные деревья и люди, тоже не слишком похожие на настоящих. Кристоф смотрел, разинув рот от восхищения, но ничто его не удивляло, хотя действие разворачивалось в самой непривычной для него обстановке — на некоем фантастическом Востоке — и вся пьеса представляла собой такое сплетение несуразиц, что разобраться в ней было невозможно. У Кристофа сразу все перемешалось в голове: он путал действующих лиц, принимал одного за другого, дергал дедушку за рукав и задавал ему нелепые вопросы, из которых видно было, что он ничего не понял. Но он не скучал, наоборот, никогда еще ему не было так интересно. Не считаясь с идиотическим либретто, он сочинял собственную повесть, не имевшую ничего общего с тем, что совершалось на сцене; театральное действие на каждом шагу противоречило его фантазиям, приходилось все пересочинять, но это не смущало Кристофа. Он уже облюбовал кое-кого среди этих странных существ, расхаживавших по сцене, что-то выкрикивая на разные голоса, и теперь следил, трепеща от волнения, за судьбой тех, кому подарил свое сочувствие. Особенно пленила его бо-соногая красавица не первой молодости с длинными ярко-золотистыми косами и глазами непомерной величины. Чудовищное неправдоподобие постановки ему не мешало, хотя он и не мог его не видеть острым своим детским зрением. Он не замечал ни безобразия актеров — мужчины,

как на подбор, все были долговязые и костлявые, а хохлики, и маленькие и большие, выстроившиеся в две шеренги, поражали своим уродливым сложением, — ни косматых париков, ни неестественных жестов, ни красных от натуги лиц, ни высоких каблучков тенора, ни примитивного грима своей избранницы-примадонны, у которой все лицо было исчерчено разноцветными гримировальными карандашами, словно покрыто татуировкой. Он был, как влюбленный, которому страсть не позволяет видеть любимый предмет таким, каков он есть в действительности. Чудесная власть иллюзии — этот счастливый дар детства — преображала безобразные впечатления, прежде чем допустить их в душу.

Музыка творила все эти чудеса. Она окружала все туманным ореолом — и все становилось прекрасным, благородным и желанным. Она будила в сердце страстную жажду любви, и она же утоляла эту жажду возникавшими отовсюду призраками любви, — создавала пустоту и сама помогала ее заполнить. Кристоф совсем растерялся от нахлынувших на него чувств. Иные слова, жесты, музыкальные фразы вызывали в нем трепет; он не смел поднять глаза, он уже не знал, хорошо это или дурно, он то краснел, то бледнел, капли пота выступали у него на лбу, и больше всего он боялся, как бы все эти собравшиеся в зале люди не заметили его волнения. Когда разразились неизбежные катастрофы, постигающие любовников в четвертом акте оперы, дабы дать случай тенору и примадонне пустить свои самые пронзительные рулады, Кристоф почувствовал, что задыхается; горло у него болело, как от простуды, он держался руками за шею и не мог проглотить слюну, глаза его переполнились слезами, руки и ноги стали холодными, как лед. К счастью, дедушка был не менее потрясен. Он переживал все происходящее на сцене с непосредственностью ребенка. В самых драматических местах он покашливал с напускным равнодушием, но Кристоф отлично видел, что дедушка тоже волнуется, и это его радовало. В зале была нестерпимая жара, Кристоф чуть не падал от усталости, и сидеть ему было очень жестко. Но он думал только о том, много ли еще осталось. «Ах, если бы подольше, ах, только бы еще не конец!..»

И вдруг все кончилось, неизвестно почему. Занавес упал, все начали вставать с мест, очарование развеялось.

Они возвращались по темным улицам — двое детей, старый и малый. Какая чудная была ночь! Как ярко светила луна! Оба молчали, припоминая про себя все увиденное за этот вечер. Наконец, дедушка спросил:

— Ну что, малыш, понравилось тебе?

Кристоф не мог даже ответить; он еще не опомнился от пережитых волнений, и ему не хотелось говорить, чтобы не спугнуть свои грезы; наконец, сделав над собой усилие, он пробормотал чуть слышно, с глубоким вздохом:

— Ах! Очень!

Старик улыбнулся. Немного погодя он опять заговорил:

— Видишь теперь, какое это замечательное занятие — быть музыкантом? Создавать живые образы, чудесные зрелища, — какой славный удел для человека! Ведь это все равно что быть богом на земле!

Слова дедушки поразили Кристофа. Как! Все это было создано каким-то одним человеком? Такая мысль даже не приходила ему в голову. Ему казалось, что все это создано само собой: сотворила природа... А оказывается — человек, музыкант, каким и Кристоф когда-нибудь будет! Господи! Стать таким хоть на один день, на один только день!.. А потом — потом уже все равно! Хоть умереть. Он спросил:

— Дедушка! А кто же это написал?

Старик стал рассказывать ему о Франце Марии Гаслере, молодом немецком композиторе, который теперь жил в Берлине и которого дедушка когда-то знал. Кристоф слушал, ловя каждое слово. Вдруг он сказал:

— А ты, дедушка?

Старика передернуло.

— Что я? — спросил он.

— А ты? Ты тоже писал такие вещи?

— Ну, а как же! Писал, конечно, — сердито буркнул старик.

И замолчал, а пройдя еще несколько шагов, тяжело вздохнул. Это была заноза в его сердце — ему всю

жизнь хотелось писать для театра, и всю жизнь вдохновение изменяло ему. В папках Жан-Мишеля хранились наброски одного или двух актов задуманной им оперы, но он не обманывался насчет ее достоинств и даже ни разу не решился показать кому-нибудь свои труды.

Больше они за всю дорогу не проронили ни слова. И оба не спали в эту ночь. Старик был расстроен и обратился за утешением к своей библии. Кристоф в постели заново переживал все события вечера: он припоминал мельчайшие подробности; босоногая дева снова и снова проходила перед ним. Когда он уже совсем было засыпал, в ушах у него вдруг опять начинала звучать какая-нибудь музыкальная фраза — так отчетливо, словно оркестр был тут же, в комнате. Кристоф вздрагивал всем телом, поднимал с подушки одурманенную мелодиями голову и восклицал про себя: «Когда-нибудь и я так напишу! Боже мой! Неужели я смогу?»

С этого дня им владело одно желание — еще раз побывать в театре, и он стал учиться с невероятным усердием, тем более, что отец объявил: пускать его в театр будут только в награду за успехи. Театр поглощал все мысли Кристофа: первую половину недели он жил воспоминаниями о прошлом спектакле, вторую — ожиданием будущего. Больше всего он боялся захворать в день представления, и этот страх нередко вызывал в нем симптомы сразу двух или трех болезней. А в самый день спектакля он уже ничего не мог есть за обедом, скитался по дому, как неприкаянный, поминутно смотрел на часы и приходил в отчаяние оттого, что вечер все не наступает; наконец, не в силах больше терпеть, он за добрый час до начала бежал в театр; по дороге он терзался страхом, что не найдет свободного места, а когда он, наконец, входил первым в совершенно пустой зал, начинались новые тревоги. Дедушка как-то сказал ему, что бывали случаи, когда публика не собиралась, и актеры решали лучше вернуть деньги, чем играть перед горсточкой зрителей. И Кристоф напряженно следил заходящими и пересчитывал их: «Двадцать три, двадцать четыре, двадцать пять... Ой, как мало!.. Да когда же они соберутся!» Но тут в ложах или в партере появлялся какой-нибудь известный в городе человек, и у Кристофа

становилось немножко легче на сердце. Он думал: «Ну, этого они не посмеют отослать домой! Для него-то уж они будут играть!» Но успокаивался он только когда оркестранты рассаживались по местам. И то еще его мучили сомнения: вдруг в последнюю минуту перед поднятием занавеса объявят о перемене спектакля — так один раз уже было. Своими острыми, как у рыси, глазами он старался прочитать заглавие на партитуре контрабаса — то ли оно, что значилось в программе? А прочитав и убедившись, что то самое, он через две минуты опять проверял — вдруг да он ошибся! И почему до сих пор нет дирижера? Господи, неужели захворал?.. За занавесом слышался какой-то шум — поспешные шаги, голоса... Ну вот, что-то случилось, какое-то несчастье, неожиданная помеха!.. Наконец, водворилась тишина. Дирижер стоит за пультом. Все как будто готово... А почему-то не начинают! Да в чем же дело?.. Кристоф весь кипел от нетерпения. Наконец — наконец-то! — раздавался сигнал к началу. У Кристофа екало сердце. Оркестр играл вступление, и затем, несколько часов подряд, Кристоф утопал в блаженстве, отравляемом лишь мыслью о том, что скоро оно кончится.

Через некоторое время произошло событие, еще больше взбудоражившее мысли Кристофа. Стало известно, что в город приезжает Франц Мария Гаслер, автор той первой оперы, которая так потрясла мальчика, и будет дирижировать концертом из своих произведений. Весь город пришел в волнение. Творчество молодого композитора вызывало в Германии яростные споры, и уже за две недели до его приезда в городе только о нем и говорили. А что началось, когда он приехал! К Мельхиору то и дело забегали знакомые музыканты, собственные его приятели или старые друзья Жан-Мишеля, и приносили последние новости; они рассказывали всякие чудеса о привычках знаменитого композитора и его странностях. Кристоф с жадным вниманием прислушивался к этим разговорам. Мысль, что великий человек находится здесь, в городе, что он дышит тем же воздухом и ходит по тем же тротуарам, повергала Кристофа

в немой восторг. Мальчик жил теперь единственной надеждой его увидеть.

Гаслер остановился во дворце — герцог предложил ему свое гостеприимство — и никуда не выходил кроме как в театр на репетиции, а туда Кристоф не имел доступа. У него, стало быть, очень мало было шансов на осуществление своей мечты, тем более что Гаслер был небольшой любитель моциона и обычно совершал свой путь туда и обратно в герцогской карете. Один только раз удалось Кристофу различить в глубине экипажа закутанную в меха фигуру, хотя он часами простаивал на улице в толпе зевак, работая локтями и коленями, чтобы сперва завоевать, а потом удержать место в первом ряду. Оставалось по целым дням глазеть на те два окна в герцогском дворце, за которыми, как ему сказали, скрывался маэстро. Чаще всего Кристоф видел одни только ставни, ибо Гаслер вставал поздно и окна у него не открывались почти до полудня. Это давало повод разным всезнайкам утверждать, что Гаслер не выносит дневного света и даже днем старается создать вокруг себя ночь.

Наконец, Кристофу дано было лицезреть своего героя. Наступил день концерта. Весь город собрался в театр. Герцог и его свита заняли придворную ложу, увенчанную короной, которую поддерживали два парящих в воздухе толстощеких и толстоногих амура. Театр имел праздничный вид. Сцена была убрана дубовыми листьями и цветущим лавром. Все сколько-нибудь известные в городе музыканты сочли своим долгом играть на этот раз в оркестре. Мельхиор сидел за своим пюпитром, Жан-Мишель дирижировал хором.

Когда появился Гаслер, его встретил гром рукоплесканий; дамы вставали, чтобы лучше его рассмотреть. Кристоф пожирал его взглядом. У Гаслера было тонкое молодое лицо, но уже слегка опухшее и утомленное; он начинал лысеть с висков, да и на макушке среди кудрявых светлых волос тоже просвечивала небольшая преждевременная плешинка. Голубые глаза смотрели куда-то вдаль. Выразительный рот под короткими светлыми усиками все время чуть заметно подергивался. Он был высокого роста, но держался неловко, не от застенчивости, а скорее от усталости или скуки. Дирижировал он как бы

всем своим гибким, развинченным телом, делая то вкрадчивые, то неожиданно резкие движения, словно извивался весь, — точь-в-точь как и его музыка. Видно было, что это не человек, а комок нервов, и его музыка была точным его подобием. Эта порывистая, трепетная жизнь расшевелила всех — даже обычно вялых и равнодушных оркестрантов. Кристоф с трудом переводил дыхание; несмотря на всегдашнюю свою боязнь привлечь к себе чьи-нибудь взгляды, он не мог усидеть на месте — ерзал, привставал; эта музыка словно толкала его в сердце — так сильно и так неожиданно, что временами он просто не мог не двигать головой, руками, ногами — к великому неудобству соседей, которые защищались, как могли, от его неистовой жестикуляции. Впрочем, и вся публика выражала восторг, покоренная не столько достоинствами музыки, сколько славой музыканта. Под конец разразилась настоящая буря оваций, а трубы оркестра, по немецкому обычаю, присоединили к ней еще и свои торжествующие фанфары, приветствуя победителя. Кристоф трепетал от гордости, словно все эти почести воздавались ему самому. Он возликовал, увидев, что лицо Гаслера озарилось детской радостью. Дамы кидали ему цветы, мужчины махали шляпами; потом все устремились к рампе, каждый хотел пожать руку маэстро. Кристоф видел, как одна восторженная поклонница поднесла эту руку к губам, другая похитила носовой платок, забытый Гаслером на пульте. Кристоф тоже старался пробиться к сцене, сам не зная зачем, ибо, очутись он в этот миг перед Гаслером, он тотчас бы убежал, подавленный волнением и страхом. А все-таки он рвался вперед, таращая головой стену из ног и юбок, отделявшую его от Гаслера. Но он был слишком мал и так и не пробился.

К счастью, после концерта за ним пришел дедушка; музыканты надумали исполнить серенаду в честь Гаслера, и Жан-Мишель решил взять внука с собой. Было уже темно; участники несли зажженные факелы. Собрались все оркестранты, и разговоры шли только об услышанном в этот вечер шедевре. Подойдя к дворцу, музыканты, стараясь не шуметь, расположились под окнами. Они напускали на себя таинственность, хотя всем в городе, и Гаслеру в том числе, заранее было известно, что

затевается. Затем в прекрасной ночной тишине они сыграли несколько самых известных отрывков из произведений Гаслера. В окне показался сам композитор рядом с герцогом, и музыканты громкими криками приветствовали обоих. На площадь вышел слуга и от имени герцога пригласил всех во дворец. Они прошли через анфиладу зал, расписанных фресками, на которых изображены были голые мужчины в касках; тело у этих воинов было красноватого цвета, они делали угрожающие жесты, а в небе над ними плавали пухлые облака, похожие на губки. Еще в этих залах стояли по углам мраморные мужчины и женщины в набедренных повязках из жести. Полы повсюду были устланы толстыми мягкими коврами, заглушавшими шаги. Под конец все вошли в залу, где было светло, как днем, и стояли столы, уставленные винами и разными удивительными кушаньями.

Герцог тоже был тут, но Кристоф его даже не заметил — он никого не видел кроме Гаслера. Гаслер подошел к музыкантам, поблагодарил их; он запинаясь, не сразу находил слова, совсем запутался в какой-то фразе и закончил ее грубоватой шуткой, которая вызвала общий смех. Потом все принялись за угощение. Гаслер беседовал с четырьмя или пятью музыкантами, которых выделил из остальных; дедушка был в их числе. Ему Гаслер сказал несколько очень лестных слов, припомнил, что Жан-Мишель одним из первых стал исполнять его произведения, и добавил, что часто слышал весьма хвалебные отзывы о господине Крафте от своего друга, который некогда был дедушкиным учеником. Дедушка рассыпался в изъявлениях благодарности; он отвечал Гаслеру такими непомерными похвалами, что Кристофу, несмотря на все его преклонение перед великим композитором, стало стыдно. Но Гаслер, повидимому, находил все это естественным и приятным. Под конец дедушка, окончательно увязнув в своих витиеватых комплиментах, потянул за руку Кристофа и представил его Гаслеру. Тот улыбнулся мальчику, рассеянно погладил его по голове; узнав же, что Кристоф поклонник его музыки и так мечтал его увидеть, что даже не спал несколько ночей, он посадил мальчика к себе на колени и стал ласково его расспрашивать. Кристоф был ошеломлен таким

счастьем; весь раскрасневшись, он потупил глаза и не мог вымолвить ни слова. Гаслер взял его за подбородок, заставил поднять голову. Кристоф решился взглянуть — и увидел перед собой такие добрые, смеющиеся глаза, что и сам засмеялся. И тогда его охватила такая радость, ему так хорошо стало в объятиях своего кумира, что он заплакал. Гаслера тронула эта простодушная любовь, он поцеловал Кристофа и стал утешать его с материнской нежностью, тут же подшучивая над ним, говоря ему всякие забавные словечки, щекоча его, чтобы рассмешить, и Кристоф невольно хохотал сквозь слезы. Вскоре он совсем освоился и уже без стеснения отвечал на вопросы; он даже сам стал поверять на ухо Гаслеру все свои маленькие тайны и мечты: он признался, что хочет быть музыкантом, как Гаслер, писать такие же чудесные вещи, как Гаслер, стать великим человеком. Куда девалась всегдашняя его застенчивость: он говорил, не думая, он был в каком-то экстазе. Гаслер смеялся его лепету. Он сказал:

— Когда вырастешь большой и выучишься музыке, приезжай ко мне в Берлин. Я сделаю из тебя человека.

Кристоф онемел от восторга. Гаслер поддразнил его:

— Не хочешь?

Кристоф яростно закивал головой — он кивнул наверно раз пять или шесть подряд. Конечно, он хочет!

— Значит, договорились?

Опять кивки.

— Ну, давай поцелуемся, что ли!

Кристоф обнял его за шею и сжал изо всех сил.

— Фу, ты меня всего измазал! Будет уже! Довольно! Да ты бы хоть высморгался!

Гаслер хохотал. Он сам вытер нос пристыженному и счастливому мальчику. Потом спустил его с колен, взял за руку, подвел к столу, насовал ему полные карманы конфет и печенья и расстался с ним, сказав напоследок:

— Ну, до свиданья! Помни же, что ты мне обещал.

Кристоф был на седьмом небе. Весь остальной мир перестал существовать для него. Если бы его спросили, кто еще там был, что еще происходило в зале, он не смог бы ответить: весь вечер он влюбленными глазами

следил за выражением лица и жестами Гаслера. Одна фраза, брошенная композитором, поразила Кристофа. Гаслер стоял, держа стакан в руке; он произносил тост, и вдруг его лицо исказилось; он сказал:

— Как ни весело нам сегодня, одного мы не должны забывать: своих врагов. Врагов никогда нельзя забывать! Если мы еще не раздавлены, то не по их вине; они не пожалели на это труда. И мы не пожалеем труда, чтобы раздавить их! Вот почему в своем тосте я хочу вам напомнить, что есть люди... за здоровье которых мы пить не будем!..

Все встретили смехом и рукоплесканиями этот необычный тост. Гаслер смеялся вместе со всеми, и лицо его опять приняло добродушное выражение. Но Кристофу стало неловко. Он не посмел бы и на секунду усомниться в правоте своего кумира, а все-таки ему было неприятно, что Гаслер в этот вечер думает о чем-то злом и безобразном, — в этот вечер, когда ничему не должно быть места, кроме света и ликования. Но это чувство лишь смутной тенью прошло в душе Кристофа и почти тотчас было вытеснено перекипавшей через край радостью и той капелькой шампанского, которую дедушка дал ему выпить из своего бокала.

Когда они возвращались домой, дедушка всю дорогу не переставал ораторствовать — похвалы Гаслера привели его в восторженное состояние; он кричал на всю улицу, что Гаслер гений, такие, как он, рождаются раз в столетие! А Кристоф молчал, скрывая глубоко в сердце любовное упоение: *Гаслер поцеловал его! Гаслер держал его на коленях! Как он добр! Как он велик!*

«Ах! — думал Кристоф, лежа потом в своей кровати и страстно обнимая подушку. — Я хотел бы умереть за него! Умереть за него!...»

Пронесшийся над их городком блестящий метеор оказал решительное влияние на ум Кристофа. С этих пор, в течение всего детства, Гаслер стоял перед его внутренним взором как живой образец, и по его примеру маленький шестилетний человечек решил, что тоже будет сочинять музыку. По правде сказать, он давно уже

это делал, сам того не подозревая; ему, чтобы творить, не нужно было знать, что он занимается творчеством.

Всё музыка для музыкальной души. Все, что колеблется, и движется, и трепещет, и дышит, — солнечные летние дни и свист ночного ветра, струящийся свет и мерцание звезд, гроза, щебет птиц, жужжание насекомых, шелест листвы, любимые или ненавистные голоса, все привычные домашние звуки, скрип дверей, звон крови в ушах среди ночной тишины, — всё сущее есть музыка; нужно только ее услышать. И вся эта музыка живого бытия звучала в Кристофе. Всё, что он видел, всё, что он чувствовал, незаметно для него самого преобразалось в мелодии. Он был, как улей, полный звенящих пчел. Но никто этого не замечал и меньше всех сам Кристоф.

Как все дети, он постоянно напевал. В любой час дня, что бы он ни делал — гулял ли по улице, припрыгивая на одной ножке, разглядывал ли картинки, растянувшись на полу в спальне у бабушки и подпирая кулаками склоненную над книгой голову, сидел ли под вечер в своем креслице в самом темном углу кухни, мечтая бог весть о чем в сгущающихся сумерках, — всегда он тихонько гудел себе под нос, надувая щеки и плотно сжав рот или наигрывая на губах. Кристофу никогда не надоедало это занятие. И Луиза привыкла к его монотонному жужжанию. Только иногда ее вдруг охватывало раздражение, и в сердцах она кричала на Кристофа.

Потом он внезапно выходил из своей полудремоты; ему хотелось шуметь и двигаться. Тогда он сочинял арии и распевал их во все горло. У него были особые мелодии для всех случаев жизни. Одну он пел по утрам, когда плескался в тазу, как утенок. Другую — когда садился на табурет перед ненавистным роялем, а третью — когда сходил с табурета, и эта была особенно бравурная. Еще одну он пел, когда мама подавала суп на стол; он тогда бежал впереди, выпуская трубные звуки. Он играл на губах триумфальные марши, торжественно направляясь вечером из столовой в спальню. Иногда он с братишками устраивал целые шествия; все трое с важностью выступали друг за другом, и каждый исполнял свой собственный марш, но себе Кристоф по праву

выбирал самый красивый. Каждый напев предназначался для своей особой цели, и Кристоф никогда их не путал. Другим они могли казаться одинаковыми, но Кристоф различал в них оттенки, в которых нельзя было ошибиться.

Однажды у дедушки он кружился по комнате; закинув голову и выпятив живот, притопывая каблуками, он делал круг за кругом — до одури и тошноты — и распевал воинственную песнь. Дедушка в это время брлся; внезапно он поднял намыленный подбородок и, поглядев на Кристофа, спросил:

— Что это ты поешь?

Кристоф ответил, что не знает.

— Ну-ка, спой сначала! — сказал Жан-Мишель.

Кристоф попробовал, но не мог вспомнить. Тогда, польщенный вниманием дедушки, он затянул на свой лад какую-то оперную арию, стараясь петь как можно громче, — очевидно, дедушке понравился его прекрасный голос! Но старику не того было нужно. Он замолчал и больше уже как будто не обращал внимания на Кристофа. Но с этих пор он стал оставлять дверь открытой, когда мальчик играл один в соседней комнате.

Несколько дней спустя Кристоф, расставив полукругом стулья, разыгрывал на этой импровизированной сцене музыкальную комедию, которую сам состряпал из обрывков своих театральных воспоминаний; он с важным видом выделял па в темпе менуэта, подражая актёрам в какой-то из виденных им пьес, и отвешивал поклоны перед портретом Бетховена, висевшим над столом. Сделав по всем правилам пируэт, он вдруг увидел проснувшуюся в приотворенную дверь голову дедушки: старик внимательно смотрел на него. Кристофу подумалось, что дедушка над ним смеется, и ему стало стыдно; он замер на месте, потом побежал к окну и прижался к стеклу лицом, как будто разглядывал на дворе что-то очень интересное. Но дедушка и не думал смеяться; он подошел к Кристофу, обнял его и поцеловал, и видно было, что старик доволен. Детское тщеславие Кристофа не замедлило вышить узоры по этой канве: смущенный мальчик отлично понял, что ласка дедушки была данью его талантам, он только не мог решить, в каком именно

качестве заслужил он дедушкино одобрение — как драматический автор, как музыкант, как певец или как танцовщик. Скорей всего последнее, ибо сам Кристоф выше всего ценил свои достижения в этой области.

Через неделю, когда Кристоф уже обо всем этом забыл, дедушка вдруг подозвал его и объявил с таинственным видом, что хочет что-то ему показать. Он достал из письменного стола нотную тетрадь и, раскрыв ее на рояле, предложил Кристофу сыграть. Тот, подзадориваемый любопытством, принялся, как умел, разбирать пьесу. Ноты были писаны от руки, крупным дедушкиным почерком, очень аккуратно и четко, — старик, видимо, постарался. Заголовки были украшены завитушками и росчерками. Дедушка сидел рядом с Кристофом и переворачивал страницы; вдруг он спросил:

— А ты знаешь, что это такое?

Кристоф, поглощенный процессом игры, не замечал, что играет, и равнодушно ответил:

— Не знаю.

— Подумай. Вот этот мотив, разве он тебе не знаком?

Да, как будто что-то знакомое. Но где слышал, неизвестно. Дедушка засмеялся.

— Вспомни!

Кристоф помотал головой:

— Да нет же, не знаю.

Собственно говоря, что-то мелькало у него в уме; как будто бы эти мотивы... Но нет! Он не смел, он не решился их узнать.

— Право же, не знаю...

А краска уже заливала ему щеки.

— Ах ты, дурачок, разве ты не видишь, что это твое?

Он уже давно догадался, и все-таки, когда это сказали вслух, сердце у него словно подпрыгнуло.

— Дедушка! Дедушка!

Старик, сияя, стал перелистывать тетрадь.

— Вот смотри: «Ария». Это ты пел во вторник, когда лежал на полу. «Марш». Это то, что я на прошлой неделе просил тебя повторить, а ты не мог вспомнить. «Менуэт». Это ты пел, когда танцевал перед креслом. Смотри сюда.

На переплете было тщательно выписано великолепным готическим шрифтом:

Жан-Кристоф Крафт. — «Утехи детства».

Ария, менуэт, вальс и марш. Оп. 1.

Кристоф не верил своим глазам. Его имя на обложке, пышное заглавие, толстая тетрадь — его собственные сочинения!.. Он только растерянно повторял:

— Дедушка! Дедушка!

Старик привлек его к себе. Кристоф бросился ему на шею, спрятал лицо у него на груди. Он весь разрумянился от радости. Дедушка, чуть ли не более счастливый, чем сам Кристоф, продолжал нарочито равнодушным голосом, так как боялся совсем разволноваться:

— Ну, конечно, я приписал аккомпанемент и гармонизировал мелодию в соответственной тональности... И потом... (он покашлял) я еще вот тут вставил *трио* в менуэт, потому что... ну, потому что так принято... и кроме того, мне кажется, что оно не такое уж плохое...

Он сыграл это *трио*. Кристоф был очень горд тем, что они с дедушкой вместе пишут музыку.

— Дедушка, но тогда нужно поставить и твое имя!

— Нет. Не надо. Пусть никто об этом не знает кроме тебя. Но позже... (тут голос его задрожал) позже, когда меня уже не будет, это останется тебе как память о твоём старом дедушке... Ты ведь будешь вспоминать о нём? Да? Ты не забудешь?

Старик не хотел признаться, что не устоял перед невинным соблазном подкинуть одно из своих неудачных детищ внуку, чьи творения, он чувствовал, переживут его. Это желание приобщиться к чужой славе было таким смиренным и таким умильным, ибо он соглашался остаться безвестным, лишь бы передать потомству частицу своих мыслей, лишь бы не умереть совсем... Кристоф растрогался до слез: он без счета целовал дедушку. И старик, с каждой минутой все больше умиляясь, тоже целовал мальчика в голову.

— Ты меня не забудешь, нет? Когда-нибудь, когда ты станешь настоящим музыкантом, великим художником и прославишь свою семью, и свое искусство, и свою родину, когда ты будешь знаменит, ты вспомнишь, что

твой старик ~~хед~~ первый это угадал, что он первый предсказал твое будущее...

Он говорил, и от жалости к самому себе на глазах у него выступали слезы. Но он не хотел, чтобы мальчик заметил его слабость. Поэтому он раскашлялся, нахмурился, отослал Кристофа играть и заботливо убрал в стол драгоценную рукопись.

Кристоф возвращался домой, не чуя под собой ног от радости. Придорожные камни плясали вокруг него. Но прием, оказанный ему родителями, несколько его отрезвил. Когда он, захлебываясь, стал рассказывать о своих музыкальных подвигах, отец и мать накричали на него. Луиза попросту его высмеяла; Мельхиор сказал, что старик, видно, уж совсем спятил, полечился бы лучше, чем забивать мальчишке голову всякой чепухой; а Кристоф пусть раз и навсегда забудет об этих глупостях — сейчас же пусть садится за рояль и четыре часа играет упражнения. Сперва надо научиться играть как следует, а композицией можно заняться как-нибудь потом, когда другого дела не будет.

Не следует, однако, думать, — как можно было бы заключить из этих разумных слов, — что Мельхиор опасался для сына гибельных последствий преждевременного самомнения. Он скоро показал, что такие опасения ему чужды. Но так как у него не было ни своих мыслей, ни вообще стремления что-либо выразить в музыке, то он, самовлюбленный, как большинство виртуозов, привык считать композицию делом второстепенным, которому только искусство исполнителя придает цену. Восторженные встречи, оказываемые публикой великим композиторам, как, например, Гаслеру, не оставляли, конечно, Мельхиора равнодушным. Это был успех, а Мельхиор преклонялся перед всяким успехом, и к этим овациям он относился с почтением и долей зависти, ибо считал, что по праву они должны бы достаться ему. Но он знал из собственного опыта, что успехи виртуоза могут быть не менее блестящи, не говоря уже о том, что они гораздо больше способствуют его личной славе и дают больше приятных и ощутимых результатов. В раз-

говорах Мельхиор всегда старался подчеркнуть свое глубокое уважение к прославленным творцам музыки, но вместе с тем с особым удовольствием рассказывал про них всякие вздорные анекдоты, дававшие весьма нелестное представление об их уме и нравственности. Виртуоза он помещал на верху артистической лестницы, ибо, говорил он, известно, что язык — самый благородный орган нашего тела: чем была бы мысль без слов? Чем была бы музыка без исполнителя?

Но какими бы побуждениями ни руководствовался Мельхиор, взбучка, заданная им Кристофу, была для мальчика полезна, так как хоть немного его отрезвила, иначе он рисковал совсем утратить здравый смысл под влиянием дедушкиных похвал. К сожалению, она еще мало подействовала: Кристоф не преминул рассудить, что просто дедушка умнее отца; и если после отцовской нотации мальчик безропотно уселся за рояль, то отнюдь не из послушания, а только потому, что ему хотелось помечтать всласть, как он часто делал, пока его пальцы машинально бегали по клавишам. Он разыгрывал бесконечные упражнения, а сам все время слышал внутренний голос, горделиво повторявший: «Я композитор, я великий композитор!»

Раз композитор, значит надо сочинять. И с этого дня Кристоф усердно принялся марать бумагу. Он не умел еще толком писать буквы, но целыми часами старательно вырисовывал четверти и восьмые на листках, вырванных из тетрадки, в которой Луиза записывала хозяйственные расходы. Однако попытки понять свою мысль и потом ее записать стоили ему такого труда, что под конец в голове у него не оставалось вовсе никаких мыслей кроме мысли о том, что он хочет иметь какую-нибудь мысль. Все же он упрямо продолжал лепить музыкальные фразы, и так как он был прирожденным музыкантом, это ему кое-как удавалось, хотя фразы эти ровно ничего не значили. Затем он с торжеством нес их дедушке, и тот плакал от умиления — слезы легко приходили к дряхлеющему старику — и объявлял, что это гениально.

Так можно было бы вконец испортить мальчика. К счастью, его спас природный здравый смысл и влияние одного человека, который, однако, ни на кого не

стремился оказывать влияние и сам никак не мог служить образцом здравого смысла, по крайней мере с точки зрения окружающих. Это был брат Луизы.

Как и сестра, он был невелик ростом, тщедушный, хилый, сгорбленный. Неизвестно, сколько ему было лет — во всяком случае меньше сорока, но по виду ему давали пятьдесят и даже больше. У него было маленькое румяное лицо, все в морщинках, и добрые голубые глаза, очень светлые, как поблекшие незабудки. Он постоянно ходил в шапке из страха перед сквозняками, а когда решался ее снять, под ней обнаруживалась совершенно лысая, розовая и заостренная кверху голова; ее странный вид до крайности потешал Кристофа и его братьев. Поощряемые грубыми шутками Мельхиора, они вечно приставали к дяде, допрашивали, куда он девал свои волосы, грозились отшлепать его по лысине. Он сам первый смеялся и терпеливо сносил все их шалости. По ремеслу он был бродячий торговец: ходил по деревням с огромным тюком за плечами, а в тюке было всего понемногу — бакалея, галантерея и письменные принадлежности, платки, шали, башмаки, консервы, календари, песенники, конфеты и пилюли. Крафты не раз пытались устроить его где-нибудь оседло, покупали ему запас товаров, снимали для него помещение под мелочную лавочку или маленький галантерейный магазин. Но он не мог долго усидеть на месте; как-нибудь утром он вставал еще до света, прятал ключ под порогом и исчезал вместе со своим тюком. Месяц, два о нем не было слышно; вдруг как-нибудь вечером раздавался робкий стук, дверь приотворялась, в щелку просовывалась маленькая лысая голова — без шапки, как того требует вежливость, — показывалось знакомое лицо с добрыми глазами и застенчивой улыбкой. «Привет всей компании», — говорил он, старательно обтирал ноги, здоровался со всеми по очереди, начиная с самого старшего, и скромно усаживался в уголке. Потом закуривал трубку и, смиренно сгорбившись, переживал, пока истощится запас грубых шуток, которыми его всегда встречали у Крафтов. И Мельхиор и Жан-Мишель относились к нему с насмешливым презрением. Этот недоносок казался им пародией на человека; к тому же странствующий торго-

вещ! Такое ничтожное положение! Их гордость была уязвлена, и они без стеснения давали ему это почувствовать. Но он как будто ничего не видел и всегда проявлял к ним величайшую почтительность; и это обезоруживало их, в особенности Жан-Мишеля, чувствительного к любым знакам уважения. Поэтому они ограничивались шутками, но уж шуточки были такие, что Лунзу от них нередко бросало в краску. Привыкнув склоняться перед умственным превосходством Крафтов, она и в этом случае не подвергала сомнению правоту мужа и свекра, но она горячо любила брата, а тот питал к ней молчаливое обожание. Их только двое осталось от всей семьи — оба смиренные, незаметные, сломленные жизнью; из общего горя, которое они переносили без жалоб, и взаимного сострадания родилась грустная и нежная привязанность. Среди Крафтов, шумных и грубых здоровяков, отлично приспособленных к тому, чтобы наслаждаться всеми благами жизни, эти два кротких и слабых существа были как бы вне мира, вне жизни или где-то сбоку — немудрено, что они без слов понимали и жалели друг друга.

Кристоф с бездумной жестокостью детства разделял презрение отца и деда к маленькому торговцу. Он заставлял его играть роль шута, донимал всякими дурачествами, которые тот переносил с невозмутимым спокойствием. А вместе с тем Кристоф любил его, сам того не сознавая, любил прежде всего как безответную игрушку, с которой можно делать все, что вздумается; любил также и за то, что дядя всегда припасал для Кристофа что-нибудь приятное — лакомство, картинку, забавную выдумку. Возвращение дяди было праздником для детей: они так и ожидали какого-нибудь сюрприза и никогда не обманывались. При всей своей бедности он ухитрялся каждому сделать подарок, и не было случая, чтобы он забыл чей-нибудь день рождения. Когда наступала торжественная дата, дядя Готфрид был уже тут как тут и вынимал из кармана какую-нибудь хорошенькую, с любовью выбранную вещьцу. Все так к этому привыкли, что даже не считали нужным благодарить; заботливость Готфрида казалась в порядке вещей, — и разве мало ему того удовольствия, которое он сам получает от своих подарков? Но Кристоф, который спал плохо

и часто по ночам перебирал в уме события дня, додумывался иногда до мысли, что дядя очень добр, и его охватывал порыв благодарности к этому скромному человеку. Впрочем, эти чувства редко доживали до утра; днем Кристоф только о том и думал, как бы посмеяться над дядей. Да и вообще он был еще слишком мал и не умел ценить доброту; для ребенка добрый и глупый почти одно и то же, и дядя Готфрид казался живым подтверждением этой истины.

Раз вечером Готфрид, оставшись один, — Мельхиор обедал в гостях, а Луиза укладывала малышей, — спустился к реке и сел на берегу недалеко от дома. Кристоф от нечего делать поплелся за дядей и по обыкновению начал теребить его, как разыгравшийся щенок; наконец, запыхавшись, он повалился наземь у ног дяди и, растянувшись на животе, зарылся лицом в траву. Отдышавшись, он стал придумывать, что бы еще сказать почуднее, и, придумав, выкрикнул найденное слово, корчась от смеха. Никто ему не ответил. Удивленный этим молчанием, он поднял голову, намереваясь повторить свою остроту, и увидел лицо дяди, освещенное последними отблесками заката, угасавшего в золотом дыму. Слова замерли на устах у Кристофа. Готфрид улыбался; глаза его были почти сомкнуты, губы приоткрылись, болезненные черты хранили неизъяснимо печальное и торжественное выражение. Кристоф молча смотрел, приподнявшись на локте. Вечерело; лицо Готфрида мало-помалу растворялось в сумерках. Стояла ненарушимая тишина. Таинственные чувства, отражавшиеся на лице старика, начали постепенно завладевать и Кристофом. Он погрузился в какое-то оцепенение. Тень одевала землю, но небо было ясное; зажигались звезды. На берег с чуть слышным плеском набегали мелкие волны. Рядом звенел сверчок. Кристоф вяло жевал травинки, невидимые в темноте; его все больше одолевала дрема — казалось, еще минута, и он заснет... Вдруг в темноте Готфрид запел. Он пел слабым надтреснутым голосом, словно про себя; в десяти шагах его, пожалуй, никто бы не услышал. Но в его пении была волнующая искренность: казалось, он думает вслух, и сквозь звуки песни, как сквозь прозрачную воду, можно увидеть его душу до самого дна. Никогда

еще Кристоф не слышал, чтобы так пели. И такой песни он никогда не слышал. Медленная, детски простая по напеву, грустная, чуть-чуть монотонная, она шла задумчивой поступью, никуда не спеша, то умолкала надолго, то снова пускалась в путь, не думая о цели, теряясь в ночи... Казалось, она пришла из бесконечной дали и уходит неведомо куда. В ее безмятежности была тайная тревога; под внешним спокойствием дремала извечная боль... Кристоф не дышал, он не смел шелохнуться, он весь похолодел от волнения. Когда песня умолкла, он подполз к Готфриду.

— Дядя... — с трудом выговорил он; спазма сжимала ему горло.

Готфрид не ответил.

— Дядя! — повторил мальчик, опершись руками и подбородком на колени Готфрида.

Ласковый голос откликнулся ему:

— Что, деточка?

— Дядя! Что это такое, скажи? Что это ты пел?

— Я не знаю.

— Ну, скажи же!

— Но я не знаю. Так, песня.

— Это ты сочинил?

— Ну вот еще! Где же мне. Это старая песня.

— Кто ее сложил?

— Не знаю.

— Когда?

— Не знаю.

— Когда ты был маленький?

— Ну нет, гораздо раньше. Когда я еще не родился, и мой отец еще не родился, и отец моего отца, и отец моего деда... Она была всегда.

— Как странно! Мне никогда об этом не говорили...

Мальчик помолчал минуту.

— Дядя! А еще песни ты знаешь?

— Знаю.

— Спой еще. Пожалуйста!

— Зачем петь еще? Довольно одной. Поешь, когда хочется петь, когда не можешь не петь. А петь для забавы не надо.

— А если занимаешься музыкой?

— Это не музыка.

Кристоф задумался. Он не совсем понял слова дяди, но не стал просить объяснений. Ведь правда, это не музыка, во всяком случае не такая, как обыкновенно. Потом заговорил снова:.

— Дядя! А ты тоже их сочинял?

— Что сочинял?

— Песни!

— Песни? Ну как это возможно!.. Их не сочиняют. Но Кристоф настаивал с обычным своим упорством:

— Дядя, да ведь кто-нибудь сочинил же эту песню? Готфрид упрямо мотал головой.

— Никто ее не сочинял. Она была всегда.

Кристоф не унимался:

— Ну хорошо, а другие песни можно сочинить? Новые?

— А зачем? Песни есть для всего. Когда тебе грустно — для этого есть песня, и когда тебе весело — для этого есть другая. И когда устал и скучаешь по дому; и когда презираешь себя, потому что ты всего-навсего жалкий грешник, червь земной. И когда тебе хочется плакать оттого, что люди недобрые; и когда у тебя сердце радуется оттого, что светит солнце, и ты видишь над собой божье небо, и господь как будто улыбается тебе, потому что он-то всегда добр... Для всего есть песни. Зачем же еще их сочинять?

— Чтобы стать великим человеком! — воскликнул мальчик, вспоминая наставления дедушки и свои простодушные мечты.

Готфрид тихонько рассмеялся. Кристоф, несколько обиженный, спросил:

— Чему ты смеешься?

— Ничего, это я так, — откликнулся Готфрид. — Да и что говорить обо мне!

Он погладил мальчика по голове и спросил:

— Так ты, стало быть, хочешь быть великим человеком?

— Да, — с гордостью ответил Кристоф. Он думал, что дядя его похвалит.

Но Готфрид сказал:

— А зачем?

Кристоф стал втупик. Подумав, он объяснил:

— Чтобы слагать прекрасные песни!

Готфрид опять засмеялся.

— Ты хочешь слагать песни, чтобы стать великим, а великим хочешь быть для того, чтобы слагать песни. Ты — как собака, которая ловит свой хвост.

Кристоф очень обиделся. Он привык сам смеяться над дядей, а тут вдруг дядя смеется над ним! В другое время он бы этого не стерпел. Вместе с тем ему было удивительно, что дядя оказался таким умным — даже нечего ему ответить. Кристофу очень хотелось опровергнуть дядины рассуждения или хоть нагрубить ему, но он ничего не мог придумать. А Готфрид продолжал:

— Будь ты велик как отсюда до Кобленца, ни одной песни тебе все равно не сложить.

Кристоф возмутился.

— А если я хочу!

— Мало чего ты хочешь. Чтобы слагать песни, нужно самому быть, как они. Слушай...

Луна уже вставала над полями, круглая, яркая. Серебристая дымка затягивала землю и светлое зеркало вод. Переговаривались лягушки, в лугах слышалась мелодичная флейта жаб. Тонкое тремоло сверчков как бы перекликалось с мерцанием звезд. Ветер трогал листья на старой ольхе, и они чуть слышно лепетали. С холмов над рекой струилась переливчатая песня соловья.

— Зачем петь? — вздохнул Готфрид после долгого молчания. (Может быть, он говорил с Кристофом, а может быть, с самим собой.) — Разве это не лучше всего, что ты можешь сочинить?

Кристоф много раз слышал все эти ночные звуки и любил их. Но так он еще никогда их не слышал. Правда, зачем петь?.. Сердце его исполнилось нежности и грусти. Ему хотелось обнять луга, реку, небо и эти милые, милые звезды... На него вдруг нахлынула любовь к дяде Готфриду — этот маленький человечек теперь казался Кристофу самым лучшим, самым умным, самым красивым из всех, кого он знал. Он вспомнил, как всегда смеялся над ним, и подумал, что, наверно, от этого дядя такой грустный. Его охватило раскаяние. Ему хотелось сказать: «Дядя, не горюй! Я больше не буду! Прости меня! Я так

тебя люблю!» Но он не смел... В страстном порыве он бросился вдруг на шею Готфриду; однако заготовленные слова не шли с его губ; он только твердил: «Я люблю тебя!» — и горячо целовал дядю. Удивленный и растроганный Готфрид спрашивал: «Ну что ты? Что ты?» — и тоже целовал его. Наконец, он поднялся и, взяв Кристофа за руку, проговорил:

— Пора домой.

Кристоф пошел за ним, как в воду опущенный; ему грустно было оттого, что дядя его не понял. Но, уже подойдя к дому, Готфрид вдруг сказал:

— Если хочешь, мы как-нибудь вечером опять пойдем слушать божью музыку, и я спою тебе еще другие песни.

И когда Кристоф, преисполненный благодарности, крепко обнял дядю, прощаясь с ним на ночь, он знал, что тот его понял.

После этого они часто гуляли по вечерам. Они шли вдоль реки или по тропинке через поля. Оба молчали. Готфрид не спеша покуривал трубку. Кристоф, слегка робея в темноте, держался за дядину руку. Потом садились на траву, и, помолчав еще немного, Готфрид начинал говорить. Он рассказывал Кристофу о звездах, о тучах; учил его различать голоса земли, и воды, и воздуха, писки и шелесты, пение и крики всех летающих, плавающих, ползающих тварей — всего этого мира малых существ, населяющих темноту; объяснял, что предвещает дождь, а что ясную погоду; заставлял мальчика вслушиваться в бесчисленные звуки, из которых складывается симфония ночи. Иногда Готфрид пел; песни бывали печальные, бывали веселые, но все они чем-то напоминали ту первую и будили в Кристофе такое же волнение. Готфрид никогда не пел больше одной песни в вечер, и Кристоф заметил, что он не любит петь, когда его просят, — нужно было, чтобы это вышло само собой, чтобы ему самому захотелось петь. Иногда приходилось долго ждать, долго сидеть молча, и, уже когда Кристоф с огорченьем думал: «Ну, сегодня он не будет петь», — Готфрид вдруг начинал.

Однажды вечером, когда стало ясно, что от Готфрида ничего не дождешься, Кристоф вздумал пропеть

ему одну из своих собственных мелодий, на которые тратил столько труда и которыми так гордился. Он хотел показать дяде, как замечательно он умеет сочинять. Готфрид внимательно его прослушал, потом сказал:

— Как это плохо! Бедный мой Кристоф, как это плохо!

Кристоф так оскорбился, что не нашел слов для ответа. Готфрид сокрушенно продолжал:

— Зачем ты это делал? Это так плохо! Никто ведь тебя не заставлял.

Кристоф негодуяше воскликнул, весь красный от гнева:

— Дедушка говорит, что это очень хорошая музыка!

— А-а... — протянул Готфрид, несколько не смущаясь. — Ну, раз он говорит, значит так и есть. Он ученый человек. Он понимает в музыке. А я в ней ничего не понимаю...

Но через секунду он добавил:

— Только, по-моему, это очень плохо.

Он кротко посмотрел на Кристофа, увидел его расстроенное лицо, улыбнулся и сказал:

— У тебя, наверно, есть еще что-нибудь? Может быть, то мне больше понравится.

Кристоф воспрянул духом. В самом деле, может быть другие его вещи изгладят неблагоприятное впечатление от первой. Он спел их все подряд. Готфрид молча слушал; он ждал, пока Кристоф кончит. Затем покачал головой и сказал с глубоким убеждением:

— Эти еще хуже.

Кристоф прикусил губу; у него дрожал подбородок, рыдания подступали к горлу. Готфрид и сам был огорчен, но не мог покривить душой.

— Как это плохо! — повторил он.

Кристоф воскликнул со слезами в голосе:

— Но почему, почему ты так говоришь? Чем это плохо?

Готфрид посмотрел на него своим ясным, правдивым взглядом.

— Чем плохо? Не знаю... Погоди... Это плохо... прежде всего потому, что это глупо... Да, да, в этом все дело...

Это глупо, это ничего не значит... Вот. Когда ты это писал, тебе нечего было сказать. Так зачем же ты писал?

— Не знаю, — жалобно ответил Кристоф. — Мне хотелось сочинить что-нибудь хорошее.

— Ну да! Ты писал так, лишь бы написать. Ты писал, чтобы показать, какой ты замечательный музыкант, чтобы тебя похвалили. Ты возгордился и допустил в свое сердце ложь; и за это ты наказан... Вот! В музыке всегда так: когда гордишься и лжешь, всегда бываешь наказан. Музыка должна быть скромной и правдивой, ибо что она такое иначе? Кошунство, хула на господа бога, который даровал нам прекрасные песни, чтобы выражать настоящие, а не поддельные чувства...

Видя огорчение мальчика, Готфрид хотел его обнять, но Кристоф сердито отвернулся. После этого он несколько дней не разговаривал с дядей. Ему казалось, что он ненавидит Готфрида. Но напрасно твердил он себе в утешение: «Он просто дурак. Он ничего не понимает. Дедушка куда умнее, а дедушка говорит, что мои пьески очень хорошие», — в глубине души он знал, что прав дядя, а не дедушка. Слова Готфрида тяжело легли мальчику на сердце, и ему было стыдно оттого, что его уличили во лжи...

Не скоро зажила рана, нанесенная самолюбию Кристофа; и все же, как ни был он сердит, теперь, сочиняя музыку, он всякий раз думал: а что об этом скажет дядя? И часто разрывал написанное, потому что ему вдруг становилось стыдно... А если эта мысль его не останавливала и он дописывал до конца какую-нибудь вещь, о которой знал, что она не совсем искренняя, он прятал ее от дяди, страшаясь его приговора; и как же зато он бывал счастлив, когда, решившись что-нибудь показать Готфриду, слышал из его уст скупую похвалу:

— Ну, это не так уж плохо... Мне нравится...

Иногда, правда, он в отместку устраивал дяде каверзы: напевал ему, будто свои, отрывки из произведений знаменитых композиторов и торжествовал, когда Готфрид, как не раз бывало, находил их отвратительными. Но Готфрида это ничуть не смущало. Он смеялся от души, видя, как Кристоф бьет в ладоши и прыгает

в восторге оттого, что подловил дядю, а затем спокойно повторял свой обычный приговор:

— Может быть, это и хорошо написано, только это ничего не значит.

Он не любил присутствовать на домашних концертах, которые иногда устраивались у Крафтов. Какую бы блестящую вещь ни исполняли, он через некоторое время начинал зевать и явно изнемогал от скуки. А скоро ему и вовсе становилось невтерпеж, и он старался незаметно улизнуть. После он объяснял Кристофу:

— Видишь ли, деточка, музыка, если ее писали в четырех стенах, это еще не музыка. Это все равно что солнце в комнате. Настоящая музыка бывает только под открытым небом, где дышится свежо и над тобою веет дух божий.

Он постоянно говорил о боге; он был очень набожен, в противоположность обоим Крафтам, — те, и отец и сын, корчили из себя вольнодумцев, хотя на всякий случай остерегались есть скромное по пятницам.

Вдруг, неизвестно почему, Мельхиор изменил свое отношение к попыткам Кристофа сочинять музыку. Теперь он не только одобрял дедушку за то, что тот запечатлел на бумаге импровизации внука, но даже, к величайшему удивлению мальчика, не поленился снять с рукописи две или три копии, потратив на это несколько вечеров. На все расспросы, зачем он это делает, он отвечал с важностью: «Там видно будет», — и самодовольно потирал руки; а иногда тяжелой дланью шуточно ерошил волосы Кристофу либо, смеясь, закатывал ему звонкие шлепки. Кристоф терпеть не мог такого фамильярного обращения, но радовался, видя, что отец доволен, хотя и не понимал почему.

Потом у Мельхиора с дедушкой начались таинственные совещания. И однажды вечером Кристоф с изумлением узнал, что он, Кристоф, посвятил «Утехи детства» его высочеству герцогу Леопольду. У герцога заранее испросили согласия принять посвящение юного музыканта — об этом позаботился Мельхиор, — и герцог милостиво согласился, после чего Мельхиор с торжеством объ-

явил, что теперь нужно, не теряя ни минуты, сделать три вещи: во-первых, составить официальное посвящение; во-вторых, опубликовать произведения Кристофа; в третьих, устроить концерт, на котором они будут исполнены.

Опять дедушка и Мельхиор стали держать совет. Два или три вечера они провели в оживленных спорах. Детям было строго запрещено им мешать. Мельхиор писал, зачеркивал, опять писал, опять зачеркивал. Дедушка что-то декламировал нараспев, как будто читал стихи. Иногда оба сердились и стучали кулаками по столу — это значило, что они не могут найти нужное слово.

Потом позвали Кристофа, усадили его за стол, дали ему в руки перо; справа сел отец, слева дедушка, и Жан-Мишель принялся диктовать. Кристоф не понимал ни слова: все его внимание уходило на то, чтобы выписывать буквы; вдобавок Мельхиор дудел ему прямо в ухо, а дедушка так напыщенно произносил слова, что Кристоф, пораженный их странным звучанием, даже не пытался уразуметь смысл. Дедушка, однако, был очень взволнован; он не мог усидеть на месте, вставал, рассказывал по комнате, бессознательно сопровождая актерскими жестами произносимый текст, поминутно возвращался к столу и заглядывал в лежавшую перед Кристофом страницу, а того до крайности смущали эти две склоненные над ним огромные головы; он высовывал язык, перо его не слушалось, в глазах мутилось, он прибавлял лишние палочки, путал буквы, и Мельхиор вопил от негодования, а Жан-Мишель рвал и метал; приходилось начинать все сызнова — раз, и два, и три; а когда уже дошли благополучно до конца, на безукоризненную страницу легла вдруг огромная клякса. Кристофу надрали уши, он рыдал, а ему запрещали плакать, чтобы он не закапал слезами бумагу, и диктовка опять началась с первой строчки. Кристофу уже стало казаться, что он так и будет до последнего своего часа все писать и писать это злополучное письмо.

Наконец, написали. Жан-Мишель, прислонившись к печке, прерывающимся от полноты чувств голосом прочитал свое творение, а Мельхиор, откинувшись на стуле и впериw глаза в потолок, кивками выражал согласие, смакуя, как тонкий знаток стиля, нижеследующее послание:

«Ваше пресветлое и преславное высочество,
всемилостивейший государь мой!

С четырехлетнего возраста музыка стала любимым занятием моих юных лет. Едва вступив в общение с благородной музой, пробудившей в сердце моем влечение к чистым гармониям, я полюбил ее всей душой; и думается мне, что и она не была ко мне неблагосклонна. Ныне я достиг шестого года моей жизни; и давно уже в часы вдохновения муза шептала мне на ухо: «Дерзай! Дерзай! Запечатлей на бумаге наполняющие твою душу созвучия!» Но — шесть лет! — думал я. Как я посмею? Что подумают обо мне искушенные в музыкальном искусстве мужи? Я колебался. Я трепетал. Но муза настаивала... Я покорился. Я стал писать.

А теперь осмелюсь ли я,
о милостивый государь мой,
возложить на ступени Твоего трона первые плоды моих юных усилий?.. Дерзну ли я уповать, что Ты обронишь на них царственную милость Твоего отеческого взгляда?..

О да! Ибо науки и искусства издавна находили в Тебе мудрого покровителя и великодушного заступника, ибо талант всегда процветал под священной Твоей эгидой!

Преисполненный сей глубокой веры, воодушевленный сей надеждой, я решаюсь повергнуть к Твоим стопам мои юные опыты. Прими же их как чистосердечный дар моего детского обожания и благоволи,

о всемилостивейший государь,
осчастливить Твоим взором эти скромные подношения и юного их автора, униженно припадающего к твоим стопам!

Вашего высокочтимого, пресветлого и преславного высочества

всенижайший, смиреннейший и всепокорнейший слуга

Жан-Кристоф Крафт».

Кристоф не слушал; он только радовался, что его муки кончены, и, опасаясь, как бы его не засадили опять за писание, поспешил улизнуть из дому. Он ничего не понял в том, что написал, да его это и не интересовало.

Зато дедушка, прочитав один раз, сейчас же начал читать вторично, наслаждаясь каждым словом, и когда он кончил, оба они с Мельхиором решили, что это здорово написано. Таково же, повидимому, было и мнение герцога, которому передали это послание вместе с экземпляром пьес Кристофа. Его высочество милостиво велел сказать, что и посвящение и музыка выполнены в весьма изящном стиле. Он разрешил концерт и приказал доставить в распоряжение Мельхиора зал Музыкальной академии; он даже обещал лично принять юного артиста в день его выступления.

Мельхиор, не мешкая, принялся за устройство концерта. Он заручился содействием Hof Musik Verein'a¹ и задумал — ибо успех первых шагов разжег в нем жажду славы — одновременно выпустить «Утехи детства» в роскошном издании. На обложке он мечтал поместить портрет Кристофа, сидящего за роялем, а рядом должен был стоять он сам, Мельхиор, со скрипкой в руках. От этого пришлось отказаться не из-за дороговизны — Мельхиор готов был на любые расходы, — но по недостатку времени. Тогда, несколько сбавив свои требования, Мельхиор помирился на аллегорической виньетке: колыбель, игрушечная труба, барабан и деревянная лошадка окружали лиру, из которой исходили во все стороны солнечные лучи. На титульном листе, после длинного посвящения, в котором имя герцога выделено было огромными буквами, сообщалось также, что «господину Жан-Кристофу Крафту в настоящее время исполнилось шесть лет». По правде сказать, Кристофу было уже семь с половиной. Все эти затеи стоили очень дорого; для того чтобы их оплатить, дедушке пришлось продать старинный ларь XVIII столетия, украшенный резными фигурками, с которым он до сих пор не соглашался расстаться, несмотря на неоднократные предложения Вормсера, торговца случайными вещами. Но Мельхиор не сомневался в том, что подписка на издание с лихвой окупит все расходы.

Его терзала другая забота: в каком костюме выпустить Кристофа на эстраду? По этому поводу состоялся

¹ Придворного музыкального общества (нем.).

семейный совет. Мельхиору хотелось, чтобы Кристоф вышел с голыми икрами и в коротеньком платице, как четырехлетний ребенок. Но Кристоф был рослый мальчик, даже для своих лет, к тому же все в городе его знали, так что вряд ли удалось бы кого-либо обмануть насчет его возраста. Тогда Мельхиора осенила блестящая мысль. Он решил одеть мальчика во фрак с белым галстуком. Напрасно возмущалась бедная Луиза, говоря, что ее сына хотят вырядить, как шута. Мельхиор именно и рассчитывал на то, что столь неожиданный наряд развеселит публику и настроит ее на добродушный лад. Так и решили, и немедленно в доме появился портной, чтобы снять мерку с маленького щеголя. К вечернему костюму понадобилось тонкое белье и лакированные туфли; это тоже стало в копеечку. Новая одежда очень стесняла Кристофа; чтобы мальчик попривык, его несколько раз заставляли репетировать в полном параде. Целый уже месяц он не сходил с табурета. Его учили также раскланиваться перед публикой. В общем у Кристофа не оставалось ни минуты свободной. Он злился, но не смел противиться, так как и сам верил, что готовится совершить подвиг, который покроет его славой; он и гордился и трепетал от страха. К тому же никогда с ним так не нянчились, как сейчас: укутывали в кашне, чтобы его не продуло, грели ему носки, чтобы он не застудил ноги, а за столом подкладывали самые лакомые кусочки.

Наконец, великий день настал. Явился парикмахер и завил непокорную шевелюру Кристофа; мальчик вышел из его рук курчавый, как барашек. Все семейство собралось поглядеть на Кристофа и решило в один голос, что он великолепен. Мельхиор осмотрел сына со всех сторон, повертел его вправо и влево и вдруг, ударив себя по лбу, притащил откуда-то огромный цветок и вдел Кристофу в петлицу. Но Луиза, увидя это, всплеснула руками и объявила, что мальчика совсем изуродовали — чистая обезьяна! — чем жестоко обидела Кристофа. Он, впрочем, сам не знал, гордиться ему своим нарядом или же стыдиться. Чутье подсказывало ему, что все это почему-то стыдно. Но еще худший стыд он испытал на самом концерте; это чувство было сильнее всего, что пережил Кристоф в тот памятный день.

До начала оставались считанные минуты. Но зал был наполовину пуст. Пуста была и герцогская ложа. Некий всеведущий доброжелатель — такие всегда находятся — принес известие, что во дворце происходит заседание совета и герцог не придет; это он знает из самых достоверных источников. Мельхиор, в полном расстройстве, не находил себе места, бегал взад и вперед, высовывался в окно. Жан-Мишель тоже волновался, но больше из-за внука, и донимал его советами. Тревога старших передалась Кристофу; он ничуть не боялся за свое исполнение, но ведь придется раскланиваться перед публикой! Чем больше об этом думал, тем больше терзался.

Однако пора было начинать; публика проявляла нетерпение. Оркестр Hof Musik Verein'a заиграл увертюру к «Кориолану». Кристоф не знал, ни кто такой Кориолан, ни кто такой Бетховен; музыку Бетховена он, конечно, не раз слышал, но не знал имени композитора; ему никогда не приходило в голову справляться о названиях исполняемых вещей, — он давал им свои названия, придумывал для каждой маленький рассказ или представлял себе в связи с ней какую-нибудь картину природы, деля их по трем категориям: огонь, земля и вода, со множеством дополнительных оттенков. Моцарт почти всегда был вода — то лужайка на берегу ручья, то светлый туман над рекою, то быстрый весенний дождь, то радуга. Бетховен был огонь: пылающий костер с высокими языками пламени и огромными клубами дыма; горящий лес и над ним грозная черная туча, из которой сверкают молнии; бездонное небо с мерцающими звездами, и одна вдруг срывается, — Кристоф сам не раз с бьющимся сердцем наблюдал это в ясные сентябрьские ночи, — срывается и скользит вниз и тихо гаснет... И теперь, как всегда, повелительная страсть этой героической души обожгла его, словно огненный вихрь. Все остальное исчезло; какое ему было дело до всего остального? До сада Мельхиора, тревога Жан-Мишеля, вся эта суeta кругом, публика, герцог — что ему до них до всех? Что его с ними связывает? Он был уже не здесь, его увлекала за собой эта неукротимая воля... Он всем существом стремился ей вслед, задыхаясь, со слезами на гла-

зах; ноги у него онемели, все тело напряглось от ладоней до подошв, кровь била в виски, как барабан перед атакой, он весь дрожал... И вдруг, в момент наивысшего внимания, когда он слушал, едва дыша, притаившись за стойкой для декораций, его словно с размаху ударили в сердце: музыка оборвалась на середине такта, а затем после секунды молчания взвыли трубы, загремели литавры — оркестр оглушил залу казенно-торжественным военным маршем. Переход был таким грубым и таким неожиданным, что Кристоф заскрежетал зубами, топнул ногой об пол и показал кулак стене. Но Мельхиор ликовал: герцог уже входил в ложу, и это его приветствовали национальным гимном. И Жан-Мишель спешил дрожащим голосом преподать внуку последние наставления...

Увертюра возобновилась и на этот раз была благополучно доведена до конца. Наступил черед Кристофа. Мельхиор весьма тонко составил программу с таким расчетом, чтобы продемонстрировать одновременно виртуозность и сына и отца: первым номером они должны были вместе исполнить сонату Моцарта для скрипки и рояля. Чтобы не выкладывать все эффекты сразу, решено было, что сперва Кристоф выйдет один. Его подвели к выходу на сцену, показали рояль, поставленный на середине, ближе к рампе, еще раз повторили, что и в каком порядке он должен делать, и вытолкнули из-за кулис.

Кристоф вышел довольно спокойно — он уже привык к театральным залам; но когда он очутился один на сцене под взглядами сотен глаз, он вдруг так оробел, что невольно попятился и даже повернул было назад, намереваясь юркнуть обратно за кулисы, но там стоял отец и, делая страшные глаза, грозил Кристофу. Пришлось идти дальше. Его уже заметили из залы. Поднялся шепот, стали раздаваться смешки — то тут, то там, все громче и чаще. Мельхиор не ошибся: маскарадный костюм маленького дебютанта производил именно то впечатление, на которое он рассчитывал. Люди прыскали со смеху при виде дохматого и смуглого, как цыганенок, мальчугана, который во всех доспехах светского франта нерешительно семенил по сцене. Многие вставали, чтобы лучше его разглядеть, и скоро всех охватило неудержи-

мое веселье; это был не злой смех, но все же такой прием мог бы смутить и более закаленного гастролера. Кристоф, напуганный шумом, взглядами, направленными на него со всех сторон лорнетками, думал только об одном — как бы скорее добраться до рояля, который представлялся ему спасительным островом среди бурного моря. Опустив голову, не глядя по сторонам, он ускоренным шагом промаршировал вдоль рампы, а дойдя до середины, вместо того чтобы раскланяться, как его учили, круто повернул и ринулся прямо к роялю. Стул был слишком высок; Кристоф не мог сесть без помощи отца, но сконфуженный мальчик не догадался подождать и вскарабкался на сиденье, помогая себе коленками. Это еще усилило общую веселость. Но теперь Кристоф был спасен: сидя перед роялем, он уже никого не боялся.

Наконец, вышел Мельхиор; благожелательность публики распространилась и на него — его встретили до-вольно горячими аплодисментами. Начали с сонаты. Маленький человечек у рояля играл с невозмутимой уверенностью, плотно сжав губы, не отводя глаз от клавиш; короткие его ножки свисали с сиденья, не доставая до земли. По мере того как разворачивались музыкальные фразы, ему становилось все легче и свободнее, как будто его окружали хорошо знакомые, добрые друзья. Из зала к нему долетал ропот одобрения, и временами его охватывало чувство удовлетворенной гордости при мысли, что столько людей собралось его послушать и все им восхищаются. Но едва он кончил, как снова оробел и, слыша со всех сторон рукоплескания, испытывал не удовольствие, а стыд. Еще хуже стало, когда Мельхиор взял его за руку, подвел к рампе и велел поклониться публике. Он повиновался и с забавной неуклюжестью отвесил низкий поклон. Но ему было со-вестно, он покраснел до ушей, как будто делал что-то смешное и гадкое.

Его опять усадили за рояль, и он, уже соло, сыграл «Утехи детства». Публика неистовствовала. После каждой песенки раздавались вопли восторга и требования повторить; и как ни горд был Кристоф своим успехом, эти овации его оскорбляли, ибо звучали как приказания. Под конец весь зал поднялся и рукоплескал стоя;

сам герцог аплодировал из своей ложи, подавая пример остальным. Но Кристоф продолжал сидеть, не смея шевельнуться, — отца на этот раз не было возле него, и он совсем растерялся. Аплодисменты усилились. Кристоф все ниже опускал голову, словно виноватый, краснел, как рак, и отворачивался от публики. Мельхиор поспешил ему на помощь; он взял мальчика на руки и, повернув лицом к герцогской ложе, велел послать туда воздушный поцелуй. Кристоф и ухом не повел. Мельхиор до боли стиснул ему локоть и вполголоса пригрозил его выпороть. Тогда Кристоф стал покорно посылать на все стороны поцелуи, но глаз так и не поднял и попрежнему отворачивался от зала. Он чувствовал себя глубоко несчастным, сам не зная почему; самолюбие его страдало, и все эти люди в зале были ему противны. Его мучил стыд оттого, что все видят его в этой нелепой позе — взяли на руки, как маленького, да еще заставляют рассылать воздушные поцелуи — немудрено, что все хохочут над ним, хоть и аплодируют; и Кристоф сердился на публику за этот смех, сердился даже за аплодисменты. Когда Мельхиор, наконец, поставил его на пол, он, не оглядываясь, устремился за кулисы. Какая-то дама бросила ему букетик фиалок, цветы задели его по лицу — это повергло его в панику, и он пустился бежать со всех ног, опрокинув стул, попавшийся на пути. И чем быстрее он бежал, тем громче смеялись в зале, а чем громче смеялись, тем он быстрее бежал.

Наконец, он у выхода — там тоже стояли люди и смотрели на него, но Кристоф головой пробил себе дорогу и спрятался в самом дальнем углу за артистическими уборными. Там его нашел дедушка: старик не помнил себя от радости и не скупился на похвалы Кристофу. Оркестранты, хохоча от души, поздравляли мальчика, но тот ни на кого не смотрел и никому не желал подать руку. Мельхиор, прислушиваясь к неумолкающим аплодисментам, вздумал было еще раз вывести Кристофа на сцену, но мальчик с яростью отказался; он вцепился в дедушкин сюртук и пинал ногами всех, кто пытался к нему подойти. Под конец он истерически разрыдался; пришлось оставить его в покое.

В эту минуту вошел офицер и объявил, что герцог просит исполнителей к себе в ложу. Что было делать? Как показать ему Кристофа в таком виде? Мельхиор пришел в бешенство и накинулся на сына с бранью; от этого Кристоф зарыдал еще пуще. Но дедушка нашел способ прекратить наводнение: он посулил Кристофу фунт шоколада — только перестань плакать, и Кристоф, большой сластена, тотчас затих, проглотил слезы и беспрекословно дал себя унести; правда, пришлось сперва торжественно поклясться, что его не выведут обманом на сцену.

В герцогской ложе Кристофа подвели к какому-то маленькому, краснощекому и пухлому господину в визитке, лицом напоминавшему мопса; у него были закрученные кверху усы и подстриженная остроконечная борода; он шутливо приветствовал Кристофа, потрепал его по щеке жирной ручкой и назвал: «Моцарт redivivus!»¹ Это и был герцог. Затем Кристофа представили герцогине, ее дочери и всей их свите. Но так как Кристоф не смел поднять глаз, то единственным его впечатлением от первого знакомства с великосветским обществом был вид десятка женских юбок и форменных военных рейтуз. Юная дочь герцога усадила его к себе на колени и принялась расспрашивать, но Кристоф сидел ни жив ни мертв, не шевелясь и почти не дыша, и на все вопросы вместо него отвечал Мельхиор — угодливым тоном и в почтительных до лакейства выражениях. Однако юная принцесса его не слушала и на все лады поддразнивала Кристофа. Тот краснел все гуще; боясь, что окружающие это замечают, он решил, наконец, объясниться и произнес с глубоким вздохом:

— Я потому такой красный, что мне очень жарко.

Юная девица покатилась со смеху. Но Кристоф на нее не обиделся, как обижался только что на публику; наоборот, этот смех ему понравился, а когда она его поцеловала, это ему понравилось еще больше.

В эту минуту он увидел дедушку. Старик стоял в коридоре у входа в ложу; на лице у него был написан

¹ Воскресший Моцарт (лат.).

восторг и вместе с тем смущение: ему тоже хотелось бы подойти и вставить словечко, но он не смел, так как его не позвали, и только издали наслаждался триумфом внука. Кристофа вдруг охватила горячая любовь к дедушке; ему захотелось, чтобы бедному старику тоже отдали должное, чтобы все узнали, какой он замечательный человек. Это развязало Кристофу язык; он потянулся к уху своей новой приятельницы и прошептал:

— Я хочу сказать вам один секрет.

Она засмеялась.

— Какой?

— Помните, в моем менюэте есть такое красивое *трио*? Ну, в том менюэте, что я играл? Помните? (Он тихонько пропел это трио.) Ну вот! Так это дедушка сочинил, а совсем не я. Остальное все мое, а вот это, самое красивое, это дедушкино. Он только не велел никому говорить. Вы никому не расскажете? — И, указывая на старика, Кристоф добавил: — Вот это мой дедушка там стоит. Я его очень люблю. Он очень добрый и все для меня делает.

Дочь герцога еще веселее расхохоталась, сказала, что Кристоф душка, расцеловала его в обе щеки и, к великому конфузу и дедушки и внука, немедленно повторила это признание вслух. Все тоже засмеялись, а герцог поздравил смущенного старика, который тщетно пытался что-то объяснить, путаясь и заикаясь, словно уличенный в преступлении. Но Кристоф надулся, и, сколько ни заигрывала с ним потом герцогская дочь, он на все ее вопросы молчал, как каменный: он презирал ее за то, что она не сдержала слова. Его представление о коронованных особах весьма пострадало от этого предательства. Он был так возмущен, что уже не замечал ничего вокруг и не слышал даже, как герцог, смеясь, объявил, что назначает его своим придворным пианистом — Hof Musicus.

Потом Кристофа увели, но и в фойе и даже на улице множество людей подходили к нему с поздравлениями, а некоторые даже целовали в щечку, к крайнему его неудовольствию, так как он не любил поцелуев, да и вообще терпеть не мог, чтобы им распоряжались без его согласия.

Наконец, пришли домой, и, захлопнув за собой дверь, Мельхиор тотчас принялся бранить Кристофа; он обвинял его «простофилей» за то, что тот разболтал про дедушкино *трио*. Кристоф, считавший, что совершил похвальный поступок, достойный поощрения, а не упреков, возмутился и наговорил отцу дерзостей. Тот в свою очередь вознегодовал и заявил, что по-настоящему Кристофу надо бы задать хорошую трепку, ну да уж ладно, счастье его, что он играл прилично, поэтому его прощают, но, конечно, из-за его глупости весь эффект концерта пропал. Кристоф, оскорбленный в своем чувстве справедливости, обиделся и ушел в угол; там он и сидел, мрачно насупясь и мысленно казня презрением отца, юную принцессу и весь мир. Его уязвляло также и то, что приходившие соседи, смеясь, обращались с поздравлениями к Мельхиору и Луизе, как будто это они, а не он, отличились в концерте и вся заслуга принадлежит им, а сам он так, ничто, неодушевленный предмет, их собственность.

Неожиданно появился придворный лакей и принес подарки — великолепные золотые часы от герцога, а от его дочери коробку превосходных конфет. Оба подарка очень понравились Кристофу, трудно сказать, который больше, но он не хотел в этом признаться даже самому себе и продолжал хмуриться, искоса с вожделением поглядывая на конфеты и раздумывая, прилично ли ему принять этот дар от особы, которая обманула его доверие. Он совсем уж было решил, что ничего, принять все-таки можно, как вдруг отец потребовал, чтобы он немедленно сел за стол и написал благодарственное письмо под его диктовку. Это уж было слишком! Сказалось ли нервное возбуждение, вызванное событиями дня, или Кристофу было стыдно начинать письмо, как требовал отец, раболопными словами: «Вашего высочества маленький слуга и музыкант — Knecht und Musicus», — но Кристоф вдруг неудержимо расплакался, и больше от него ничего не удалось добиться. Лакей ждал, иронически усмехаясь. Пришлось Мельхиору самому написать письмо. Это не улучшило его настроения. В довершение всех бед Кристоф уронил часы, и они разбились. Тут уж его разобрали не на шутку. Мельхиор пригрозил, что

его оставят без сладкого. Кристоф дерзко ответил, что он и сам его есть не станет. Луиза вздумала в наказание отобрать у него конфеты. Кристоф, окончательно обозлившись, закричал, что она не имеет права — «конфеты мои, их мне подарили, а не тебе, никому не отдам!» Ему закатили пощечину; тогда, в исступлении, он вырвал коробку из рук матери, швырнул ее на пол и растоптал ногами. Его выпороли, унесли в спальню, раздели и уложили в постель.

Вечером собрались гости, и все уселись за обед — роскошный обед, специально приготовленный по случаю концерта; Луиза хлопотала целую неделю. За столом громко смеялись и чокались. Кристоф все это слышал, мечась по подушке, и чуть не умер от такой несправедливости. Приглашенным сказали, что мальчик очень утомился, и больше о нем никто не вспоминал. Только когда обед кончился и гости уже расходились, в спальне слышались шаркающие шаги. Жан-Мишель склонился над кроватью, с чувством поцеловал Кристофа, проговорил: «Милый мой, дорогой мальчик!..» — и тотчас, словно устыдившись, ушел, сунув Кристофу принесенные в кармане лакомства.

Это немного утешило мальчика. Но он так устал от пережитого за день, что у него не хватило сил ни подумать о том, что сделал дедушка, ни даже притронуться к припасенным для него сладостям. Его всего разламывало от усталости, и он почти сейчас же заснул.

Сон его не был спокоен. Нервы еще не уgomонились — Кристофа то и дело подбрасывало во сне, словно от электрического тока. В его сновидениях звучала нестройная музыка. Среди ночи он проснулся. Увертюра Бетховена, которую он слышал днем, гремела у него в ушах. Она наполняла всю комнату своим прерывистым дыханием. Кристоф сел в кровати, протер глаза. Во сне это или наяву?.. Нет, это не сон. Он узнавал эту музыку — эти вопли гнева, эти бешеные выкрики, он слышал, как колотится это неукротимое сердце, словно хочет вырваться из груди, как кипит в жилах эта неистовая кровь; в лицо ему хлестал ветер — ураган, который мнет тебя, и крутит, и валит с ног, и вдруг сам падает ниц, побежденный титанической волей. Эта гигантская душа

внедрялась в его собственную душу, раздвигая границы его существа, превращая его самого в великана. Он шагнул по земному шару. Он был, как гора, и бури бушевали в нем. Бури гнева!.. Бури страдания!.. О, какая боль!.. Но это ничего! Он чувствовал в себе такую силу!.. Страдать? Пусть! Он готов. Еще! Еще!.. О, как хорошо быть сильным! Как хорошо страдать, когда ты силен...

Он рассмеялся. Смех звонко прозвучал в ночной тишине. Отец проснулся.

— Кто там? — окликнул он.

Мать ответила шепотом:

— Тише! Это он во сне.

И все трое умолкли. И все умолкло вокруг. Затихла музыка. И в тишине слышно было только ровное дыхание людей, спавших в комнате, — невольных попутчиков, брошенных судьбой в одну и ту же утлую ладью, которую необоримой силой увлекало куда-то в ночную темь.

Книга вторая
УТРО

Перевод
Н. ЖАРКОВОЙ

Часть первая

СМЕРТЬ ЖАН-МИШЕЛЯ

Прошло несколько лет. Кристофу скоро минет одиннадцать. Занятия музыкой продолжаются. Гармонию он изучает под началом старика-органиста из церкви святого Мартина, дедушкиного друга, ученейшего Флориана Хольцера, не устающего внушать своему ученику, что аккорды — чередование столь любимых Кристофом аккордов, от которых замирает сердце и холодок пробегает вдоль спины, — что все эти аккорды неблагозвучны и под запретом. На недоуменный вопрос мальчика следует неизменный ответ: запрещены правилами. Но Кристоф, в крови которого живет неприязнь к дисциплине, больше всего любит именно запрещенные гармонии. И с какой радостью он отыскивал крамольную гармонию у великих композиторов и с каким торжеством показывал деду или учителю, на что дедушка отвечал, что у великих музыкантов это и в самом деле восхитительно и что Бетховену или Баху все дозволено. Учитель же, менее сговорчивый, сердился и ядовито замечал, что как раз эти места отнюдь не лучшее в их творениях.

Кристоф попрежнему имел свободный доступ в концерты и театр. Там он перепробовал понемножку все инструменты. В скором времени мальчик уже неплохо играл на скрипке, и отец решил, что пора ему занять постоянное место в оркестре. Кристоф так успешно справлялся со своей партией, что после нескольких месяцев испытания его официально зачислили второй скрипкой в Hof Musik Verein. Так он начал зарабатывать на жизнь, и давно было пора, потому что дома дела шли

из рук вон плохо. Мельхиор становился все неводержанней, а дедушка заметно дряхлел.

Кристоф понимал, сколь плачевно положение семьи. Он сразу повзрослел, ходил с серьезным и озабоченным видом, словно маленький мужчина. Безропотно исполнял он свои обязанности, хотя работа в оркестре его отнюдь не интересовала; вечерами он чуть не валился со стула от скуки и от желания спать. Театр не доставлял теперь ему прежних радостей, которые он испытывал, когда был еще маленький. Мог ли он четыре года назад мечтать о таком счастье: сидеть вот здесь перед своим пюпитром, перед которым он сидел сейчас? А сейчас большинство исполняемых оркестром пьес ему не нравилось; он еще не решался вынести свой приговор: просто глупые пьесы, думалось ему; а когда случайно играли что-нибудь истинно прекрасное, мальчика сердило исполнение — слишком уж простодушное, как ему казалось; самые любимые вещи вдруг чем-то становились похожи на его коллег музыкантов, которые, как только опускался занавес, прекращали дуть или водить смычком, утирали, улыбаясь, мокрые лбы и спокойно поверяли друг другу незамысловатые новости, словно они и не играли целый час, а просто проделывали гимнастические упражнения. Кристоф часто видел теперь белокурую певицу с босыми ногами, предмет своих детских воздыханий, встречался с нею в антрактах, в ресторанчике при театре. Певица, узнав о его юном чувстве, охотно целовала своего малолетнего поклонника, но ласки ее не доставляли Кристофу ни малейшего удовольствия, ему отвратительно было в ней все — жирный слой грима на лице, запах духов, пухлые руки, непомерный аппетит; теперь он просто ее ненавидел.

Герцог не забывал своего придворного пианиста, однако жалование, присвоенное на этом основании Кристофу, выплачивалось неаккуратно, всякий раз приходилось выпрашивать деньги; зато время от времени Кристоф получал приказ прийти в замок, и случалось это в те дни, когда у герцога собиралось избранное общество, а то и просто среди недели, когда его светлости с супругой и домочадцами приходила фантазия послушать музыку. Обычно являться надо было вечером, а именно

в эти часы Кристофу хотелось побыть одному. Приходилось бросать любые занятия и спешить на зов. Иногда мальчика заставляли ждать в передней, так как гости не подымались еще из-за обеденного стола. Слуги уже привыкли к Кристофу и держались с ним запросто. Наконец, мальчугана вводили в гостиную, где в огромных зеркалах дробился свет люстр, и отяжелевшие после обильной трапезы гости разглядывали юное дарование с оскорбительным любопытством. А еще нужно было пересечь всю комнату, не поскользнувшись на натертом до блеска полу, и поцеловать руку его светлости. И чем старше становился Кристоф, тем более неуклюжими делались его движения; он сам считал себя смешным, и самолюбие его страдало.

Затем он усаживался за рояль и должен был играть перед этими дураками, ибо он считал, что все они дураки. Минутами он так мучительно ощущал окружавшее его равнодушие, что, казалось, пальцы сами собой вот-вот замрут на клавишах и он ни за что не доиграет начатой пьесы. Ему не хватало воздуха, он задыхался, его поглощала пустота. Когда он кончал играть, слушатели поздравляли его, осыпали удручающе пошлыми похвалами, его наперебой представляли незнакомым лицам. А Кристофу чудилось, что все они смотрят на него как на какую-то диковинную обезьянку, как на обитателя герцогского зверинца, и похвалы эти относятся скорее к хозяину дома, чем к нему самому. Он чувствовал себя униженным и становился болезненно-подозрительным; страдания его усугублялись еще и тем, что обнаруживать своих чувств он не смел. Самые простые жесты и слова казались ему оскорбительными; если в углу гостиной раздавался взрыв смеха, он был уверен, что смеются над ним, и старался угадать, что вызвало такое веселье: его манеры, костюм или внешность — руки, ноги? Все его унижало; унижало, если с ним не говорили, унижало, если к нему обращались с разговором, унижало, когда ему предлагали конфетку, словно младенцу какому-то. И особенно его унижало, когда герцог, сунув юному пианисту в руку золотую монету, с вельможной бесцеремонностью отсылал его домой. Он страдал оттого, что беден, что с ним обращаются, как

с бедняком. Однажды на обратном пути, пользуясь ночной тьмой, Кристоф швырнул в сточную канаву ненавистную монету, которая жгла ему ладонь. И тут же спохватился — он готов был на все, лишь бы вернуть золотой. Ведь семейство Крафтов задолжало в лавочку за несколько месяцев.

Родители не подозревали о страданиях его гордой души. Они были в восхищении от герцогских милостей. Бедняжка Луиза не могла представить лучшей доли для своего мальчика, чем эти вечера в замке среди блестящего общества. А Мельхиору милость герцога давала богатую пищу для хвастовства перед своими приятелями. Но больше всех радовался дедушка. Хотя сам он охотно выказывал при любом случае свою независимость, свой непокорный нрав, свое презрение к сильным мира сего, в глубине души он испытывал простодушное восхищение перед деньгами, властью, почестями, перед любыми проявлениями общественной иерархии; с чувством неопишуемой гордости думал он, что его внук вхож к обладателям всех этих привилегий; он наслаждался, словно отблеск славы мальчика падал и на него; дедушка крепился, стараясь не выдать своей радости, но лицо его так и сияло. В те вечера, когда Кристоф играл в замке, старый Жан-Мишель подольше задерживался у Луизы, выискивая для своего неурочного сидения различные предлоги. Он поджидал внука с детским нетерпением, и как только Кристоф появлялся на пороге, дед начинал свои расспросы издалека, с самым равнодушным видом:

— Ну, как нынче твои дела?

Или с ласковой вкрадчивостью восклицал:

— А вот и наш Кристоф, что-то он нам расскажет новенького!

А иной раз, желая задобрить мальчика, отпускал какой-нибудь замысловатый комплимент:

— Привет придворному фавориту!

Но угрюмый и сердитый Кристоф сухо бросал: «Добрый вечер», — и, нахохлившись, садился в угол. Старик не сдавался: он засыпал внука вопросами, на которые тот отвечал кратким «нет» или столь же кратким «да». Тогда и все домашние вмешивались в разговор,

расспрашивали о подробностях вечера; Кристоф сидел надувшись, отмалчивался, и кончалось тем, что взбешенный Жан-Мишель выходил из себя и прикрикивал на внука. Кристоф отвечал уж совсем непочтительно. Вспыхивала крупная ссора. Громко хлопнув дверью, дедушка уходил не попрощавшись. Радость родителей была вконец испорчена, — бедняги недоумевали, почему их мальчик приходит из замка в таком раздражении. Но не их следовало винить за то, что душа у них была раболопная, а о том, что может существовать иная душа, они и не подозревали.

Так Кристоф окончательно замкнулся в себе; он не осуждал своих родителей, но чувствовал, как растет пропасть между ним и домашними. Без сомнения, он преувеличивал глубину этой пропасти. И возможно, как ни различны были их взгляды на жизнь, родители понимали бы мальчика, побеседуй он с ними по душам. Но каждый по себе знает, что нет на свете ничего более трудного, чем полная откровенность между ребенком и родителями, даже при самой нежной привязанности, ибо, с одной стороны, сковывает привычное уважение, мешая признаниям, а с другой — исходят из ошибочного представления о превосходстве, даруемом летами и опытом, что мешает брать всерьез чувства ребенка, которые подчас глубже чувств взрослого и всегда уж наверняка искреннее.

Отдаляло Кристофа от родных и то общество, которое собиралось у них дома, и те разговоры, которые велись за столом.

К Мельхиору приходили его приятели оркестранты, все народ холостой да к тому же и выпивохи; люди они были в сущности неплохие, но безнадежно вульгарные: от их громкого смеха и тяжеловесных шагов сотрясались стены. Они любили музыку, но говорили о ней невыносимые глупости. Нескромные и грубые их восторги ранили чистые чувства мальчика. Когда они, прибегая к своим любимым словечкам, хвалили музыкальные произведения, восхищавшие Кристофа, ему казалось, что наносят оскорбление ему лично. Он весь сжимался, бледнел, сидел с ледяным видом, притворяясь, что его не интересует музыка, и если бы мог, действительно

возненавидел бы музыку. Мельхиор со вздохом говорил о старшем сыне:

— У этого малого нет сердца, ничего-то он не чувствует. Никак не пойму, в кого он такой уродился.

Иногда гости пели в четыре голоса четырехдольные немецкие песни, неразлично похожие одна на другую, которые начинались медленно, с какой-то тупой торжественностью и разрешались пошлой гармонией. Кристоф тогда убегал в самую дальнюю комнату и бранился в одиночестве.

Были свои друзья и у дедушки: органист, обойщик, часовщик, контрабас из оркестра — все болтливые старички, и пробавлялись они все одними и теми же незатейливыми шуточками, пускались в бесконечные споры об искусстве, политике или разбирали родословные местных жителей, — казалось, их интересовала не столько сама тема разговора, сколько возможность поговорить и находить темы для разговора.

Луиза же виделась только с соседками, завзятыми сплетницами. Изредка являлась какая-нибудь «добрая дама», которая под предлогом благотворительного визита желала заручиться ее услугами для предстоящего званого обеда и предлагала последить за религиозным воспитанием детей Луизы.

Но никто из посетителей родительского дома не вызывал у Кристофа такой жгучей неприязни, как дядя Теодор. Дядя Теодор был пасынок дедушки, сын бабушки Клары, жены Жан-Мишеля, от ее первого брака. Он был пайщиком в крупной торговой фирме, которая вела дела с Амстердамом и Дальним Востоком. Дядя Теодор полностью воплощал тип современного немца, того немца, что притворно отрекается от старого германского идеализма, высмеивает его и, упоенный победой, возводит в культ силу и успех, но именно этот-то культ и показывает, что и сила и успех ему в диковинку. Поскольку трудно сразу переделать целый народ со всеми его вековыми привычками, то загнанный внутрь идеализм мстил за себя: он вырывался наружу на каждом шагу, сказывался в языке, в манерах, в нравственных правилах, в неумеренных цитатах из Гёте по каждому поводу; удивительное это было смешение совестливости и ко-

рысти, забавных усилий сочетать принципы честности, которыми так гордится старая немецкая буржуазия, с цинизмом современных кондотьеров от коммерции; и смесь эта довольно мерзко припахивала лицемерием — до того старались такие, как дядя Теодор, превратить немецкую силу, алчность и немецкое корыстолюбие во всеобъемлющий символ права, справедливости и истины.

Прямодушный Кристоф принимал все это как личную обиду. Он не мог судить, прав ли дядя, или нет, но ненавидел его, чувствовал в нем врага. Дедушке тоже не по душе были разглагольствования пасынка, он возмущался его теориями; однако в спорах велеречивый Теодор без труда брал верх над стариком да еще выставлял в смешном виде благородную наивность отчима. В конце концов Жан-Мишель начинал стыдиться своей доброты и, желая доказать, что он вовсе не такой уж отсталый, каким его считают, пытался было говорить языком Теодора, хотя чужие речи в его устах резали ухо даже ему самому. Но что бы дедушка ни думал, пасынок невольно внушал ему уважение: он благоговел перед его деловой хваткой и завидовал тем сильнее, что сам за собой знал полную неспособность к практической деятельности, а потому мечтал, чтобы хоть один из его внуков добился высокого положения в коммерческом мире. Таково же было желание и Мельхиора, который решил пустить Рудольфа по стопам дяди Теодора. В итоге весь дом заискивал перед богатым родственником в надежде на его будущую помощь. А дядя, чувствуя, что в нем нуждаются, вел себя у Крафтов, как хозяин, вмешивался во все дела, давал советы и даже не считал нужным скрывать своего полного презрения к искусству и артистам; напротив, он всячески подчеркивал это свое презрение, дабы унижить родственников-музыкантов, отпускал грубые шуточки насчет музыки и родни, а родственники угодливо хихикали.

Особенно доставалось Кристофу; дядя выбрал его мишенью своих насмешек, а племянник, как известно, не отличался долготерпением. Мальчик злобно молчал, стискивал зубы, дядя же от души забавлялся этим немым бешенством. Но в один прекрасный день, когда Теодор за обедом особенно разошелся, Кристоф, вне

себя от ярости, плюнул дяде в физиономию. Неслыханное, небывалое преступление! Обида была столь велика, что дядя от изумления даже замолчал, но потом, обретя дар речи, разразился градом проклятий. Кристоф застыл на стуле от ужаса перед содеянным, не чувствуя даже колотушек и тумачков, на которые не поскупились родители; но когда мальчика подтащили к дядюшке и хотели поставить перед ним на колени, он стал судорожно отбиваться, оттолкнул мать и убежал из дому. Он бежал прямо в поле, не оглядываясь, и остановился, только когда окончательно выбился из сил. Он слышал вдалеке голоса родителей и молча размышлял, не броситься ли ему самому в реку, если уж нельзя бросить туда своего врага. Ночь он провел в поле, а на заре постучался у дедушкиной двери. Старик был так взволнован исчезновением Кристофа, — он всю ночь не смыкал глаз, — что у него не хватило духу пожурить внука. Дед отвел Кристофа домой, и здесь мальчику тоже ничего не сказали, видя, что он еще не оправился, а так как вечером ему предстояло играть в замке, то его оставили в покое. Правда, Мельхиор в течение нескольких недель допекал сына намеками; не обращаясь ни к кому в частности, он нудно распространялся на тему о том, что вот, мол, являешь собой образец добродетели, учишь, учишь хорошим манерам неблагодарных, а они тебя же еще и позорят. Когда Кристоф встречал случайно на улице дядюшку, тот отворачивался и демонстративно затыкал себе нос, всем своим видом выказывая глубочайшее отвращение к племяннику.

Кристоф старался как можно реже оставаться дома, где видел так мало тепла и сочувствия. Он страдал от вечных принуждений, которыми ему надоедали и родители и дедушка: слишком много вещей, слишком много людей требовалось почитать, не спрашивая даже почему и за что, а Кристоф от рождения был лишен шишки почтительности. Чем сильнее старались его дисциплинировать, сделать из него маленького бюргера, честного немчика, тем сильнее росла в нем потребность сбросить иго. Как хотелось ему после мучительно скучных часов, проведенных в замке или в оркестре, покататься, точно жеребенку, по траве, съехать в новых штанишках с высо-

кого зеленого склона или побросаться камнями с соседскими мальчишками! И если он предавался своим любимым забавам не так часто, как ему хотелось, то отнюдь не из страха перед родительской воркотней и тычками — у него просто не было товарищей; ему никак не удавалось сойтись с другими детьми. Даже мальчишки с их улицы не любили играть с Кристофом. Кристоф слишком всерьез принимал любую игру, и если уж начинал драться, то дрался изо всех сил.

Да к тому же он привык сидеть дома: он сторонился сверстников, стыдясь своей неловкости, и потому не осмеливался принимать участие в веселых играх. Приходилось делать вид, что такие пустяки очень мало его интересуют, хотя на самом деле Кристоф сгорал от желания присоединиться к играющим. Но мальчишки его не приглашали, и он проходил мимо с бесстрастным, презрительным лицом, хоть сердце его и сжималось от горя.

Единственным его утешением было бродить с дядей Готфридом, когда тот заглядывал в их края. Мальчик все больше и больше привязывался к дяде Готфриду, чувствуя родственную душу в этом независимом человечке. Он понимал теперь, как должно быть приятно и легко дяде Готфриду бродить и бродить по дорогам, нигде не оседая, не задерживаясь. Иногда дядя и племянник отправлялись вечером в поле, шли куда глаза глядят, и так как Готфрид никогда не знал, который час, полуношников обычно встречали дома ворчаньем. И уж ни с чем не сравнимой радостью были ночные походы — незаметное бегство втихомолку из погруженного в сон дома. Дядя Готфрид понимал, что поступает не очень хорошо, но мальчик так умолял его, да и сам он не мог устоять перед искушением. В полночь он подходил к дому Крафтов и свистел условным свистом. Кристоф в такие вечера ложился в постель не раздеваясь. Он осторожно подымался и, держа в руках башмаки, затаив дыхание, чуть не ползком, как индеец, добирался до кухонного окошка, которое выходило на дорогу. Тут он залезал на стол, а Готфрид уже ждал его под окном, и оба пускались в поход счастливые, словно школьники.

Иногда они заходили к Иеремии — рыбаку, другу дяди Готфрида; тот катал их на лодке по серебряной от лунных лучей реке. Капли скатываются с весел в воду, вызывая то короткие арпеджио, то хроматические гаммы. Над рекой струится молочно-белый туман. Спокойно мерцают звезды. Сонно пропоет петух, и на том берегу ему ответит другой; иногда где-то в немыслимой глубине неба послышится трель жаворонка, обманутого лунным светом. Наши путники молчат. Готфрид чуть слышно затянет вдруг песню. Или Иеремия расскажет странную историю из жизни зверей, и истории эти кажутся еще таинственнее оттого, что говорит рыбак кратко и загадочно. Луна скрывается за лесом. Лодка плывет вдоль черной гряды холмов. Темная вода сливается вдаль с темным небом. Река лежит ровная, без единой морщинки. Все звуки стихают. Лодка скользит в ночи. Да и скользит ли? Плышет? Или просто стоит на месте? Шурша, словно шелк, расступаются камыши. Лодка бесшумно причаливает к берегу. Обрато дядя с племянником возвращались пешком. Иногда они добирались до дома только на заре. Путь их лежал берегом реки. Стайки серебристых уклеек — зеленых, как колос, или синих, как сапфир, — просыпались при первых отблесках дня, рыбки кишели, словно змеи на голове медузы; они суетливо набрасывались на корку хлеба, которую кидал им Кристоф; когда корка медленно погружалась в воду, вслед за ней по спирали скользила вся стайка и вдруг пропадала из виду, блеснув в последний раз, как солнечный луч. По реке уже плыли розовато-лиловые блики. Просыпались и пели на разные голоса птицы. Дядя торопил Кристофа. Так же осторожно мальчик пробирался в душную спаленку, валялся в постель и сразу же засыпал, чувствуя свежесть в теле, вобравшем все запахи полей.

Ночные похождения сходили до времени благополучно, и родители так ничего и не заметили бы, если бы Эрнст, самый младший из братьев, не донес на Кристофа; отныне ему строго-настрого запретили уходить с дядей и даже стали следить за ним. Тем не менее Кристофу удавалось улизнуть из дому — всякому другому обществу он предпочитал общество скромного коробей-

ника и его друзей. Домашние были скандализированы. Мельхиор прямо заявил, что у его старшего сына мужицкие вкусы. Старик Жан-Мишель ревновал внука к Готфриду и нередко увещевал мальчика: как это он может находить удовольствие в такой простонародной компании, когда ему оказана высокая честь приблизиться к избранному обществу и служить великим мира сего. Словом, все единодушно решили, что Кристоф лишен чувства собственного достоинства, что он не уважает самого себя.

Хотя денежные затруднения Крафтов росли с каждым днем, причиной чего являлась невоздержанность бездельника Мельхиора, жили они все-таки более или менее сносно, пока с ними был Жан-Мишель. Он единственный имел влияние на Мельхиора и хоть немного удерживал сына от пагубного порока. Многие безрассудные выходки прощались пьянице Мельхиору ради того уважения, каким старик пользовался в городе. А главное, когда с деньгами бывало уж совсем туго, дед неизменно приходил на помощь. Жил он на весьма скромную пенсию, которую получал в качестве бывшего хормейстера, да кроме того, попрежнему собирал скромную лепту в виде платы за уроки музыки и настройку фортепиано. Большую часть этих денег он отдавал невестке, ибо Луиза напрасно старалась скрыть от пронизательного ска свекра истинное положение дел. Не раз Луиза плакала при мысли, что ради них старик вынужден отказывать себе в самом необходимом; жертвы дедушки казались тем значительнее, что привык он жить на широкую ногу, да и потребности у него были немалые. Но нередко даже этих жертв не хватало на покрытие всех нужд, и, чтобы удовлетворить чересчур назойливого кредитора, дедушка тайком продавал что-нибудь из мебели, книг, какие-нибудь любимые и памятные ему вещицы. Мельхиор проведаль, что отец тайком от него помогает Луизе деньгами, и нередко накладывал на них свою лапу, не обращая внимания на горячие протесты жены. Но когда старик в свою очередь узнал о проделках сына — узнал не от Луизы, конечно, которая никому не рассказывала о своих горестях, а от внуков, — он впал

в ярость; между отцом и сыном стали разыгрываться ужасные сцены. Оба старших Крафта отличались необузданной вспыльчивостью и с первых же слов более или менее мирный разговор переходил в ругань, угрозы; казалось, еще немного — и сын подымет на отца руку. Но чувство сыновнего уважения не покидало Мельхиора даже в минуты пьяной злобы; в конце концов он замолкал и, склонив голову, выслушивал тысячи проклятий и унижительных упреков, на которые не скупился разошедшийся старик. Но сын только ждал подходящего случая начать все сызнова, и Жан-Мишель с тревогой думал о будущем; его мучили самые черные предчувствия.

— Бедные мои дети, — не раз говорил он Луизе, — что-то с вами станется, когда меня не будет в живых! Хорошо еще, что я могу вам помогать, — добавлял он, нежно глядя Кристофа по головке, — а потом уж он как-нибудь вытащит вас из беды.

Но дедушка ошибался в своих расчетах: жизненный путь его подходил к концу. Никто не подозревал об этом. Старик был на редкость крепкий для своих восьмидесяти с лишним лет. В его густой гриве, среди серебряной седины, еще виднелись темные пряди, а пышная борода была почти наполовину черная. Зубов у него осталось всего с десяток, но и с этим десятком он управлялся неплохо. Приятно было смотреть на дедушку, когда он садился за стол. Аппетитом он славился отменным, и хотя упрекал Мельхиора за пьянство, сам тоже не прормах был выпить. Особое предпочтение он отдавал белому мозельвейну. Впрочем, он отдавал дань также и другим маркам вин, пиву, сидру, — словом, всем щедрым дарам господ бога. Но никогда вино не затемняло его рассудка, потому что старик знал свою меру. Правда, мера эта была немалая, и для менее крепких мозгов одного дедушкиного стакана хватило бы с избытком. Дедушка был еще молодец хоть куда и полон самой кипучей энергии. В шесть часов утра он был уже на ногах и тщательно занимался туалетом: он весьма пекся о своем облике, будучи высокого мнения о своей персоне. Жил он в собственном домике один, один управлялся со всеми делами и не терпел, чтобы невестка совала нос в его хозяйство: сам убирал комнаты, сам

варил себе кофе, сам пришивал пуговицы, что-то прико-
лачивал, клеил, что-то убирал; в одной рубашке, не-
устанно бегая по лестнице с первого на второй этаж, он
распевал арии рокочущим баском, с удовольствием при-
слушиваясь к раскатам своего голоса, и сопровождал пе-
ние выразительными актерскими жестами. Покончив
с уборкой, дедушка выходил из дому — в любую погоду.
Ни одного дела он никогда не забывал, но точностью
не отличался: то остановится на углу и вступит в ожив-
ленную беседу со знакомым, то пошутит с соседкой, чье
личико ему приглянулось, ибо дедушка равно любил ста-
рых друзей и молоденьких красоток. Поэтому-то он
всюду задерживался и не соблюдал назначенного вре-
мени. Только один час он соблюдал свято — час обеда;
и обедал там, где его заставлял этот час или, вернее, где
он сам напрашивался на обед. Вечером он долго сидел
с внуками и возвращался домой уже в темноте. Перед
сном в постели он любил прочесть страницу-другую из
потрепанной библии и даже ночью, — ибо спал дедушка
не более двух-трех часов подряд, — подымался и брал
первую попавшуюся книжку из своей библиотеки, кото-
рая составлялась в разные времена и от случая к случаю;
тут были и труды по истории и теологии, и беллетри-
стика, и научные трактаты. Дедушка открывал книгу
наудачу, прочитывал несколько страниц и, независимо от
того, интересовало ли его чтение, или, наоборот, наго-
няло скуку, понимал ли он все, или не понимал ничего,
он читал, не пропуская ни слова, пока не засыпал с ми-
ром. По воскресеньям он бывал у обедни, водил гулять
внуков и играл в шары. Никогда он ничем не болел, му-
чила его только подагра, и ночами он прерывал чтение
библии громкими проклятиями — до того ныли пальцы
обеих ног. Казалось, так оно и будет идти до ста лет,
да и дедушка сам в сущности не видел никаких причин,
почему бы ему не перешагнуть даже за сотню. Когда ему
предрекали, что он умрет в столетнем возрасте, он, по-
добно другому прославленному старцу, говорил, что не
следует ставить пределов благодати провидения. С годами
дедушка стал легко проливать слезу да все чаще раздра-
жался. Других примет старости в нем не было заметно.
От какого-нибудь сущего пустяка Жан-Мишель свире-

пел и впадал в гнев. Его и без того красное лицо и короткая шея густо багровели. В такие минуты он начинал в бешенстве заикаться и останавливался на полуслове, стараясь набрать побольше воздуха. Домашний врач Крафтов — старый дедушкин приятель — не раз уговаривал Жан-Мишеля следить за собой, умерить свой необузданный нрав и свой столь же необузданный аппетит. Но упрямый, как и все старики, дедушка просто из чистого бахвальства совершал одну неосторожность за другой да еще поносил медицину и медиков. На словах дед выказывал полное презрение к смерти и охотно сообщал собеседнику, что он лично ничуть не боится курносой.

В один из летних дней, в сильную жару, дедушка, изрядно выпив и к тому же поспорив, вернулся домой и прошел прямо в садик поработать: он любил повозиться с цветами. Еще не остывший после спора, он яростно орудовал мотыгой, не прикрыв даже головы от палящих лучей солнца. Кристоф, с книгой в руках, сидел поблизости в беседке, но не читал, мечтательно прислушиваясь к ленивому стрекоту кузнечиков и машинально следя за взмахами дедушкиной мотыги. Лица старика он не видел — дед стоял к нему спиной и, согнувшись, усердно выпалывал сорную траву. Вдруг Кристоф заметил, что дедушка резко выпрямился, нелепо взмахнул руками и ничком грузно рухнул на грядку. В первую минуту мальчику стало даже смешно. Но он увидел, что дедушка не шевелится. Кристоф окликнул его, подбежал и начал трясти изо всех сил. Ему стало страшно. Опустившись на колени, он пытался обеими руками приподнять огромную голову старика, бессильно лежавшую на траве. Голова была странно тяжелая, и дрожащему от ужаса мальчику едва удалось лишь слегка повернуть ее. Но когда Кристоф увидел закатившиеся, налитые кровью белки, он весь похолодел; дико вскрикнув, он разжал руки, вскочил и в страхе бросился прочь из сада. Он кричал и плакал навзрыд. Какой-то прохожий остановил мальчика. Кристоф не мог произнести ни слова, он только молча указывал на дедушкин домик и вместе с незнакомцем вошел в калитку. На крики мальчика сбежались соседи, и весь садик сразу же заполнился на-

родом. Люди шагали прямо по клумбам, и вскоре вокруг дедушки собралась целая толпа; все что-то кричали, нагибаясь к старику. Двое-трое мужчин подняли тело с земли. Кристоф стоял у входной двери, повернувшись к стене и закрыв лицо руками; он не решался взглянуть, но любопытство превозмогло, и когда шествие поровнялось с ним, он слегка разжал пальцы и увидел дедушку — его огромное, неподвижное, беспомощное тело. Левая рука волочилась по траве; бессильно моталась в такт шагам голова и при каждом движении носильщика касалась его колена; опухшее лицо в крови и в земле промелькнуло мимо Кристофа; промелькнули страшные глаза, открытый рот. Мальчик снова закричал во весь голос и пустился бежать. Не останавливаясь, не глядя по сторонам, он добежал до родительского дома, словно за ним гнались. С ревом ворвался он на кухню, где Луиза чистила овощи. Кристоф в отчаянии бросился к матери и обхватил ее обеими руками, ища у нее на груди защиты и помощи. Губы его сводила судорога, он пытался что-то произнести и не мог. Но мать сразу поняла. Ножик вывалился у нее из рук, она победнела и, не произнеся ни слова, выбежала на улицу.

Оставшись один, Кристоф забился за шкаф; он плакал, горько плакал. Младшие братья играли в соседней комнате. Мальчик не мог осмыслить всего происшедшего. Он даже не думал о дедушке — он думал о том ужасном зрелище, которому стал свидетелем, и больше всего боялся, что ему велят вернуться к дедушке, а там он снова увидит ту страшную картину.

И действительно, когда малыши, набегавшись на свободе по всему дому и все перетрогав, начали хныкать, что они устали, что им скучно, что им хочется есть, торопливо вошла Луиза, взяла детей за руки и повела к деду. Шла она очень быстро, так что Эрнст и Рудольф по обыкновению расхныкались, но Луиза прикрикнула на них таким тоном, что оба разом умолкли. Детьми овладел безотчетный страх; на пороге дедушкиного дома они начали плакать. Ночь еще не спустилась. Последнее отблески заката скользили по комнатам, выхватывая из темноты то медную ручку двери, то край зеркала, то причудливо освещали скрипку, висевшую на стене в

полутемной столовой. Но в спальне горела свеча; дрожащий язычок пламени боролся с умирающим светом дня, и казалось, в углах комнаты зловеще сгущается тяжелый ночной мрак. Сидевший у камина Мельхиор плакал навзрыд. Доктор, склонившись над постелью, заслонял лежавшее на ней тело. Сердце Кристофа неистово забилося. Луиза велела детям стать около постели на колени. Тут Кристоф осмелился поднять глаза. Он ждал чего-то очень страшного после того, что видел там, в саду, и вначале почувствовал даже облегчение. Дедушка лежал неподвижно и как будто спал. Мальчику на минуту показалось, что дедушка выздоровел и теперь все снова в порядке, но когда он услышал тяжелое дыхание больного, когда, приглядевшись, увидел отекавшее лицо, синяк, разлившийся в большое лиловое пятно, когда понял, что тот, кто лежит здесь на постели, умрет, он задрожал всем телом. И, повторяя за Луизой слова молитвы, прося господина о выздоровлении дедушки, он просил про себя: если дедушка не выздоровеет, то пусть уж поскорее умрет. Он ужасался тому, что должно произойти.

Старик так и не пришел в себя. Сознание вернулось к нему только на минуту, но в эту минуту он все понял; и всё охватил мрак. Священник стоял возле изголовья и читал отходную. Старика приподняли на подушках, он с трудом открыл глаза — казалось, тяжелые веки не повинуются его воле; он шумно задышал и отсутствующим взглядом обвел комнату, лица родных, огоньки свечей, потом вдруг раскрыл рот; непередаваемый ужас искажил его черты.

— Значит, я умираю, — пробормотал он, — значит, я умираю.

Ужас, с каким были произнесены эти слова, пронзил сердце Кристофа на всю жизнь; им навсегда суждено было остаться в его памяти. Старик не произнес больше ни слова; он начал стонать, как ребенок. Потом впал в забытие, но дыхание его становилось все более затрудненным. Он жалобно стонал, судорожно двигал руками, словно боролся против сна смерти. Раз он почти бессознательно позвал:

— Мама!

О, как страшно было слышать лепет старика, в ужасе позвавшего мать, как звал свою маму сам Кристоф, — позвавшего мать, о которой он никогда не говорил прежде и к которой, повинувшись инстинкту, воззвал сейчас, — последнее и, увы, бесполезное прибежище в последний, страшный час. На минуту он, казалось, успокоился, сознание вновь вернулось к нему, тяжелый взгляд его бессмысленно блуждающих глаз упал на Кристофа, похолодевшего от ужаса, — и вдруг глаза умирающего просветлели. Старик с усилием улыбнулся и хотел что-то сказать. Луиза подвела старшего сына к постели. Жан-Мишель пошевелил губами и приподнял руку, очевидно желая погладить любимого внука по головке, но внезапно снова впал в забытие. Это был конец.

Детей тут же выпроводили в соседнюю комнату, все были заняты, и никто ими не интересовался. Кристоф, прикованный ужасом, не отрываясь, смотрел сквозь полуоткрытые двери на трагическое лицо, запрокинувшееся на подушки, посиневшее, будто вокруг шеи обвились чьи-то безжалостные руки, — смотрел на старческое лицо, на котором уже западали щеки, губы, глаза, по мере того как все существо уходило в небытие, словно его всасывала пустота, — вслушивался в отвратительный хрип, напоминающий звук заводного органчика, будто на поверхности воды лопались один за другим пузырьки воздуха, — последние вздохи тела, упорствующего в своем желании жить, когда душа уже отлетает. Потом голова старика соскользнула с подушки, и стало тихо.

Только несколько минут спустя Луиза заметила стоящего в дверях сына. Мальчик побледнел, зрачки его остановились, рот мучительно искривился; судорожно сжимая рукой ручку двери, он наблюдал за поднимающейся в спальне суматохой, сопровождаемой рыданиями и молитвами. Луиза в испуге подбежала к сыну. Когда она схватила его на руки и понесла прочь, у него сделался нервный припадок. Он потерял сознание. Очнулся он на своей постели и завопил от страха, потому что возле случайно никого не оказалось. Припадок повторился, и мальчик вновь потерял сознание. Всю ночь и весь следующий день его била лихорадка. Мало-помалу он успокоился и проспал ночь глубоким сном.

Проснулся он около полудня. Он смутно припомнил, как кто-то ходил по комнате, как наклонялась мать над его изголовьем и целовала его, припомнилось тихое пение и отдаленный перезвон колоколов. Но ему не хотелось двигаться, он был в полузабытьи.

Когда Кристоф снова открыл глаза, в ногах его постели сидел дядя Готфрид. Мальчик так ослабел, что ничего не помнил. Постепенно память вернулась к нему, и он горько заплакал. Готфрид поднялся с места и обнял мальчика.

— Ну как, малыш, как ты? — спросил он ласково.

— Ах, дядя, дядя!.. — простонал мальчик, прижимаясь к Готфриду.

— Плачь, — сказал Готфрид, — плачь.

И он заплакал вместе с Кристофом.

Слезы облегчили Кристофа, он утер глаза и взглянул на Готфрида. Дядя понял, что мальчик хочет его о чем-то спросить.

— Нет, — сказал он, кладя ему палец на губы. — Не надо говорить, надо плакать, а говорить не надо.

Но мальчик не унимался.

— Все равно я тебе не буду отвечать.

— Только одну вещь скажи, только одну.

— Ну, чего тебе?

Кристоф запнулся.

— Дядя, а где он сейчас?

— Он в царстве небесном, детка.

Но не это хотелось знать Кристофу.

— Нет, ты не понимаешь. Где он, он сам?

Под словом «он» Кристоф подразумевал тело.

И добавил дрожащим голосом:

— Он еще дома?

— Сегодня утром похоронили нашего старика, — ответил Готфрид. — Ты что же, разве не слышал, как колокола звонили?

Кристоф вздохнул с облегчением. Но при мысли, что никогда больше он не увидит милого дедушки, мальчик снова горько заплакал.

— Бедный ты мой котенок, — повторял Готфрид, жалостливо глядя на мальчика.

Кристоф думал, что Готфрид будет его утешать, но дядя даже не пытался смягчить горе ребенка, сознавая всю бесполезность своих слов.

— Дядя Готфрид, — спросил мальчик, — а ты разве не боишься? Совсем не боишься этого? (Как хотелось Кристофу, чтобы дядя не боялся и открыл ему эту тайну!)

Но Готфрид задумался.

— Тише, — произнес он дрогнувшим голосом.

— Как же, конечно боюсь, — продолжал он помолчав. — Да что поделаешь? Так уж оно есть. Приходится покоряться.

Кристоф возмущенно потряс головой.

— Приходится покоряться, малыш, — повторил Готфрид. — Такова его воля там, на небесах, а мы должны принимать его волю.

— Я его ненавижу, — злобно воскликнул Кристоф, грозя небу кулаком.

Готфрид оторопело поглядел на племянника и велел ему замолчать. Да Кристоф и сам уже испугался своих слов и начал повторять молитвы вслед за дядей. Но сердце его кипело от негодования, и пока уста твердили слова рабского смирения и покорности, в душе росло лишь одно чувство — страстный бунт и ужас перед этой гнусностью и перед тем отвратительным существом, которое могло создать смерть.

Череда дней и дождливых ночей прошла над свежескопанной землей, где одиноко покоился старый Жан-Мишель. Сначала Мельхиор плакал, кричал, рыдал. Но уже к концу недели Кристоф с удивлением услышал беспечный смех отца. Когда при Мельхиоре упоминали о покойном, лицо его омрачалось, губы плаксиво кривились, но он тут же продолжал прерванный разговор и возбужденно размахивал руками. И хотя он был искренне огорчен, он не мог долго предаваться печальным думам.

Безропотная Луиза покорно приняла новое горе, как безропотно принимала она все. К ежевечерним своим молитвам она присоединила еще одну; она аккуратно посещала старое кладбище и старательно ухаживала

за могилкой, как будто и это входило в круг ее домашних забот.

Дядя Готфрид с трогательным вниманием относился к маленькому холмику земли, где покоился старый Жан-Мишель. Когда дядя возвращался домой из своих странствований, он всякий раз приносил дедушке в подарок какую-нибудь вещицу — то самодельный крестик, то любимые цветы Жан-Мишеля. Никогда он не пропустил случая зайти на кладбище, если попадал в город хотя бы на несколько часов, но посещения свои держал от всех в тайне.

Иногда Луиза брала старшего сына с собой на кладбище. Кристоф чувствовал непреодолимое отвращение к жирной кладбищенской земле в мрачном уборе деревьев и цветов, к тяжелым запахам, которые плыли в солнечных лучах, заглушая мелодичное дыхание кипарисов. Но он не смел признаться матери, что здесь ему все отвратительно; в душе он упрекал себя в трусости и безбожии. Кристоф сильно страдал. Мысль о дедушкиной смерти неотступно мучила его. А ведь он уже давно знал, что смерть вообще существует, даже думал о ней, даже боялся ее. Но он никогда еще не видел смерти и, увидев ее впервые, понял, что раньше не знал, совсем ничего не знал ни о смерти, ни о жизни. Все вдруг разом пошатнулось, никакие доводы рассудка не могут здесь ничем помочь. Считается, что живешь, считается, что приобрел какой-то опыт в жизни, и внезапно оказывается, что ничего-то ты не знал, ничего-то ты не видел, что жил доселе за плотной завесой иллюзий, сотканной усилиями твоего собственного ума, и за этой завесой не разглядел страшного лица действительности. Нет ничего общего между идеей страдания и живым существом, которое страдает и исходит кровью. Нет ничего общего между мыслью о смерти и судорогами тела и души, мятущейся в предсмертной муке. Все людские слова, вся человеческая премудрость — все это лишь игра деревянных пяцев из театра ужасов на фоне трагически ясного света реальности, где существа из праха и крови, в отчаянном и тщетном усилии цепляются за жизнь, которую подтачивает каждый убывающий час.

Кристоф думал об этом все время. Картина дедушкиной агонии преследовала его; каждую ночь он видел во сне дедушку, слышал его хрип. Даже сама природа как-то вдруг изменилась: казалось, ее окутал ледяной туман; со всех сторон, изо всех углов до его лица долетало мертвенное дыхание незримого и всемогущего зверя, он чувствовал, что его, как кулаком, оглушает сила разрушения и что ничего поделать нельзя. Но мысль эта отнюдь не пригнетала его; наоборот, он весь кипел негодованием и ненавистью. Кристоф никогда не был смиренником. Упрямо наклонив голову, бросался он навстречу непостижимому, — пусть хоть десятки раз расшибется он в кровь, пусть он слабее противника, никогда не перестанет он восставать против страдания. И с этого времени его жизнь стала ежеминутной, ежечасной борьбой против жестокого удела, который он не мог и не хотел принять.

Сама жизнь грубой рукой оторвала его от навязчивых мыслей. Разорение семьи, которое мужественно отдалял Жан-Мишель, стало неизбежным, когда старик умер. Со смертью дедушки Крафты лишились источника постоянной помощи, и нищета смело вошла в их дом.

Немало способствовал этому сам Мельхиор. Он не только не стал больше работать, но наоборот: вырвавшись из-под опеки отца, окончательно предался разгулу. Почти каждую ночь он возвращался пьяным и не приносил домой ни копейки из заработанных денег. Постепенно он растерял все уроки. Однажды он предстал перед одной из своих учениц мертвецки пьяный; естественно последовал скандал, и двери всех домов закрылись перед Мельхиором. В оркестре его терпели еще из уважения к покойному отцу, но Луиза дрожала, что вот-вот его выгонят из театра после какой-нибудь чересчур громкой истории. И так уже Мельхиор несколько раз приходил в театр лишь к концу представления, и его серьезно предупредили, что дело может кончиться плохо. А раза два он вообще не изволил явиться. Впрочем, оно, пожалуй, и к лучшему, ибо в такие минуты нелепого возбуждения его так и подмывало делать или гово-

ритель глупости. Разве, когда давали вагнеровских «Валкирий», не пришла ему в голову сумасбродная мысль исполнить посреди акта свой собственный скрипичный концерт? И с каким трудом удалось товарищам по оркестру отговорить его. Иной раз во время спектакля он начинал вдруг громко хохотать, заглядевшись на сцену, а то и просто вспомнив что-нибудь приятное. Он веселил своих соседей оркестрантов, и многое сходило ему с рук именно из-за его чудачеств. Но снисхождение окружающих было горше самой неприкрытой суровости, и Кристоф сгорал от стыда.

Мальчик играл теперь в оркестре первую скрипку. Он старался и на минуту не упускать отца из виду, чтобы в случае надобности заменить его, утихомирить, если на Мельхиора нападет буйный стих. Все это давалось не легко, и лучше было бы вообще не обращать на отца никакого внимания, ибо пьяница, чувствуя на себе взгляд сына, нарочно начинал гримасничать или разглагольствовать. Тогда Кристоф быстро опускал глаза, но его охватывала дрожь при мысли, что отец опять выкинет какое-нибудь коленце; мальчик старался весь уйти в музыку, но до него долетали глубокомысленные замечания Мельхиора и смех его соседей. Слезы навертывались на глаза Кристофа. Музыканты, в сущности славные люди, заметили страдания своего юного коллеги и сжалились над ним. Они старались смеяться тихонько, под сурдинку и, заводя игривые беседы с Мельхиором, прятались от мальчика за пюпитрами. Но Кристоф понимал, что все это делается из жалости к нему, и знал, что, стоит ему только выйти, как оркестранты снова возьмутся за свое и снова станут подымать Мельхиора на смех. Он ничем не мог помешать общему веселью и жестоко страдал от этой мысли. По окончании спектакля Кристоф брал отца под руку и вел его домой, мужественно выслушивая его несвязную болтовню; он выбивался из сил, чтобы прохожие не заметили неуверенной походки Мельхиора. Но кого он этим обманывал? Кроме того, вопреки всем своим усилиям, мальчику редко удавалось благополучно доставить Мельхиора домой. Дойдя до какого-нибудь перекрестка, Мельхиор вдруг вспоминал, что его ждут друзья, и на все мольбы сына

отвечал, что не может нарушить данное слово. Впрочем, Кристоф и не слишком настаивал, дабы не привлекать взоров соседей к патетической сцене родительского проклятья.

Все хозяйственные деньги уходили на разгул. Но Мельхиор не довольствовался тем, что пропивал свой заработок. Он пропивал также скудные сбережения жены и старшего сына, жалкие гроши, накопленные с таким огромным трудом. Луиза плакала, но не смела возражать, помня, как муж не раз грубо заявлял, что в их доме ей ничего не принадлежит и что он взял ее разутую и раздетую. Кристоф пытался было сопротивляться, но Мельхиор давал ему подзатыльник, обзывал щенком и силой отнимал деньги. Мальчику шел тринадцатый год, он был не по возрасту крепок и храбро огрызался, когда отец подымал на него руку; однако он не смел еще бунтовать открыто и, не желая подвергаться новым унижениям, позволял себя обирать. Они с Луизой прятали деньги — иного средства не оставалось, — но у Мельхиора был паразитический нюх по части распознавания тайников, и он неизменно обнаруживал деньги в отсутствие жены и сына.

Вскоре Мельхиору и этого стало мало. Он начал продавать вещи, оставшиеся после старика. Кристоф с горечью видел, как исчезали из дома дорогие его сердцу предметы: книги, дедушкина кровать, его кресло, портреты великих музыкантов. Но он молчал. Однажды Мельхиор спьяна налетел на старенький дедушкин рояль, грозно чертыхнулся и, потирая ушибленное колено, крикнул, что в квартире пошевелиться нельзя, — всё заставили хламом; вот тут-то Кристоф поднял голос. Правда, в комнатах стало тесно с тех пор как Крафты перевезли к себе дедушкину мебель при продаже домика, дорогого домика, где Кристоф провел лучшие часы своего детства. Правда и то, что рояль был старенький и не ценный, а клавиши издавали дребезжащий, негромкий звук. Правда и то, что Кристоф уже давно не притрагивался к нему, упражняясь на новом хорошем фортепиано — свидетельстве герцогских щедрот, но старый дедушкин рояль, ветхий и непригодный, был лучшим другом Кристофа: сидя за

ним, он, еще ребенком, открывал безбрежный мир музыки; пожелтевшие клавиши, отполированные сотнями прикосновений, вводили его в царство звуков и знакомили с их законами; это было детище Жан-Мишеля, который долгие месяцы чинил и настраивал инструмент для внука и по-детски гордился своей работой — словом, в каком-то смысле это была святыня. Поэтому-то Кристоф и крикнул, что никто не имеет права продавать дедушкин рояль. Мельхиор велел мальчику замолчать. Тогда Кристоф закричал уже во весь голос, что рояль — его и что он запрещает к нему прикасаться. Он ждал, что тут же воспоследует солидная затрещина. Но Мельхиор взглянул на сына с недоброй усмешкой и промолчал.

На следующий день Кристоф уже забыл о разыгравшейся накануне сцене. Домой он вернулся усталый, но в хорошем расположении духа. Младшие братья исподтишка наблюдали за ним; и он раза два перехватил их любопытные взгляды. Мальчики притворялись, что усердно читают, но не спускали с Кристофа глаз и следили за каждым его движением, а когда Кристоф случайно оглядывался, оба быстро хватались за книги. Кристоф не сомневался, что сорванцы затеяли какую-то скверную шутку, но он так привык к их выходкам, что даже не обратил на это внимания — только решил про себя, что, когда их шалость откроется, он их здорово вздует, как обычно делал в подобных обстоятельствах. Поэтому он не стал доискиваться причины неумеренной веселости братьев, а принялся беседовать с отцом, который, сидя в углу у камина, с преувеличенным и вовсе не свойственным ему интересом, расспрашивал старшего сына о его делах. Вдруг во время разговора Кристоф заметил, что Мельхиор украдкой от него подмигивает мальчишкам. Сердце у Кристофа сжалось... Он бросился в спальню. Там, где стоял рояль, было пусто! Кристоф закричал от горя и услышал в соседней комнате приглушенный смех братьев. Кровь ударила ему в лицо. Кристоф бросился на мальчиков с кулаками. Он завопил:

— Где мой рояль?

Мельхиор поднял голову и с самым миролюбивым и непонимающим видом посмотрел на Кристофа, отчего

мальчики захохотали еще громче. Да и сам отец не мог удержаться от смеха при виде растерянного, жалкого лица Кристофа и, отвернувшись в сторону, фыркнул. Кристоф на мгновение потерял рассудок. Как безумный, бросился он на отца. Мельхиор сидел, откинувшись на спинку кресла, и не успел ни подняться, ни посторониться. Мальчик схватил отца за горло и крикнул ему прямо в лицо:

— Вор!

Одним движением Мельхиор выпрямился и отшвырнул от себя яростно вцепившегося в него Кристофа. Кристоф ударился о каминную подставку, но тотчас поднялся на колени и, высоко вскинув голову, твердил прерывающимся от бешенства голосом:

— Вор! Ты вор! Ты нас обворовываешь — маму и меня! Ты вор! Ты обворовываешь бабушку!

Мельхиор, который успел уже встать с кресла, занес было кулак над Кристофом. Мальчик дерзко глядел ему прямо в глаза ненавидящим взглядом и весь дрожал от гнева. Мельхиор тоже начал дрожать. Он опустился в кресло и закрыл лицо руками. Малыши с громкими воплями выбежали из комнаты. В столовой после шума и криков вдруг воцарилась тишина. Мельхиор что-то жалобно бормотал. Кристоф, прижавшись к стене, не спускал с отца глаз; он трясся всем телом, крепко сцепив челюсти, но на Мельхиора вдруг нашло покаянное настроение:

— Верно, я вор. Я разоряю семью. Мои собственные дети меня презирают. Лучше бы мне умереть.

Когда отец кончил причитать, Кристоф, не трогаясь с места, сурово осведомился:

— Где рояль?

— У Вормсера, — ответил Мельхиор, не смея поднять глаза.

Кристоф шагнул к нему и властно потребовал:

— Давай деньги!

Мельхиор, окончательно уничтоженный, вынул из кармана деньги и протянул их сыну. Мальчик направился к дверям, но отец вдруг окликнул его:

— Кристоф!

Мальчик остановился! Мельхиор заговорил дрожащим от волнения голосом:

— Кристоф, сынок! Не презирай меня!

Кристоф с рыданием бросился на шею отцу.

— Папа, дорогой мой папочка! Я тебя вовсе не презираю; я так несчастлив!

Оба теперь плакали навзрыд. И Мельхиор жалобно твердил:

— Не моя это вина, сынок. Ведь я не злой человек. Верно, Кристоф? Скажи, разве я злой?

Он обещал бросить пить. Кристоф недоверчиво покачал головой, и Мельхиор сознался, что когда в кармане у него заводятся хоть какие-нибудь деньги, он не может устоять. Кристоф задумался.

— Знаешь, папа, — сказал он. — Вот что надо бы сделать...

И замолчал.

— Что сделать?

— Мне стыдно...

— За кого стыдно? — простодушно спросил Мельхиор.

— За тебя!

Мельхиор сморщился.

— Да ладно! — ответил он.

Кристоф объяснил отцу свой план: лучше всего было бы, если бы все деньги, даже жалованье Мельхиора, находились, скажем, у матери или у Кристофа, а они уж будут выдавать Мельхиору каждый день, каждую неделю нужную ему сумму.

Мельхиор, на которого окончательно напало покаянное настроение, — он с утра успел немножко выпить, — согласен был на все и заявил даже, что желает немедленно написать письмо герцогу, с тем чтобы жалованье выплачивалось непосредственно Кристофу. Кристоф отказался — он краснел, видя унижение Мельхиора. Но отец, не утоливший еще жажды самопожертвования, настаивал. Он сам был приятно взволнован собственным великодушием. Кристоф так и не согласился взять письмо. А Луиза, которая подросла к концу разговора, сказала, что лучше она милостыню собирать пойдет, но не станет принуждать мужа. Какое оскорбле-

ние! Она добавила еще, что твердо верит в добродетель супруга и что он непременно исправится во имя любви к детям и к ней самой. Этой умилительной сценой завершился семейный раздор, и письмо Мельхиора, забытое на столе, завалилось за шкаф, где и осталось лежать.

Но через неделю Луиза, убирая комнату, обнаружила письмо мужа, и так как последнее время Мельхиор, забыв свои клятвы, снова пустился во все тяжкие, письмо она не разорвала, а аккуратно спрятала. Так оно и пролежало несколько месяцев, — уж очень претила Луизе мысль пустить его в ход, хотя чаша терпения ее переполнилась. Но когда в один прекрасный день Мельхиор снова исколотил Кристофа и отнял у него последние деньги, Луиза решилась. Оставшись наедине с горько плачущим мальчиком, она достала письмо, вручила его сыну и коротко сказала:

— Иди!

Кристоф все еще не мог собраться с духом, хотя и понимал, что нет иного средства спасти семью от полного разорения, спасти хотя бы то малое, что оставалось в доме. И он отправился в замок. Путь, который обычно отнимал у Кристофа всего двадцать минут, отнял у него больше часа. Теперь он стыдился задуманного шага. За последние годы — годы грустные и одинокие, все возростала его полуребяческая гордость, и сейчас при мысли о том, что пороки отца будут выставлены на публичное осмеяние, сердце его исходило кровью. Конечно, он знал, что порок Мельхиора известен в их городке всем и каждому, но в силу нелепой, хотя вполне естественной непоследовательности, упорно пытался доказать обратное, притворяясь перед самим собой, что ничего не замечает; он скорее позболил бы четвертовать себя, чем признался бы в слабости отца. А сейчас он сам идет туда! Раз двадцать он собирался повернуть домой, два или три раза обошел весь город и, как только приближался к цели, возвращался вспять. Но ведь дело было не в нем одном. Речь шла о его матери, о младших братьях. Раз отец их бросил, раз предает их, значит он, старший сын, должен занять отцовское место, должен прийти семье на помощь. Кристоф больше не колебался. Он сломил свою гордыню: ничего не поделаешь, придется

испытать позор до конца. Он вошел в замок. Подымаясь по лестнице, он чуть было опять не повернул обратно, ноги у него подкашивались. Несколько минут он стоял на площадке, схватившись за ручку двери, но послышались чьи-то шаги, и мальчик принужден был войти. Чиновники герцогской канцелярии отлично знали молодого Крафта. Кристоф попросил аудиенции у управляющего театром его высочества, барона Хаммер-Лангсбаха. Служащий канцелярии, молодой, но уже тучный человек, с девичьим румянцем на полных щеках, в белом жилете и розовом галстуке, дружески пожал Кристофу руку и сразу же заговорил о вчерашнем исполнении оперы. Кристоф повторил свою просьбу. Чиновник ответил, что его превосходительство сейчас занят, но если Кристоф желает передать какое-нибудь ходатайство, то его вручат вместе с другими бумагами, когда их понесут на подпись. Кристоф протянул письмо. Чиновник быстро пробежал его глазами и удивленно присвистнул.

— Ах, вот в чем дело, — весело произнес он. — Что ж, прекрасная мысль! Давно пора. Это лучшее, что Крафт сделал за всю свою жизнь! Ах он старый пьяница! Да как же это он, черт побери, решился написать письмо, а?

Но договорить фразу ему не удалось. Кристоф, позеленев от гнева, дерзко вырвал письмо из рук молодого человека.

— Не смейте меня оскорблять! — закричал он. — Я запрещаю вам меня оскорблять!

Чиновник опешил.

— Но, дорогой мой Кристоф, — произнес он, с трудом подыскивая слова, — кто же тебя оскорбляет? Я сказал только то, что все знают. Да и сам ты прекрасно это знаешь.

— Нет! — яростно воскликнул Кристоф.

— Как не знаешь? Ты не знаешь, что отец пьет?

— Это неправда, — возразил Кристоф.

И топнул ногой.

Служащий пожал плечами.

— Зачем же он написал такое письмо?

— Написал потому... — начал Кристоф и запнулся (он не знал, что сказать), — потому... потому что я по-

лучаю каждый месяц свое жалованье, так мне удобно получать и папино жалованье тоже. Зачем нам обоим ходить, тратить зря время... Папа очень занят.

Нелепее ничего выдумать было нельзя, и Кристоф сам покраснел от смущения. Молодой чиновник посмотрел на него насмешливо и сострадательно. Кристоф, зажав злополучное письмо в кулаке, повернулся к дверям. Но чиновник поднялся со стула и схватил его за руку.

— А ну-ка, подожди минутку, я сейчас все устрою.

И прошел в кабинет директора. Кристоф ждал, чувствуя на себе любопытные взгляды всей канцелярии. Кровь кипела в его жилах. Он сам не знал, что делает, что собирается делать, что нужно делать. Ему хотелось убежать, не дожидаясь ответа, и он бочком уже двинулся к выходу, когда дверь директорского кабинета вдруг приоткрылась.

— Его превосходительство желает с тобой поговорить, — обратился к мальчику чиновник.

Пришлось войти в кабинет.

Его превосходительство барон Хаммер-Лангсбах, низенький, чистенький старичок с пробритым подбородком, в бакенбардах и усах, взглянул на Кристофа поверх золотых очков. Директор не прекратил своего занятия, — он что-то писал, — даже не кивнул в ответ на неловкий поклон Кристофа.

— Итак, — спросил он, отложив перо, — чего вы просите, господин Крафт?

— Ваше превосходительство, — быстро заговорил Кристоф. — Простите меня, пожалуйста. Я раздумал, я ничего не прошу.

Старичок даже не попытался найти объяснение столь крутой перемене в поведении юного просителя. Он поднял на Кристофа пронизательный взор, кашлянул и сказал:

— Не угодно ли вам, господин Крафт, дать мне письмо, которое вы держите в руке.

Тут только Кристоф заметил, что директорские глаза прикованы к письму, которое он судорожно мял в кулаке.

— Не нужно, ваше превосходительство. Сейчас уже не стоит.

— Дайте-ка письмо, пожалуйста, — спокойно повторил старичок, словно не слышал возражения.

Кристоф машинально подал на ладони смятый листок, но тут же снова протянул руку, намереваясь схватить в случае надобности письмо, и что-то бессвязно зашептал. Его превосходительство аккуратно разгладил листок, прочел, посмотрел на Кристофа, с минуту послушал его путанные речи и пресек их, заявив с лукавым огоньком в глазах:

— Хорошо, господин Крафт, ваша просьба будет удовлетворена.

Старичок махнул ручкой, что означало конец аудиенции, и снова уткнулся в свои бумаги.

Мальчик вышел из кабинета совершенно убитый.

— Ну, ну, не сердись, Кристоф, — сердечным тоном произнес молодой чиновник, когда мальчик проходил мимо его стола.

Кристоф не смел поднять глаза, не смел отнять у чиновника свою руку, которую тот дружески пожал. Наконец, он выбрался из замка. Он словно весь задеднел от пережитого позора. Теперь, когда он припоминал все происшедшее, ему слышалась даже в сочувственных словах людей, жалевших и уважавших его, оскорбительная ирония. Дома он нехотя и довольно грубо ответил на расспросы Луизы, словно именно на нее падала ответственность за унижительную сцену в канцелярии. Его жестоко терзало раскаяние при мысли об отце. Кристофу хотелось признаться Мельхиору во всем, вымолить его прощенье, но Мельхиора не было дома. Лежа в постели без сна, Кристоф поджидал возвращения отца почти всю ночь. Чем больше он думал об отце, тем острее были укоры совести; он даже начал идеализировать Мельхиора. Твердил себе, что отец просто слабый человек, Добрый, но несчастный, да к тому же самые близкие люди так подло предали его. И, услышав под утро на лестнице шаги, мальчик вскочил с постели, побежал навстречу отцу, желая лишь одного, — броситься ему на шею. Но Мельхиор вернулся пьяный, мерзкий, и у Кристофа не хватило мужества подойти к нему; он потихоньку поплелся в спальню, лег в постель. И горько

же ему было расставаться со своими мальчишескими иллюзиями...

Через несколько дней Мельхиор узнал историю с письмом и пришел в неистовый гнев; не слушая мольбы Кристофа, он отправился в замок с твердым намерением устроить хорошенькую сцену. Но вернулся он оттуда какой-то растерянный и ни словом не обмолвился о том, что произошло в канцелярии. А там встретили старшего Крафта весьма сурово. Ему прямо заявили, что, во-первых, жалование ему выплачивают лишь из уважения к заслугам сына, и, во-вторых, ежели в дальнейшем произойдет хоть один скандал, жалование выплачиваться вообще не будет. И поэтому лучше всего ему сбавить тон. На следующий день удивленный и обрадованный Кристоф увидел, что отца словно подменили: он не только примирился с новым положением, но при случае даже хвастал своим самопожертвованием.

Однако все эти выпренные речи отнюдь не помещали Мельхиору горько плакаться в компании друзей. Он жалостно повторял, что жена и дети обобрали его, высосали всю его кровь, а теперь еще оставляют без копейки. Он выманивал у Кристофа деньги, всячески хитрил, пускался даже на нежности, и, глядя на него, мальчик еле удерживался от смеха, хотя поводов для смеха у него не было. Но так как Кристоф мужественно отбивал все атаки, Мельхиор отступал. Под суровым взглядом четырнадцатилетнего подростка он чувствовал какое-то необъяснимое смущение. Но зато глупо и скверно мстил сыну исподтишка. Отправлялся, например, в кабачок, пил и ел там за двоих и уходил, не уплатив ни гроша. Пусть, заявлял он, за его долги платит сын. Боясь скандала, Кристоф шел на все, и, с согласия Луизы, они из последнего оплачивали долги Мельхиора. Перестав получать на руки жалование, Мельхиор окончательно охладел к своей скрипке. Теперь он пропускал один спектакль за другим, и, несмотря на отчаянные просьбы Кристофа, старшего Крафта выставили из оркестра. Мальчику пришлось одному содержать отца и младших братьев, содержать всю семью.

Так в четырнадцать лет Кристоф стал главой семьи.

Он мужественно взял на себя непосильное бремя. Гордость не позволяла ему обращаться за помощью к чужим людям. Он поклялся своими силами выпутаться из трудного положения. С самого детства он страдал, когда мать принимала, чуть ли не выпрашивала, унижительные подачки. Как часто вступал он с Луизой в спор, когда она возвращалась домой и, сияя от счастья, с торжеством показывала подарочек, полученный от очередной благотельницы! Худого в том она ничего не видела и от души радовалась, что с помощью этих подачек Кристоф сможет не так надрываться над работой, а семья получит к скудному обеду еще одно блюдо. Но Кристоф хмурился. Целыми вечерами он не разговаривал с матерью; не объясняя причины, он наотрез отказывался прикоснуться к еде, добытой такою ценой. Луиза огорчалась. Она назойливо приставала к сыну с лакомым куском; он отказывался; мать раздражалась и говорила ему колкости, он отвечал ей в тон; заканчивались такие сцены тем, что Кристоф, бросив на стол салфетку, уходил из комнаты. Отец пожимал плечами и называл старшего сына ломакой. Братья потихоньку хихикали и жадно съедали его порцию.

А жить было не на что. Жалованья, которое Кристоф получал в оркестре, не хватало. Он стал давать уроки. Талант виртуоза, хорошая репутация и особенно покровительство герцога привлекли к нему многочисленную клиентуру в богатых буржуазных домах. Каждое утро с девяти часов Кристоф обучал игре на рояле девиц, многие из которых были старше своего учителя, смущали его ужасно своим кокетством и раздражали своей скверной игрой. К музыке они были постыдно тупы. Но зато все без изъятия обладали даром видеть смешное. И язвительный взгляд девичьих глаз отмечал каждую неловкость Кристофа. Уроки превращались для него в сущую пытку. Примостившись рядом с ученицей на самом краешке стула, багрово-красный и важный, подавляя гнев и не смея пошевелиться, стараясь не сказать какой-нибудь глупости и страшась звука собственного голоса, Кристоф сидел с нарочито суровым видом и с трудом выдавливал из себя слова;

чувствуя на себе быстрые девичьи взгляды, он терялся, прерывал на полуфразе начатое замечание, боялся быть смешным и был действительно смешон, и от смущения вдруг раздражался ядовитыми упреками. Но ученицы не оставались в долгу; они мстили любым способом, старались смутить и смущали Кристофа, неожиданно вскидывая на него глаза, с невинным видом задавая самые простые вопросы, отчего он краснел до ушей, а то просили его оказать какую-нибудь мелкую услугу — принести стул или забытый в соседней комнате носовой платок, — и вот это-то и было самым мучительным для него испытанием: приходилось пересекать комнату под огнем пары лукавых глаз, которые безжалостно следили за каждым жестом юного музыканта и подмечали все: его неуклюжие движения, негнувшиеся пальцы, его одеревеневшие от смущения ноги.

После уроков Кристоф спешил в театр на репетицию. Сплошь и рядом он не успевал даже позавтракать и в антрактах жевал бутерброд с ветчиной, принесенный из дома. Иногда он заменял Musik Direktor'a ¹ Тобиаша Пфейфера, который благоволил к мальчику и время от времени поручал ему самому провести репетицию. А ведь надо было еще подумать о собственном музыкальном образовании. Но снова приходилось бежать на уроки, которые длились вплоть до начала спектакля. Часто вечерами, перед концом спектакля, за ним еще присылали из замка. Кристоф должен был играть перед своими покровителями два-три часа подряд. Герцогиня имела слабость считать себя знатоком и ценителем музыки; она действительно любила музыку, но ни за что на свете не отличила бы хорошей музыки от плохой. Она составляла для Кристофа вычурные программы, где какая-нибудь пошлая рапсодия сменялась подлинным шедевром. Но особенной охотницей была она до импровизаций, — герцогиня усаживала Кристофа за рояль и сама выбирала для него темы — сентиментальные до тошноты.

Кристоф покидал замок только около полуночи. Он еле брел от усталости, пальцы рук у него горели,

¹ Дирижера (нем.).

в висках стучало и желудок подводило от голода. Он выходил из замка весь потный, а на дворе шел снег или поднимался ледяной туман; до дома приходилось шагать чуть ли не через весь город; шел он пешком, лясая от холода зубами, еле сдерживая слезы, чуть не засыпая на ходу, а тут еще надо было обходить лужи, чтобы не запачкать единственную свою парадную пару.

Он входил в каморку, где попрежнему спал вместе с братьями; и никогда еще отвращение к жизни, глухая безнадежность и одиночество не угнетали его так, как в эти минуты, в этой душной, вонючей комнатушке, когда он мог, наконец, ослабить давивший его ошейник нищеты. Даже раздеться не хватало решимости. К счастью, как только голова его касалась подушки, глубокий сон придавливал его, точно плитой, и вместе с сознанием уносил все беды.

Но так или иначе надо было покидать гостеприимную постель — летом на заре, зимой еще раньше, до света. Кристофу хотелось поработать и для себя самого, а свободен он был только рано утром, от пяти до шести часов, и все-таки даже это свое собственное время приходилось тратить на выполнение заказов, ибо по званию Hof Musikus'a и в силу благоволения герцога он вынужден был сочинять кантаты и марши к официальным дворцовым празднествам.

Итак, сам источник его жизни и радости был отравлен. Даже в мечтах он не был свободен. Но, как это бывает обычно, мечты только ширились и крепили под гнетом. Когда ничто не стесняет действий, душа не всегда находит основания для действия. Чем плотнее охватывали Кристофа кандалы забот и будничных обязанностей, тем явственнее ощущало непокорное сердце свою независимость. Не будь его жизнь сплошным принуждением, он несомненно отдался бы свободному течению времени, блаженному ничегонеделанью отрочества. Но на протяжении целых суток в его собственном распоряжении оставалось лишь один-два часа, и сквозь их теснину юношеская сила рвалась неистово, подобно потоку, прорывающемуся сквозь утесы. Ничто так не дисциплинирует художника, как необходимость уложить все свои силы в определенные рамки, и чем они теснее, тем лучше.

В этом смысле нищета становится, если так можно выразиться, требовательным наставником не только мысли, но и стили; она приучает мысль к строгости, а тело к воздержанию. Когда время отпущено скупой мерой и каждое слово на счету, человек не станет ни празднословить, ни отвлекаться от главного. Когда нет времени жить, живут вдвойне.

То же самое происходило и с Кристофом. Под тяжелым ярмом он полностью мог оценить прелесть свободы и не растрачивал зря драгоценных минут на ненужные поступки, на бесполезные фразы. Склонный от природы запечатлевать все изобилие искренней, но еще не отчетливой мысли, покорно следуя всем ее прихотям, Кристоф против воли учился *выбирать*, вынужденный к тому необходимостью обдумать и успеть сделать возможно больше в возможно более короткий срок. Именно это и повлияло всего сильнее на его развитие как художника и человека, — больше, чем уроки учителей, больше, чем великие примеры. В те годы, когда формируется характер человека, Кристоф привык считать музыку самым точным и самым скупым средством выражения мысли, где каждая нота имеет вполне определенный смысл, и в те же годы он возненавидел музыкантов, которые болтают, лишь бы болтать.

Всё же композиции Кристофа еще отнюдь не отражали всей полноты его души, потому что и сам-то он еще не знал себя. Он пытался обнаружить себя среди груды благоприобретенных чувств, которые становятся в силу воспитания второй натурой ребенка. Он лишь интуитивно прозревал свое подлинное «я», ибо не прошел еще через юношеские страсти, разом срывающие с личности все взятые напрокат одеяния, как очищает небеса от заволакивающих их испарений первый удар грома. Неясные и острые предчувствия своих замыслов странным образом переплетались в нем с неосознанным воздействием чужих творений, и он никак не мог от них отделаться. Его бесила эта фальшь. Он с отчаянием видел, насколько ниже то, что он написал, того, что жило у него в душе. Он горько сомневался в себе самом, но капитулировать было бы слишком глупо. И он неистовствовал, он добивался совершенства, решил, что создаст во что

бы то ни стало великие творения. Но ничто ему не удавалось. Стоило положить перо, и мимолетная иллюзия, во власти которой он пребывал, рассеивалась. Кристоф трезвел, замечал, что все написанное никуда не годится; он рвал бумагу, сжигал все, что творил. И в довершение стыда его официальные опусы — самое посредственное из всего им написанного — продолжали жить, и он не мог их уничтожить. «Королевский орел» — концерт, написанный ко дню именин герцога, кантата «Бракосочетание Паллады», составленная по случаю свадьбы принцессы Аделаиды, вышли щедротами вельмож в роскошном издании и, так сказать, увековечили бездарность Кристофа в грядущих веках, ибо он верил в грядущие века. И при мысли об этом он плакал от унижения.

Лихорадочные, тревожные годы! Ни минуты покоя, ни передышки — ничего, что бы отвлекало от отупляющей работы. Ни детских игр, ни юношеских дружб; да и как бы он стал играть, где бы нашел друзей? Когда? В послеобеденные часы ребятишки бегали, развлекались, гуляли, а Кристоф, нахмутив от напряжения лоб, сидел перед своим пюпитром в пыльном, плохо освещенном зале, темневшем позади оркестра. Вечером, когда другие дети, набегавшись, уже сладко спали, он все еще сидел на стуле, согнувшись, точно старичок, усталый и сонный.

И никакой близости с братьями. Младшему, Эрнсту, шел уже двенадцатый год; это был настоящий маленький бездельник, порочный и дерзкий на язык мальчишка, который целые дни носился с такими же, как он, сорванцами и перенял от них не только малопохвальные повадки, но и такие дурные привычки, о которых Кристоф, по своей наивности, даже не подозревал; обнаружив как-то порочные наклонности брата, он оцепенел от ужаса. Средний, Рудольф, любимец дяди Теодора, с юных лет решил посвятить себя коммерции. Он любил во всем порядок, отличался спокойным, но скрытым нравом. Он ставил себя неизмеримо выше Кристофа и не признавал авторитета старшего брата, хотя и находил в порядке вещей есть его хлеб. К рассказам Мельхиора о странностях Кристофа он присовокуплял еще шуточки дяди Теодора и охотно их повторял. Млад-

шие братья не любили музыки, а Рудольф, подражая дяде, делал вид, что презирает музыкантов. Надзор и вечные нравоучения Кристофа, который всерьез взял на себя роль главы семьи, до смерти надоедали обоим мальчикам; они попробовали было поднять бунт, но Кристоф во всеоружии пары здоровых кулаков и в сознании своей правоты живо привел их к повиновению. И все же мальчишки вертели старшим братом. Злоупотребляли его доверчивостью, расставляли ловушки, в которые Кристоф неизменно попадался, выманивали у него деньги, бесстыдно ввали прямо в глаза, а за глаза издевались над ним. Добродушного Кристофа нетрудно было провести; он так изголодался по любви, что одно ласковое слово могло утишить приступ самого бешеного гнева. Он прощал мальчикам все их прегрешения за малейшее проявление любви, но однажды доверчивости Кристофа был нанесен тяжелый удар. Из соседней комнаты он услышал, как братья хохочут над его глупостью, — в ответ на их лицемерные поцелуи он растрогался чуть не до слез и отдал подаренные герцогом золотые часы, на которые оба уже давно зарились. Кристоф презирал и Эрнста и Рудольфа и тем не менее постоянно оказывался в дураках, — так неистребима была в нем потребность верить и любить. Впрочем, он сам это знал и в приступе бешенства, обнаружив очередной обман братьев, нещадно осыпал их тумаками. А назавтра он снова попадался на удочку.

Но самое тяжелое испытание было еще впереди. Соседи услужливо донесли Кристофу, что отец плохо о нем отзывается. Сначала Мельхиор гордился успехами Кристофа и всюду ими хвастался, но затем поддался постыдной слабости — стал завидовать сыну и старался, как мог, его опорочить. Это было донельзя глупо, и странно было бы даже на него сердиться. Презирать — и то не стоило. Разве только молча пожать плечами: ведь Мельхиор не знал, что творит, и к тому же озлобился от вечных неудач. Вот Кристоф и молчал: он боялся, что не выдержит и выскажет отцу в глаза жестокую правду; но сердце у него изнывало от боли.

Ох, эти грустные вечерние сборища! Семья за ужином, настольная лампа освещает скатерть в пятнах,

слышатся плоские шутки, громкое чавканье, а вокруг стола сидят существа, которых Кристоф презирает, жалеет и любит. Все-таки любит! Только с мамой, славной мамой, Кристофа связывала взаимная нежность. Но Луиза, набегавшись за день, уставала не меньше сына. К вечеру она окончательно выдыхалась, почти ничего не говорила и после ужина засыпала прямо на стуле, уронив на колени чулок, который собралась было заштопать. Мама была такая добрая и поровну делила привязанность между мужем и тремя своими мальчиками; всех их она любила одинаково. Но Кристоф при всем желании не мог найти в ней того поверенного своих чувств, в котором он так нуждался.

Потому-то он и замкнулся в себе. Целыми днями он молча, с какой-то яростью выполнял свои однообразные и утомительные обязанности; но подобный образ жизни чреват опасностями, особенно для подростка в переходном возрасте, когда организм так чувствителен и так бессильен против любого разрушительного воздействия и когда так легко искалечить ребенка на всю жизнь. Естественно, что все это отражалось на здоровье Кристофа. От своих предков он унаследовал мощное сложение, крепкое, здоровое, без изъянов тело. Но могучий организм бывает особенно уязвим для недугов, которым прокладывает дорогу чрезмерная усталость и преждевременные заботы. С самого нежного возраста у Кристофа наблюдалось серьезное нервное расстройство. Когда он был еще совсем крошкой, с ним при малейшем раздражении случались обмороки, приступы рвоты, в семь-восемь лет, когда начались его выступления в концертах, он стал плохо и беспокойно спать: что-то говорил во сне, кричал, смеялся, плакал, и это болезненное состояние возобновлялось всякий раз, когда что-нибудь слишком волновало мальчика. Потом начались мучительные головные боли — то словно стягивало обручем затылок и виски, то сдавливало, как свинцовым колпаком, всю голову. Да и с глазами дело обстояло неважно: временами будто иголки впились в зрачки, Кристоф на несколько секунд терял зрение, не мог даже читать. Нездоровое, скудное, да к тому же нерегулярное питание разрушило его луженый желудок. У него часто болел живот, истощали по-

носы, но самые страшные мучения причиняло ему сердце, биение которого отличалось какой-то непонятной аритмичностью: то оно, как бешеное, колотилось в груди и, казалось, вот-вот разорвется, то билось еле-еле, будто того и гляди остановится совсем. По ночам у мальчика скакала температура, лихорадочное состояние сменялось полным упадком сил; Кристоф горел, как в огне, дрожал от холода, замирал от страха и тоски, грудь у него болезненно теснило, какой-то ком подступал к горлу, мешая дышать. Естественно, что воображение у него разыгрывалось. Он не смел признаться родным в своих страданиях, но сам внимательно анализировал каждое болезненное явление, что только усиливало и умножало его страдания. Он находил у себя все известные ему болезни, считал, что непременно ослепнет, и, так как при ходьбе у него случались головокружения, боялся, что упадет на улице и сразу же умрет. В нем жил неотступный страх — боязнь не дойти, умереть безвременно, в расцвете сил; страх этот угнетал его и в то же время взбадривал. Ах, если уж суждено умереть, пусть он умрет, но только после того, как победит!

Победа... Эта неотвязная, хотя и безотчетная, мысль жгла огнем, вела его сквозь усталость, отвращение, через стоячее болото их жизни! Смутное, но непоколебимое сознание того, кем он будет потом, кем он уже стал сейчас. Сейчас? Сейчас он — болезненный, нервный мальчик, который играет в оркестре первую скрипку и пишет посредственные концерты. Нет, этот мальчик лишь часть того Кристофа. Этот мальчик — лишь внешняя оболочка, изменчивый облик. Его суть иная. И нет ничего общего между ней и его теперешним внешним и внутренним обликом. Он сам отлично это знал. Он гляделся в зеркало и не узнавал себя. Круглое, румяное лицо, выпуклые надбровные дуги, небольшие глубоко посаженные глаза, короткий чуть утиный нос с широкими ноздрями, тяжелый подбородок, капризные губы — эта маска, уродливая, вульгарная, чужда ему самому. Он не узнавал себя и в своих творениях. Строго судил себя; знал тщету того, что делает, того, что он есть сейчас. И, однако, он верил в себя и в свои будущие дела. Иногда он упрекал себя за эту уверенность, видя в ней

обман, внушенный гордыней, и с удовлетворением унижал себя, язвительно поносил. Но уверенность росла, и ничто не могло ее умерить. Что бы он ни делал, о чем бы он ни думал, ни одна его мысль, ни один его поступок, ни одно его творение не подчеркивало, не выражало его сути. Он это знает сам, им владеет странное чувство, что тот, кем он, Кристоф, является прежде всего и больше всего, — тот Кристоф еще не существует сегодня, он им только будет, *будет завтра, будет!* Он горел этой верой. Он опьянялся этим светом. Ах, только бы *сегодня* не остановило его на полпути! Только бы не споткнуться и не попасть в скрытые ловушки, которые так щедро расставляет на его пути это *сегодня!*

И так он вел свою ладью через водоворот дней, не глядя ни направо, ни налево, застыв у руля, устремив напряженный и внимательный взгляд вперед, к цели, к прибежищу, к зримой уже гавани. В оркестре среди шумливых музыкантов, за обеденным столом в своей семье, в герцогском замке, когда он играл для развлечения вельможных марионеток, не думая о том, что играет, — в эти минуты он жил в том будущем, которое, быть может, и не придет, в том будущем, которое могла разрушить любая пылинка. Пусть так. Этим он жив.

Он в мансарде, за стареньким роялем, один. Сгущается вечерний сумрак. Последние отблески угасающего дня скользят по нотной тетради. До ломоты в глазах всматривается он в нотные линейки, стараясь не упустить ни капли света. Нежность великих сердец, продолжающая жить на этих немых страницах, волнует его, как ласка. На ресницах повисла слеза. Ему чудится, будто позади стоит какое-то безгранично дорогое существо и дыхание его касается щеки мальчика, и чудится ему, будто чьи-то руки ласково обнимут сейчас его за плечи. Он оборачивается, дрожа всем телом. Он чувствует, знает, что в комнате кто-то есть. Любящая и любимая душа здесь, с ним рядом. И потому что к ней нельзя прильнуть, он стонет от боли. Но эта капля горечи, вливающаяся в его восторги, и она полна тайной сладости. Даже сама грусть светоносна. Мыслями

он с любимыми учителями, с гениями, ушедшими навеки, чья великая душа воскресает в музыке, наполнявшей их жизнь. Сердце его горит любовью, и он мечтает о том сверхчеловеческом счастье, которое, конечно, было уделом этих прославленных друзей, раз отблеск их счастья и поныне сжигает душу. Он мечтает стать таким же, как они, изливать вокруг сиянье той любви, чьи самые дальние лучи озаряют бедную жизнь словно божественная улыбка. Стать богом, как и они, стать источником радости, стать солнцем для жизни.

Увы! В тот день, когда он станет — если только станет — равным тем, к кому полна любовью его душа, когда достигнет он этого лучезарного счастья, которого так жаждет, — в тот день он поймет всю тщету своих иллюзий...

Часть вторая

ОТТО

Как-то в воскресенье Тобиаш Пфейфер, Musik Director, пригласил Кристофа пообедать к себе на дачу, которая отстояла в часе езды от города. Кристоф решил отправиться на пароходике, бегавшем по Рейну. На палубе он уселся возле мальчика, по всей видимости его ровесника, который, заметив Кристофа, предупредительно пододвинулся и освободил место рядом с собой на скамье. Сначала Кристоф не обратил на это внимания. Но, почувствовав, что сосед не спускает с него глаз, Кристоф в свою очередь стал присматриваться к мальчику. Это был блондинчик с розовыми пухлыми щеками, скромным косым проборчиком и легким пушком над верхней губой; вид у него был младенчески простодушный, хотя он и старался казаться взрослым джентльменом; одет он был щегольски, даже с претензией — фланелевый костюм, светлые перчатки, белые носки, аккуратно повязанный галстук; в руке он держал тоненькую тросточку. Мальчик искоса поглядывал на Кристофа, не поворачивая головы, смешно, как курица, вытягивая шею, а когда Кристоф посмотрел ему в лицо, мальчик покраснел до ушей, вытащил из кармана газету и притворился, что погружен в чтение. Но когда от порыва ветра шляпа Кристофа слетела на пол, мальчик быстро ее поднял. Кристоф, не привыкший к такому вежливому обращению, удивленно поглядел на незнакомца, который снова залился краской; Кристоф сухо поблагодарил соседа — он не терпел этой заискивающей любезности и уж совсем не переносил излишнего интереса к своей персоне. Все же поведение мальчика польстило ему.

Вскоре он перестал думать о соседе — все его внимание поглотил пейзаж... Давно уже Кристофу не удавалось вырваться за город, и он жадно вдыхал быющий в лицо ветер, с наслаждением вслушивался в мерный плеск волн о борт парохода, не спуская глаз с огромного мирного зеркала вод и проплывавших невдалеке берегов, где прихотливо сменяли друг друга высокие серые откосы, ивняк, подымающийся прямо из воды, города, увенчанные готическими башенками и фабричными трубами, из которых валил черный дым, светлая листва виноградников и сказочные утесы. А так как восторги свои Кристоф, не стесняясь, выражал вслух, его сосед оправился от смущения и робко, дрожащим голосом стал называть исторические даты, связанные с обозреваемыми руинами, искусно реставрированными и обвитыми плющом; говорил он с таким видом, будто читал сам себе лекцию. Кристоф заинтересовался и стал расспрашивать своего нового знакомого. Тот охотно отвечал, радуясь, что представился случай выказать свои познания, и, обращаясь к Кристофу, всякий раз величал его «господин придворный музыкант».

— Значит, вы меня знаете? — спросил Кристоф.

— О да, — ответил мальчик тоном такого наивного восхищения, что Кристоф невольно почувствовал себя польщенным.

Они разговорились. Мальчик часто видел Кристофа в концертах, да и многочисленные рассказы о юном музыканте сильно поразили его воображение. Конечно, он не сказал об этом Кристофу, но Кристоф понял и был приятно удивлен. Он не привык, чтобы с ним говорили таким уважительным и прочувствованным тоном. Он расспрашивал своего спутника о тех местах, мимо которых проплывал пароходик, и тот с восторгом выкладывал свои недавно приобретенные в школе познания; а Кристоф восхищался его ученостью. Однако исторические подробности служили лишь предлогом для беседы: обоим мальчикам интересовало другое, и это другое были они сами. Но они не осмеливались прямо приступить к занимавшей их теме и осторожно вставляли наводящие, хоть и весьма туманные вопросы. Наконец, они решились, и Кристоф узнал, что нового его друга зовут

господин Отто Динер, что он сын крупного коммерсанта из их города. Совершенно естественно было и то, что у них нашлись общие знакомые; мало-помалу языки развязались. И когда пароходик пристал к городку, где Кристофу надо было сходить, они уже беседовали с жаром. Отто тоже выходил здесь. Это обстоятельство показалось обоим весьма знаменательным, и Кристоф предложил пройтись, так как до обеда у Musik Director'a оставалось еще время. Мальчики отправились в поле. Кристоф, фамильярно взяв Отто под руку, поверял ему все свои планы и мечты, словно они были знакомы с самого рождения. Целые годы Кристоф был лишен общества сверстников и теперь ощущал огромную радость от знакомства с этим мальчиком, таким образованным и хорошо воспитанным и к тому же проявившим к нему искреннюю симпатию.

Часы шли, но Кристоф не замечал времени. Динер, гордый доверием, которое ему оказывал юный музыкант, не смел напомнить новому другу, что час обеда давно прошел. Наконец, решив, что он обязан предупредить Кристофа, Отто заявил, что так можно и опоздать, однако Кристоф, как раз взбиравшийся на лесистый холм, закричал, что надо же сначала взойти на вершину, а когда путники достигли ее, Кристоф растянулся на траве с таким видом, словно собирался провести здесь целый день. Через четверть часа Динер, видя, что Кристоф отнюдь не расположен уходить, робко напомнил:

— А как же обед?

Кристоф, удобно улегшийся на траву, закинул руки за голову и спокойно ответил:

— Черт с ним!

Потом, взглянув на Отто и увидев его испуганную физиономию, громко расхохотался.

— Уж очень здесь хорошо! — пояснил он. — Я вообще не пойду, пусть ждут!

И сел на траву.

— Может быть, вы спешите? Нет? Не спешите? Тогда давайте вот что сделаем. Хотите, пообедаем вместе? Я знаю здесь одну харчевню.

Отто мог бы многое возразить против, и не потому, что его ждали, а потому, что ему было трудно принять

внезапное решение, любое решение: от природы он был методичен и ко всему любил готовиться загодя. Но предложение Кристофа было сделано таким тоном, что не допускало отказа. Поэтому Отто позволил себя уговорить, и мальчики снова принялись болтать.

В харчевне их восторги несколько остыли. Оба были слишком заняты важным вопросом: кто будет угощать? Каждый в тайниках души полагал, что угостить нового знакомого для него вопрос чести: Динер — потому что был богаче, а Кристоф — потому что был беднее. Прямо они на это не намекали. Вначале Динеру удалось было отстоять свое право — таким повелительным тоном он заказывал обед. Кристоф разгадал его замысел и, решив превзойти Отто, потребовал какие-то уж совершенно изысканные блюда; он хотел показать, что чувствует себя здесь вполне непринужденно. Динер сделал было новую попытку, взяв на себя заказ вин, но Кристоф испепелил его взглядом и попросил бутылку самого дорогого вина, какое только имелось в харчевне.

Когда перед мальчиками стали появляться одно за другим роскошные блюда, на них напало смущение. Все темы для разговора иссякли, и они еле прикасались к кушаньям, чувствуя связанность в каждом движении. Вдруг оба заметили, что в сущности они совсем чужие друг другу, и насторожились. Напрасны были все попытки возобновить прежнюю непринужденную беседу: разговор явно не клеился. Первые полчаса сидения за столом показались им смертной пыткой. К счастью, вкусная еда возымела свое действие: теперь они уже доверчивее поглядывали друг на друга. Особенно разошелся Кристоф — он не привык к подобным пирушкам и стал на редкость разговорчив. Он рассказывал о том, как трудно ему живется, и Отто, выйдя из состояния оцепенения, признался, что и он не так-то уж счастлив. Он робок и застенчив от природы, и товарищи пользуются этим его недостатком. Они издеваются над ним. Не прощают ему того явного неодобрения, с каким он смотрит на их вульгарные манеры, подстраивают ему нарочно всякие злые шутки. Кристоф сжал кулаки и крикнул, что пусть только попробуют в его присутствии,

вряд ли им тогда поздоровится. Оказалось, что и Отто тоже не понимают домашние. Кому, как не Кристофу, было знакомо это несчастье, и оба растрогались своими столь сходными горестями. Родители Динера желают сделать из сына коммерсанта, чтобы он впоследствии возглавил отцовское дело. А он решил стать поэтом, он непременно будет поэтом, если даже ему придется, как Шиллеру, убежать из отчего дома и бороться с нуждой! (Впрочем, рано или поздно состояние все равно перейдет к нему, а состояние это немалое.) С краской в лице Отто признался, что он уже пишет стихи о скуке жизни, но, несмотря на все мольбы Кристофа, отказался их прочесть. Впрочем, к концу обеда он, запинаясь от волнения, прочел два или три стихотворения. Кристоф заявил, что стихи изумительные. Тогда мальчики стали строить общие планы: работать они будут вместе — будут писать драмы и *Liederkreise*¹. Оба млели от взаимного восхищения. Ведь Кристоф был знаменитостью в их городе, и кроме того Отто импонировала сила Кристофа, его смелость, решительные речи. А Кристофа умиляло изящество Отто, его изысканные манеры — ибо все на свете относительно, — особенно его солидные знания, которых так не хватало Кристофу и которых он так жаждал.

Отяжелев от еды, бесцеремонно положив локти на стол, мальчики говорили, говорили, слушали друг друга, глядели друг на друга затуманенным нежностью взором. Время шло. Пора было уходить. Отто сделал последнее усилие и потянулся за счетом, но Кристоф пригвоздил его к месту грозным взглядом, который сразу отбил у бедняги всякое желание настаивать, а Кристофа терзала страшная мысль: вдруг с него потребуют больше, чем есть у него в кошельке; но он решил отдать в залог свои часы, все, что у него имеется, только бы не признаться Отто в своей нищете. Однако жертв, слава богу, не потребовалось; счет не превысил суммы, которая равнялась месячным расходам Кристофа.

Мальчики спустились с холма. От сосен ложились на землю вечерние тени, верхушки их еще розовели в пред-

¹ Циклы песен (нем.).

закатной дымке и важно раскачивались, шумя, как волны; шаги заглушал ковер лиловатых сосновых иголок. Оба молчали. Сердце Кристофа переполняло странное сладостное чувство: он был счастлив, ему хотелось говорить, но какой-то неясный страх томил его. Он остановился, и Отто остановился тоже. Кругом была тишина. Только в красном солнечном луче громко жужжали мухи. С легким хрустом упала сухая ветка. Кристоф схватил Отто за руку и спросил дрожащим голосом:

— Хотите быть моим другом?

Отто прошептал:

— Хочу!

Они обменялись рукопожатием; сердца у обоих бились. Они не смели взглянуть друг другу в глаза.

Через минуту они пошли дальше. Шли они почти рядом — всего на расстоянии нескольких шагов — и молчали до самой опушки леса: они боялись самих себя, боялись своего непонятного волнения; они ускорили шаги и остановились, только выбравшись из лесной чащи. Здесь они вздохнули свободнее и снова взялись за руки. Оба восхищались прозрачностью вечера и только изредка перебрасывались словами.

На пароходике, забравшись на нос, где пробегали полосы света и тени, они попытались было заговорить о самых безразличных предметах, но они не слышали своих слов, охваченные блаженной усталостью. Им не требовалось ни говорить, ни пожимать друг другу руки, не требовалось даже глядеть друг на друга, — ведь они были рядом.

Еще на пароходике, перед самым причалом, мальчики условились встретиться в следующее воскресенье. Кристоф проводил Отто до его дверей. При свете газового фонаря они робко улыбнулись и взволнованно пробормотали: «До свидания». Расставшись, они почувствовали даже облегчение — так устали оба от того напряжения, в котором прожили несколько долгих часов, когда каждое слово доставалось им с таким трудом.

Один в ночной темноте Кристоф шагал домой. Но сердце у него пело: у меня есть друг, есть друг. Он ничего не видел. Ничего не слышал. Не думал ни о чем — только о друге.

Он валился с ног от усталости и сразу же заснул, едва коснувшись подушки. Но раза два или три он просыпался ночью, словно разбуженный неотвязной мыслью. «У меня есть друг», — повторял он и тут же снова засыпал.

Наутро все вчерашнее представилось ему сном. Желая убедить себя в обратном, он стал тщательно припоминать малейшие подробности воскресного дня. Он так ушел в это занятие, что не прерывал его даже на уроках; был он рассеян и на репетиции, состоявшейся под вечер, а при выходе из театра сразу забыл, что играли.

Дома его ждало письмо. Ему не было надобности спрашивать, откуда оно. Кристоф бросился в свою комнату, запер дверь на ключ и стал читать. Письмо было написано на бледногубой бумаге, почерком старательным, крупным, полуребяческим, с аккуратными росчерками:

«Дорогой господин Кристоф, осмелюсь ли я написать: «высокочитимый друг»?»

Я очень много думал о нашей вчерашней прогулке и бесконечно благодарен Вам за Вашу доброту. Я так признателен Вам за все, за все, и за Ваши добрые слова, и за чудесную прогулку, и за прекрасный обед! Мне только очень обидно, что Вы истратили так много денег. Какой восхитительный был день! Не правда ли, есть какое-то предначертание в этой удивительной встрече? Мне кажется, что сама судьба решила нас соединить. Как радуюсь я при мысли, что увижу Вас в следующее воскресенье. Надеюсь, у Вас не будет больших неприятностей из-за того, что Вы не попали на обед к господину Musik Director'у. Мне было бы очень больно, если бы я явился причиной каких-либо недоразумений.

Остаюсь, дорогой господин Кристоф, Вашим преданным слугой и другом

Отто Динер.

P. S. Если Вам безразлично, лучше не заходите за мной в воскресенье. Надеюсь, Вы не станете возражать против того, чтобы встретиться в Шлоссгартен».

Кристоф читал письмо со слезами на глазах. Он поцеловал голубой листок, громко захохотал и перекувырнулся на постели. Потом бросился к столу, схватил перо и стал немедленно сочинять ответ. Он не мог ждать ни минуты. Но привычки к писанию писем у него не было, он не умел выражать те чувства, которые переполняли его сердце, да и перо прорывало бумагу, чернила перепачкали все пальцы. Кристоф топал ногами от нетерпения. Наконец, высунув кончик языка, испортив пять или шесть листов, он сумел выразить — огромными, уродливыми буквами, в строках, испещренных грубейшими орфографическими ошибками, — свои заветные чувства:

«Душа моя! Как осмеливаешься ты говорить о какой-то благодарности, раз я тебя люблю! Разве не говорил я тебе, как одиноко и печально я жил до встречи с тобой? Дружба твоя — величайшее благо. Вчера я был счастлив, понимаешь, по-настоящему счастлив! Впервые в жизни, читая твое письмо, я плакал от радости. Да, любимый друг, ты прав. Сама судьба свела нас; она хочет, чтоб мы стали друзьями, дабы свершить великие деяния. Друзья! Какое сладостное слово! Неужели у меня действительно есть, наконец, друг? О, ты не покинешь меня, не покинешь ведь? Скажи! Ты останешься мне верен навсегда! Навсегда!.. Как будет нам хорошо расти вместе, работать вместе, сочетая мои музыкальные причуды, все те странные мысли, что бродят у меня в голове, с твоим умом и с редкостными твоими знаниями! Ведь ты знаешь так много! Я никогда в жизни не видел такого умного человека, как ты! Только одно меня беспокоит: мне кажется, что я недостойн твоей дружбы. Ты так благороден и так совершенен, и я так благодарен тебе за то, что ты можешь любить такое неотесанное существо, как я! Но нет, я сам только что сказал, что между нами не может быть и речи о благодарности. Дружба не знает ни благодетелей, ни благодетельствуемых. Я не приму никаких благодеяний! Мы равны, ибо мы любим друг друга. Как мне не терпится тебя увидеть! Я не зайду к тебе — к вам домой, — раз ты этого не хочешь, хотя, откровенно говоря, не пони-

маю всех этих предосторожностей, но ты ведь умнее и, значит, ты прав...

И еще одно: никогда не говори о деньгах! Я ненавижу деньги — и слово «деньги» и самые деньги. Пусть я не богат, но у меня достанет средств угостить друга, и нет для меня большей радости, чем отдать ему все, что я имею. Разве ты не поступил бы так же? И если бы я нуждался, разве не ты первый отдал бы мне свое состояние? Но этого никогда не будет! У меня крепкие руки и хорошая голова, я сумею всегда заработать себе на хлеб. До воскресенья! Боже мой! Целую неделю не видеть тебя! А ведь еще два дня назад я тебя не знал. Как мог я жить так долго без тебя?

Наш дирижеришка окрысился было на меня, но не огорчайся — что мне другие? Я презираю то, что думают и что будут думать обо мне. Только один ты мне важен. Люби меня крепко, друг мой, люби меня, как я тебя люблю! Не могу даже выразить, как я тебя люблю. Я твой, твой, целиком твой от кончика ногтей до кончика волос. Вечно твой

Кристоф».

За неделю Кристоф чуть не извелся от ожидания. Направлялся ли он на уроки или в театр, он сворачивал со своего пути и делал огромный крюк, лишь бы пройти мимо дома Отто — он даже не надеялся встретить своего друга, но при одном виде дома, где жил Отто, он бледнел и краснел от волнения. В четверг он не выдержал и отправил второе послание, еще более восторженное, чем первое. Отто ответил весьма чувствительным письмом.

Наконец-то пришло долгожданное воскресенье, и аккуратный Отто явился на свидание минута в минуту. Но Кристоф уже больше часа поджидал его на бульваре, сгорая от нетерпения. Он упрекал себя, что проглядел Отто. Боялся, что Отто заболел, ибо ни на минуту не допускал мысли, что его друг не сдержит слово. «Господи, сделай, чтобы он пришел!» И палочкой Кристоф подгонял камешки, валявшиеся на аллее, решив, что, если он трижды промахнется, Отто не придет, а если ударит правильно, то Отто тут же появится. И, несмо-

тря на то, что испытание он поставил себе весьма и весьма несложное и за выполнение задачи взялся со всем пылом, Кристоф трижды промахнулся и, как раз после третьего неудачного удара, увидел Отто, который направлялся к нему своей спокойной, размеренной походочкой, ибо Отто никогда не нарушал приличий, даже тогда, когда был чем-нибудь взволнован. Кристоф бросился к нему навстречу и пробормотал вдруг пересохшими губами:

— Добрый день.

Отто ответил:

— Добрый день.

Больше они не знали, что сказать; впрочем, поговорили о погоде, о том, что сейчас пять или шесть минут одиннадцатого, а может быть, и все десять минут, так как часы на башне всегда отстают.

Друзья отправились на вокзал и по железной дороге добрались до ближайшей станции, куда обычно ездили на воскресные прогулки горожане. Во время недолгого пути оба безуспешно пытались разговориться и с трудом выдавали из себя десяток слов. Неловкое молчание они старались возместить красноречивыми взглядами, но с тем же малым успехом. Напрасно надеялись они выразить взорами всю глубину своей дружбы — глаза ровно ничего не выражали, и зря продолжалась эта глупая комедия. Кристоф заметил это и почувствовал себя униженным. Он не понимал, почему не может не только выразить словами, но даже вновь ощутить все те чувства, что еще час назад переполняли его сердце. Может быть, Отто не так ясно отдавал себе отчет в этой задаче, потому что был менее искренен и лишь весьма почтительно заглядывал себе в душу, но и он тоже в конце концов почувствовал разочарование. А дело заключалось в том, что за семь дней разлуки мальчики довели свои чувства до такого накала, что теперь было почти невыносимо удержаться на этом уровне, и при встрече первым и вполне естественным ощущением явилось разочарование; надо было снизить тон, но оба не желали этой прозы.

Целый день мальчики пробродили по лугам, однако им так и не удалось избавиться от чувства уныния и не-

ловкости. День был праздничный. Все харчевни и рощицы заполнили гуляющие — добропорядочные буржуа со своими чадами и домочадцами — все это очень шумело и закусывало под каждым кустом. Настроение мальчиков от этого зрелища отнюдь не улучшилось: оба считали, что именно из-за этих докучливых людишек они не могут обрести великолепной легкости прошлой прогулки. Тем не менее они разговаривали, но с каким трудом они подыскивали темы для беседы, и каждый боялся, как бы другой не заметил, что в сущности говорить-то не о чем! Отто делился с приятелем всей школьной премудростью. Кристоф пустился в длинные объяснения насчет техники скрипичной игры и музыки вообще. Они навели друг на друга смертельную тоску. Даже свои собственные слова казались им безумно скучными, и все-таки они говорили, боясь замолчать, ибо в минуту молчания открывалась бездна, откуда веяло холодом, леденившим обоих. Отто хотелось плакать, а Кристоф еле удерживался от желания бросить товарища и убежать куда глаза глядят — так ему было стыдно и скучно.

Только за час до возвращения домой мальчишки немного повеселели. Где-то в самой чаще леса залаяла собака; она, очевидно, по собственному почину гнала зайца. Кристоф предложил спрятаться поблизости, чтобы увидеть зайца или лису, которую подняла собака. Мальчишки бросились в кусты. Собачий лай то удалялся, то приближался. Кристоф и Отто, следуя за ним, сворачивали то направо, то налево, то пробирались вперед, то возвращались обратно. Вдруг лай стал громче; пес надрывался от нетерпения, предвкушая близкий кровавый пир, и, наконец, выскочил прямо на друзей. Кристоф и Отто, лежа на сухих листьях в колее близ тропинки, ждали, затаив дыхание. Вдруг лай замолк; собака, видимо, потеряв след, твякнула еще раз уже вдали. Все стихло. Воцарившуюся тишину нарушало только таинственное кишение миллиардов существ — насекомых и червей, которые без усталости подтачивали и губили лес, — размеренный, неослабевающий шорох смерти. Мальчишки вслушивались, не смея шелохнуться. И как раз в ту минуту, когда оба, отчаявшись увидеть зверя, поднялись со вздохом: «Ясно, теперь уж он не появится», — из

чащи выскочил зайчишка; он бежал прямо на мальчиков — они увидели его одновременно и испустили торжествующий крик. Зайчик подпрыгнул на месте, затем одним скачком перемахнул через дорожку; они увидели, как он поскакал в кусты, подымая выше головы тяжелый зад; задетая его бегом листва коротко прошуршала и замолкла, словно наморщилась на мгновение гладкая поверхность воды. И хотя друзья горько сожалели о своем несвоевременном крике, это приключение развешило их. Они смеялись до упаду, вспоминая испуганные скачки косоглазого, и Кристоф, присев на корточки, смешно изобразил убегающего зайца. Отто тоже изобразил зайца. Потом Кристоф — уже в роли собаки — погнался за зайцем-Отто. Они, как полоумные, бежали по лесу и лугу, сходу продираясь сквозь живые изгороди и перепрыгивая через рвы. Какой-то крестьянин крикнул им что-то вслед, очевидно обругал, так как они выскочили прямо на поле, засеянное ячменем, но мальчики даже не оглянулись. Кристоф подражал хриплому лаю пса с таким мастерством, что Отто хохотал до слез. Под конец они даже скатились вниз по крутому склону холма, испуская сумасшедшие крики. Совсем задохшись, они не могли больше произнести ни слова, уселись и поглядели друг на друга смеющимися глазами. Теперь мальчики были по-настоящему счастливы и довольны. Они уже не пытались разыгрывать из себя гомеровских друзей; они были тем, чем были: двумя детьми.

Обратно они возвращались под руку, громко распевая какие-то бессмысленные песенки. Однако, не доходя до станции, они почему-то снова возобновили прежнюю игру — и вот на коре дуба, стоявшего на самой опушке, появились два хитро переплетенных вензеля. Но в вагоне веселье взяло верх над чувствительностью, и, случайно встретившись глазами, они начинали громко хохотать. При расставании они искренне старались уверить друг друга, что провели *kolossal entzückend* — «колоссально восхитительный день», — а разойдясь по домам, окончательно уверились в этом.

И снова мальчики взялись возводить здание своей дружбы с изобретательностью и терпением пчел; из двух-трех обрывков весьма прозаических воспомина-

ний им удавалось создавать чудесные образы друг друга и своей дружбы. Целую неделю они самым неумеренным образом идеализировали один другого, а затем наступала воскресная встреча, и, как ни велик был разрыв между действительностью и их фантазией, они привыкли не замечать этого отклонения; и не удивительно — оно отвечало их желаниям.

Они гордились своей дружбой. Даже разность характеров сближала их. Кристоф не знал никого прекраснее Отто. Все восхищало его в друге — тонкие руки, красивые волосы, свежий цвет лица, сдержанная речь, вежливые манеры и тщательная забота о своей внешности. А Отто покоряла неукротимая сила и независимость Кристофа. Он вырос в среде, где столетиями питали чисто религиозное благоговение ко всем и всяческим авторитетам, и теперь с чувством наслаждения, к которому примешивался страх, дружил с мальчиком, не имевшим от природы ни малейшего уважения к каким бы то ни было установленным правилам. С легкой, почти сладостной дрожью ужаса слушал Отто, как Кристоф ниспровергает все нерушимые авторитеты в их городе и передразнивает даже самого герцога. Кристоф подметил, какое завораживающее действие оказывают на Отто его дерзкие речи, и старался намеренно поразить друга: перед Отто был опасный революционер, подкапывавшийся под самые основы и законы государства. Отто слушал, ликуя и возмущаясь, пытался даже вторить другу, но, прежде чем произнести крамольное слово, долго оглядывался по сторонам, боясь обнаружить нежелательного свидетеля.

Всякий раз, когда во время воскресной прогулки Кристоф замечал огороженное поле или надпись на воротах, запрещающую вход посторонним, он непременно перепрыгивал через забор или, взобравшись на стену, рвал фрукты в чужих садах. Отто в страхе молил бога, чтобы их не поймали. И все же эти набеги были для него источником самых утонченных наслаждений, и вечером, уже возвратясь домой, он вспоминал прошедший день и с уважением думал о себе как о настоящем герое. Он восхищался Кристофом и в то же время немножко побаивался его. По врожденной склонности к послушанию он легко находил удовлетворение в дружбе, где тре-

бывалось лишь подчиняться воле другого. Кристоф сам, ни на минуту не затрудняя Отто, принимал все решения: он предписывал распорядок дня, предписывал даже распорядок жизни, строил насчет будущего Отто, как и своего собственного, различные планы и не терпел ни малейшей критики. Отто соглашался, хотя иногда его слегка коробила бесцеремонность, с какой Кристоф распоряжался его капиталами, решив даже выстрелить со временем театр по своему замыслу. Возражать Отто не смел, робея перед повелительным тоном друга, и верил, что деньги, накопленные *Commerzienrath*¹ ом¹ Оскаром Динером, не могут найти себе лучшего применения. Ни на одну минуту Кристоф не подозревал, что совершает насилие над волей друга. Он был прирожденный деспот и даже представить не мог, что у Отто могли быть иные желания, чем у него самого. Если бы Отто высказал желание, противоположное желаниям Кристофа, Кристоф, не колеблясь, поступил бы своими личными симпатиями и вкусами. Он пожертвовал бы ради Отто всем на свете. Он жаждал подвергнуться ради друга любой опасности и страстно мечтал, чтобы представлялся, наконец, случай испытать силу его дружбы. Во время прогулок он ждал какой-нибудь опасной встречи, чтобы броситься вперед и прикрыть собой Отто. Он с наслаждением принял бы смерть ради друга. Но подходящих случаев все не представлялось, и Кристоф мог только опекать своего Отто и тревожиться о нем; подавал ему, как девочке, руку на плохой дороге, боялся, как бы Отто не устал, боялся, как бы Отто не было слишком жарко, боялся, как бы Отто не замерз; когда они садились отдохнуть под деревом, Кристоф накидывал свой пиджак на плечи Отто; когда они предпринимали длинные прогулки, Кристоф тащил пальто Отто, — он охотно понес бы и самого Отто. Он не сводил с Отто глаз, точно влюбленный. И, по правде говоря, он и был влюбленный.

Кристоф не мог знать этого, так как не знал, что такое любовь. Но временами, когда мальчики оставались одни, их охватывало странное волнение — они испытали

¹ Коммерции советником (нем.).

его еще тогда, когда в первую свою встречу сидели в сосновом лесу: кровь прилиwała к щекам Кристофа, он густо краснел. Он боялся. Не сговариваясь, инстинктивно, мальчики сторонились друг друга: один убегал вперед, второй оставался на дороге, замедлял шаг, задерживался; оба притворялись, что ищут спелые ягоды ежевики, и оба не понимали, что их так волнует.

Но зато они давали волю своим чувствам в тех письмах, которыми регулярно обменивались. Тут уж ничто не опровергало, не вспугивало этих чувств, и мальчики могли свободно предаваться своим иллюзиям. Они писали теперь друг другу три или четыре раза на неделе, послания их были полны страстного лиризма. Они почти не касались обыденных дел и домашних новостей. Они обсуждали только важные проблемы, и только в самом возвышенном тоне, легко переходя от самых светлых восторгов к самой мрачной безнадежности. Они писали: «мое благо, моя надежда, мой любимый, мое второе «я». Они употребляли слово «душа» во всех падежах и со всеми предложениями. В самых черных красках живописали они горький свой удел и упрекали себя за то, что омрачают жизнь друга, соединив с его судьбой свою печальную судьбину.

«Я сержусь на тебя, любовь моя,— писал Кристоф,— сержусь за то зло, которое я же тебе причинил. Я не могу выносить твоих страданий, их не должно быть. Я не желаю их (эти слова он подчеркнул такой жирной чертой, что бумага в нескольких местах прорвалась). Если ты страдаешь, где я найду силы, чтобы жить? Мое единственное счастье — это ты. О, будь же счастлив! С какой радостью я приму на себя любое горе! Думай обо мне. Люби меня! Мне так необходимо, чтобы кто-нибудь любил меня! От твоей любви исходит то тепло, которое возвращает мне жизнь. Если бы ты знал, как мне холодно без тебя! Кругом зима, и сердце мое леденит злой ветер. Обнимаю твою душу».

«Моя мысль целует твою», — писал в ответ Отто.

«Я беру обеими руками твою голову, — не унимался Кристоф, — и то, чего никогда не делали и не сделают

мои губы, делаю я сам, всем своим существом, — целую тебя, как люблю. Измерь же силу моей любви!»

Отто притворялся недоверчивым:

«Любишь ли ты меня, как я тебя люблю?»

«О боже! — восклицал в ответном письме Кристоф. — Не так, а в десять, в сто, в тысячу раз больше! Да что там, разве ты сам этого не чувствуешь? Что я должен сделать, чтобы тронуть твое сердце?»

«О, как прекрасна наша дружба, — вздыхал в ответ Отто. — Знает ли история подобные примеры? Она сладостна и свежа, как мечта. Хоть бы она никогда не кончилась. А вдруг ты разлюбишь меня?»

«Как ты глуп, мой любимый, — строчил в ответ Кристоф. — Прости, но твой малодушный страх возмущает меня. Как можешь ты спрашивать, перестану ли я тебя когда-нибудь любить? Жить для меня — это значит любить тебя. Сама смерть бессильна против моей любви. Даже ты сам, при всем своем желании, не мог бы разрушить ее. Если ты мне изменишь, если ты растопчешь мое сердце, я умру, благословляя любовь, которую ты мне внушил. Так перестань же раз навсегда сомневаться и не огорчай меня твоей трусливой болтовней».

Но через неделю Кристоф писал Отто:

«Вот уже целых три дня я не слышу от тебя ни одного слова. Я трепещу: уж не забыл ли ты меня? Кровь стынет в жилах при этой мысли... Да! Сомнений быть не может... Уже в прошлый раз я заметил твою холодность в отношении ко мне. Ты не любишь меня более! Ты решил меня покинуть! Так слушай же! Если ты забудешь меня, изменишь мне, я убью тебя, как собаку».

«Ты преувеличиваешь, мое дорогое сердечко, — жалостливо возражал Отто. — Ты исторгаешь у меня слезы, ибо я не заслужил твоих упреков, но ты можешь позволить себе все. Ты приобрел надо мной такие права, что если ты даже разобьешь мое сердце, пока от него останется хоть тень, хоть отблеск, — оно будет жить вечно, дабы любить тебя!»

«Силы небесные! — восклицал на бумаге Кристоф. — Я заставил плакать своего друга! Проклинай меня, бей меня! Топчи меня ногами! Я — подлец! Я не заслуживаю более твоей любви!»

У них были десятки способов надписывать адрес, наклеивать марку вверх ногами, косо, на уголке конверта, снизу, с правой стороны, чтобы сразу отличать свои письма от тех, которые пишут непосвященные. Эти мальчишеские секреты приобретали для них все очарование сладчайшей любовной тайны.

В один прекрасный день, возвращаясь с урока, Кристоф заметил в переулке Отто, который шел с каким-то мальчиком его лет. Оба смеялись и дружески болтали. Кристоф побледнел, как полотно, и молча следил за ними взглядом, пока те не скрылись за углом. Мальчики не заметили Кристофа. Он повернулся и побрел домой. Ему показалось, что туча закрыла на минуту солнце. Все кругом смрачилось.

Когда Кристоф и Отто встретились в следующее воскресенье, Кристоф сначала ни о чем не спросил. Но через полчаса он сказал дрожащим голосом:

— А я тебя в среду видел.

— Вот как! — ответил Отто.

И покраснел.

Кристоф продолжал:

— Ты с кем-то шел по Крейцгассе.

— Да, — подтвердил Отто, — с одним мальчиком.

Кристоф судорожно проглотил слюну и спросил самым равнодушным тоном:

— А кто этот мальчик?

— Мой двоюродный брат, Франц.

— Вот как! — буркнул Кристоф.

И через минуту снова начал:

— Ты мне о нем никогда не говорил.

— Он живет в Рейнбахе.

— А часто вы видитесь?

— Франц иногда к нам приезжает.

— Ты тоже к ним ездешь?

— Тоже иногда езжу.

— Вот как! — повторил Кристоф.

Отто, который не прочь был переменить тему разговора, указал Кристофу на птичку, хлопотливо стучавшую клювом по стволу. Они заговорили о другом. Но минут через десять Кристоф без всякого перехода вдруг задал вопрос:

— А ты с ним дружишь?

— С кем? — спросил Отто.

(Он отлично знал с кем.)

— С твоим двоюродным братом.

— Да. А почему ты спрашиваешь?

— Ни почему.

Отто не особенно долюблял своего двоюродного брата, который умел доводить его чуть не до слез своими глупыми шуточками. Но, повинуясь какому-то странному коварному чувству, Отто добавил, помолчав немного:

— Он очень хороший.

— Кто? — спросил Кристоф.

(Он отлично знал кто.)

— Франц.

Отто ждал немедленного ответа, но Кристоф, казалось, даже не слышал его слов и с преувеличенным вниманием строгал ореховую палочку. Отто расхрабрился:

— Франц очень веселый. Он знает десятки всяких историй.

Кристоф пренебрежительно свистнул.

А Отто уже не мог остановиться:

— И такой умный... Воспитанный...

Кристоф пожал плечами, но его красноречивый жест как бы говорил: мне-то какое дело до этого субъекта?

И так как Отто, уязвленный пренебрежением друга, начал было снова перечислять достоинства Франца, Кристоф сбормал его хвалебные речи и предложил наперегонки добежать до дерева.

Вплоть до вечера мальчики не заговаривали о Франце; но где-то в глубине души между ними шла молчаливая борьба, которая на поверхности оборачивалась преувеличенной вежливостью — такой необычной в их отношениях, особенно в отношении Кристофа к Отто. Слова застревали у Кристофа в горле. Наконец,

он не выдержал и, круто повернувшись к Отто, остановился на середине дороги, схватил его в порыве гнева за обе руки и выпалил одним духом:

— Послушай, Отто! Я не желаю, слышишь — не желаю, чтоб ты дружил с Францем, потому что... потому что ты мой друг; и я не желаю, чтобы ты любил кого-нибудь больше меня, не желаю! Ведь ты для меня все на свете. Ты не смеешь... Ты не должен... Если я лишусь тебя, я лишусь жизни, понимаешь — умру. Я бог знает чего могу наделать. Я покончу с собой. И тебя тоже убью! Нет, нет, не убью! Прости меня! — И слезы брызнули у него из глаз.

Отто, взволнованный и напуганный искренностью этого горя, чреватого грозами, начал поспешно клясться, что он не любит и никогда не полюбит никого сильнее Кристофа, что на Франца ему наплевать, что если Кристоф не хочет, он не будет больше видаться с Францем. Кристоф упивался словами Отто. Он воскрес сердцем и громко хохотал; жадно вдыхая свежий воздух, он горячо благодарил Отто. Он стыдился сцены, которую только что устроил другу, и все-таки у него точно гора с плеч свалилась. Мальчики смотрели друг другу в глаза, стоя лицом к лицу, держась за руки и не двигаясь с места; оба были слишком счастливы и слишком смущены. Они молча пошли домой и понемногу разговорились; утраченное было веселье вернулось к ним; никогда еще они не чувствовали себя такими близкими друг другу.

Но, увы, за этой сценой последовали другие. Отто почувствовал свою власть над Кристофом и нередко злоупотреблял ею; он узнал теперь уязвимое место друга и испытывал неудержимое желание причинять ему боль. Не то чтобы ему доставляли удовольствие гневные вспышки Кристофа, наоборот: во время таких сцен он весь как-то робко сжимался. Но, причиняя страдания Кристофу, он сам себе доказывал свою силу. Он не был злой — просто у него была девичья душа.

Итак, вопреки всем своим заверениям и клятвам, Отто стал появляться на улицах под руку то с Францем, то с каким-нибудь другим мальчиком; обычно оба

страшно шумели, а Отто все время смеялся громким и довольно деланным смехом. Когда Кристоф пенял ему, он хихикал и слушал наставления друга с преувеличенно рассеянным видом. Но когда глаза Кристофа темнели и губы его начинали дрожать от гнева, испуганный Отто быстро снижал тон и клялся, что в следующий раз этого не будет. И на следующий же день все начиналось сызнова. Кристоф писал ему и громил в своих посланиях неверного друга:

«Негодяй! Я имени твоего слышать не желаю! Я с тобой больше не знаком. Черт бы побрал тебя — тебя и всех твоих пащенков!»

Но от любого жалостного слова Отто, от цветка, который тот однажды прислал другу в качестве символа своей нерушимой верности, Кристоф приходил в неистовство, корил себя и слал другу следующие строки:

«Ангел мой! Я совсем с ума сошел. Забудь мой идиотский поступок. Ведь ты лучший из людей. Да твой мизинец стоит больше, чем дурень Кристоф со всеми его потрохами. В твоей душе неистощимый кладезь нежности, тонкой и глубокой. Со слезами счастья целую я присланный тобою цветок. Он здесь, у моего сердца. Я хотел бы вогнать его под кожу. И пусть брызнула бы кровь, дабы я сильнее ощутил твою редкостную доброту и мою собственную глупость и подлость».

Но мальчики начали приедаться друг другу. Невверно думать, что маленькие размолвки укрепляют дружбу. Кристоф сердился на Отто за те несправедливые поступки, которые совершал по вине того же Отто. Напрасно Кристоф старался образумиться, напрасно упрекал себя за свой деспотизм. Его увлекающаяся и честная натура, впервые проходившая через испытания любви, отдавалась другу вся целиком, и он требовал взамен такой же близости, вплоть до последних тайников души и сердца. Нельзя делить свою дружбу, считал Кристоф. Сам он готов был пожертвовать для друга всем и полагал поэтому более чем законным, что и друг должен всем жертвовать для него — жертвовать

даже самим собою. Но он начинал понимать, что не все смертные созданы по его образу и подобию, не все наделены таким цельным характером и требует он того, что получить невысказанно. Тогда Кристоф решил переломить себя. Обвинял он себя жестоко, называл дрянным эгоистом, который не имеет никакого права посягать на свободу друга, присваивать только себе всю его дружбу. И он совершенно искренне пытался переделать себя, дать полную свободу дорогому Отто, чего бы это ему ни стоило. Самоуничтожения ради он уговаривал Отто не пренебрегать дружбой Франца и пробовал убедить себя, что не все же Отто сидеть с ним одним, что ему совсем не больно видеть ветреного приятеля в обществе других мальчиков. Но когда хитренький Отто, которого не так-то легко было провести, встречался с товарищами, якобы повинаясь лишь воле Кристофа, Кристоф дулся на него, и все кончалось ссорой.

Строго говоря, Кристоф простил бы Отто то предпочтение, которое он оказывал новым своим приятелям. Но чего Кристоф простить не мог — так это лжи. Отто вовсе не был ни лицемерным, ни лживым, просто ему органически трудно было говорить правду, как трудно заикой произнести, не запнувшись, фразу; он не то чтобы врал, но в то же время и не говорил всей правды — от застенчивости ли, а может, и от неуверенности в собственных своих чувствах он редко когда изъяснялся вполне откровенно. На вопросы отвечал обычно уклончиво; а главное по любому поводу разводил какие-то тайны и скрытничал, что просто выводило Кристофа из себя. Когда Отто уличали в каком-нибудь проступке или, вернее, в том, что, согласно их общим представлениям о дружбе, являлось проступком, он не только не признавался чистосердечно, но, наоборот, упрямо опровергал очевидность и плел какую-то несуслазницу. Однажды Кристоф, потеряв терпение, закатил другу пощечину. Он решил, что отныне дружбе конец, что Отто никогда не простит ему. Действительно, Отто дулся часа два, а потом первый заговорил с Кристофом, будто ничего и не случилось. Он не только не таил злобы против Кристофа за его гневные выходки, но даже, возможно, находил в них какое-то удовольствие, своеобразную пре-

лесть. Отто сердился на Кристофа за то, что тот — про-
стак — верит всем его дурацким шуткам, и немножко
даже презирал друга, считая себя выше его. А Кристоф,
со свей стороны, не мог простить Отто, что он так без-
ропотно принимает его грубые нападки.

Итак, они уже смотрели теперь друг на друга иными
глазами, чем на заре дружбы. Каждый видел недостатки
другого в беспощадном свете охлаждения. Теперь Отто
уже не восхищался независимыми взглядами Кристофа.
Кристоф стал неудобным, даже стеснительным спутни-
ком прогулок. Меньше всего он заботился о прили-
чиях. Садясь на стул, Кристоф удобно раскидывался,
снимал пиджак, расстегивал жилет и воротничок, засу-
чивал рукава сорочки, нацеплял шляпу на кончик тро-
сточки и не скрывал своего ликования, попав на свежий
воздух. При ходьбе он размахивал руками, свистел, пел
во весь голос; лицо у него становилось красное, лоб по-
крывался капельками пота и пылью, да и вообще он на-
поминал простого крестьянского парня, возвращаю-
щегося с ярмарки. Аристократически настроенный Отто
сгорал бы от стыда, если бы их встретили вместе. Когда
Отто замечал на дороге карету, он нарочно отставал и
делал вид, что прогуливается в блаженном одиночестве.

Не менее стеснительным спутником был Кристоф
в харчевне или в вагоне на обратном пути домой, осо-
бенно когда он пускался в разговоры. Говорил он
обычно громким голосом, высказывал вслух любую
мысль, пришедшую ему в голову, обращался с Отто воз-
мутительно фамильярно, не стесняясь в выражениях, со-
общал свое мнение — и мнение весьма суровое — о самых
почтенных персонах или даже о людях, сидящих на
соседней скамейке; или вдруг начинал сообщать довольно
интимные подробности о своем здоровье, о том, что де-
лается у них дома. Напрасно Отто многозначительно
вращал глазами, испуганно махал на него рукой. Кри-
стоф притворялся, что ничего не замечает, и продолжал
без стеснения свои разглагольствования, словно один
сидел в вагоне. Отто видел насмешливые улыбки пас-
сажиров, он готов был сквозь землю провалиться —
в такие минуты Кристоф казался ему грубияном; он те-

перь просто не понимал, чем мог привлечь его этот развязный, дурно воспитанный подросток.

Но самым крупным преступлением в глазах Отто было то, что Кристоф с прежней непринужденностью пренебрегал изгородями, заборами, запорами, всеми надписями, воспреещающими вход, всеми объявлениями, грозящими штрафом, любыми «Verbot»-ами, — словом, всем, что посягало, по понятиям Кристофа, на его свободу и ограждало от него священную собственность. Отто жил в постоянном страхе, но его сегования оставались втуне: Кристоф еще больше куражился.

В один прекрасный день, когда Кристоф, сопутствуемый Отто, с видом хозяина прогуливался по лесу, являвшемуся частной собственностью, куда он проник вопреки или, вернее, как раз из-за наличия стен, выложенных по гребню бутылочными осколками, через которые приходилось перелезать с немалым риском, — они наткнулись на сторожа. Сторож сначала их долго ругал, а потом долго грозил составить протокол и в конце концов с позором выставил из запретного леса. Не скроем, что Отто выдержал испытание без особого блеска. Он вообразил, что их сейчас же потащат в тюрьму, и, плача, уверял, притом довольно глупо, что попал сюда по ошибке, что его завел в лес приятель, а он сам даже не знал, где находится. Когда же приключение окончилось благополучно, Отто накинулся на Кристофа с упреками. Это Кристоф, твердил он жалостным голосом, вечно его компрометирует. Кристоф, испепелив друга взглядом, обозвал его вдобавок трусом. Слово за слово, завязалась ссора. Отто с удовольствием бы вернулся домой, если бы только знал, куда идти, но без Кристофа он не нашел бы дороги и волей-неволей плелся за ним; однако мальчики упорно делали вид, что не замечают друг друга.

Надвигалась гроза. А они в гнев проглядели ее приближение. В сморенных жаром лугах трещали кузнечики. Вдруг все разом смолкло. Кристоф и Отто только через несколько минут заметили наступившую тишину, в ушах у них гудело. Они посмотрели вверх: небо мрачно нахмурилось; огромные, тяжелые тучи с мертвенно-тусклым оттенком заволакивали небосвод; они надвигались и с севера, и с запада, и с юга, словно

пустившаяся вскачь кавалерия. Казалось, все тучи бегут к какой-то одной точке, будто их втягивала бездна, вдруг разверзшаяся в небе. Отто от страха и тоски не смел жаловаться, а Кристоф, лукаво улыбаясь, делал вид, что не замечает испуга приятеля. И хотя оба попрежнему молчали, но пошли теперь рядом. Они были одни среди полей. Тишина. Ни дуновения ветерка. Только временами нежная весенняя листва начинала трепетать, словно охваченная лихорадочной дрожью. Вдруг налетевший ветер поднял кучу пыли и, пригнув к земле верхушки деревьев, начал их яростно трепать. Затем снова воцарилась тишина, еще более гнетущая. Наконец, Отто не выдержал и произнес дрожащим голосом:

— Сейчас гроза будет, пойдем домой.

— Пойдем, — согласился Кристоф.

Но было уже поздно. Вдруг вспыхнул ослепительно резкий свет, в небе что-то зарычало, под черным сводом туч прокатился гром. В одну секунду мальчиков обволокло ураганным вихрем, их слепили молнии, оглушали громовые раскаты; хлынувший дождь в мгновение ока промочил их до нитки. А от пустынного поля до ближайшего жилья было не меньше получаса ходьбы. Кругом потоки воды, белесый свет, страшные красноватые вспышки молнии. Надо бы бежать, но одежда прилипала к телу и мешала даже идти, ботинки хлюпали по лужам, струйки холодной воды стекали вдоль спины. Стало трудно дышать. Отто щелкал зубами и совсем обезумел от злости; он осыпал Кристофа самыми ужасными оскорблениями, уверял, что двигаться во время грозы опасно, а надо стоять на месте, клялся, что сейчас вот возьмет и сядет посреди дороги или возьмет и ляжет прямо на землю — тут же, на пашне. Кристоф не отвечал ни слова; он молча шел вперед, жмуря глаза от ветра и вспышек молнии, оглушенный всем этим грохотом, и на душе у него тоже было не совсем спокойно, хотя он всячески старался скрыть свой страх.

Вдруг все стихло. Гроза удалилась так же внезапно, как налетела. Мальчики выглядели совсем жалкими. Впрочем, во внешности Кристофа особых изменений не произошло, потому что и обычно вид у него был не

слишком аккуратный. Но Отто — Отто, такой выхоленный, так заботившийся о своей внешности, — представлял поистине жалкое зрелище: казалось, он искупался прямо в одежде, и когда Кристоф, обернувшись, увидел друга, он не смог удержаться и захохотал во все горло. Отто так ослаб духом и телом, что не имел силы даже огрызнуться. Кристоф сжалился и что-то весело сказал ему. Отто ответил не на шутку свирепым взглядом. Кристоф повел его на ферму. Там они обсохли перед очагом и выпили подогретого вина. Кристоф находил, что путешествие получилось страшно интересное, и пытался представить их испуг в смешном виде. Но Отто считал такую веселость неуместной и всю дорогу хранил мрачное молчание. Так они и добрались до города — оба хмурые, надутые, и, прощаясь, даже не подали друг другу руки.

После этого приключения они не виделись целую неделю. Каждый самым суровым образом осуждал в душе другого. Но, наказав самих себя, лишившись воскресной прогулки, мальчики так истосковались, что вся их злоба утихла. Как и обычно, первый шаг к примирению сделал Кристоф. Отто милостиво снизошел, и друзья помирились.

Как бы ни ссорились мальчики, как бы ни осуждали один другого, они не могли не видеться. У каждого имелось немало грехов, оба они были эгоисты. Но эгоизм их был так наивен, так далек от расчетливого эгоизма взрослых, так не признавал себя как эгоизм, что казался почти приятным и не мешал нашим друзьям искренно любить друг друга. Слишком уж глубоко жила в них потребность любви и жертв! Отто, лежа в постели, сочинял романтические истории, в которых он, храбрец и герой, проявлял чудеса дружеской верности, и плакал от умиления, уткнувшись в подушку; он измышлял самые трогательные приключения, из которых он, сильный, доблестный, отважный, неизменно выходил победителем и защищал Кристофа — обожаемого, как ему казалось, Кристофа. А Кристоф, увидев или услышав что-нибудь прекрасное или забавное, всякий раз думал: эх, жаль, Отто нет! Ни на один час образ друга не покидал его, и образ этот менялся, становился таким желанно милым, что Кристоф забывал все хорошо известные ему сла-

бости и недостатки Отто и впадал в состояние блаженного опьянения. Он вдруг припоминал ту или иную фразу Отто, приукрашивал ее в уме и приходил в запоздалое волнение. Мальчики во всем подражали друг другу. Так, Отто перенял манеры, жесты, даже почерк Кристофа, и Кристофа подчас раздражало, что его друг, с покорностью тени, повторяет каждое его слово, преподносит его мысли как свое собственное открытие. Но Кристоф не замечал, что сам тоже копирует Отто, подражает его манере одеваться, ходить, даже произносить, как он, некоторые слова. Словно по волшебству, они прониклись чувствами и мыслями друг друга. Сердца обоих затопляла нежность и щедро изливалась, как неиссякаемый родник. Каждый воображал, что причиной тому — его друг. Они не знали, что это пробуждается юность.

Кристоф, который верил всем и каждому, вечно разбрасывал по всему дому свои записки и письма. Однако из какой-то стыдливости он прятал черновики своих писем к Отто и его ответные послания, но стола не запирает — просто закладывает письма между страницами нотной тетради: кому придет в голову тут рыться! Он не учел пронырливости своих братьев.

Но вот Кристоф стал замечать, что братья при виде его вдруг начинают хихикать и шушукаться: Рудольф нагибался к Эрнсту и шепотом произносил длинную фразу, очевидно кого-то цитируя, и оба помирали со смеху. Кристоф не улавливал их слов; да, впрочем, по ранее принятой в отношении мальчиков тактике, он с подчеркнутым равнодушием пропускал мимо ушей их речи и не замечал всей их суетни. Однако раз или два он все же насторожился: их слова смутно напомнили ему что-то. В скором времени он уже не сомневался, что братья прочитали его письма, но когда Кристоф в упор спросил об этом Эрнста и Рудольфа, которые с недавних пор стали называть друг друга с шутовской серьезностью «душа моя», ему так ничего и не удалось от них добиться. Мальчики притворились, что даже не понимают, о чем идет речь, и объявили, что имеют полное

право называть друг друга, как им угодно. А Кристоф, убедившись, что писем никто не трогает, не настаивал больше.

Через неделю он застал Эрнста на месте преступления. Дрянной мальчишка рылся в ящике комода, где Луиза хранила деньги. Кристоф довольно свирепо тряхнул брата и, воспользовавшись подходящим случаем, выложил все, что накопилось у него на душе; не стесняясь в выражениях, он перечислил все проступки Эрнста, каковых набралось достаточно. Эрнст возмущился полученной нахлобучкой, дерзко ответил, что не Кристофу его учить, и тут же прошелся насчет его дружбы с Отто. Сначала Кристоф растерялся, но когда он услышал, что к их ссоре приплетают имя Отто, он потребовал объяснения. Мальчишка сначала только хихикал, но, увидев, что Кристоф побледнел от гнева, струсил и замолчал. Кристоф понял, что таким путем ему от Эрнста ничего не добиться, поэтому он с убийственным презрением пожал плечами и молча присел к столу. Уязвленный Эрнст снова разошелся: стараясь как можно больнее оскорбить Кристофа, он наговорил целую кучу дерзостей — одна другой гаже и злей. Кристоф сдерживался изо всех сил, чтобы не дать волю своей ярости, но вдруг он понял, к чему клонит Эрнст. Вся кровь бросилась ему в голову, он поднялся со стула. Эрнст даже крикнуть не успел. Кристоф сбил брата с ног, подмял под себя и старался побольнее стукнуть его затылком об пол. На испуганные крики жертвы сбежался весь дом во главе с Мельхиором и Луизой. Когда их розняли, Эрнст был в довольно-таки плачевном состоянии. Кристоф не пожелал выпустить свою добычу: пришлось отколотить его самого. «Прямо зверь!» — воскликнула Луиза, и действительно Кристоф озверел. Глаза его угрожающе выкатились из орбит, он скрежетал зубами и упорно рвался к Эрнсту; когда у Кристофа стали допытываться, что же произошло, он разъярился еще пуще и закричал, что все равно убьет брата. Эрнст тоже отказался объяснить причину ссоры.

Кристоф перестал есть и спать. Он дрожал, как в лихорадке, и ночами горько плакал в постели. Он страдал

не только за Отто. Во всем его существе происходил перелом. Эрнст и не подозревал, какое зло он причинил старшему брату. Душа Кристофа была пуритански прямолинейна, она не принимала, не могла принять житейской грязи и, по необходимости обнаруживая грязь, сжималась от ужаса. В пятнадцать лет он оставался до смешного наивным, хотя вел свободную жизнь взрослого человека и наделен был от природы сильными страстями. Прирожденная чистота и изнурительный труд были ему надежной броней. И вдруг после ссоры с братом перед ним открылась бездна. Никогда бы он сам не додумался до таких мерзостей, и теперь, когда мысль о них проникла в его сознание, радость любить и быть любимым вдруг померкла. Не только его дружба с Отто была отравлена, но вообще всякая дружба.

Стало еще хуже, когда, услышав несколько язвительных намеков, он вообразил — и, быть может, вообразил зря, — что сделался объектом нездорового любопытства соседей; особенно же это чувство усилилось после замечания Мельхиора относительно их совместных прогулок с Отто. Мельхиор, вероятнее всего, не видел в дружбе мальчиков ничего худого, но предубежденному Кристофу всюду чудились намеки, и он счел себя виноватым. Нечто подобное переживал как раз в это время и Отто.

Мальчики попытались еще несколько раз увидеться тайком. Но прежняя непринужденность уже оставила их. Искренность отношений была испорчена. Оба подростка, которые до тех пор любили друг друга с какой-то бояливой нежностью, которые ни разу не осмелились даже обменяться братским поцелуем и для которых не было выше счастья, как видеть друг друга, говорить друг с другом, делиться мечтами и мыслями, чувствовали, что их дружбу бесовски осквернили нечистыми подозрениями. Вскоре самый невинный жест, взгляд, пожатие руки начали казаться им чем-то дурным; они краснели, таили друг от друга нехорошие мысли. Встречи стали невыносимо тяжелыми.

Не сговариваясь, они начали видеться реже. Пытались было возобновить переписку, но теперь любое

выражение чувств настораживало их. Они обменивались холодными и весьма глупыми посланиями. Наконец, сдались. Переписка прекратилась сама собой. Кристоф в оправдание ссылался на свою работу, Отто — на школьные занятия. В скором времени Отто уехал учиться в университет, и дружба, озарившая несколько недолгих месяцев их жизни, умерла.

Тогда-то новая любовь, простою провозвестницею которой была дружба с Отто, завладела Кристофом, и в сердце его поблекли все иные источники света.

Часть третья

МИННА

Месяцев за пять до описанных событий г-жа Иозефина фон Керих, недавно похоронившая своего мужа, государственного советника Стефана фон Кериха, оставила Берлин, где ее удерживали занятия покойного супруга, и переехала на житье с дочкой на свою родину в прирейнский городок. Здесь ей принадлежал старый дом, доставшийся от родных; дом стоял среди сада — даже, вернее, среди парка, полого спускавшегося к реке неподалеку от дома Крафтов. Из чердачного окна Кристоф видел зеленеющие над оградой тяжелые ветви дубов и елей, видел конек черепичной красной, уже замшелой, крыши. Справа, вдоль ограды парка, шла горбатая пустынная улочка, тоже сбегавшая к реке; если с этой стороны взобраться на тумбу, можно было поверх ограды увидеть весь сад. Кристоф никогда не отказывал себе в этом удовольствии. Он видел поросшие травой аллеи, полянки, похожие на некошенные луга, разросшиеся на свободе деревья, которые, теснясь в беспорядке, тянулись к солнцу, и белый фасад с вечно закрытыми ставнями. Раз или два в году приходил садовник, осматривал сад и проветривал дом. Но природа брала свое, парк продолжал разрастаться и дичать, и снова воцарялись покой и тишина.

Эта тишина и привлекала Кристофа. Тайком от всех он забирался на тумбу и смотрел в сад; он рос и постепенно перерастал стену; сначала из-за нее выглядывали одни только любопытные глазенки, потом появился нос и, наконец, почти вся мальчишеская физиономия. Вскоре пришел день, когда, приподнявшись на цыпочки,

Кристоф мог уже положить локти на гребень ограды, и хотя стоять в этой позе было не очень удобно, целыми часами простаивал на тумбе, опершись на сплетенные пальцы подбородком, и все глядел, слушал, — а вечер наплывал на лужайку нежно-золотистыми волнами, которые отливали синим отблеском на фоне темневших елей. Кристоф стоял так, забыв все на свете, пока на улочке не раздавались шаги запоздалого прохожего. Ночью сад далеко слал свои ароматы: весной оттуда доносилось благоухание сирени, летом — акации, осенью пахло прелой сыростью опавшей листвы. Когда Кристоф возвращался из герцогского замка, как бы он ни устал за день, он всякий раз останавливался у ворот, впивая сладостное дыхание сада; и как же не хотелось ему возвращаться домой, в свою промозглую комнатку на грязном чердаке! Сколько раз он играл — в ту далекую пору, когда его еще увлекали игры, — у входа в дом Керихов на небольшой площади, где между плитами пробивалась травка. По обе стороны ворот росли два огромных каштана; сам дедушка нередко приходил посидеть под ними, покурить на досуге трубочку, а дети швыряли друг в друга опавшими каштанами или раскладывали их аккуратными кучками.

Как-то утром, проходя по улице, Кристоф по обыкновению вскарабкался на тумбу. Мысли его были заняты чем-то посторонним, а взгляд еще более рассеян, чем обычно. Он собрался было уже уходить, как вдруг ему почудилось что-то необычное. Кристоф взглянул на дом: окна были открыты, солнечный свет свободно вривался в комнаты, и хотя никого не было видно, старый дом, казалось, пробудился от долгой пятнадцатилетней спячки и теперь радуется своему пробуждению. И Кристоф, подавляя странное волнение, остался.

За обедом Мельхиор заговорил о приезде г-жи Керих с дочерью, которые, по его словам, навезли с собой целую груду багажа. Эта тема с утра занимала все умы квартала. Площадь перед домом заполонили зеваки, которым непременно хотелось присутствовать при выгрузке вещей из экипажа. Кристоф, крайне заинтересованный этой новостью, которая в его тусклом существовании была немаловажным событием, вспомнил, идя на урок,

рассказы отца, по обыкновению все преувеличивавшего, и постарался представить себе хозяек сказочного дома. Днем Кристоф, занятый по горло, забыл и думать о доме; но вечером, возвращаясь обратно, он вдруг припомнил утренний разговор и, повинуясь острому любопытству, взобрался по обыкновению на тумбу, чтобы хоть одним глазом заглянуть в сад. Кроме мирных аллей, кроме деревьев, недвижная листва которых дремала в закатных лучах, он ничего не обнаружил. Через несколько минут мальчик уже не помнил, что именно привлекло его сюда, и, по обыкновению своему, замечтался, наслаждаясь тишиной. Нигде так не мечталось ему, как здесь, на безлюдной площади, когда он, с трудом сохраняя равновесие, стоял на тумбе у ограды. Рядом с уродливой, тесной, душной улочкой этот позлащенный солнцем сад был полон таинственной, волшебной силы. Мысль Кристофа вольно уносилась куда-то вдаль, в эти ясные, как гармония, просторы, и сами собой возникали мелодии; Кристоф погружался в сладкий полусон, забывал время, самую жизнь, стараясь уловить все шепоты своего сердца.

Так, открыв глаза и рот, мечтал он и сейчас, не зная сам, о чем мечтает, ибо не видел ничего. Вдруг его что-то словно кольнуло. Прямо против него на повороте аллей появились две женские фигуры, и он почувствовал устремленный на себя взгляд. Чуть впереди шла молодая женщина в трауре, с тонкими, неправильными чертами лица, с пепельно-белокурыми волосами, высокая, элегантная, с красивой гордой посадкой головы; она смотрела на Кристофа ласково и насмешливо, а чуть позади виднелась фигурка девочки лет пятнадцати, тоже в глубоком трауре; все ее личико выражало единственное желание — сдержать внезапный приступ смеха; зажимая обеими ладошками рот, она пряталась за спину матери, а та, не оборачиваясь, досадливо махала ей рукой, и чувствовалось, что ей самой стоит больших усилий не расхохотаться во весь голос. Лицо у девчурки было свежее, бело-розовое и круглое, носик чуть-чуть толстоват, ротик тоже, подбородок пухленький, резко очерченные брови, светлые глаза и роскошные белокурые волосы, заплетенные в две косы и уложенные вокруг

головы; круглая и крепкая шейка; гладкий и белый лоб — настоящая кранаховская девушка.

При появлении дам Кристоф остолбенел. Ему бы убежать, а он стоял, как пригвожденный, на своей тумбе, широко открыв рот, и только когда дама направилась в его сторону, все так же мило и насмешливо улыбаясь, он вышел из оцепенения и спрыгнул, вернее рухнул на тротуар, а на него посыпались со стены увлеченные его падением куски известки. Он услышал, как ласковый голос окликнул его: «Мальчик» — и вслед за этим взрыв ребячьего смеха, такого ясного и мелодичного, будто пение малиновки. Прыгая с тумбы, Кристоф упал на четвереньки и, оглушенный падением, постоял так с секунду, потом вскочил и пустился со всех ног, как будто за ним гнались. Его мучил стыд; даже когда он остался один в своей комнатухе, приступы острого стыда еще долго находили на него. С этого дня он стал избегать любимой своей улочки из какого-то нелепого страха, словно там за стеной кто-то сидит и ждет его появления. И когда случайно ему все-таки приходилось сворачивать на знакомую улочку, он шел, держась как можно ближе к ограде, не подымал головы, чуть не бежал бегом, не смея оглянуться. И, однако, он не переставал думать о двух незнакомках, которых он видел тогда; не раз забирался он на чердак и, сняв башмаки, чтобы случайно не затопать, часами глядел в слуховое окошко на дом и сад Керихов, хотя прекрасно знал, что отсюда видны лишь пышные кроны деревьев да труба на крыше.

Примерно месяц спустя он выступал на вечере в Hof Musik Verein — вечера эти устраивались еженедельно — с концертом собственного сочинения для фортепиано и оркестра. Он уже доигрывал последнюю часть, как вдруг увидел прямо перед собой в ложе г-жу Керих с дочерью; обе пристально смотрели на него. Меньше всего на свете Кристоф ждал их появления здесь, в концертном зале, и смешался так, что чуть было не пропустил очередное вступление. Конец вещи он играл, как автомат. После концерта он заметил (хоть и старался не смотреть в сторону страшной ложи), что дамы Керих аплодируют, и аплодируют не просто, а явно желая привлечь

его внимание. Кристоф поспешил скрыться за кулисы. Выходя из театра, он чуть не наткнулся в коридоре на г-жу Керих; она, видимо, поджидала юного музыканта, но, к счастью, их разделила толпа. Невозможно, просто невозможно было не увидеть ее, и, однакоже, Кристоф притворился, что не видит, круто повернулся и ускользнул из театра через служебный выход. Потом он горько корил себя за глупое бегство: ведь совершенно очевидно, что г-жа Керих не враг ему, и все-таки он знал, что, повторись эта сцена, повторилось бы и бегство. А как он боялся встретиться с ней случайно на улице! Заметив издали женскую фигуру, напоминавшую своим силуэтом г-жу Керих, он быстро сворачивал в переулок.

Она сама напомнила о себе Кристофу.

Однажды утром Луиза, сияя от гордости, сообщила за столом, что к ним приходил лакей в ливрее с письмом, адресованным Кристофу, и вручила сыну длинный конверт с черной траурной каймой, в углу которого был отпечатан герб Керихов. Кристоф вскрыл письмо и, дрожа от волнения, прочел следующие строки:

«Госпожа Иозефина фон Керих просит господина придворного музыканта Кристофа Крафта пожаловать на чашку чаю сегодня в пять тридцать».

— Не пойду, — заявил Кристоф.

— Как не пойдешь! — воскликнула Луиза. — А я сказала, что ты будешь.

Кристоф устроил матери бурную сцену: он упрекал ее за то, что она вмешивается в дела, которые ее не касаются.

— Лакей ждет ответа. Я ему уже сказала, что сегодня ты свободен. Ведь в пять часов у тебя нет уроков.

И как ни кипятился Кристоф, как ни клялся, что никуда не пойдет, все пути отступления были отрезаны. Когда подоспело время визита, он, ворча, стал одеваться; в глубине души он не так уж сетовал на то, что его нежеланию и страху пришлось отступить перед всемогуществом случая.

Тогда в театре г-жа Керих без особого труда узнала в музыканте, исполнявшем концерт собственного

сочинения, того всклокоченного мальчугана, который с дикарским любопытством заглядывал к ним через ограду в день ее приезда. Она расспросила соседей, и то, что она узнала о семье Крафтов, о трудной и достойной жизни Кристофа, пробудило в ней интерес к мальчику и желание побеседовать с ним.

Кристоф, нелепо напыщенный, в новом длиннополом сюртуке, чем-то похожий на деревенского пастора, позвонил у дверей Керихов, жестоко страдая от застенчивости. Как он старался уверить себя, что мать и дочь не успели его хорошенько разглядеть в тот злополучный день! Он шел за лакеем по длинному коридору; толстый ковер заглушал шум его шагов. Его ввели в гостиную, стеклянная дверь которой выходила в сад. С утра накрапывал мелкий холодный дождик, и в камине весело пылал огонь. Возле окна, за которым мокли деревья, окутанные туманом, сидели обе хозяйки; г-жа Керих при появлении Кристофа положила на колени вязание, а ее дочь — книгу. Кристоф заметил, что обе обменялись лукавым взглядом. «Узнали», — подумал он, сильно смутившись, и сделал неуклюжий поклон, в который вложил все свое умение.

Госпожа Керих весело улыбнулась и протянула Кристофу руку.

— Здравствуйте, дорогой сосед, — произнесла она. — Очень рада вас видеть. Мне так хотелось сказать вам, какое вы тогда, на концерте, доставили мне удовольствие, а так как иного средства сказать вам об этом у меня не было, я и пригласила вас к себе. Надеюсь, вы на меня за это не рассердились.

В банально любезных словах было, однако, столько сердечного чувства, что Кристоф, не заметив скрытой иронии, воспрянул духом.

«Не узнали», — подумал он, облегченно вздохнув.

Госпожа Керих указала на дочь, которая, захлопнув книгу, с любопытством глядела на гостя.

— Моя дочка, Минна, тоже очень хотела вас видеть, — сказала она.

— Но, мама, — возразила девочка, — мы ведь видимся не в первый раз.

И она расхохоталась.

«Узнали», — подумал в отчаянии Кристоф.

— Правда, не впервые, — подтвердила г-жа Керих со смехом, — в день нашего приезда вы уже нанесли нам визит.

При этих словах девочка засмеялась еще громче. Однако у Кристофа сразу стал такой жалостный вид, что, вскинув на него глаза, Минна просто зашлась от смеха. Хохотала она, как безумная — до слез. Мать хотела было ее остановить, но сама не могла удержаться от смеха, и Кристоф, как ни был он смущен, невольно начал вторить им. Смеялись дамы Керих так искренно и так безудержно, что нельзя было на них обидеться. Но Кристоф окончательно растерялся, когда Минна между двумя взрывами хохота спросила его, что это он делал на их заборе. Девочка, видимо, забавлялась его смущением, а он растерянно бормотал что-то невнятное. Наконец, г-жа Керих пришла к нему на помощь и переменила разговор, приказав подать чай.

Она дружески расспрашивала Кристофа о его жизни. Но он никак не мог прийти в себя. Он не знал, как сесть, как держать чашку, которая все время грозила опрокинуться; всякий раз когда ему предлагали чаю, молока или сахару, он считал необходимым вскакивать со стула и с поклоном благодарить хозяйку; и стоял — прямой, затянутый в свой новый сюртук, не смея повернуть шею, скованную, словно броней, галстуком и воротничком, не рискуя оглянуться ни вправо, ни влево, ошеломленный градом настойчивых вопросов г-жи Керих и непринужденностью ее манер, леденя под взглядами Минны, которая подмечала все — и его лицо, и его руки, и каждое его движение, и костюм, и смятый воротничок, и галстук. И чем больше хозяйки старались приручить Кристофа, тем больше смущали его, — г-жа Керих неудержимым потоком слов, а Минна нежными, кокетливыми взглядами, которые она бросала на гостя просто так, для развлечения.

Наконец, хозяйки отказались от попытки заставить Кристофа разговориться: он только кланялся и произносил «да» и «нет»; г-жа Керих, на долю которой выпала вся тяжесть светской беседы, устала и попросила Кристофа сыграть. Кристоф, куда более смущенный, чем

на концерте при многочисленной публике, сыграл адажио Моцарта. Но его смущение, даже смятение, которое он испытывал в присутствии двух этих женщин, молодой, наивный трепет, наполнявший его грудь волной тревоги и счастья, так полно сочетались с нежной, юношеской чистотой моцартовского адажио, что под его пальцами оно зазвучало с особой прелестью — прелестью весны. Г-жа Керих была растрогана и высказала это Кристофу в несколько преувеличенно лестных выражениях, столь обычных в устах светских людей; и тем не менее она была искренна, к тому же из любезных уст приятно слушать похвалу, пусть даже неумеренную. Лукавая Минна молчала и удивленно поглядывала на мальчика, такого ненаходчивого во время разговора и такого красноречивого за роялем. Кристоф почувствовал симпатию хозяек и расхрабрился. Он снова начал играть, потом, полуобернувшись к Минне, робко сказал, смущенно улыбаясь и не подымая глаз:

— Вот что я тогда делал на вашей ограде.

Кристоф сыграл небольшую вещицу, наваянную — тут он не солгал — любимым садом, на который он не мог наглядеться со своей тумбы, но написанную, по правде говоря, много раньше, а вовсе не в тот вечер, когда он увидел дам Керих; однако он сам старался убедить себя в обратном, — зачем, из каких неясных побуждений, это было известно лишь его сердцу; в спокойном, убаюкивающем ритме *andante con moto* звучало безмятежное пение птиц, шорохи летних полей, величественный шелест деревьев-великанов в мирных лучах заката.

Обе слушательницы пришли в восхищение. Когда Кристоф кончил играть, г-жа Керих поднялась с места, с обычной своей живостью подошла к музыканту, схватила обе его руки и горячо поблагодарила. Минна весело захлопала в ладоши и заявила, что это «просто восхитительно»; а так как ей очень хочется, чтобы он написал еще такие же «изумительные» произведения, она велит приставить к ограде лестницу, пусть Кристоф работает, когда ему угодно. Г-жа Керих сказала Кристофу, чтобы он не слушал эту безумицу Минну; но в свою очередь пригласила его в любое время дня приходить к ним,

раз ему так нравится в саду, и добавила, что вовсе не обязательно заглядывать в дом, если ему этого не хочется.

— Конечно, можете не заходить к нам, — сочла необходимым добавить и Минна. — Только если вы не придете, смотрите, берегитесь!

И сердито погрозила пальчиком.

Вовсе Минне не так уж сильно хотелось, чтобы Кристоф ходил к ним в гости, и даже не хотелось заставить его подчиняться светским приличиям, но приятно было сознавать, что она производит на гостя впечатление, и впечатление, как подсказывал ей инстинкт, самое хорошее.

Кристоф покраснел от удовольствия. Г-жа Керих окончательно приручила его — с таким тактом расспрашивала она мальчика о Луизе и дедушке, которых знала еще по прежним своим приездам в их город. Милая сердечность обеих дам Керих возымела желанное действие: Кристоф даже склонен был преувеличивать и видел глубину человеческих чувств там, где была лишь привычная благожелательность, ни к чему не обязывающая доброта светских людей. С наивным доверием рассказывал он теперь о своих планах, о своих горестях. Он не заметил, как прошло время, и в изумлении вскочил с места, когда лакей доложил, что кушать подано. Но смущение его тотчас сменилось восторгом: г-жа Керих попросила его отобедать вместе с ними, — они ведь, сказала она, уже хорошие друзья. Кристофа усадили между матерью и Минной; за столом он проявил куда меньше блеска, чем за роялем. Надо сказать, что этой стороной воспитания в семье Крафтов просто пренебрегали; Кристоф искренно считал, что главное за столом есть и пить, а как — это уже второстепенное дело, так что чистюля Минна с видом оскорбленного достоинства поглядывала на гостя.

Хозяйки, очевидно, надеялись, что после обеда Кристоф откланяется, но он поплелся за дамами в гостиную, удобно уселся в кресле и, как видно, отнюдь не собирался уходить. Минна зевала в ладошку и умоляюще поглядывала на мать. Но Кристоф ничего не видел — так он был опьянен счастьем и полагал, что и остальные

испытывают то же самое. Отчасти виновна была в этом и сама Минна, которая, посматривая на Кристофа, по привычке слегка строила глазки, а кроме того, раз заняв сидячее положение, Кристоф уже не знал, как встать с места, под каким предлогом уйти. Так бы он и просидел всю ночь, если бы г-жа Керих с милой простотой не выпроводила его сама.

Кристоф шел домой, чувствуя на себе ласкающий взгляд карих глаз г-жи Керих и голубеньких глазок Минны; он ощущал прикосновение ее тонких и нежных, как лепестки цветка, пальцев и уносил с собой еле уловимый, неведомый ему аромат, который обволакивал его, кружил голову.

Через два дня, как и было условлено, Кристоф снова явился к Керихам — дать Минне первый урок на фортепиано. С этого дня он приходил к Керихам дважды в неделю, по утрам, на урок, а нередко заглядывал к ним и вечерами — поиграть и поговорить.

Госпожа Керих, женщина добрая и умная, охотно принимала Кристофа. В тридцать пять лет она потеряла мужа и, сохранив молодость души и тела, без сожаления отдалась от светских удовольствий, хотя в годы замужества уделяла им много времени. Быть может, ей далось это тем легче, что она уже насладились ими: она здраво рассудила, что нельзя одновременно иметь то, что есть, и то, что было. Она почитала память покойного г-на Кериха не потому, что испытывала к нему какое-либо иное чувство, кроме настоящей дружбы, даже в первые годы их брака, — просто она была женщина спокойных чувств и любящего ума. Г-жа Керих посвятила себя воспитанию дочери, но та же самая сдержанность, которую она вносила в супружество, смягчала излишне чувствительную и болезненную восторженность материнства, столь, впрочем, естественную, когда на ребенка — и только на ребенка — мать переносит ревнивую потребность любить и быть любимой. Она очень любила Минну, но судила о ней вполне трезво, не скрывая от себя ее недостатков, точно так же как не строила никаких иллюзий и на свой собственный счет. Умная и

тонкая, она безошибочным глазом с первой встречи обнаруживала смешные или слабые стороны человека, и обнаруживала их с искренним удовольствием, без малейшего злорадства, ибо она была столь же снисходительна, сколь и насмешлива, и, хоть подтрунивала над ближними, охотно оказывала им услуги.

Юный Кристоф дал г-же Керих богатую пищу для проявления как ее доброты, так и критического чувства. В первое время пребывания в маленьком прирейнском городке Кристоф был для нее почти единственным развлечением, так как из-за траура она не поддерживала светских знакомств. И прежде всего ее привлекал талант Кристофа. Не будучи сама музыкантшей, г-жа Керих любила музыку; когда она слушала музыку, ее душа и тело погружались в нирвану, предоставляя мыслям лениво замирать в приятной меланхолии. Усадив Кристофа за рояль, она устраивалась возле камина с работой в руках и, неопределенно улыбаясь, наслаждалась бесшумным проворством своих пальцев и почти таким же машинальным движением мысли, обращенной к печальному и к светлым воспоминаниям.

Но куда больше, чем музыкой, она интересовалась самим музыкантом. Г-жа Керих была достаточно развитой, чтобы понять, как счастливо одарен Кристоф, хотя вряд ли могла отдать себе отчет в неповторимости его дара. Ей любопытно было следить, как пробуждается в молодой душе таинственный пламень. Ей не потребовалось много времени, чтобы оценить нравственные достоинства Кристофа, его прямоту, мужество, даже стоицизм, столь неожиданный и трогательный в ребенке. И тем не менее она смотрела на Кристофа неизменно пронизательным взглядом своих умных и насмешливых глаз. Ее забавляли его неловкость, смешное и некрасивое лицо, его невинные причуды; она не принимала его особенно всерьез, впрочем она мало что принимала всерьез. Нелепые выходки Кристофа, его необузданность, своевольный нрав — все это наводило ее на мысль, что он — натура неуравновешенная; впрочем, она считала, что таким и положено быть отпрыску Крафтов, людей порядочных и хороших музыкантов, но немножко взбалмошных.

Кристоф не замечал этой легкой иронии; он видел только доброту г-жи Керих. Ведь он так не привык к доброте, особенно в отношении себя. Хотя по своему положению придворного музыканта Кристоф не раз имел случай встречаться с людьми светскими, бедняга остался тем, чем и был, — маленьким дикарем, невоспитанным и невежественным. Если во дворце снисходили до Кристофа, то лишь затем, чтобы эгоистически использовать его талант, но до самого музыканта никому не было дела. Кристоф приходил во дворец, сразу же садился за рояль, играл и, окончив играть, уходил домой; и ни разу никто не дал себе труда поговорить с ребенком, разве что иногда ему бросали на ходу банальный комплимент. Никто ни в семье, ни вне семьи со смертью дедушки ни разу не подумал, что ему нужно помочь учиться, направить в жизни, помочь стать человеком. Кристоф жестоко страдал от своего невежества и грубых своих манер. Он из кожи лез вон, чтобы самому воспитать себя, но тщетно. Ему не хватало книг, общения с людьми, примера — всего не хватало. Как бы хотелось ему пожаловаться на свое горе другу, но он не мог. Даже милому Отто — не мог, потому что после первых же слов Кристофа тот сразу принимал тон презрительного превосходства и словно каленным железом касался наболевшей раны Кристофа.

А вот с г-жой Керих все стало легко. Она сама, без всяких просьб с его стороны, — а что значили для Кристофа просьбы при его-то гордыне! — сама незаметно, но настойчиво указывала мальчику, чего не надо делать, учила тому, что делать полезно, давала советы насчет костюма, манер, походки, разговора, не прощала ему ни одной погрешности в обращении, языке или во вкусах; и оскорбиться было просто невозможно — так нежно было прикосновение направляющей руки, так заботливо щадила она легко уязвимое детское самолюбие. Так же незаметно, словно ни во что не вмешиваясь, следила она за чтением Кристофа; делала вид, что ее ничуть не удивляет его чудовищное невежество, но при каждом удобном случае указывала на его промахи — и все это так спокойно, так просто, словно нет и не было ничего удивительного в том, что он ошибся; не отпугивая маль-

чика скучными уроками, она посвящала вечера делу, заставляя Минну или Кристофа читать вслух увлекательные книги по истории или стихи немецких и иностранных поэтов. Относилась она к Кристофу, будто к родному, а если и было что-то покровительственно-фамильярное, то он этого не замечал. Даже его туалетом она занималась: кое-что подновила, связала ему шерстяной шарф, подарила несколько необходимых пустячков и делала все это так мило, что Кристоф, не стесняясь, принимал ее заботы и ее подарки. Короче говоря, г-жа Керих относилась к Кристофу с вниманием и нежностью почти материнскими, как, впрочем, относятся все незлые женщины к ребенку, которого им доверили или который доверился им, что отнюдь, однако, не предполагает глубокого чувства. Но Кристоф верил, что вся ее нежность направлена на него лично, на него одного, и расцветал от благодарности; излияния его, внезапные и страстные, казались г-же Керих немножко смешными, но все же доставляли удовольствие.

А вот с Минной отношения у Кристофа складывались совсем по-другому.

Когда Кристоф на первом уроке увидел Минну, весь еще в сладостной власти вчерашних воспоминаний и ласковых взглядов девочки, он совсем опешил от удивления, встретив маленькую особу, ничуть не похожую на ту, какой она была всего несколько часов назад. Минна еле глядела на Кристофа и не слушала, что он говорит; а когда, наконец, вскинула на него глаза, он прочел в них такое ледяное равнодушие, что испугался. Он долго и мучительно вспоминал, чем мог ее оскорбить. Ничем он ее не оскорбил, да и чувства Минны остались прежними — не стали ни горячее, ни холоднее, просто и вчера и сегодня Кристоф был ей глубоко безразличен. Если при первой встрече Минна расточала ему улыбки, то лишь повинаясь инстинктивной кокетливости девочки, которой весело испытывать чары своих взглядов на ком попало, хоть бы на собачонке, только бы можно было развлечься. Но на следующий день столь легкая победа уже не представляла ни малейшего интереса. Минна смотрела на Кристофа строгим, осуждающим взглядом, и сейчас он был в ее глазах

просто некрасивым, бедным, плохо воспитанным мальчиком, который хоть и хорошо играет на фортепиано, зато руки у него ужасные, держит он вилку за столом самым странным образом, а рыбу режет ножом. Одним словом, он показался ей весьма заурядным. Брать у него уроки ей хотелось, хотелось даже найти себе в нем развлечение, потому что у нее сейчас не было подруг и потому что, хотя в душе она считала себя уже взрослой, иногда на нее нападало сумасшедшее желание играть, прыгать, — ее переполняла радость, что объяснялось отчасти, как и у матери, вынужденным одиночеством траура. Но Минна считала Кристофа чем-то вроде кошки или собаки, прижившейся в доме; и если ей случалось вдруг в дни самой своей неприступной холодности сделать ему глазки, то просто по забывчивости и потому, что в эту минуту она думала совсем о другом, а то и просто практики ради. У Кристофа сердце чуть не выпрыгивало из груди, а Минна смотрела как бы сквозь Кристофа: в это время она про себя сочиняла какую-нибудь душещипательную историю. Эта юная особа была в том счастливом возрасте, когда так легко тешить себя приятными и лестными мечтами. Минна постоянно думала о любви, думала с огромным интересом и любопытством, которое было вполне невинно лишь благодаря ее неведению. Впрочем, она, как и подобает благовоспитанной девице, представляла себе любовь не иначе, как освященной таинством брака. А вот насчет выбора идеала она еще колебалась. То она мечтала выйти замуж за лейтенанта, то за поэта, который писал бы благородные и пристойные стихи, — за эдакого Шиллера. Один проект вытеснял другой. И каждый на первых порах она принимала столь же серьезно и с той же верой. Впрочем, как упраздненные, так ныне действующие идеалы готовы были отступить перед приманками действительности, ибо поистине примечательно, как самые романтические девушки легко забывают свои мечты, когда перед ними является видение менее идеальное, но зато более надежное.

Сентиментальная Минна, несмотря на все свои мечты, была от природы спокойной и холодной. Ибо

вопреки аристократическому имени и приставке «фон» — источнику великой ее гордости, — в ней жила душа маленькой немецкой мещаночки, жила даже в восхитительные годы отрочества.

Кристоф, естественно, не мог разобраться в сложном механизме женского сердца — сложном, впрочем, более по видимости, чем в действительности. Иной раз его сбивали с толку повадки обеих дам, но он испытывал такое счастье от своей любви, что заранее принял на веру, принял как должное все, что его слегка тревожило или печалило, лишь бы убедить себя, что он не только любит, но и любим. Одно-единственное слово, один приветливый взгляд погружали его в блаженство. Иногда счастье так переполняло его, что он не мог сдерживать слез.

Сидя у стола в тихой небольшой гостиной рядом с г-жой Керих, занятой шитьем, при свете лампы (Минна на другом конце читает книгу, все молчат; дверь, выходящая в сад, полуоткрыта, и из гостиной видно, как в лунном свете блестит песок на дорожках; легкий шелест деревьев один нарушает тишину), Кристоф чувствовал себя таким счастливым, что вдруг, неизвестно почему, вскакивал со стула, бросался на колени перед г-жой Керих, хватал ее руки и, рискуя оцарапать себе нос об иголку, покрывал их поцелуями, рыдая прижимал ее тонкие пальцы к губам, ко лбу, к взмокшим ресницам. Минна поднимала голову от книги и с обычной своей гримаской незаметно пожимала плечами. Г-жа Керих, улыбаясь, глядела на мальчика, который стоял на коленях у ее ног, нежно гладила его по волосам свободной рукой и говорила красивым, ласковым и насмешливым голосом:

— Ну что, ну что, дурачок, ну что случилось?

О, сладостные звуки родного голоса, сладостный покой и тишина, где даже самый воздух пропитан нежностью взаимной любви, где никто тебя не обидит, не оскорбит, — благословенный оазис среди грубой жизни, — и, подобно героическому пламени, позлащающему своим отблеском все вокруг, возникаешь ты, очарованный

мир, вызванный к жизни божественной речью Гёте, Шиллера, Шекспира, — потоками силы, муки и любви.

Минна читала, склонив головку над книгой, лицо ее слегка розовело от волнения, когда своим звонким, чуть пришепетывающим голоском, которому она старалась придать важность, девушка произносила имена славных воинов и королей. Иногда книгу брала сама г-жа Керих; даже в трагические сцены умела она вложить обаяние своей умной и нежной натуры; но она предпочитала слушать чтение дочери; откинувшись на спинку кресла, отложив вечное рукоделие в сторону, она рассеянно улыбалась, ибо за внешними перипетиями любого произведения обнаруживала неизменно себя самое, свои мысли.

Кристоф тоже пытался читать дамам вслух; но вскоре ему пришлось отказаться от своих попыток. Он мямлил, путался в словах, не останавливался на точках, проглатывал запятые, словно ничего не понимая, и приходил в такое волнение в поэтических местах, что вдруг умолкал посреди фразы, желая скрыть слезы. Тогда в сердцах он бросал книгу на стол, а обе его приятельницы от души хохотали. Как он любил их в эти минуты! Он повсюду носил с собой их образ, и черты их сливались в его представлении с чертами героинь Шекспира и Гёте. Он уже перестал отличать реальные существа от поэтических вымыслов. Какое-нибудь пленительное слово поэта, впервые услышанное из милых уст, не только вызывало блаженный трепет страсти в его мальчишеской душе, но и навеки сливалось для него с милым образом. Даже через двадцать лет, всякий раз когда он перечитывал или слушал «Эгмонта» или «Ромео», перед ним вдруг возникали мирные вечера, тогдашние его грезы о счастье, обожаемые черты г-жи Керих и Минны.

Часами он мог глядеть на них, как они читали вслух, а затем ночью, лежа без сна, с открытыми глазами, он вызывал в памяти прошедший вечер, и даже утром во время репетиции он закрывал глаза и, машинально водя смычком, вновь видел их обеих. Обои он любил трогательно и безгрешно и, ничего не зная о любви, считал себя влюбленным. Но только не понимал, в кого влюблен: в мать или в дочь. Он сурово допытывался

ответа у своего сердца и не знал, какой из двух отдать предпочтение. Но так как он считал, что обязан сделать выбор, то решил остановиться на г-же Керих. И, сделав выбор, тут же обнаружил, что действительно любит именно ее. Любит ее умные глаза, улыбку, рассеянно морщившую ее полуоткрытые губы, красивый и какой-то особенно молодой лоб, косой пробор в тонких, блестящих волосах, негромкий голос, приглушенное покашливание, матерински нежные руки, изящество ее движений, любит всю ее закрытую для него душу. Он дрожал от счастья, когда, присев рядом, она с ясным, добрым лицом объясняла непонятное место в книге, спершись рукой о его плечо; Кристоф чувствовал сквозь ткань живое тепло ее пальцев, ее дыхание на своей щеке и сладкий аромат, исходивший от всего ее существа; он в каком-то экстазе слушал ее голос, забыв о книге, и ничего, естественно, не понимал. Заметив рассеянность Кристофа, г-жа Керих заставляла его повторять ее слова, но он молчал, и она, смеясь и сердясь одновременно, щелкала его книжкой по носу и говорила, что он просто глупый ослик, на что Кристоф отвечал: пусть он ослик, ему это совершенно безразлично, лишь бы быть ее осликом и лишь бы она его не прогоняла. Г-жа Керих делала вид, что колеблется, но потом заявляла, что хотя он действительно противный ослик и к тому же безнадежно глупый, она все-таки согласна оставить его при себе и, может быть, даже любить, хотя он и негоден ни на что путное, а просто добрый мальчик. Оба начинали хохотать, и Кристоф плавал в блаженстве.

С тех пор как Кристоф открыл, что любит г-жу Керих, он отдалился от Минны. Его начинало раздражать высокомерие и холодность девочки, и, так как они виделись чуть ли не ежедневно, осмелевший Кристоф со свойственной ему непринужденностью давал понять Минне, что ему неприятно ее поведение. Минне нравилось поддразнивать Кристофа, теперь он отвечал ей резко и прямо. Они часами пикировались, к вящему веселью г-жи Керих. Неискушенный в словесных поединках, Кристоф доходил до такого неистовства, что

временами, как ему казалось, просто ненавидел Минну и уверял себя, что ходит к ним только ради г-жи Керих.

Уроки музыки продолжались. Дважды в неделю, от девяти до десяти часов утра, Кристоф слушал, как девочка разыгрывала перед ним гаммы и этюды. Занимались они в комнате, называвшейся «студией». Странная была эта студия, носившая на себе до смешного точный отпечаток взбалмошного характера и вкусов ее юной хозяйки.

На столе красовалась серия крошечных фарфоровых котов-музыкантов — целый оркестр: один кот пикировал на скрипке, другой играл на виолончели; рядом валялось карманное зеркальце, стояли туалетный и письменный приборы. На этажерке — крохотные бюстики великих музыкантов: сердито надувшийся Бетховен, Вагнер в берете и здесь же Аполлон Бельведерский. На камине, возле лягушки, курящей трубку из камышинки, бумажный веер с нарисованным на нем байрейтским театром. На двух полках вся Миннина библиотека, состоящая из сочинений Любке, Моммзена, Шиллера, Жюль Верна, Монтеня и «Без семьи» Гектора Мало. На стене большие репродукции «Сикстинской мадонны» и картин Геркомера. Все это в голубых и зеленых лентах. Тут же в рамке из посеребренных шишек чертополоха — какой-то швейцарский пейзаж с горным отелем на переднем плане; и повсюду, во всех углах, на всех стенах портреты, десятки фотографий — офицеры, теноры, дирижеры, школьные подружки, — все это с надписями, а надписи все в стихах или, вернее, не в настоящих стихах, а в таких, что принято считать в Германии стихами. Посреди комнаты на мраморном постаменте возвышался бородатый Брамс, а над роялем свисали на нитках плюшевые обезьянки и котильонные значки.

Минна обычно запаздывала; она являлась на урок надутая, с опухшими от сна глазами; небрежно протянув Кристофу руку, она буркала: «Доброе утро» — и, молчаливая, величественная и гордая, усаживалась перед инструментом. Когда она занималась по утрам без Кристофа, она с удовольствием играла гамму за гаммой, ибо бездумный бег пальцев по клавишам позволял ей продлить блаженное состояние утреннего полусна и рас-

сказывать себе бесконечные истории — они же мечты. Но Кристоф настаивал, чтобы она играла трудные упражнения, требовавшие всего ее внимания, и в отместку Минна иной раз всячески изощрялась, чтобы сыграть как можно хуже. Впрочем, девочка была довольно музыкальна; она просто не любила музыки, как большинство немцев, но, подобно им, почитала своим долгом любить музыку и занималась серьезно, за исключением случаев, когда с чисто дьявольским лукавством старалась взбесить своего юного учителя. Особенно раздражало его то ледяное безразличие, с каким Минна разыгрывала заданный урок. Но хуже всего было, когда она воображала, что непременно должна играть с душой — откуда только бралась чувствительность, ведь на самом деле Минна не чувствовала ровно ничего.

Сидя рядом с Минной, Кристоф нередко нарушал правила приличия. Ни разу не похвалил он своей ученицы — куда там! Это в свою очередь бесило девочку, и она не спускала ему ни одного замечания. Минна оспаривала каждое слово Кристофа и, даже уличенная в ошибке, упорно твердила, что взяла именно ту ноту, которую требовалось взять. Кристоф раздражался, и дело доходило до открытых вспышек, причем оба говорили дерзости и даже грубости. Упорно не подымая глаз от клавиш, Минна искоса наблюдала за Кристофом и наслаждалась его яростью. Потом, развлеченная ради, она пускалась на мелкие и довольно глупые уловки с целью прервать урок и окончательно допечь Кристофа. То, желая обратить на себя внимание, она делала вид, что задыхается, то на нее нападал кашель, то ей требовалось немедленно отдать важное распоряжение горничной. Кристоф знал, что все это комедия, и Минна знала, что Кристоф знает, что это комедия, и веселилась: ведь Кристоф не мог высказать вслух того, что он о ней думал.

Как-то, разыгрывая очередную комедию, Минна томно покашливала, прикрыв свою розовую мордочку носовым платком, словно у нее начался приступ удушья, а на самом деле уголком глаза следила за разгневанным Кристофом. Вдруг ей пришла в голову великолепная

мысль — уронить на пол платок, чтобы Кристофу пришлось его поднять, что он и проделал, но как же неохотно! Минна милостиво бросила ему «спасибо» с видом светской дамы, отчего он чуть не взорвался.

Эту игру Минна сочла достаточно интересной и решила повторить еще раз. На следующем уроке она снова уронила платок, но Кристоф не шелохнулся. Он весь кипел от злости. Подождав с минуту, Минна досадливо попросила его:

— Не будете ли вы так любезны подать мне платок?

Кристофа прорвало.

— Я вам не лакей, — грубо крикнул он, — сами подымете!

Минна буквально задохнулась от негодования. Она вскочила, и табуретка с грохотом упала на пол.

— О, это уже слишком! — произнесла она, яростно ударила кулаком по клавишам и выскочила из комнаты.

Кристоф сидел и ждал. Минна не появлялась. Ему стало стыдно: а ведь и впрямь он вел себя, как хам. Нет, хватит с него, больше он терпеть не намерен, мало она издевалась над ним, мало дерзила! Он боялся: вдруг Минна пожалуется матери, а та возьмет да и разлюбит его. Кристоф не знал, что делать, и хотя горько сетовал на свою собственную грубость, ни за какие блага мира не стал бы просить прощения.

На всякий случай утром он пришел к Керихам, хотя сомневался, что Минна согласится продолжать уроки. Но Минна, слишком гордая, чтобы жаловаться кому бы то ни было, Минна, чьей совести все же не окончательно были чужды угрызения, появилась в студии, правда заставив Кристофа прождать лишних минут пять сверх обычного; она уселась перед роялем прямо, строго, не повернув головы, не произнесла ни слова, будто Кристофа не существовало вообще. Тем не менее урок прошел благополучно, как и все последующие уроки, ибо девочка понимала, что Кристоф прекрасно знает музыку, а ей нужно научиться бегло играть на рояле, если она хочет быть тем, чем полагается быть благородной девице, получившей безупречное воспитание.

Но как же она скучала! Как же скучали они оба!

Одним мартовским туманным утром, когда за окном на фоне серенького неба словно пух медленно пролетали снежинки, Кристоф и Минна сидели в студии. Было еще темно. Минна, ударив не по тому клавишу, как обычно начала спорить, утверждая, что «так написано». Хотя ложь ее была шита белыми нитками, Кристоф все же нагнулся над нотной тетрадкой, чтобы посмотреть спорное место. Рука Минны лежала на пюпитре, и она даже не отодвинула ее. Губы Кристофа были рядом с этой рукой. Он пытался разглядеть ноты, но не мог; он видел перед собой нечто иное, нечто нежное, прозрачное, словно лепесток цветка. Вдруг, сам не зная, как и почему это произошло, он крепко прижался губами к лежащей перед ним лапке.

Оба застыли от изумления. Кристоф откинулся назад, Минна отняла руку, и оба покраснели до ушей. Они не сказали ни слова, не посмотрели друг на друга. Прошла минута неловкого молчания, и Минна стала играть; волнение ее не утихло, грудь легонько вздымалась, словно на этот раз ей действительно не хватало воздуха. И фальшивила она невероятно. Но Кристоф ничего не замечал: он был смущен еще больше, чем Минна, и в висках у него стучало; он не слышал ничего, не знал, что она играет; желая прервать молчание, он сделал хриплым голосом несколько не идущих к делу замечаний. Ему казалось, что он безнадежно погиб в глазах Минны. Он оробел, осуждая в душе свой глупый и грубый поступок. Наконец, час, отведенный музыке, кончился, и Кристоф вышел из студии, забыв даже попрощаться со своей ученицей. Но Минна извинила Кристофу его забывчивость. Теперь она вовсе не находила его дурно воспитанным мальчиком, и если она ошибалась во время игры, так это потому лишь, что непрестанно следила за ним искоса со смешанным чувством любопытства и удивления и впервые с чувством симпатии.

Оставшись одна, Минна не побежала, как обычно, к матери, а закрылась в своей комнате, чтобы обдумать в одиночестве это необычайное происшествие. Она села перед туалетным столиком и подперлась рукой. Из зеркала на нее глянули нежные, блестящие глаза.

Стараясь сосредоточиться, Минна легонько покусывала нижнюю губу. И, вглядываясь не без удовольствия в свое хорошенькое личико, она вдруг вспомнила недавнюю сцену, вспыхнула и улыбнулась. За столом она была весела и на редкость оживлена. Она отказалась идти гулять и долго сидела после обеда в гостиной с работой в руках, но успела за это время сделать всего стежков десять, и каких стежков! — косых, уродливых. Но что ей было до этого? Пристроившись в углу гостиной, спиной к матери, она то улыбалась своим мыслям, то вдруг вскакивала с места, начинала прыгать по комнате, распевая что-то во все горло, — так нужно было ей дать выход своим чувствам. Г-жа Керих вздрагивала и обзывала ее сумасшедшей. Тогда Минна бросалась к матери на шею и, топоча ногами от смеха, душила ее в своих объятиях.

Вечером Минна не сразу легла в постель. В спальне она подошла снова к зеркалу и снова долго гляделась в него, стараясь что-то припомнить, но не думала ни о чем, так как слишком напряженно думала целый день. Она медленно стала раздеваться и, сидя на кровати, пыталась представить себе лицо, походку, голос Кристофа; воображение нарисовало ей того Кристофа, какого ей хотелось видеть, и он показался ей не так уж плох. Минна быстро юркнула в постель и потушила свет. Но через несколько минут ей вспомнилась вдруг вся утренняя сцена, и она громко расхохоталась. Мать тихонько поднялась с места и приоткрыла дверь в спальню. Ей показалось, что Минна, вопреки строгому запрету, читает в постели. Но Минна спокойно лежала под одеялом, только в полумраке комнаты, освещенной ночником, видны были ее широко раскрытые глаза.

— Ты что? — спросила мать. — Кто это тебя так развеселил?

— Никто, — важно ответила Минна, — я просто думаю.

— Что ж, если тебе весело одной, то тем лучше для тебя. А теперь пора спать.

— Хорошо, мамочка, — покорным голоском ответила Минна.

Но про себя она шептала как заклинание: «Уйди же,

ну, уйди!» — пока дверь за матерью не закрылась и снова стало можно упиваться своими мечтами. Дремота неслышно окутывала ее. Уже совсем засыпая, Минна вдруг привскочила от радости:

«Он меня любит. Какое счастье! Какой он хороший, что он меня любит! Как я его люблю!»

Она поцеловала думку и заснула по-настоящему.

Когда дети снова встретились после того достопамятного урока, Кристофа поразила любезность Минны. Она первая сказала ему «здравствуйте» и нежным голосом спросила, как он себя чувствует; за рояль она уселась со скромным и благоразумным видом, словом — была ангелом послушания. Куда делись ее былые выходки, былые фантазии, — она благоговейно внимала замечаниям Кристофа, поспешно соглашалась с ними, испуганно вскрикивала, ударив не по тому клавишу, и старалась, не дожидаясь слов Кристофа, исправить ошибку. Кристоф ничего уж не понимал. В короткий срок Минна сделала поразительные успехи. Она не только стала лучше играть, но и полюбила музыку. И хоть Кристоф от природы был скуп на похвалы, он вынужден был ее похвалить. Девочка покраснела от радости и наградила его блеснувшим признательностью взглядом. Теперь Минна занималась туалетом особенно тщательно, и всё ради Кристофа; ради него же она вплетала в косы ленты нежнейших тонов; она улыбалась и глядела на Кристофа томным взглядом, что вовсе ему не нравилось, раздражало и волновало до глубины души. Теперь Минна старалась заговорить с Кристофом первая; но в разговорах ее не было прежней ребячливости; говорила она степенно и охотно цитировала стихи напыщенным и поучительным тоном. А он не отвечал ни на взгляды, ни на стихи; ему было не по себе: теперешняя Минна, которую он не узнавал, удивляла и беспокоила его.

Минна не переставала наблюдать за Кристофом. Она ждала... Чего? Да знала ли она сама, чего ждет? Она ждала, чтобы то повторилось. А Кристоф пуще огня боялся этого, считая, что прошлый раз поступил, как

деревенщина; казалось, он и думать забыл о том поцелуе. Минна выходила из себя, и в один прекрасный день, когда Кристоф спокойно сидел на табурете, на почтительном расстоянии от опасных ручек, она не могла совладать с охватившим ее нетерпением: быстрым, таким быстрым движением, что оно опередило даже мысль, девочка сама прижала к губам Кристофа руку. Он ошолбенел, потом его охватил гнев и стыд. Тем не менее он поцеловал ручку — и поцеловал со страстью. Наивная дерзость Минны его возмутила, ему хотелось уйти, никогда больше не видеть своей ученицы.

Но он не мог. Он уже был в ее власти. Мысли вихрем закружились в его голове; он уже ничего не понимал. Словно влажные испарения, ползущие из низины, подымались они из глубины его сердца. Он бродил ощупью, ничего не видя в этом тумане любви; он кружил неотступно вокруг неясной, но назойливой мысли, которая была еще неведомым желанием, грозным и влекущим, как огонь для бабочки. Это вскипели в нем вдруг слепые силы Природы.

Затем начался период взаимного выжидания. Они наблюдали друг за другом, тянулись друг к другу и боялись. Спокойствие покинуло их. И хотя между ними продолжались мелкие и крупные стычки, однако прежняя простота отношений исчезла, — оба теперь вообще не разговаривали. Каждый терпеливо создавал для себя свой образ любви.

Есть у любви странное свойство: она как бы имеет обратную силу. В ту самую минуту, когда Кристоф понял, что любит Минну, он понял, что любил ее всегда. В течение трех месяцев они виделись почти ежедневно, а он и не подозревал даже, что любит ее. Но раз он ее любит, ему необходимо было доказать самому себе, что он любил ее вечно.

С какой сгромной радостью понял он, наконец, кого он любит! Ведь он любил так долго и не знал, кого! Он вдруг почувствовал огромное облегчение, словно больной, страдающий от неизвестного томительного недуга, когда этот недуг вдруг определяется, локали-

зается в каком-то одном определенном месте, хотя одновременно приходит и невыносимо острая боль. Ничто так не мучит, как любовь, не направленная на определенный предмет: такая любовь, словно лихорадка, подтачивает силы и сушит. Страсть осознанная доводит до иступления, но, как это ни изнурительно, зато хоть знаешь причину страдания. Пусть она — утомление, все лучше, чем полное истощение сил, чем просто пустота. Хотя Минна неоднократно давала Кристофу доказательства того, что он ей не безразличен, он попрежнему терзался и искренно считал, что его презирают. Никогда Кристоф не знал, что в действительности представляет собой Минна, равно как и Минна не отдавала себе отчета в существовании Кристофа. И никогда они не были так далеки от понимания друг друга, никогда их взаимное представление друг о друге не было так туманно, как в эти дни; была лишь цепь разорванных и причудливых представлений, которые не удавалось связать воедино, ибо оба переходили из одной крайности в другую, приписывали друг другу несуществующие недостатки или достоинства: недостатки — в разлуке, достоинства — при встречах. И в обоих случаях они ошибались.

Они не знали, чего ждут, чего хотят друг от друга. Для Кристофа любовь стала неутолимой жадью нежности — жадью полновластной, требовательной и не желающей утolenия; она сжигала его с детства, он домогался ее от других и хотел навязать другим — добровольно или силой. Временами к этому деспотическому стремлению примешивалось желание пожертвовать целиком собой и другими, в первую очередь, пожалуй, другими, — приступы неясного и грубого желания, от которого у него кружилась голова и которого он не понимал. Минне — той больше всего нравилось и было интересно, что у нее настоящий роман, и она старалась извлечь из него как можно больше пищи для своего самолюбия и чувствительности; она чистосердечно обманывалась насчет своей любви. Любовь их больше чем наполовину была надуманной. Они перебирали прочитанные вместе романы и в каждом черпали чувства, коих вовсе не испытывали.

Но близился миг, когда вся эта внешняя ложь, весь этот мелкий эгоизм испарится перед божественным сиянием любви. День, час, несколько вечных мгновений... И как это всегда неожиданно!..

Как-то вечером они разговорились. Гостиная тонула в полумраке. Постепенно беседа перешла на серьезные вопросы. Они рассуждали о бесконечности, о жизни и о смерти. Так заманчиво было обрамлять величественными идеями свою миниатюрную страсть. Минна горько жаловалась на одиночество, что, естественно, вызывало ответное возражение Кристофа, который заявил, что вовсе она не так уж одинока, как говорит.

— Нет, — возразила Минна, упрямо покачив головкой, — все это одни слова. Каждый живет только для себя, никто тобой не интересуется, никто тебя не любит.

Последовало молчание.

— А я? — вдруг спросил Кристоф, побледнев от волнения.

Маленькая женщина стремительно вскочила с кресла и взяла руки Кристофа в свои.

Дверь приоткрылась. Они отпрянули друг от друга. Вошла г-жа Керих. Кристоф сделал вид, что погружен в чтение какой-то книги, но держал ее вверх ногами! Минна низко нагнулась над вышиванием и уколола иголкой палец.

В тот вечер они не оставались больше одни, да и боялись остаться. Г-жа Керих поднялась было с места, чтобы принести из соседней комнаты забытый носовой платок, и Минна, обычно не особенно услужливая, бросилась со всех ног за платком; Кристоф, воспользовавшись ее отсутствием, ушел не попрощавшись.

На другой день они встретились, горя нетерпением возобновить прерванный разговор. Но ничего не получалось. Однако обстоятельства благоприятствовали им. Г-жа Керих решила пойти прогуляться с ними, и они раз десять могли бы за это время побеседовать на свободе. Но Кристоф не мог вымолвить ни слова; он чувствовал себя таким несчастным, что молча плелся позади

Минны, стараясь держаться от нее как можно дальше. А Минна делала вид, что не замечает невежливого поведения Кристофа; однако она была уязвлена в своем самолюбии и не скрывала этого. Когда же, наконец, Кристофу удалось выдать из себя несколько слов, она выслушала его с холодным видом: ему потребовалось немало мужества, чтобы договорить начатую фразу. Прогулка шла к концу. Драгоценное время уходило зря, и Кристоф был в отчаянии, что не сумел воспользоваться благоприятной минутой.

Миновала неделя. Оба решили, что взаимно обманулись в своих чувствах. Уж не пригрезилась ли им та вечерняя сцена? Минна дулась на Кристофа. Кристоф боялся остаться с нею наедине. Отношения их совсем испортились.

И вот что случилось однажды. С самого утра зарядил дождик и шел до самого обеда. Они просидели все время взаперти, не разговаривали, читали, зевали, смотрели в окно, оба скучали и злились. К четырем часам небо прояснилось. Они выбежали в сад. Опершись на перила террасы, оба смотрели вниз — туда, где газон мягко сбегал к реке. От земли прямо к солнцу подымался пар, капельки дождя сверкали в траве, запах мокрой земли примешивался к благоуханию цветов; вокруг в шелестящем золотом полете проносились пчелы. Дети стояли рядом и не смели взглянуть друг на друга; хотели и не могли прервать молчание. Намокшая, тяжелая от дождя пчела неловко карабкалась по веточке глицинии, и вдруг на нее струйкой полилась вода. Дети засмеялись и тут же поняли, что вовсе они не сердятся и что все хорошо. Однако они попрежнему не глядели друг на друга.

Вдруг Минна, не поворачивая головы, схватила Кристофа за руку и коротко приказала:

— Пойдем.

Она потащила мальчика за собой, и оба побежали к так называемому лабиринту — посреди рощицы были расчищены аллеи и полянки, обсаженные кустами. Кристоф и Минна стали взбираться по склону холма, скользя по мокрой земле; с потревоженных ветвей на них

падали крупные капли. Почти у самой вершины Минна остановилась, чтобы перевести дух.

— Подождем, подождем немножечко... — произнесла она почти шепотом, стараясь отдышаться.

Кристоф взглянул на нее. Она смотрела куда-то в сторону, но улыбалась, тяжело дыша полуоткрытым ртом; рука ее, судорожно сжатая, лежала в руке Кристофа. Оба вдруг почувствовали, как к их ладоням одновременно притекла горячая кровь, как задрожали пальцы. Тишина. Белесые, молодые побегы трепетали в солнечном луче, и с серебристым звоном посыпались с листвы крупные капли; пронзительно крича, прочерчивали небо ласточки.

Вдруг Минна обернулась к Кристофу — быстрее вспышки молнии. Она бросилась ему на шею. Он бросился к ней.

— Минна, Минна, дорогая моя!

— Я люблю тебя, Кристоф! Я люблю тебя!

Они уселись на мокрую скамейку. Их переполняла любовь — нежная, глубокая, глупенькая детская любовь. И все растворилось в ней. Ушли куда-то эгоизм, тщеславие, ушли скрытые мысли. Любовь своим дыханием вымела прочь все темное, все тeneвое, что накопилось в душе. Любить, любить — вот что говорили их смеющиеся, мокрые от слез глаза. Эту холодную и кокетливую девчушку, этого гордого мальчика снедала жажда самопожертвования, им хотелось отдать всю свою жизнь другому, страдать, умереть за другого. Они не узнавали друг друга, не узнавали себя, да и впрямь они стали не те: все осветила, все заполонила невыразимая доброта и нежность — сердца, взоры, детские лица. Минуты совершенной чистоты, самоотречения, щедрейшего дара одного сердца другому, минуты, не повторяющиеся дважды.

Начались бессвязные разговоры, страстные клятвы жить вечно друг для друга, поцелуи и отрывистые восклицания восторга, но вдруг они заметили, что уже поздно, и бегом пустились домой, попрежнему держась за руки, спотыкаясь в узких аллеях, налетая на деревья, не чувствуя ничего, ослепшие и пьяные от радости.

Они распрощались, но Кристоф не пошел домой: — он не мог заставить себя лечь в постель. Он вышел из города в поле и побрел куда-то в ночную тьму. Свеж был ночной воздух, пустынно и мрачно поле, где-то ужал озябший филин. Кристоф шагал, как лунатик. Взобрался на холм, прошел через виноградник. Внизу, в долине, в стороне города, мерцали огоньки, а наверху, в темном небе, — звезды. Он уселся на ограду и вдруг залился слезами. Он не знал, почему плачет. Он был слишком счастлив; и в переполнявшей его радости была не только радость, но и грусть, была несказанная благодарность судьбе, подарившей ему такое счастье, и жалость к тем, кто несчастлив, и печальное, примиренное чувство непрочности всего земного, и опьянение жизнью. Он наплакался всласть, он так и заснул в слезах. И проснулся при первых проблесках зари. Бледный туман плыл над рекой, окутывая город, где спала Минна, сраженная усталостью, и сердце ее озаряла улыбка счастья.

На следующий день им удалось утром встретиться в саду, и они снова и снова повторили друг другу, как сильна их любовь; но уже в этой их встрече не было вчерашнего блаженного неведения. Минна словно немножко представлялась влюбленной, да и Кристоф, при всей своей искренности, тоже разыгрывал роль. Они говорили о будущем. Кристоф сетовал на бедность, на свое жалкое положение. Минна решила быть великодушной и умело прикинулась великодушной. Она уверяла, что денежные вопросы ее не интересуют. Да так оно и было в действительности, ибо она не знала, что такое деньги, не знала, что такое не иметь денег. Кристоф обещал ей стать великим музыкантом; она нашла, что это заманчиво и прекрасно, совсем как в романе. И Минна решила, что ее долг отныне вести себя, как полагается настоящей влюбленной. Она читала стихи, стала вдруг сентиментальной. И Кристофа тоже коснулась эта зараза. Он начал заботиться о своем туалете — и стал смешон; начал заботиться о строгости речи — и стал напыщенным. Г-жа Керих не могла глядеть на него без

смеха и все допытывалась, почему это он вдруг так поглупел.

Но все же на их долю выпадали минуты непередаваемой поэтичности. И случалось это обычно в serene денек, словно луч солнца пробивался сквозь мглу тумана. Один взгляд, какое-нибудь движение, какое-нибудь пустое слово — и их затопляла радость; чаще всего это было самое обычное «до свидания», произнесенное вечером на плохо освещенной лестнице, когда взоры искали и находили друг друга в полутьме, когда дрожали в прощальном пожатии руки, когда вдруг срывался голос, и воспоминания об этих, ничего не значащих для постороннего, минутах вдруг пронизывали их ночью среди чуткого сна, прерываемого боем часов, словно журчание ручейка, и наполняли своей песнью сердце, твердившее с замиранием: «Любит!»

Им открылось очарование мира. Весна улыбалась им с поистине чудесной нежностью. Небо становилось сиянием, воздух — лаской, доселе неведомой, да и весь городок с красными крышами, ветхими заборами и щербатой мостовой вдруг одевался таким очарованием, что у Кристофа щемило сердце. Ночью, когда все спали, Минна подымалась с постели и долго стояла у окна, не совсем проснувшись и дрожащая от ночной прохлады. В предвечерние часы, когда Кристоф еще не появлялся, она мечтала, сидя в качалке, уронив книгу на колени, полузакрыв глаза, убаюканная блаженной истомой, растворяясь душой и телом в вешнем воздухе. Теперь она подолгу не отходила от инструмента, повторяя с раздражающим слушателей упорством какой-нибудь аккорд, какой-нибудь пассаж, а сама бледнела и холодела от волнения. Слушая Шумана, она внезапно начинала плакать. Ей казалось, что она всех жалеет и всех любит. И Кристоф стал таким же. Они старались незаметно подать милостыню нищему, встретившемуся на дороге, и обменивались понимающим взглядом: какие они добрые, а потому счастливые.

По правде сказать, этих чувств хватало ненадолго. В один прекрасный день Минна вдруг обнаружила, сколь печальна участь старой Фриды, вся жизнь которой была сплошным самоотречением с того самого дня,

когда она поступила к ним в дом. А ведь тогда мама еще была маленькой; и Минна помчалась на кухню и бросилась на шею удивленной Фриде, которая усердно штопала белье. Но это не помешало ей обрушиться на ту же самую Фриду, когда та два часа спустя не изволила явиться по первому звонку своей молодой госпожи. Да и Кристоф, которого буквально распирало от любви ко всему роду человеческому, который сворачивал с дороги, чтобы не раздавить букашки, был глубоко равнодушен к своим домашним. По странной игре чувств, чем больше он любил людей — вообще людей, — тем суше и холоднее становился по отношению к родным, почти не думал о них, говорил с ними грубо и отрывисто и тяготился ими. Доброта Минны и Кристофа была не чем иным, как избытком нежности, изливавшейся порывами и на первого встречного. А когда порывы проходили, оба становились куда эгоистичнее, чем раньше, ибо теперь они были одержимы одной-единственной мыслью и все вращалось вокруг этой мысли.

Какое непомерно огромное место заняла в жизни Кристофа эта девчушка! Какое волнение охватывало его, когда, обжевав весь сад в поисках Минны, он вдруг издали замечал ее белое платье; или в театре, когда, сидя за несколько стульев от их еще не занятых мест, он вдруг слышал, как открывались двери в ложе бенуара и раздавался веселый, такой знакомый голосок; или когда кто-нибудь случайно произносил столь дорогое ему имя Керих! Он бледнел, краснел, терял на несколько минут слух и зрение. Какой могучий ток крови проходил тогда по всему его телу, какой блаженный прилив сил!

Эта немочка, наивная и чувственная, любила странные игры. Ей нравилось, например, класть свое кольцо в горку насыпанной на стол муки; по условию требовалось достать кольцо зубами (что они с Кристофом и пытались делать поочередно), не запачкав кончика носа. Или она натягивала поперек бисквита ниточку, кончики которой каждый из них брал в зубы — в этом случае надо было как можно быстрее сжевать свою ниточку, чтобы первым откусить кусочек бисквита. Их лица приближались, дыхание смешивалось, губы соприкасались,

и, чувствуя, как леденеют их пальцы, оба слегка принужденно смеялись. В такие минуты Кристофу хотелось укусить, причинить боль, и он резко откидывался назад, не слушая наигранного смешка Минны. Они отворачивались, более или менее искусно разыгрывая полное равнодушие, но украдкой следили друг за другом краешком глаза.

Эти странные игры притягивали и волновали: им и хотелось играть, и страшно было начинать игру. Особенно боялся этих минут Кристоф и предпочитал даже стеснительное присутствие г-жи Керих или случайно заглянувших гостей. Ничье докучливое соседство не могло прервать немую беседу двух влюбленных сердец, любая помеха придавала ей особенную напряженность и нежность. Все тогда приобретало в их глазах огромную ценность: случайное слово, смешливая складка губ; одного взгляда было достаточно, чтобы под тусклым покровом будней обнаружили вдруг богатейшие, нетронутые сокровища внутренней жизни. И сокровища эти видели только они двое; так по крайней мере думалось им, и они улыбались, счастливые сознанием, что у них есть свои маленькие тайны. Со стороны их разговор показался бы пустой болтовней. А для них он был немолчной песней любви. Как открытая книга, были им понятны оттенки голоса, движение бровей. Они могли бы читать эту сладостную книгу, даже не подымая сомкнутых век, — достаточно было прислушаться к своему собственному сердцу, чтобы услышать в нем биение сердца любимого. Их переполняла вера в жизнь, в счастье, в себя самих. Надежды их были безграничны. Они любили, были любимы и были счастливы безоблачным неомраченным счастьем, не знающим страха за будущее. Неповторимая безмятежность этих внешних дней! Ни тучки на небе. И вера — такая свежая и молодая, что, казалось, ничто и никогда ее не состарит! И радость — такая огромная, что никогда она не иссякнет! Как назвать это? Жизнью? Мечтой? Мечтой, конечно. Между жизнью и их мечтами нет ничего общего. Ничего. Разве только то, что в эти магические мгновения они сами становились мечтой: все их существо растворялось в дыхании любви.

Г-жа Керих недолго оставалась в неведении на их счет и довольно быстро заметила все уловки, по их мнению такие тонкие, но такие наивные для материнского глаза. Впрочем, Минна отчасти подозревала это, с того самого вечера, когда ее мать неожиданно вошла в комнату, а они нежно беседовали и, услышав скрип двери, отпрянули друг от друга, смущенные и неловкие. Г-жа Керих притворилась, что ничего не заметила. Минне даже стало немного обидно. Ей хотелось бы с боем отстаивать свою любовь от материнских посягательств: так было бы еще романтичнее.

Но мать предпочитала не давать повода для столкновений. Она была слишком умна, чтобы беспокоиться за Минну или журить ее. Зато в присутствии Минны она говорила о Кристофе с нескрываемой иронией и безжалостно высмеивала все его слабые стороны: двух ее слов хватало, чтобы сразить беднягу наповал. Тут не было никакого особого умысла — она действовала, просто повинаясь инстинкту, с врожденным вероломством женщины — и женщины не злой, а лишь защищающей свое достоинство. Напрасно Минна артачилась, напрасно дулась, дерзила матери и упорно отрицала справедливость ее замечаний: они, увы, были более чем обоснованы, да к тому же г-жа Керих умела искусно разить противника как раз в самое уязвимое место. Ничто не ускользало от ее взгляда — и огромные ботинки Кристофа, и жалкие его костюмы, и плохо вычищенная шляпа, и провинциальное произношение, и смешная манера кланяться, и непростительно громкий голос; каждое из этих замечаний было ударом по самолюбию Минны, причем и замечания-то свои г-жа Керих обычно бросала вскользь, на ходу; ни разу не приняли они формы прямого осуждения, и когда рассвирепевшая Минна грудью вставала на защиту Кристофа, мать с самым невинным видом меняла тему разговора, как бы забыв, о чем шла речь. Но капля яда, зароненная в душу Минны, оказывала уже свое действие.

Минна стала глядеть на Кристофа менее снисходительным оком. Он смутно чувствовал это и беспокойно допытывался у Минны:

— Почему вы так на меня смотрите?

И она отвечала:

— Ни почему.

А когда, поверив ее словам, Кристоф начинал шумно радоваться, она упрекала его за дикий смех. Мальчик решительно становился в тупик: никогда он не думал, что при Минне нужно следить даже за тем, как смеешься; вся его радость сразу меркла. Или когда, забыв все на свете, он с увлечением разглагольствовал перед Минной, та вдруг с рассеянным и небрежным видом прерывала беседу и указывала на какую-нибудь погрешность в его туалете или наставительно перечисляла все тривиальные выражения, какие позволял себе употреблять Кристоф. Всякое желание разговаривать пропадало, а иногда Кристоф даже начинал злиться. Но тут же принимался доказывать себе, что все эти столь раздражавшие его выходы — не что иное, как знак заинтересованности Минны в его персоне, да и она тоже старалась убедить себя в этом. В своем смирении Кристоф доходил до того, что пытался даже извлечь пользу из ее наставлений. Но Минне это отнюдь не льстило: слишком ясно было, что Кристофу ничто не идет впрок.

Однако и Кристоф, да и сама Минна просто не успели заметить происшедшей в ней перемены. Наступила пасха, и Минне вместе с матерью предстояло ненадолго поехать к родным, куда-то поблизости от Веймара.

В последнюю перед разлукой неделю к детям вновь вернулась утраченная было сердечная близость первых дней. Не считая двух-трех вспышек, Минна относилась к Кристофу нежно, как никогда. Накануне отъезда они долго гуляли в саду; Минна с таинственным видом потащила Кристофа за собой в беседку и одела ему на шею маленький надушенный мешочек, куда зашила свой локон; снова начались клятвы в вечной любви, обещания писать друг другу ежедневно, и даже была выбрана на небесном своде звезда, дабы каждый вечер обоим глядеть на нее в назначенное время.

Роковой день настал. Десятки раз Кристоф просыпался ночью и с тоской думал: «Где-то она будет завтра?» Утром сказал себе: «Сегодня!.. Сейчас она еще здесь, а вечером ее уже не будет!» — и побежал к Керихам, хотя не было и восьми часов. Минна еще не

вставала. Напрасно Кристоф заставлял себя чинно прогуливаться по аллеям — он не выдержал и снова бросился в дом. В коридоре лежали чемоданы и какие-то тюки. Кристоф уселся в уголке гостиной, жадно ловя каждый звук, вслушиваясь в скрип половиц, стараясь распознать шаги на лестнице, ведущей во второй этаж. Мимо него прошла г-жа Керих; она чуть заметно улыбнулась при виде мальчика и на ходу кинула ему насмешливо: «С добрым утром». Наконец, появилась Минна, бледная, с опухшими глазами: она, как и Кристоф, тоже не спала всю ночь. С озабоченным видом она отдавала распоряжения прислуге и протянула руку Кристофу, не прерывая разговора по хозяйству со старухой Фридой. К отъезду она уже приготовилась. Снова показалась г-жа Керих. Мать и дочь заспорили о какой-то шляпной картонке. Минна словно не замечала Кристофа, а он, забытый всеми и несчастный, сидел в уголке у рояля. Минна вышла из гостиной вслед за матерью и тут же возвратилась, крикнув что-то с порога г-же Керих. Затем она прикрыла дверь. Дети остались одни. Вдруг Минна бросилась к Кристофу, схватила его за руку и увлекла за собой в маленькую соседнюю комнату, где уже закрыли ставни. Тут она внезапно приложила свое лицо к лицу Кристофа и крепко обняла его. Сквозь слезы она спрашивала:

— Ты обещаешь, обещаешь любить меня вечно?

Оба потихоньку рыдали, делая судорожные усилия заглушить всхлипывания. В соседней комнате раздались шаги, и Минна выпорхнула прочь. Утерев глаза, она снова важно заговорила с прислугой; и хотя губы ее улыбались, но голос дрожал.

Кристофу удалось незаметно спрятать в карман носовой платочек, который она обронила, — маленький, грязный, смятый платочек, весь мокрый от слез.

Вместе со своими друзьями, в их карете, Кристоф отправился на вокзал. Несчастные дети, сидя против друг друга, не смели поднять глаза из боязни разреваться. Их руки украдкой встречались, они обменивались крепкими до боли пожатиями. Г-жа Керих смотрела на них с лукавым, добродушно-ироническим видом и притворялась, что ничего не замечает.

Наконец, пробил час отъезда. Поезд тронулся, и Кристоф, стоявший у окна, побежал рядом с вагоном, не глядя перед собой, толкая носильщиков, не отрывая глаз от глаз Минны. Он бежал, пока поезд не миновал платформу, бежал, пока последний вагон не скрылся из виду. Только тут он, задыхаясь, остановился и, оглянувшись, увидел, что стоит на самом краю дебаркадера среди равнодушной толпы провожающих. Он побрел домой; к счастью, никого из родных дома не оказалось, и он проплакал все утро.

Так, в первый раз Кристоф познал страшное горе разлуки, боль, не переносимую для любящих сердец. Пуст мир, пуста жизнь, пустота кругом. Сердце так сжимается, что нельзя дышать, — тобой овладевает смертельная тоска. Особенно когда на каждом шагу, в любой мелочи ощущаешь еще такое недавнее присутствие любимой, когда все окружающее вновь и вновь вызывает ее милый образ, когда ты остался среди привычной обстановки, где вы были вместе, когда сам с каким-то ожесточением стараешься пережить вновь в дорогих тебе местах исчезнувшее счастье. Тогда словно бездна разверзается под ногами; склоняешься над ней, не в силах сдержать головокружение, знаешь, что сейчас упадешь, и действительно падаешь. Кажется, что видишь лицом к лицу смерть. Да и впрямь видишь смерть, ибо разлука — лишь одно из ее обликов. Видишь воочию, как исчезает то, дороже чего не знало сердце; уходит сама жизнь — вместо нее черная яма, небытие.

Чтобы острее почувствовать боль, Кристоф обошел все их любимые уголки. Г-жа Керих оставила ему ключ, и он мог в любое время бродить по саду. Он пошел туда в первый же день и едва не задохся от муки. Он надеялся обрести хотя бы частицу той, что уехала, но обрел больше, чем мог вместить: образ любимой витал над каждой лужайкой; с замиранием сердца он ждал, что вот-вот появится она из-за поворота аллеи, хотя знал, слишком хорошо знал, что она не появится; и эзмучил себя, стараясь найти ее там, где все еще дышало

их любовью. Вот она — их дорожка к лабиринту, вот склон, усаженный гиацинтами, вот скамейка в беседке; и с каким-то жестоким упорством он повторял: «Неделю назад... три дня назад... вчера, вчера еще она была здесь... даже сегодня утром еще была...» Он так натрудил бедное свое сердце этими мыслями, что вынужден был присесть: он задышался, он умирал. К скорби примешивался гнев на самого себя, на прекрасные, втуне потерянные дни, которыми он не сумел воспользоваться. Сколько минут, сколько часов наслаждался он беспредельным счастьем, видел ее, вдыхал, впитывал в себя все ее существо! И не оценил такого богатства! Позволяя зря убежать времени, не упившись каждой минутой, каждым мигом! А сейчас? А сейчас слишком поздно! Непоправимо поздно! Непоправимо!

Кристоф пошел домой. Родные вызывали в нем неприязненное чувство. Он не мог больше видеть их лица, их жесты, слушать их несносные разговоры — все те же глупые разговоры, которые велись вчера, велись позавчера, велись тогда, когда она еще была здесь. Они продолжали жить обычной своей жизнью, словно и не совершилось рядом с ними ни с чем не сравнимого несчастья. И город тоже не подозревал о муках Кристофа. Люди шли куда-то по своим делам, — шли смеющиеся, шумные, озабоченные; все так же пели сверчки, все так же безоблачно было небо. Кристоф ненавидел их; ему казалось, что он не выдержит этого всепоглощающего эгоизма. Но сам Кристоф был большим эгоистом, чем все эгоисты вместе взятые. Он теперь ничем не дорожил. Куда исчезла бывшая доброта! Бывшая любовь к людям!

Наступила чередa унылых дней. Как автомат, выполнял он свои обязанности, но для настоящей жизни ему не хватало мужества.

Как-то вечером, когда Кристоф сидел дома, в кругу семьи, молчаливый и подавленный, у дверей постучался почтальон и вручил ему письмо. Сердце узнало его раньше, чем он успел взглянуть на почерк. Четыре пары глаз устремились на Кристофа с нескромным любопытством, в надежде, что он сейчас прочтет письмо вслух, развлечет их, рассеет их цепенящую привычную скуку. Кристоф молча положил письмо у прибора; он заставил

себя не прикоснуться к конверту, сидел с равнодушным видом, словно давно знал, что там написано. Но братья надулись и, не поверив игре Кристофа, зорко следили за ним, так что до конца обеда он терпел самую настоящую пытку. Только когда встали из-за стола, он смог уйти к себе и заперся на ключ. Сердце билось, как бешеное, и, вскрывая конверт, он чуть было не порвал вложенный в него листок. Он дрожал с головы до пят, не зная, что готовит ему судьба, но, прочитав первые строчки, весь отдался во власть своей радости.

Письмо было недлинное, но очень нежное. Минна опустила его потихоньку от матери. Она писала: «Дорогой мой Кристоф» и сообщала, что много плакала, что каждый вечер глядит на звезду, что она была во Франкфурте, что Франкфурт — грандиозный город и магазины там замечательные, но она ничего не заметила, так как думает только о нем, о Кристофе. Она напоминала Кристофу, что он обещал хранить ей верность и ни с кем не видаться в ее отсутствие, дабы все время думать только о ней одной. Ей очень хотелось бы, чтобы до ее возвращения Кристоф работал как можно больше и скорее стал знаменитым, и она тоже много занимается. В заключение Минна спрашивала, не забыл ли он маленькой гостиней, где они попрощались в день отъезда, и просила как-нибудь утром зайти туда, ибо, уверяла Минна, она будет там мысленно и снова прощается с ним, как попрощалась тогда. Подписалась она: «Навеки твоя! Навеки...» А в постскрипуме советовала Кристофу купить соломенное канотье вместо противной фетровой шляпы — все порядочные люди носят здесь канотье; лучше всего купить канотье из крупной соломки с широкой синей лентой.

Кристоф четыре раза перечел письмо, прежде чем понял его содержание. Он был ошеломлен, у него не хватало сил даже радоваться; он вдруг почувствовал такую усталость, что лег в постель и стал перечитывать письмо, каждую минуту прижимая листок к губам. Кристоф засунул конверт под подушку и все время тревожно ощущивал, на месте ли его сокровище. Неизъяснимое блаженство снизошло на него. Он заснул и сладко проспал до утра.

Снова можно было жить. Вокруг него витали мысли его верной Минны. Кристоф засел за ответное письмо; но он не вправе был писать обо всем открыто, он обязан был таить свои чувства, а это давалось ему мучительно, с огромным трудом. Он пытался — и весьма неуклюже — скрыть свою любовь под общепринятыми церемонно-вежливыми фразами, которые и всегда-то звучали нелепо в его устах.

Отправив письмо, он стал ждать ответа и жил теперь только этим ожиданием. Надо было набраться терпения, и он пытался гулять, читать, но думал лишь о Минне, настойчиво, с трепетом повторял ее имя, как маньяк, как идолопоклонник; он боготворил это имя и повсюду таскал с собой в кармане томик Лессинга только потому, что там упоминалось имя «Минна»; каждый день, выходя из театра, он делал большой крюк, лишь бы пройти мимо галантерейного магазина, где на вывеске были начертаны эти пять обожаемых букв. Он упрекал себя за рассеянный образ жизни, а ведь Минна хотела, чтобы он работал, чтобы он поскорее стал знаменитым. Наивное тщеславие, сквозившее в этой просьбе, трогало его как знак доверия. И он решил в ответ создать произведение, в котором Минна присутствовала бы не только в посвящении, но и в каждой ноте. Да он и не мог бы сейчас заниматься ничем иным. Едва только он набросал несколько первых тактов, как музыка нахлынула на него. словно масса воды, месяцами скапливавшаяся в водоеме, вдруг разом выступила из берегов, сметая плотину. Целую неделю он не выходил из комнаты. Луиза молча ставила обед перед дверью, потому что он не впускал ее к себе.

Кристоф написал квинтет для кларнета и струнных инструментов. Первая часть была поэмой надежд и юношеских желаний, в последней части — любовной шутке — вдруг брызнул немного варварский юмор, свойственный Кристофу. Но весь квинтет написан был ради средней части *ларгетто*, где Кристоф изобразил юную, пламенную и наивную душу, вернее говоря портрет Минны. Никто бы ее не узнал, и сама Минна меньше прочих; но Кристоф узнавал ее сразу и испытывал сладостный трепет, воображая, что завладел существом

любимой. Ни одна работа не давалась ему так счастливо легко; в ней нашло себе выход чувство любви, теснившее грудь в разлуке, и в то же время видна была забота о самом искусстве, которое требует от художника умения совладать со своей страстью и вложить ее в ясную и совершенную форму; все это вместе создавало прекрасное ощущение духовного здоровья, гармонию всех природных данных и доставляло Кристофу даже какое-то чисто физическое наслаждение. Высшее наслаждение, знакомое каждому художнику в минуты творчества: пока он творит, он перестает быть рабом желаний и тоски, — он сам их господин; и все, что приносило ему радость, и все, что причиняло ему горе, — отныне для него лишь проявления его свободной воли. Как кратки эти мгновения и какими тяжелыми кажутся после них оковы действительности.

Пока Кристоф был занят своим квинтетом, у него почти не оставалось времени, чтобы думать о разлуке с Минной, — он жил подле нее. Минна уже перестала быть Минной, а стала частью его самого. Но когда квинтет был окончен, Кристоф снова почувствовал себя одиноким — еще более, чем раньше, еще более усталым, исчерпанным до дна; он вспомнил, что две недели не писал Минне и что она не ответила ему.

Кристоф послал ей второе письмо, и на сей раз не мог принудить себя остаться в рамках, которыми сам себя ограничил в первом послании. Он упрекал Минну — правда, шутивно, потому что сам тому не верил, — что она его совсем забыла. Поддразнивал ее за леность и ласково выговаривал ей. О своей работе он написал весьма таинственно, желая возбудить ее любопытство и сделать ей к приезду сюрприз. В мельчайших подробностях описал он свою новую шляпу и сообщил, что, повинаясь приказу маленького деспота, — ибо он писал это письмо с величайшей осторожностью, — не выходит из дома и даже сказался больным, лишь бы не принимать ничьих приглашений. Он умолчал, однако, о том, что отношения его с герцогом испортились, так как он перусердствовал и разрешил себе не явиться в замок на музыкальный вечер, хотя и был туда зван. Все письмо было написано в тоне милой непринужденности и полно

невинных тайн, столь любезных сердцу всех влюбленных: Кристоф воображал, что одна лишь Минна поймет его, и гордился своей ловкостью, ибо повсюду сумел заменить слово «любовь» словом «дружба».

Отослав письмо, Кристоф почувствовал огромное облегчение, потому что переписка давала иллюзию живого разговора с отсутствующей и особенно потому, что не сомневался в немедленном ответе Минны. Поэтому он был на редкость терпелив в течение тех трех дней, которые он отпустил почтовому ведомству на то, чтобы доставить его письмо Минне и ответ Минны ему. Но к концу четвертого дня снова стало невозможно жить. Пропала вся энергия, ничто его не занимало, и он оживал только за час до предполагаемого появления почтальона. Тут его начинала бить дрожь нетерпения. Он становился суеверным и в любых мелочах — в потрескивании дров в камине, в случайно услышанном слове — искал знака, предвещающего непременно получение письма. Но срок проходил, и он снова впадал в угнетенное состояние. Работа, прогулки — все было заброшено; единственной целью жизни стало ожидание почтальона, и все силы Кристофа расходовались на то, чтобы выдержать это ожидание. Но когда наступал вечер и прошедший день не оправдывал надежд, Кристофа охватывало уныние; ему казалось, что он ни за что не доживет до завтра, и он часами сидел за столом, ни с кем не разговаривая, ни о чем не думая, не имея даже силы подняться и пойти спать; только усилием воли он заставлял себя выйти из столовой и брел к себе в спальню, а улегшись в постель, забывался в тяжелой полудремоте, приносившей такие нелепые сновидения, что, казалось, ночь никогда не кончится.

Это постоянное ожидание стало под конец физической пыткой, настоящей болезнью. Кристоф начал подозревать отца, братьев, даже почтальона, что они получили письмо и спрятали. Тревога изводила Кристофа. В верности Минны он не сомневался ни на минуту. Раз она ему не пишет, значит, она заболела, умирает, может быть уже умерла. Он судорожно схватил перо и написал третье послание — всего несколько несвязных строк; и на этот раз не думал ни об орфографии, ни

о необходимости скрывать свои чувства. Надо было спешить, чтобы не опоздать к моменту выемки писем из почтового ящика, и письмо получилось с помарками, листок он помял, вкладывая в конверт, а конверт испачкал запечатывая, — ну, да бог с ним! Он не дотянул бы до следующего дня. Он побежал на почту и только там опустил письмо и снова стал ждать, замирая от гнетущей тоски. На вторую ночь ему так ясно привиделась Минна: она была больна, призывала его; он вскочил с постели и хотел сейчас же бежать к ней, быть с ней. Но куда? Где найти ее?

На четвертое утро наконец-то пришел ответ от Минны — всего на полстраничке, холодный и чопорный. Минна писала, что не понимает, откуда у Кристофа такие нелепые предчувствия, что здоровье ее в полном порядке, что ей просто нет времени писать и что она просит впредь не впадать в такой неумеренный тон и вообще прекратить переписку.

Кристоф был подавлен. Ни на минуту не разуверился он в искренности чувств Минны. Он обвинял только себя, решил, что Минну рассердили его неосторожные и глупые письма. Он обзывал себя дурнем, со злости бил себя кулаками по голове. Но все напрасно: ему пришлось понять, что Минна не любит его так, как он любит Минну.

Потянулись несказанно мрачные дни. Разве опишешь небытие? Лишившись последнего, что привязывало его к жизни — переписки с Минной, Кристоф жил теперь машинально и чувствовал, что оживает только вечером, перед сном, когда с замиранием сердца он, словно школьник, вычеркивал в своем календаре еще один нескончаемо долгий день, отделявший его от свидания с Минной.

Назначенный день приезда уже давно прошел. Дамы Керих должны были вернуться еще неделю назад. Уныние Кристофа сменилось лихорадочным возбуждением. Уезжая, Минна обещала известить его о дне и часе прибытия. Он ждал этой весточки с минуты на минуту,

чтобы тут же побежать к ним; и терялся в догадках, стараясь объяснить себе их долгое отсутствие.

Однажды к вечеру, после обеда, их сосед по дому, старый дедушкин друг, обойщик Фишер, заглянул по обыкновению к Крафтам выкурить трубочку и поболтать с Мельхиором. Кристоф, который не находил себе места, случайно сошел в столовую, напрасно прождав целый день почтальона. Вдруг он вздрогнул — Фишер говорил, что завтра рано утром ему велено прийти к Керихам: надо повесить гардины. Кристоф вскочил с места.

— Значит, они вернулись?

— Ах ты, притворщик! — насмешливо сказал старик Фишер. — Будто сам не знаешь. Давно уже приехали. Еще позавчера.

Дальнейшего Кристоф не слышал. Он выбежал из комнаты и начал быстро переодеваться. Луиза, несколько дней украдкой следившая за сыном, поймала его в коридоре и робко спросила, куда он идет. Кристоф не ответил. Он слишком страдал.

Он побежал к Керихам. Было девять часов вечера. Мать и дочь сидели в гостиной и, казалось, нисколько не удивились появлению Кристофа. Они спокойно поздоровались с ним. Минна, не отрываясь от письма, которое она усердно писала, протянула ему через стол руку и рассеянно спросила, что нового. Впрочем, она тут же извинилась за свою невежливость и сделала вид, что слушает рассказ Кристофа; однако немедленно прервала его, спросив что-то у матери. Кристоф приготовил десятки трогательных фраз, долженствовавших объяснить Минне, как страдал он в разлуке, но теперь с трудом пробормотал несколько слов; разговор не поддерживали, да и у него самого не хватило мужества продолжать — уж очень все получалось фальшиво.

Кончив письмо, Минна взяла работу, уселась неподалеку от Кристофа и начала рассказывать об их путешествии. Она говорила, как весело и приятно провела время, говорила о прогулках верхом, о жизни в замке, об интересных знакомствах; мало-помалу она воодушевлялась и, забыв о собеседнике, вскользь бросала какую-нибудь непонятную для Кристофа фразу о событиях и

людях, которых он не знал; и мать и дочь весело смеялись своим воспоминаниям. Слушая ее рассказ, Кристоф чувствовал себя совсем чужим и, не зная, как лучше держаться, тоже смеялся, но смеялся смущенно. Он, не отрываясь, смотрел на личико Минны, как милостыню вымаливая ее взгляда. Но когда Минна изредка подымала на него глаза, — ибо она обращалась чаще к матери, чем к Кристофу, — он ловил на себе лишь любезный и равнодушный взор. Старалась ли она усыпить подозрения матери, или он просто ничего не понимал? Ему хотелось поговорить с Минной наедине, но г-жа Керих ни на минуту не выходила из комнаты. Кристоф попытался перевести разговор на близкие ему темы, заговорил о своей работе, о своих планах; он смутно понимал, что Минна ускользает от него, и, повинувшись инстинкту, пытался пробудить в ней интерес к своей особе. И действительно, ему показалось, что Минна стала слушать его внимательнее; хотя она и прерывала его рассказ различными, не всегда идущими к месту, восклицаниями, в голосе ее звучал интерес. Но как раз в ту минуту, когда к нему вернулись надежды, когда он опьянел от счастья, увидев ее улыбку, Минна вдруг прикрыла ротик рукой и зевнула. Кристоф замолчал. Минна заметила это и mildly извинилась, сославшись на усталость. Кристоф поднялся с места, надеясь, что его попросят остаться. Но никто не попросил. Он стал медленно раскланиваться, рассчитывая получить приглашение на завтра, но приглашения не последовало. Надо было идти домой. Минна против обыкновения не проводила его до передней. Только равнодушно протянула ему руку, и рука ее холодно ответила на его пожатие; пришлось распрощаться с дамами в гостиной.

С тоскою в сердце вернулся он домой. От той Минны, какую он знал еще два месяца назад, от его ненаглядной Минны не осталось ничего. Что же произошло? Что с нею? Несчастный подросток не испытал еще ничего, он ничего не знал о непрерывных перемен, происходящих в живой душе, о ее способности начинать новое существование и даже перестать существовать вовсе, не знал о том, что душа — это часто целый сонм различных душ, сменяющих друг друга, пре-

образующихся и постоянно угасающих, — для такого несчастного подростка голая правда была слишком жестока, чтобы он мог решиться поверить в нее. Он с ужасом отвергал эту правду и старался убедить себя, что чего-то не понял, что Минна все та же. Он решил завтра же пораньше отправиться к Керихам и любой ценой поговорить с Минной наедине.

Кристоф не спал всю ночь. Он слышал удар за ударом на башенных часах. На заре он уже бродил вокруг дома Керихов и при первой возможности явился туда. Но увидел он не Минну, а г-жу Керих, — как обычно, уже на ногах и уже за работой, она стояла и поливала из графина цветы на веранде. Заметив Кристофа, она насмешливо улыбнулась.

— А, это вы! — произнесла она. — Вы пришли очень кстати: я как раз хотела поговорить с вами. Подождите-ка минутку.

Она скрылась в комнаты, поставила на место графин, вытерла мокрые руки, а затем вышла на веранду и снова чуть улыбнулась, заметив смущенную физиономию Кристофа, который предчувствовал надвигающуюся грозу.

— Пойдемте в сад, — сказала она. — Там нам никто не помешает.

Они вышли в сад, где все еще напоминало Кристофу о его любви, и он молча зашагал вслед за г-жой Керих. А она не торопилась начинать разговор, забавляясь смятием мальчика.

— Давайте присядем здесь, — сжалилась она наконец.

Они уселись на ту самую скамейку, где накануне отъезда Минна протянула ему свои губки.

— Я надеюсь, что вы понимаете, о чем пойдет речь, — начала г-жа Керих, рассчитывая, что ее торжественный тон еще усилит смущение Кристофа. — Я этого от вас, Кристоф, никак не ожидала. Я считала вас серьезным мальчиком. Всегда и во всем вам доверяла. И никогда я не думала, что вы злоупотребите моим доверием и попытаетесь вскружить голову моей дочке. Я полагалась на ваше благоразумие. Вы должны были

ее уважать, уважать меня, уважать, наконец, самого себя.

В голосе г-жи Керих слышались иронические нотки: она не придавала ни малейшего значения этой полудетской любви, однако Кристоф не почувствовал иронии и воспринял упреки трагически, как воспринимал все на свете, всем своим сердцем.

— Но, сударыня, — пробормотал он, и слезы выступили у него на глазах. — Я никогда не злоупотреблял вашим доверием... Прошу вас, не думайте, что я... Клянусь, я честный человек. Я люблю фрейлейн Минну, я люблю ее всей душой и хочу на ней жениться.

Госпожа Керих улыбнулась.

— Нет, мой бедный мальчик, — произнесла она благожелательно, но с оттенком неприметного презрения, и Кристоф впервые услышал эту презрительную нотку, — нет, это невозможно, все это просто ребячество.

— Но почему же? Почему? — допытывался он.

Кристоф схватил г-жу Керих за обе руки, не веря, что она говорит серьезно, — так ласково звучал ее голос. Г-жа Керих, все так же приветливо улыбаясь, ответила:

— Потому.

Кристоф настаивал. Тогда насмешливо, не щадя его самолюбия, — г-жа Керих отнюдь не собиралась принимать всерьез этот детский роман, — она заявила, что Кристоф беден, что у Минны совсем иные вкусы и привычки. Кристоф страстно доказывал, что это ничего не значит, что он будет богат, знаменит, он добьется славы, почета, денег, — всего, чего только хочет Минна. Г-жа Керих позволила себе усомниться в словах Кристофа, ее забавляла эта молодая самоуверенность, и, не возражая прямо, она отрицательно покачала головой. Но Кристоф упорствовал.

— Нет, Кристоф, — произнесла она решительным тоном. — Нет, не стоит нам с вами даже спорить. Это невозможно. Тут вопрос не только в деньгах. Есть еще очень многое!.. Ваше положение...

Госпоже Керих не пришлось кончить начатой фразы. Слова ее, как иголка, пронзили Кристофа до мозга костей. У него вдруг открылись глаза. В дружелюбной

улыбке он прочел иронию, в благожелательном взгляде — холодное презрение и понял, сколь многое отделяет его от этой женщины, которую он любил, как сын, и которая, казалось, сама относилась к нему по-матерински; он понял вдруг, что она любила его, но любовью покровительственной и даже слегка пренебрежительной. Он вскочил со скамьи, бледный как полотно. А г-жа Керих продолжала что-то говорить своим ласковым голосом, но все было кончено — для него уже не существовало музыки ее речей, в каждом слове он обнаруживал теперь лишь черствость этой изящной души. Слова не шли у него с языка. Он повернулся и отправился домой. Все кружилось вокруг него.

Дома он бросился на кровать, и, как в раннем детстве, его охватили судороги гнева и уязвленной гордости. Он кусал угол подушки, он засунул в рот носовой платок, чтобы заглушить рвавшиеся из груди крики. Он ненавидел теперь г-жу Керих. Он ненавидел Минну. Он страстно презирал их обеих. Кристофу казалось, что ему надавали пощечин; он трясся от стыда и ярости. Необходимо было отвечать, действовать немедленно. Если он не отомстит, он умрет.

Он вскочил с постели и написал гневное до глупости письмо:

«Сударыня!

Не знаю, чем, как Вы говорите, я обманул Вас. Но я знаю, что я сам жестоко в Вас обманулся. Я верил, что вы мои друзья. Вы сами об этом говорили, вы притворялись друзьями, а я любил вас больше жизни. Теперь я вижу, что все это одна ложь, и ваша любовь ко мне — сплошной обман: я был вам нужен, я вас забавлял, развлекал вас, я играл вам на рояле, я был для вас слугой. Но я не был и не буду вашим слугой, не буду ничьим слугой.

Вы мне слишком жестоко дали понять, что я не имею права любить Вашу дочь. Ничто на свете не мешает моему сердцу любить того, кого оно любит, и, если я не принадлежу к Вашему кругу, я не менее благороден, чем Вы. Человека делает благородным сердце: хоть я и не граф по рождению, во мне, быть может, больше

благородства, чем во всех графах вместе взятых. Кто бы меня ни оскорблял — лакей или граф — я презираю его. Я презираю как прах своих ног все, что почитает себя благородным, но не обладает подлинным благородством души.

Прощайте. Я не тот, за кого Вы меня принимали. Вы меня обманули. Я презираю Вас.

Тот, кто любит вопреки Вам и кто будет любить до последнего издыхания фрейлейн Минну, потому что она принадлежит ему и никто не может отнять ее у него».

Но едва письмо было опущено в ящик, как Кристоф похолодел от страха. Что он наделал? Он старался не думать о своем письме, но отдельные фразы приходили ему на память; он обливался холодным потом при мысли, что г-жа Керих прочла весь этот бред. В первые часы его еще поддерживало отчаяние, но уже на следующий день он понял, что из-за своего письма он навсегда будет разлучен с Минной, а это было самым страшным несчастьем. Он еще надеялся, что г-жа Керих, зная его несдержанный нрав, и на сей раз не примет всерьез его нелепой выходки, что все ограничится суровым выговором и — кто знает? — она, быть может, будет тронута такой искренней страстью. Одно ее слово, и он бросится к ее ногам. Он ждал этого слова пять дней. На шестой пришло письмо. Оно гласило:

«Дорогой господин Кристоф!

Поскольку, по Вашему мнению, между нами (по чьей вине — неважно) произошло недоразумение, благоразумнее всего было бы покончить с ним немедленно. Могу ли я навязывать Вам отношения, ставшие для Вас столь тягостными? Конечно, нет. Следовательно, Вы сочтете вполне естественным прекращение этих отношений. Надеюсь, в скором времени Вы приобретете новых друзей, которые сумеют оценить Вас, как Вам того желательно. Верю, что Вас ждет славное будущее, и всегда буду с симпатией следить издали за успехами Вашей музыкальной карьеры.

Остаюсь Ваша *Иозефина фон Керих*».

Самые горькие упреки звучали бы не так жестоко. Кристоф понял, что все пропало. Можно ответить на несправедливое обвинение. Но как сокрушить стену этого вежливого равнодушия? Он сходил с ума. Он думал о том, что не увидит больше Минны, не увидит ее никогда, и не мог перенести этой мысли. Понял, как ничтожно мала вся гордыня мира в сравнении с одной каплей любви. Он забыл все свое достоинство, он мало-душно слал письмо за письмом, вымаливая прощение. И письма эти были не умнее того, которое он послал г-же Керих под горячую руку. Ответа не последовало. Этим было сказано все.

Кристоф чуть не умер. Он хотел убить себя. Убить кого-нибудь. По крайней мере воображал, что хочет. Он мечтал о поджогах, преступлениях. Взрослые не знают, как сильны приступы любви и ненависти, испепеляющие подчас сердце ребенка; пожалуй, это был один из самых страшных кризисов его детства. И кризисом этим кончилось его детство. Закалилась воля. Но пережитые испытания чуть было не сломили ее навсегда.

Он не мог больше жить. Опершись на подоконник, он часами смотрел на вымощенный плитами двор и думал, как и в детстве, что есть средство освободиться от пытки жизни, когда пытка эта становится слишком уж непереносимой. И средство это здесь, внизу, у него перед глазами, верное и быстрое... Быстрое ли? Кто знает... А если часы — целые века — жестоких страданий?.. Но так сильно было его детское отчаяние, что он охотно отдавался вихрю этих мыслей.

Луиза видела, что Кристоф страдает. Она не могла знать точно, что происходит в сердце сына, но материнским чутьем смутно угадывала опасность. Она пыталась приласкаться к сыну, узнать, в чем его горе, утешить. Но бедняжка давно отвыкла говорить по душам с Кристофом; уже много лет как он замкнулся, скрывал от нее свои мысли; а она, поглощенная повседневными житейскими заботами, не имела времени вдуматься в его радости и горести. Теперь же, когда ей так хотелось помочь Кристофу, она не умела к нему приступить; она

как неприкаянная бродила вокруг него — так хотелось ей найти нужные слова, от которых Кристофу станет легче; но она не осмеливалась начать разговор из боязни рассердить сына, а он, несмотря на все ее маневры, раздражался по любому поводу: его сердили жесты матери, само ее присутствие, ибо Луиза была не очень-то ловка, а он не очень-то снисходителен. Однако он любил мать, они любили друг друга. Но какой малости подчас достаточно, чтобы разлучить два любящих и дорогих друг другу существа! Слишком громкое слово, резкий жест, самая безобидная привычка, какое-нибудь подергивание века или бровей, манера есть, ходить и смеяться, просто присутствие другого человека, вызывающее почти физическую скованность! Сколько ни убеждаешь себя, что все это пустяки, в действительности это целый мир. Иногда из-за пустяков мать и сын, братья, близкие, друзья на всю жизнь остаются далекими и чужими.

Итак, Кристоф не мог найти в материнской любви достаточно крепкой опоры, которая помогла бы ему пережить кризис. Впрочем, какую цену имеет любовь близкого по сравнению с эгоизмом страсти, если страсть всецело поглощена самой собою!

Ночью, когда домашние спали, а Кристоф сидел у стола, не думая ни о чем, весь уйдя в свои опасные размышления, на их тихой улочке вдруг послышались шаги, и стук во входную дверь вывел мальчика из оцепенения. В комнату донесся неясный гул голосов. Кристоф вспомнил, что отец еще не возвращался, и со злостью подумал, что опять его привели пьяного, как на той неделе, когда его подобрали на тротуаре в беспамятстве, ибо в последнее время Мельхиор совсем опустился и окончательно предался своему пороку. Впрочем, богатейское его здоровье, казалось, нисколько не страдало от излишеств и безобразий, которые давно убили бы другого человека. Ел он за четверых, пил до бесчувствия, ночами бродил под ледяным дождем, выходил невредимым из любой драки, а наутро как ни в чем не бывало вставал с постели, шумный и веселый, и требовал только одного: чтобы все были веселы вокруг.

Луиза, услышав стук, вскочила с постели и быстро пошла отпирать. Кристоф нарочно не тронулся с места и, не желая слышать пьяного голоса Мельхиора и насмешливых замечаний соседей, заткнул себе уши...

Вдруг необъяснимая тревога сжала ему сердце; он затрясся всем телом, закрыл лицо руками. И сразу же поднял голову, услышав раздирающий душу крик. Одним прыжком он бросился к дверям...

В коридоре, тускло освещенном дрожащим светом фонаря, среди кучки мужчин, разговаривавших вполголоса, на носилках лежало, как лежал тогда дедушка, неподвижное тело в мокрой одежде. Луиза рыдала, упав на труп. Соседи нашли Мельхиора — он утонул в ручье у мельницы.

Кристоф закричал. Весь мир исчез, все другие муки вдруг словно вымело из его души. Он упал на тело отца рядом с Луизой, и они долго плакали вместе.

Сидя возле кровати, оберегая последний сон Мельхиора, на лице которого застыло торжественное и строгое выражение, Кристоф чувствовал, как мрачное спокойствие смерти проникает в него. Его детская страсть прошла, точно приступ лихорадки: ее унесло ледяное дыхание могилы. Минна, его гордость, его любовь, он сам... Увы, как все это мелко и ничтожно перед лицом этой реальности, единственной реальности, перед лицом смерти! Стоило ли так страдать, желать чего-то, метаться, чтобы все кончилось вот этим!

Он смотрел на спящего вечным сном отца, и бесконечная жалость овладевала им. Он вспоминал мельчайшие проявления нежности и доброты Мельхиора, ибо при всех своих пороках Мельхиор был не злой, в нем было много хорошего. Он любил семью, был по-настоящему честен. В нем жила крупница несгибаемой крафтовской порядочности, которая в вопросах морали и чести не терпит никаких попустительств и не принимает даже мелкой нравственной нечистоплотности, той самой, что люди из общества даже не считают грехом. Он был храбр и встречал любую опасность даже с какой-то радостью. Он был расточителен для себя, но был таким же

и для других; он не мог видеть печальных лиц и щедрою рукой раздавал несчастным все, что ему принадлежало, а также и то, что ему не принадлежало. Все эти качества Кристоф теперь видел особенно ясно, а быть может, выдумывал их или же преувеличивал. Ему казалось, что он не знал хорошенько своего отца. Он упрекал себя за то, что любил его недостаточно. Он считал теперь, что отца поборола жизнь. Ему чудились сетования этой несчастной души, которую всегда несло течением, — души, бессильной бороться против соблазнов и оплакивающей свою втуне потерянную жизнь. Он слышал просьбу отца, которая однажды потрясла его своим жалобным звучанием:

«Не презирай меня, Кристоф».

И Кристоф мучился угрызениями совести. Он бросился на кровать и, рыдая, целовал остывшее лицо и твердил, как тогда:

— Папочка, дорогой папочка, я не презираю тебя, я тебя люблю! Прости, прости меня!

Но сетования не утихали, и снова и снова звучало то склившее:

«Не презирай же меня, не презирай!»

И вдруг Кристоф увидел себя самого на смертном ложе, услышал страшные слова, выходящие из его собственных уст, почувствовал, как тяжелым камнем его давит отчаяние, накопившееся в течение целой бесплодно прожитой, безвозвратно потерянной жизни. И он подумал со страхом: «Пусть всё, любые страдания, все муки мира, только не это!» А ведь он был на один шаг от этого! Чуть не поддался искушению, чуть собственноручно не прервал своей жизни, желая трусливо ускользнуть от ее горестей. Ведь все горести, все измены — лишь ребяческие огорчения перед лицом той пытки и того неслыханного преступления, к которому ведет измена самому себе, отречение от своей веры, презрение к себе в свой смертный час.

Он понял, что жизнь — это битва без отдыха и пощады и тот, кто хочет стать человеком, достойным имени человека, должен неустанно бороться против целого сонма невидимых врагов: гибельных сил природы, смутных желаний, темных помыслов, которые исподтишка

толкают тебя на путь унижения, грозят небытием. Он понял, что чуть-чуть не попался в эту ловушку. Понял, что счастье и любовь — минутный обман, и все для того, чтобы обезоружить сердце и заставить сдаться. И маленький, пятнадцатилетний пуританин услышал голос бога своего:

«Иди, иди, не зная отдыха».

«Но куда идти мне, господи? Ведь что бы я ни делал, куда бы ни шел, разве конец не всегда один, разве не сбудутся сроки мои?»

«Вы, кто обречен на смерть, идите к смерти! Страдайте, обреченные на страдание! Жизнь дана вам не на радость. Жизнь дана, чтобы исполнить закон. Мой закон... Страдай! Умри! Но будь тем, кем ты должен быть: человеком!»

Книга третья
ОТРОЧЕСТВО

Перевод
Н. ЖАРКОВОЙ

Часть первая

В ДОМЕ У ЭЙЛЕРА

Дом погрузился в тишину. После смерти отца все, казалось, умерло. Сейчас, когда умолкли раскаты его громового голоса, с утра до вечера слышался только назойливый плеск реки.

Кристоф упорно трудился. С безмолвным ожесточением он карал себя за дерзкое свое желание быть счастливым. Он словно окаменел от гордыни и не отвечал ни на слова утешения, ни на сердечные речи. Стиснув зубы, он выполнял свои каждодневные обязанности и глядел на учеников леденяще-внимательным взглядом. А они, слышавшие о несчастье Кристофа, возмущались его бесчувственностью. И только те, кто был постарше и уже сталкивался с человеческим горем, понимали, что под этим внешним холодным спокойствием подросток скрывает душевную муку, и жалели его. А он даже не был благодарен им за это сочувствие. Музыка — и та не приносила Кристофу обычного облегчения. Он занимался музыкой без всякого удовольствия, словно по обязанности. Казалось, он испытывал жестокую радость, ни в чем не находя или стараясь не находить отрады, — не видел смысла в жизни и все-таки жил.

Оба младших брата, не выдержав пугающей похоронной тишины родительского дома, при первой же возможности уехали. Рудольф поступил в торговое предприятие дяди Теодора и поселился в его семье. А Эрст перепробовал с десяток различных занятий, пока, наконец, не нанялся на пароход, ходивший между Майнцем и Кельном. О семье он вспоминал, только когда нуждался в деньгах. Кристоф остался вдвоем с матерью, в слишком

теперь просторном для них доме; вечный недостаток средств, долги, обнаружившиеся после смерти Мельхиора, побудили их искать другое помещение, поскромнее да и подешевле, как ни печально было расставаться с насиженным углом.

Они подыскивали квартиру в третьем этаже — две-три комнатки в одном из домов на Рыночной улице. Квартал был шумный — самый центр города — вдали от реки, вдали от деревьев, вдали от всех любимых мест. Но приходилось считаться с рассудком, а не с чувствами. Лишний и к тому же прекрасный повод для Кристофа ощутить горькую усладу уничижения. Впрочем, хозяин дома, старик Эйлер, бывший секретарь суда, был дедушкиным другом и хорошо знал Крафтов; этот довод окончательно убедил Луизу, которая испуганно бродила по опустевшим комнатам и всей душой влеклась к тем, кто еще хранил память о дорогих ей существах.

Кристоф и Луиза стали готовиться к переезду. Оба без конца упивались острой печалью последних дней, которые доживаешь у осиротевшего домашнего очага, столь милого тому, кто покидает его навеки. Даже намеком не осмеливались они выказать друг другу свою боль, стыдились ее, а быть может, и боялись. Каждый считал себя не вправе открыть свою слабость другому. Сидя вдвоем за столом в мрачной комнате, при полузакрытых ставнях, они, не смея произнести ни слова, наспех проглатывали обед, стараясь даже случайно не встретиться взглядом, страшась вдруг выдать свое смятение. После обеда они тут же молча расходились; Кристоф шел по делам, но когда выпадала свободная минутка, он возвращался, тайком проскальзывал в дом и подымался на цыпочках в свою спальню или на чердак. Там, заперев дверь, он пристраивался в углу на каком-нибудь старом чемодане или на узеньком подоконнике и сидел так без мыслей, вбирая в себя невнятные шорохи старого дома, сотрясавшегося от каждого шага. И сердце его дрожало вместе с этими ветхими стенами. Он тревожно ловил легчайшие шумы, идущие с улицы или же из недр самого дома: вот хрустнула половица, вот слышались почти неуловимые и такие привычные звуки — он знал их все наперечет. Мысли его путались, уносились в прош-

лое, и, только когда на колокольне святого Мартина били часы, он приходил в себя, вспоминал, что пора идти.

Этажом ниже раздавались робкие шаги Луизы. Целыми часами ее не было слышно — она теперь двигалась совсем бесшумно. Кристоф напряг слух. Он спустился, испытывая тревогу, какая долго еще живет в сердце после большого несчастья. Он заглянул в полуоткрытую дверь: Луиза сидела спиной к нему перед стенным шкапом, среди наваленного кучей старого хлама, каких-то тряпок, каких-то давно не употреблявшихся предметов, разрозненных подсвечников, дорогих по воспоминаниям вещей, которые она вытащила якобы для укладки. Но силы оставили ее — каждая вещь что-то напоминала, она долго вертела ее в пальцах и начинала мечтать; вещь падала из рук, а Луиза, не замечая этого, поникнув всем телом, часами сидела, погруженная в мучительное оцепенение.

Теперь несчастная Луиза жила только прошлым, и это были лучшие ее часы, — жила трудным прошлым, таким скупым на радости; но она до того привыкла страдать, что благоговейно хранила память о малейших знаках внимания, и эти жалкие огоньки, вспыхивавшие так редко, освещали теперь ярким огнем всю ее жизнь. Зло, которое причинял ей Мельхиор, забылось, и в памяти остались только светлые часы. История их брака стала незабываемым романом всей ее жизни. Мельхиор женился на ней из каприза и быстро раскаялся в своем поступке, а она отдала ему свое сердце, верила, что любима так же сильно, как любит сама, и чувствовала теперь к нему только благодарность. Она и не пыталась понять, почему вдруг Мельхиор покатился по наклонной плоскости. Неспособная видеть действительность такой, какова она есть, Луиза, мужественная и смиренная женщина, умела лишь переносить ее тяготы, каковы они есть, и, чтобы жить, ей не требовалось понимать жизнь. А то, чего она не могла объяснить сама, она надеялась, что объяснит господь бог. В простоте благочестивой души она почему-то возлагала на господа бога ответственность за все те огорчения, что причинил ей Мельхиор и другие люди, а все хорошее, что ей делали, приписывала их доброму нраву. Жалкая жизнь не отравила ее душу горечью. Но и вообще-то некрепкая от природы, она ослабла за эти

годы лишений и утомительного труда, и теперь, когда Мельхиора не было с нею, когда оба ее младших сына выпорхнули из родного гнезда, да и третий, казалось ей, уже может обойтись без матери, Луиза как-то сразу утратила мужество и энергию: она чувствовала себя усталой, ей все время хотелось спать, воля ее сдала. На нее находили приступы неврастения, которая нередко поражает на старости лет трудолюбивых людей, когда после какого-нибудь неожиданного удара работа кажется уже ненужной. Ей не хватало душевных сил заштопать чулок, прибрать в шкапу, откуда она наспех вынимала какую-нибудь вещь, подняться, чтобы закрыть окно; она сидела подолгу без мыслей, без сил, ибо все силы ее уходили теперь на воспоминания. Она сама понимала, что опустилась, и краснела, словно совершила что-то постыдное; она старалась скрыть свое состояние от сына, и Кристоф, эгоистически поглощенный своим собственным горем, ничего не замечал. Правда, иногда он втайне негодовал на медлительность, с какою мать теперь разговаривала и делала даже самую незначительную работу, но ему не приходило в голову, как велика разница между прежней деятельной Луизой и этой вялой, еле таскающей ноги женщиной.

И эта мысль впервые поразила его лишь в тот день, когда он застал мать среди разбросанного тряпья, — тряпки лежали у ног Луизы, она держала их на коленях, не замечая, что они сползают на пол. Луиза сидела неподвижно, вытянув шею и голову, и черты ее лица были какие-то искаженные, застывшие. Услышав шаги, она вздрогнула всем телом, бледные щеки ее порозовели, инстинктивным движением она откинула прочь тряпки, попыталась их спрятать и смущенно пробормотала:

— Вот видишь, разбираюсь...

Щемящая жалость к этой бедной душе, которая угасала среди дорогих ей вещей, вдруг охватила Кристофа. Однако, желая вывести мать из апатии, он заговорил грубоватым, ворчливым тоном:

— Ну, знаешь, мама, совершенно незачем тебе здесь целыми днями сидеть в пыли, в запертой комнате! Ведь так и заболеть можно. Встряхнись, давай побыстрее укладываться.

— Хорошо, — покорно ответила мать.

Луиза попыталась встать, чтобы уложить разбросанное тряпье в ящик, но тут же опустилась на стул и в отчаянии выронила из рук уже сложенные вещи.

— Ах, не могу я, не могу, — простонала она, — никогда я не уложусь...

Кристоф испугался. Он нагнулся над матерью, ласково провел ладонью по ее лбу.

— Мама, да что это ты? — спросил он. — Хочешь, я тебе помогу? Может быть, ты больна?

Луиза не ответила. Она рыдала без слез. Кристоф взял ее руки в свои, опустился перед ней на колени, стараясь в полумраке разглядеть ее лицо.

— Мама! — тревожно окликнул он.

Луиза, упав головой на плечо сына, горько рыдала.

— Мальчик мой, — повторяла она, прижимая Кристофа к груди, — сынок мой! Ты меня не бросишь? Обещай мне, что ты со мной не расстанешься.

Сердце Кристофа раздирала жалость.

— Да нет, мама, я всегда буду с тобой. Что это тебе пришло в голову?

— Я так несчастна! Все меня покинули, все...

Она обвела рукой комнату, и нельзя было понять, говорит ли она о вещах, о сыновьях или об умерших.

— Ты останешься со мной? Не бросишь меня?.. Что со мной будет, если ты тоже уйдешь!

— Я не уйду. Говорю тебе: мы будем жить вместе. Не плачь, мама. Обещаю тебе.

Но Луиза уже не могла удержать слез. Сын отер ей глаза своим носовым платком.

— Да что с тобой, мама? Ты больна?

— Не знаю, сама не знаю, что со мной.

Она попыталась взять себя в руки, успокоиться, улыбнуться.

— Как я ни старалась образумиться, ничего не помогает, по любому пустяку начинаю плакать... Вот видишь, опять плачу... Прости меня, глупую. Я ведь уже старуха. Глупая старуха. Сил больше у меня нет. Ничто мне не мило. Ни на что я не гожусь. Хоть бы меня похоронили вместе с ними.

Кристоф, как ребенок, прижался к ее груди.

— Не мучай себя, мама. Отдохни, не думай больше... Мало-помалу Луиза утихла.

— Мне даже стыдно, до чего все глупо получается... Но что со мной такое? Что со мной?

Эта вечная труженица не могла понять, почему силы вдруг оставили ее, и в глубине души она стыдилась своей слабости, как унижения. Сын притворился, что ничего не замечает.

— Ты, мама, просто немножко устала, — сказал он, стараясь говорить равнодушным тоном. — Это пустяки, вот ты сама увидишь...

Но и он тоже взволновался. С детских лет он привык видеть другую Луизу — покорную и мужественную, молча противостоящую всем испытаниям. И этот внезапный упадок сил его испугал.

Он помог матери собрать разбросанные вещи и уложить их в шкаф. Луиза не сразу решалась расстаться с каким-нибудь особенно памятным ей предметом, но сын ласково брал его из рук матери, и она покорно разжимала пальцы.

С этой минуты Кристоф решил как можно больше времени проводить с матерью. Окончив занятия, он не запирался в своей комнате, а сразу шел к Луизе. Он понимал, что она одинока и у нее не хватает сил переносить свое одиночество; просто опасно было оставлять ее одну в таком состоянии.

Вечерами Кристоф садился рядом с Луизой у открытого окна, выходившего на дорогу. Поля окутывал сумрак. Люди расходились по домам, а вдали, в городе, загорались слабые огоньки. Сколько раз мать и сын видели эту картину! Но скоро не увидят ее больше. Говорили они мало, перебрасывались отрывистыми фразами. С ослабевающим интересом указывали друг другу на давным-давно знакомую картину вечерней улицы. Подолгу молчали; или вдруг Луиза без всякой видимой причины начинала рассказывать какую-нибудь бессвязную историю, почему-то пришедшую ей в голову. Теперь, когда она почувствовала подле себя любящее сердце, язык ее понемногу развязался. Она заставляла себя говорить.

Давалось ей это с трудом, ибо слишком долго она молчала, привыкнув ступать при домашних: сыновей и мужа она считала слишком образованными людьми, чтобы свободно с ними разговаривать, даже не смела вмешиваться в их беседы. Благоговейное внимание Кристофа — нечто ей совершенно незнакомое — было сладостно ее сердцу, но и смущало немного. Луиза подыскивала слова, с трудом составляла из них фразы, однако фразы получались кургузые, неясные. Иногда ей самой стыдно было своих речей, она взглядывала на сына и вдруг замолкала, не досказав начатого. Но он нежно пожимал ей руку, и, воспрянув духом, она заканчивала рассказ. Кристофа охватила острая жалость и любовь к этой детской и в то же время материнской душе, служившей ему когда-то надежной защитой против всех его мальчишеских горестей, а теперь искавшей поддержки в сыне. И мало-помалу эта неинтересная для любого постороннего, нескончаемая болтовня стала доставлять ему какое-то грустное удовольствие; он подолгу слушал рассказ о мелких событиях этой серенькой и безрадостной жизни, имевших в глазах Луизы ни с чем не сравнимую ценность. Иногда он осторожно пытался переменить разговор и уговаривал мать лечь, опасаясь, как бы воспоминания эти не омрачили и без того мрачную ее душу. Луиза разгадывала его невинные хитрости и говорила с сияющими благодарностью глазами:

— Да нет, уж поверь мне, мне так лучше, посидим еще немножко.

И они сидели, пока не наступала глубокая ночь и весь квартал не погружался в тишину. Тогда они желали друг другу спокойного сна, Луиза — с невольным облегчением (хоть часть горестей свалилась с ее души), а он — чувствуя, как на сердце новым грузом легли ее рассказы.

Приближался день отъезда. Накануне вечером они дольше обычного сидели в столовой, не зажигая огня. Оба молчали. Время от времени с губ Луизы срывалось жалостное: «Ах ты, боже мой, боже мой!» Кристоф старался отвлечь ее внимание всякими мелочами, заговаривал о предстоящем переезде. Луиза никак не хотела идти спать. Он ласково настаивал. Но, поднявшись

в свою комнату, сам тоже лег не сразу. Высунувшись из окна, он пытался взглядом проникнуть сквозь окружающую тьму, чтобы в последний раз увидеть черный бег реки там, внизу, у самого дома. Он слушал, как в саду Керихов шумел ветер верхушками огромных елей. Небо было беспросветно мрачное. Ни прохожего, ни торопливых шагов на улице. Начал накрапывать холодный дождь. Пронзительно заскрипели флюгера. В соседнем доме заплакал ребенок. Ночь печальной громадой нависла над землей, давила душу. Надтреснутый, однообразный звон отмечал каждый долгий час, каждые долгие полчаса, четверть часа и пропадал где-то в унылой тишине, всю глупину которой еще подчеркивал мерный стук дождя, барабанившего по крышам и мостовой.

Кристоф продрог; холод, проникший до самого сердца, заставил его лечь, и вдруг он услышал, как внизу тоже хлопнуло окошко. И, лежа в постели, он с горечью думал о том, что привязанность бедняков к своему прошлому оборачивается для них лишней болью, ибо они не имеют права на прошлое, как богатые; и нет у них очага, нет у них уголка на всей земле, куда бы могли они приткнуться со своими воспоминаниями, вспомнить радости, беды; и счастливые и печальные дни бесследно уносит ветер.

На другой день под проливным дождем они перевезли свой жалкий скарб на новую квартиру. Фишер, старик-обойщик, одолжил им тележку и лошадь, да сам пришел подсобить соседям. Но всю мебель нельзя было взять с собой, ибо новая их квартира оказалась много меньше. Кристоф уговорил мать бросить негодные и ненужные вещи. Послушалась она не сразу — любая мелочь казалась бесконечно дорогой: колченогий столик, продырявленный стул — ничего она не желала оставлять. Наконец, Фишер, старинный дедушкин друг, что придавало ему особый авторитет в глазах Луизы, присоединил свой ворчливый голос к мольбам Кристофа. Доброе сердце, он понял горе соседки и даже пообещал дать в своем сарае приют этим бесценным калекам в ожидании того дня, когда обстоятельства позволят Крафтам их

забрать. Только тогда Луиза, чуть не плача от горя, согласилась на временную разлуку.

Обоих младших братьев предупредили о переезде. Но Эрнст еще накануне заявил, что не сможет прийти, а Рудольф явился только на минуту, ровно в полдень; он посмотрел, как грузят мебель, дал несколько советов и удалился с озабоченным видом.

Кортеж двинулся по грязным улицам; Кристоф вел под уздцы лошадку, скользившую на мокрых камнях. Луиза шла рядом с сыном и тщетно старалась укрыть его от дождя, который все не прекращался. И какое же это было мрачное новоселье — сырые стены, темные комнаты, казавшиеся еще темнее при тусклых отсветах низко нависшего неба. Сын и мать, пожалуй, не справились бы с гнетущим отчаянием, если бы не участие новых хозяев. Но вот уехала тележка, мебель кое-как втащили в комнаты. Спускалась ночь. Луиза без сил присела на ящик рядом с сыном, устроившимся на мешке; вдруг они услышали негромкий сухой кашель — кто-то постучался в дверь. Вошел старик Эйлер. Он церемонно извинился, что потревожил дорогих жильцов, и добавил, что в ознаменовании счастливого события просит сегодня поужинать вместе, по-семейному. Луиза, погруженная в свои печальные мысли, хотела было отказаться. Кристофа тоже не особенно соблазняла перспектива этого семейного сборища, но старик настаивал, и Кристоф решил, что матери лучше будет провести первый вечер не одной со своими мыслями. Чуть ли не силой он повел ее вниз.

Они спустились в нижний этаж, где ждала в полном сборе вся семья: старик, его дочь, его зять Фогель и внуки — мальчик и девочка чуть помоложе Кристофа. Все семейство столпилось вокруг новых обитателей дома, поздравляло их с переездом, участливо расспрашивало, не устали ли они, понравилось ли им новое жилище; задавались десятки вопросов, на которые огульный Кристоф не знал, что и отвечать, ибо все говорили разом.

Суп уже дымился на столе, все уселись. Но шум голосов не стихал. Дочь Эйлера Амалия тут же пожелала ознакомить Луизу со всеми примечательными особенностями их квартала, с его топографией, перечислила привычки своего семейства и все преимущества, которые

связаны с местоположением их дома; назвала час, когда приходит молочник и когда она сама подымается с постели, посоветовала, к каким поставщикам следует обращаться, и сообщила, выше каких цен она лично никогда не переплачивает. И пока не объяснила все в мельчайших подробностях, не отстала от Луизы. Полусонная Луиза пыталась сделать вид, что крайне заинтересована сообщаемыми ей сведениями, но те редкие замечания, которые она решалась делать, обнаруживали, что ничего она не поняла. Однако это лишь распалило Амалию, и, негодуя ахнув по адресу непонятливой слушательницы, дочь Эйлера присовокупила к прежним подробностям еще десяток новых. Старик судейский объяснял Кристофу трудности музыкальной карьеры. Другая соседка Кристофа, дочь Амалии — Роза, тоже не закрывала рта; как только сели за стол, она заговорила, и говорила так быстро, что временами ей не хватало воздуха; задохнувшись, она останавливалась посреди начатой фразы, но быстро оправлялась и досказывала начатое. Угрюмый зять Эйлера, Фогель, подвергал жестокой критике каждое блюдо, подававшееся на стол, и это служило поводом к страстным и долгим спорам. Амалия, старый Эйлер, его внучка на минуту замолкали, чтобы снова кинуться в бой; шли бесконечные разговоры о пересоленном или недосоленном рагу, каждый взывал к соседу, и, конечно, оценки резко расходились. Каждый презирал мнение другого и почитал непогрешимым только свой собственный вкус. По всему было видно, что здесь могут так спорить до второго пришествия.

В конце концов за столом воцарилось согласие — все дружно начали сетовать на тяжелые времена. Хозяева с чувством говорили о горестях Луизы и Кристофа и хвалили его мужественное поведение в таких лестных тонах, что он почти растрогался. С каким-то даже наслаждением они перечисляли беды, обрушившиеся не только на их гостей, но и свои собственные, не забыв упомянуть о бедах своих друзей и своих знакомых; и все дружно заключили, что хорошему человеку всегда плохо, — легко живется только эгоистам и людям нечестным. В заключение они заявили, что жизнь вообще невеселая штука, что жить не для чего и уж лучше умереть, да, видно, на то

воля божия: приходится страдать и жить. Так как эти мысли отвечали теперешним пессимистическим взглядам Кристофа, он почувствовал даже уважение к своим хозяевам и охотно закрыл глаза на все их маленькие слабости.

Когда они с матерью поднялись в свою неубранную квартиру, оба почувствовали грусть и усталость, но зато они все-таки были не одни; лежа в постели, с открытыми глазами, Кристоф никак не мог заснуть от утомления и непривычных шумов на улице: еще долго прислушивался он к тяжелому грохоту экипажей, от которого сотрясались стены, к сонному дыханию семьи, спавшей этажом ниже, и пытался уверить себя, что будет, если и не обязательно счастлив, все же не так несчастлив, как раньше, что это неплохие люди: пусть они немного скучноваты, но они мучаются теми же муками, что и он, хотят понять его, и он их, кажется, понимает.

Наконец-то он забылся сном, но на заре его ждало неприятное пробуждение — отчетливо доносились голоса новых соседей, уже повздоровивших по какому-то поводу, и скрежет насоса, который предвещал генеральную уборку лестницы и двора.

Юстус Эйлер был низенький, сгорбленный старичок, с беспокойно бегающими угрюмыми глазками, с красным, морщинистым и бугристым лицом, с беззубой челюстью и небрежно подстриженной бородкой, которую он все время тербил. Честный, даже педантично честный и глубоко нравственный человек, он был очень хорош с покойным дедушкой. Говорили, что они чем-то похожи. И действительно, оба принадлежали к одному поколению и воспитаны были в одинаковых принципах, но Эйлеру не хватало жизненной мощи покойного Жан-Мишеля; другими словами, будучи о многих предметах одного мнения с дедушкой, Юстус, при ближайшем рассмотрении, ничуть не походил на своего друга, ибо человека формирует темперамент в еще большей мере, чем его идеи; и какие бы ни придумывались искусственные или реально существующие различия между людьми, единственное правильное деление людей — это деление на здоровых и тех, кто не принадлежит к их числу. А Эйлер как раз

и не мог считаться здоровым. О морали он говорил, как и дедушка; но мораль его существенно отличалась от дедушкиной морали: ей не хватало прекрасного желудка, вместительных легких, веселой силы Жан-Мишеля. На Юстуса, да и на всех его родичей материалу было отпущено более скупое. Прослужив сорок лет в качестве судейского секретаря и выйдя в отставку, Эйлер жестоко страдал от горького ничегонеделания, особенно не переносимого для стариков, которые не сумели накопить «на дожитье» достаточно душевных ресурсов. Все его природные или благоприобретенные в семье и на работе привычки придавали ему какой-то брюзгливый и педантичный вид, что в той или иной мере сообщилось и его домашним.

Зятю его, Фогеля, чиновнику герцогской канцелярии, было лет пятьдесят. Высокий, крепкий, совершенно лысый, в золотых очках, дужки которых врезались ему в виски, видимо, вполне здоровый мужчина, он почему-то считал себя больным, да и вправду был болен, хотя ни одного из недугов, которые он сам у себя обнаруживал, у него не имелось; но какая-то озлобленность чувствовалась в нем, и одряхлел он не по возрасту от бесцельных канцелярских занятий и сидячей жизни. Впрочем, он был крайне трудолюбив, обладал немалыми достоинствами и даже известной культурой. Но, подобно всем чиновникам, прикованным к своим бумагам, он пал жертвой демона ипохондрии, жертвой нелепой современной жизни. Словом, то был типичный несчастливец, из тех, кого Гёте охарактеризовал, как «*ein trauriger ungriechischer Hypochondrist*» — «унылый и отнюдь не античный ипохондрик», — и кого поэт жалел, но всячески сторонился.

Амалия не жалела и не сторонилась своего супруга. Крепкая, шумливая и деятельная, она равнодушно выслушивала его жалобы, а порой даже резко обрывала его. Но при долгой совместной жизни сгибается любая воля. А когда один из супругов страдает неврастением, с течением времени почти всегда неврастениками станут оба. Сколько ни кричала Амалия на Фогеля, повинаясь привычке и в силу необходимости, минуту спустя она сама начинала его оплакивать, и столь резкие переходы от грубых окриков к стенаниям отнюдь не способствовали улучшению состояния мужа; напротив, она лишь приумножала

его недуги, раздувала любой пустяк до невероятных размеров. В конце концов она нагоняла тоску не только на несчастного Фогеля, который пугался, видя, какими ужасами оборачиваются его жалобы в устах вторящей ему супруги, но и на всех и вся, в том числе и на себя самое. Она тоже взяла в привычку постоянно жаловаться на свое достаточно крепкое здоровье, равно как и на здоровье отца, дочери и сына. Это сделалось прямо манией: достаточно было пожаловаться ей на какое-нибудь недомогание, как и она уже ощущала его симптомы. Обычный насморк превращался в трагедию, все становилось поводом для трагедии. Больше того, когда домашние чувствовали себя хорошо, Амалия мучилась вдвойне, ожидая неминуемых болезней. Так жизнь ее проходила в постоянных страхах. При всем том Эйлеры чувствовали себя совсем неплохо, и, казалось, именно жалобы укрепляют их здоровье. Каждый ел, спал, работал, как положено, и жизнь шла своим нормальным ходом. Хлопотливая Амалия не находила себе удовлетворения в непрерывном сновании по дому с первого этажа на второй — она требовала от всех такой же непрестанной деятельности, и в доме с утра до ночи переставляли мебель, мыли каменный пол, натирали паркет, все время слышались громкие голоса, шаги, все время что-то сотрясало и двигалось.

Сын и дочь, подавленные этой бурной деятельностью, которая не давала им ни минуты передышки, повидимому считали естественным самое безропотное подчинение. У мальчика, по имени Леонгард, было хорошенькое, но бесцветное личико и точные, размеренные движения. Девочка, Роза, блондиночка, с довольно красивыми глазами, голубыми, нежными и приветливыми, была бы очень недурна, особенно при свежем цвете лица и добром его выражении, если бы не нос, чересчур крупный и даже немножко кривой, отчего лицо девушки казалось грубым и глуповатым. Она напоминала портрет работы Гольбейна из Базельской галереи — дочь бургомистра Мейера: вот она сидит, белесые волосы распущены по плечам, руки сложены на коленях, глаза опущены долу, вид смущенный — она явно стыдится своего нелепого носа. Но Роза совсем не думала о красоте носа, и он не мешал ей болтать с утра до ночи. Все время слышался ее голос, прон-

зительный, захлебывающийся, словно Роза боялась, что не успеет досказать очередную свою историю, — голос взволнованный и самозабвенный, не умолкавший даже после сердитых окриков матери, отца и деда, которых выводила из себя не столько болтливость девочки, как то, что за ее разговорами никто не мог вставить слова. Ибо эти превосходные люди, добрые, честные, преданные, подлинные образцы порядочности, обладая почти всеми добродетелями, не имели лишь одной — и именно той, что составляет всю прелесть жизни: добродетели молчания.

Но на Кристофа как раз нашел стих терпения. Пережитое горе умерило его нетерпимый и увлекающийся нрав. Он знал теперь на своем личном опыте, какой холодной жестокостью веет от изысканности, и потому особенно ценил добрых людей, отнюдь не изящных и дьявольски скучных, но имевших о жизни строгие и возвышенные представления; и раз живут они безрадостно, значит и слабостей у них нет, думалось ему. Решив, что Эйлеры превосходные люди и должны поэтому ему нравиться, Кристоф пытался, как истый немец, убедить себя в том, что они действительно ему нравятся. Но это плохо удавалось. Кристофу не хватало того услужливого германского идеализма, который не желает видеть и не видит того, что ему неприятно замечать из страха нарушить столь удобный покой своих собственных суждений и внести смуту в свою собственную жизнь. Напротив, когда Кристоф любил людей, когда хотел их любить без всяких оговорок, он особенно ясно видел все их недостатки; и происходило это в силу бессознательной честности, неистребимой жажды правды, непримиримости, которая делала его особенно прозорливым и особенно требовательным в отношении тех, кто дорог его сердцу. Поэтому-то вскоре он и почувствовал глухое раздражение против своих квартирохозяев. Обычно люди кичатся своими достоинствами, а эти выставляли напоказ самые непереносимые свои недостатки, между тем как достоинства их таились где-то очень глубоко. Так по крайней мере думал Кристоф и, упрекнув себя в несправедливости, решил пренебречь первыми впечатлениями и во-

преки всему обнаружить те самые превосходные качества, которые его квартирохозяева скрывали столь тщательно.

Он пытался беседовать с Эйлером, а старику только того и надо было. В душе Кристоф питал к нему слабость в память дедушки, который любил Юстуса и часто хвалил его. Но добродушный Жан-Мишель, не в пример внуку, обладал счастливой способностью строить радужные иллюзии насчет своих друзей, и Кристоф скоро в этом убедился. Напрасно взывал он к памяти Юстуса, надеясь узнать от него что-нибудь о покойном деде. Жан-Мишель в отрывочном и скучном пересказе Эйлера получался какой-то пресный, даже почти карикатурный. Всякий раз Эйлер начинал разговор словами:

— Как я говорил твоему бедному дедушке...

Больше он ничего не помнил. Он помнил только то, что говорил сам.

Быть может, и Жан-Мишель слушал тоже только самого себя. Большинство дружб основано на взаимной снисходительности, позволяющей говорить о себе самом с другим. Но дедушка, с такой чистосердечной радостью пускавшийся в долгие беседы, имел по крайней мере неистощимый запас симпатий, щедро раздаваемых направо и налево. Его интересовало буквально все; он жалел, что ему не пятнадцать лет и он не увидит чудесных открытий, которыми осчастливят мир новые поколения, не сможет разделить их чаяния. Дед обладал одним из ценнейших даров: с неослабевающим любопытством он следил за течением жизни, и эта свежесть чувств не только не исчезла, но, напротив, возрождалась с каждой утренней зарей. Правда, ему не хватало таланта использовать этот свой дар, но сколько талантливых людей могли бы ему позавидовать! Большинство людей в сущности умирает в двадцать — тридцать лет: перешагнув этот возраст, они становятся лишь своею собственной тенью; всю остальную жизнь они подражают сами себе, повторяя с каждым днем все более механически и уродливо то, что уже когда-то говорили, делали, думали или обожали в те времена, когда они еще были они.

Но так давно прошло то время, когда Эйлер был Эйлером, и так мало он был собой, что нынешний Эйлер — жалкий остаток прежнего — казался совсем

незначительным и чуточку смешным. Он не знал ничего, что выходило за пределы его бывшей службы или семьи, да и не хотел знать. Обо всем у него имелись свои готовые представления, которые восходили к дням его юности. Он почитал себя знатоком искусств, однако и здесь ограничивался десятком общепризнанных авторитетов, по поводу которых всякий раз произносил восторженные, но заученные фразы; все же остальное не принималось им в расчет и просто не существовало. Когда ему говорили о современных художниках, он даже не слушал и заговаривал о другом. Утверждал, что обожает музыку, и требовал, чтобы Кристоф ему играл. Но как только Кристоф, на минуту поверив старику Эйлеру, начинал играть, старик тут же заводил громкие разговоры со своей дочерью, словно именно музыка обостряла его интерес к предметам, наиболее отдаленным от музыки. Возмущенный Кристоф вскакивал с места, не доиграв сонаты, но никто этого не замечал. Только несколько старинных вещей — всего счетом три или четыре, — одни действительно прекрасные, другие просто отвратительные, но все в равной мере признанные, обладали особой привилегией: их слушали в относительном молчании и безоговорочно хвалили. С первых же нот старик впадал в экстаз, на глаза его навертывались слезы — не столько потому, что он наслаждался в данную минуту, сколько в силу того, что в подобных обстоятельствах он некогда уже испытывал наслаждение. В конце концов Кристоф возненавидел любимые эйлеровские пьесы, хотя искренно ценил некоторые из них, в частности «Аделаиду» Бетховена; старик, дрожащим голосом подпевая его игре, говорил всякий раз: «Вот это настоящая музыка» и с презрением сравнивал ее с «теперешней проклятой музыкой, в которой и мелодии-то никакой нет». Правда, современной музыки он не знал вовсе.

Зять его, человек более образованный, был в курсе современного искусства, но с ним получалось еще хуже — каждое его суждение переходило в открытую брань. Ему нельзя было отказать ни во вкусе, ни в уме — просто он органически не мог испытывать восхищение перед современным искусством. С такой же страстью поносил бы он Моцарта и Бетховена, будь они его современниками, и

превозносил бы до небес Вагнера или Рихарда Штрауса, умри они столетие назад. Фогель с инстинктивным и мрачным упорством отказывался признавать, что сейчас, на его веку, могут существовать живые великие люди; эта мысль была для него непереносима. До того озлобила Фогеля неудавшаяся жизнь, что он старался убедить себя, будто у всех его современников жизнь тоже не удалась, что иначе и быть не может, а те, кто с этим несогласны, либо мерзавцы, либо притворщики.

Поэтому о всех новых знаменитостях он говорил тоном горькой иронии, и так как он совсем не был глуп, то ему с первого же взгляда удавалось обнаруживать их слабые или смешные стороны.

Каждое новое имя настораживало его, и, ничего толком не узнав, он уже бросался критиковать: что это за знаменитость! К Кристофу он питал искреннюю симпатию: он верил, что этот угрюмый подросток разделяет его мрачные взгляды на жизнь и к тому же лишен всякого дарования. Ничто так не способствует сближению мелких, неспособных воспринять окружающее и неудовлетворенных душ, как сознание общего бессилия. И ничто так не пробуждает вкуса к здоровью и к жизни в том, кто здоров и жизнестоек, как соприкосновение с таким вот дурацким пессимизмом людей посредственных, больных, которые, будучи несчастливы сами, отрицают счастье вообще. Кристоф испытал это на себе самым; те же мрачные мысли не раз приходили и ему в голову, но он с удивлением обнаруживал их в речах Фогеля и не узнавал их, — более того, они казались ему враждебными, оскорбляли.

Но еще больше возмущало его поведение Амалии. А ведь эта славная женщина только применяла на практике теорию самого же Кристофа относительно долга. Слово «долг» не сходило у нее с языка. Работала она с утра до ночи и требовала, чтобы все работали так же. Но работа эта отнюдь не преследовала цели сделать Амалию или ее близких более счастливыми, — напротив, целью ее неустанных трудов было создавать вокруг себя лишь неудобства, сделать жизнь как можно более неприятной, чтобы в этом виде принять ее. Ничто не могло убедить Амалию хотя бы на минуту прервать священный

труд домоводства, и это сверхсвятое установление замечало ей, как и многим женщинам, все прочие моральные и общественные обязанности. Дочь Эйлера сочла бы свою жизнь загубленной, если бы в назначенный день, в назначенный час не натирала паркетов, не мыла лестниц, не начищала до блеска дверных ручек, не выбивала с остервенением ковров, не переставляла бы стулья, столы и шкапы. Во все эти хлопоты она вкладывала немало тщеславия. Со стороны казалось, что дело идет о ее чести. Впрочем, не в этом ли полагает огромное число женщин свою честь и не этим ли способом защищает ее? Для них честь нечто вроде мебели, которая должна бросаться в глаза своим блеском, что-то вроде превосходно натертого паркета, холодного, гладкого и скользкого.

Неукоснительное выполнение всех домашних обязанностей отнюдь не прибавляло приятности г-же Фогель. Она с таким ожесточением погружалась в бессмысленные мелочи хозяйства, словно выполняла долг, завещанный ей господом богом. И презирала тех, кто не следовал ее примеру, кто осмеливался отдохнуть, кто умел среди работы урвать минуту радости. Она преследовала Луизу, врывалась даже в ее комнату, когда та, бросив метлу или сковородку, садилась у окна помечтать немножко. Луиза хотя и вздыхала, но покорялась с робкой улыбкой. К счастью, Кристоф ничего не знал о проделках домохозяйки: Амалия вторгалась в квартиру Крафтов, только когда за Кристофом захлопывалась входная дверь, и на него самого пока еще прямо не нападала, да он бы и не потерпел этого. Кристоф испытывал к Амалии скрытую, настороженную враждебность. И, пожалуй, меньше всего склонен был прощать ее шумливый нрав. Она выводила его из себя. Запершись в своей спальне, крохотной комнатуске с низким потолком, выходящей во двор, он плотно закрывал окно, хотя воздуху не хватало, лишь бы не слышать непрерывной возни на кухне и в комнатах домохозяев — и все-таки слышал, вопреки всем принятым мерам. Помимо воли, с неестественным вниманием вслушивался он в каждый шорох, идущий снизу, и когда отвратительный голос, легко проходивший сквозь любые перегородки, после мгновенного затишья снова доносился наверх, Кристоф впадал в ярость: он кричал, стучал

в пол ногами, посылал через стену целые залпы ругательств. Но в общем шуме вспышки Кристофа проходили незамеченными: хозяева думали, что он, верно, сочиняет музыку. Кристоф посылал г-жу Фогель ко всем чертям. Тут уж не оставалось места ни для уважения, ни для почтительности. В эти минуты ему казалось, что он предпочел бы иметь дело с самой распутной и самой глупой женщиной, лишь бы только она молчала. Чего стоят все добродетели — ум и честность, — раз добродетели столь шумливы.

Ненависть Кристофа к шуму и крикам сблизила его с Леонгардом. Один этот подросток среди всеобщего волнения и галдежа сидел с невозмутимо спокойным видом и не повышал голоса, что бы ни случилось. Говорил он вежливо и размеренно, подбирая каждое слово, и никогда не торопился. Вспыльчивой Амалии не хватало терпения дослушать сына до конца, и вся семья ахала и охала, сетуя на его медлительность. Но Леонгарда это не трогало. Ничто не могло нарушить его спокойствия и почтительной вежливости. Когда Кристоф узнал, что молодой Фогель решил избрать духовную карьеру, он еще больше заинтересовался им.

В ту пору у Кристофа сложилось довольно странное отношение к религии; он и сам не знал, как он к ней относится. До сих пор у него никогда не находилось времени, чтобы подумать на досуге над этими вопросами. К тому же мешал недостаток знаний, вечные заботы, которые поглощали его с головой, трудная и полная лишений жизнь, не позволявшая разобраться в самом себе, привести в порядок свои мысли. Страстная натура, он постоянно переходил от одной крайности к другой — от безоговорочной веры к полному отрицанию, нимало не тревожась о том, чтобы свести концы с концами. Когда он бывал счастлив, он не думал о боге, но был склонен верить в него. Когда он был несчастлив, он думал о боге, но совсем в него не верил: ему казалась просто невероятной мысль, что бог может терпеть несправедливость и людское горе. Но в сущности он не так уж мучился этой мыслью. В глубине души он был слишком религиозен,

чтобы часто и помногу думать о боге, он жил в боге и не имел необходимости в него верить. Вера хороша для тех, кто слаб по своей природе или ослабел от бледной немочи своего существования. Такие люди тянутся к богу, как травинка к солнцу. Умиравший цепляется за жизнь. Но тот, кто сам в себе носит солнце и жизнь, не станет искать света где-то на стороне.

Если бы Кристоф жил один, он, возможно, так и не задумался бы над подобными вещами, но есть обязанности, налагаемые обществом, которые заставляют сосредоточиваться на этих ребячески-наивных праздных вопросах, занимающих непропорционально большое место в жизни человека, и нельзя просто отмахнуться от них хотя бы потому, что с ними сталкиваешься на каждом шагу. Как будто нет у человеческой души, истинно благородной и здоровой, тысячи более неотложных дел, чем терзаться вопросом, существует бог или нет! Если бы еще можно было верить в бога вообще! Но надо верить именно в такого-то и притом одного бога — определенных размеров и форм, определенного цвета или определенной расы! Однако до таких мыслей Кристоф не доходил. Христос еще не занимал никакого места в его раздумьях о боге. Не то чтобы он не любил Христа, — он любил его, когда думал о нем; но почти никогда не думал. Иногда он даже упрекал себя за это, огорчался, что не испытывает интереса к фигуре Христа. Однако Кристоф соблюдал обряды — все домашние строго соблюдали сбряды, а дедушка беспрерывно читал библию, — и Кристоф аккуратно ходил в церковь, даже принимал участие в богослужении в качестве органиста и выполнял свои обязанности с примерной добросовестностью. Но если бы при выходе из церкви его спросили, о чем он только что думал, он встал бы в тупик. Он прилежно читал священное писание, желая прояснить свои мысли, и чтение это развлекало и даже увлекало его: приятно было читать интересную и прекрасную книгу, мало чем отличающуюся от всех прочих книг, которые, однако, никому в голову не приходит называть священными. По правде говоря, если Кристоф и питал симпатию к Иисусу, то куда больше привлекал его Бетховен. Сидя за органом в церкви святого Флориана, где он играл во время во-

скресной мессы, Кристоф интересовался не столько службой, сколько органом, и в те дни, когда играли Баха, чувствовал больший религиозный подъем, чем в те дни, когда играли Мендельсона. Правда, случалось, что богослужение приводило его в состояние религиозного экстаза. Но любил ли он в эти минуты господа бога или только музыку, как пошутил однажды весьма неосторожно священник, не подозревая, какое смятение внесут в душу мальчика его слова, трудно сказать... Другой на месте Кристофа пропустил бы шутку мимо ушей и продолжал бы жить, как живет (ведь какое великое множество людей свыкается с тем, что не знает своих собственных мыслей!). Но Кристофа вечно терзала весьма обременительная потребность в искренности, по всякому поводу вызывавшая угрызения совести. И, раз начавши терзаться, он терзался уже постоянно и не мог иначе. Он мучил себя, обнаруживая чуть ли не в каждом своем поступке двуличие. Верит он или не верит? Кристоф не имел ни внешних, ни внутренних данных (ибо здесь требуются знания и досуг), чтобы одному, без посторонней помощи, решить этот вопрос. И, однако, надо было его решить. Иначе он — равнодушный или хуже того — лицемер. А он был равно неспособен ни к равнодушию, ни к лицемерию.

Кристоф старался незаметно и робко доискаться правды у окружающих — таких уверенных в себе, если глядеть со стороны. Кристоф жаждал узнать, на чем зиждется их вера, но не добился ничего. Никто так и не дал ему точного ответа — обычно в таких случаях начинались долгие разговоры «по поводу». Одни упрекали Кристофа в гордыне; о таких вопросах не спорят, заявляли они; тысячи людей — куда умнее и лучше, чем он, — верят, не рассуждая, и пусть он последует их примеру. Другие чуть ли не обижались, словно Кристоф оскорбил их лично, задав такой нелепый вопрос. Но как раз эти-то, пожалуй, и не были так уж тверды в своих убеждениях. Третьи пожимали плечами и говорили с улыбкой: «Да ведь это никому не вредит». И в этой улыбке ясно читалось: «Зато так удобнее!» Последних Кристоф презирал всеми силами своей души.

Пытался он как-то открыть свои тревоги священнику, но был обескуражен этой попыткой. Священник даже не стал серьезно с ним говорить. Очень вежливо почтенный собеседник Кристофа дал ему понять, что они не ровня: само собой разумеется, что превосходство пастыря бесспорно и что разговор может вестись только в угодных ему границах, и нарушать их было бы бестактно. Словом, все свелось к парадной и совсем безобидной игре. Когда же Кристоф пошел напролом и поставил несколько вопросов, на которые достойному священнослужителю отнюдь не улыбалось отвечать, тот, покровительственно улыбаясь, прибег к латинским цитатам и родительскому увещеванию — надо молиться, молиться, чтобы господь бог просветил его, Кристофа. Кристоф ушел униженный и оскорбленный этим вежливо-покровительственным тоном. Справедливо или нет, но теперь он ни за какие блага в мире не пошел бы за советом к священнику. Он охотно признавал, что священники выше его и по своему уму и по своему сану, но ведь когда споришь, то нет ни вышших, ни низших, нет ни чинов, ни званий, ни возраста, ни репутации — существует только истина, одна истина, перед которой все равны.

Поэтому-то Кристоф был так рад познакомиться с мальчиком, своим ровесником, который верил в бога. Сам Кристоф готов был последовать его примеру и надеялся, что Леонгард сумеет представить ему убедительные доводы. Он стал первым заговаривать с Леонгардом. А тот отвечал, как обычно — мягко, но равнодушно. Так как дома невозможно было вести сколько-нибудь связной беседы, ибо Амалия или старик Эйлер постоянно вмешивались в чужие разговоры, Кристоф однажды вечером предложил Леонгарду погулять. Молодой Фогель был слишком вежлив, чтобы отказаться, а отказался бы он с охотой: ленивый и вялый по натуре, он боялся быстрой ходьбы, долгих разговоров, словом всего, что требовало хоть каких-то усилий.

Смущенный Кристоф не знал, как приступить к беседе. После двух-трех не особенно ловких фраз на посторонние темы он вдруг очертил голову в упор задал Леонгарду вопрос, который так занимал его: он спросил Леонгарда, правда ли, что тот будет священником, и делает

ли он этот выбор по собственной воле. Леонгард бросил на собеседника беспокойный взгляд, но, увидев, что Кристоф не имеет никаких враждебных намерений, успокоился и мягко ответил:

— Ну, конечно, а как же иначе?

— Ох! — вздохнул Кристоф. — Какой же вы счастливый!

Леонгард уловил в голосе Кристофа нотку зависти и был приятно польщен. Он сразу же весь как-то переменился, стал разговорчивее, лицо его просветлело.

— Да, — подтвердил он. — Я счастлив.

Лицо его теперь просто сияло.

— А как вы этого достигли? — спросил Кристоф.

Леонгард ответил не сразу. Он предложил присесть на скамейку, стоявшую в спокойном уголке галереи монастыря святого Мартина. Отсюда виднелась часть небольшой площади, обсаженной акациями, а дальше за городом — поля, укутанные вечерней дымкой. У подножия холмов медленно струил свои воды Рейн. Старое, заброшенное кладбище, с могилами, поросшими густой травой, мирно спало за железной решеткой.

Леонгард начал говорить. Он говорил, и глаза его блестели от удовольствия; он рассказывал, как сладостно уйти от грубой жизни, обрести приют, который есть и будет всегда надежнейшим из всех приютов. Кристоф, еще так мучительно ощущавший недавние оскорбления и муки, страстно сочувствовал этому желанию покоя и забвения, но его не покидала какая-то грусть. Он спросил со вздохом:

— А разве вам так легко отказаться от жизни?

— Да, — спокойно ответил Леонгард. — Если бы было о чем жалеть... Но ведь жизнь так печальна и безобразна.

— Все-таки в жизни много прекрасного, — возразил Кристоф, глядя на неописуемо прекрасный закат.

— Возможно, но слишком редко оно встречается.

— Пусть редко, мне и этого достаточно.

— Ну что ж, будем рассуждать здраво. С одной стороны, немножко добра и много зла, с другой — ни блага, ни зла, а затем вечное блаженство — разве можно колебаться хоть минуту?

Кристофу не понравились эти арифметические выкладки. Столь строго разграниченная жизнь казалась ему чересчур убогой. Однако он попытался убедить себя, что именно в этом высшая мудрость.

— Значит, — спросил он не без иронии, — вы не боитесь, ничуть не боитесь, что вас может соблазнить какое-нибудь, пусть минутное, удовольствие?

— Какая нелепость! Ведь я же знаю, что это лишь минута, час, а впереди вся вечность.

— Выходит, вы так уж уверены в этой вечности?

— Ну, конечно.

Кристоф продолжал свой допрос. Он весь трепетал от желания и надежды. Ах, если бы Леонгард мог дать неопровержимые доказательства в пользу веры. С каким восторгом отказался бы он от этого мира и последовал бы за Леонгардом по стезе господней!

Сначала Леонгард, гордый своей ролью апостола, решил, что Кристоф сомневается лишь для виду и при первых же веских доводах, как человек тактичный, уступит. И юный проповедник стал щедро сыпать цитатами из священных книг, ссылаясь на евангелие, на чудеса, на предания. Но он недовольно нахмурился, когда Кристоф, послушав внимательно несколько минут, вдруг невежливо прервал его и заявил, что так говорить — значит отвечать вопросом на вопрос, он же вовсе не просит рассуждать о предмете его сомнений, а просит лишь помочь ему найти способ разрешить сомнения. Леонгард вынужден был признать, что Кристоф заражен неверием сильнее, нежели можно было думать, — иначе он не стал бы требовать от своего собеседника убеждения с помощью разума. Однако, по мнению Леонгарда, Кристоф просто разыгрывал вольнодумца (Леонгард и представить себе не мог, что существуют убежденные вольнодумцы). А потому он не отчаялся и во всеоружии недавно приобретенных сведений, призвав на помощь всю школьную премудрость, выложил перед Кристофом — в полном беспорядке, но зато с немалой авторитетностью — весь свой багаж: посыпались метафизические доказательства существования бога и бессмертия души. Кристоф, весь напрягшись, мучительно наморщив лоб, вникал в речи Леонгарда, стараясь переварить предла-

гаемую юным проповедником пищу: просил повторить отдельные слова, добросовестно пытался вникнуть в их смысл, впитать их в себя, не упускал ни одного звена в цепи рассуждений. Вдруг он взорвался, заявил, что над ним просто насмеются, что все это пустая игра ума, шуточки краснобаев, которые выдумывают себе на утеху громкие слова и радуются, что слова эти что-то значат. Леонгард обиженно возразил, что он ручается за добросовестность цитируемых им авторитетов. Кристоф пожал плечами и чертыхнулся: эти авторитеты либо шарлатаны, либо проклятые писаки, а ему лично требуются другие доказательства.

Когда остолбеневший Леонгард убедился, что Кристоф бесповоротно одержим неверием, он потерял всякий интерес к спору. Он вспомнил, что им советовали не терять золотого времени на убеждение неверующих, по крайней мере когда те упорствуют в своем неверии. Чего доброго сам впадешь в соблазн, не принеся пользы другому. Лучше предоставить такую заблудшую душу попечениям господа бога, который и просветит несчастного, если будет на то его милость; а ежели нет, кто же осмелится идти против воли божией? Таким образом, Леонгард отнюдь не горел желанием продолжать богословский спор. Он только ласково заметил, что сейчас всякие разговоры бесполезны, никакими убеждениями не выведешь на правильный путь того, кто не желает видеть, и что надо молиться, взывать о благодати, ибо только благодать может дать спасение; и надо желать спастись: чтобы верить, надо хотеть этого.

«Хотеть! — горько думал Кристоф. — Итак, бог существует только потому, что я хочу, чтобы он существовал! Значит, смерти не существует, потому что я желаю ее отрицать! Увы! Как легка жизнь тому, кто не испытывает потребности видеть истину, тому, кто умеет видеть ее такой, какую пожелает, и строит для себя удобные иллюзии — прибежище сладких снов». Но на таком ложе — Кристоф это твердо знал — он лично никогда не заснет...

А Леонгард продолжал говорить. Он перешел на свою излюбленную тему — о прелестях жизни созерцательной и, заняв эту безопасную позицию, стал поистине

неистошим. Монотонным, дрожащим от удовольствия голосом он рассказывал о радости жизни в божестве, жизни за пределами этого мира, над ним, вдали от шума, о котором он вдруг заговорил с неожиданной ненавистью (он ненавидел шум не меньше, чем Кристоф), в иной сфере, где нет насилия, нет насмешек, нет жалких бед, от коих здесь страдаешь каждодневно, где можно укрыться в теплом и надежном гнездышке веры, откуда мир человеческой скорби предстает таким далеким и чужим. Слушая его речи, Кристоф понимал, как пропитана эгоизмом эта вера. Леонгард что-то заподозрил и поспешил пояснить свои слова. Он, мол, имеет в виду жизнь созерцательную, но отнюдь не бездеятельную. Ведь молитва куда деятельнее любого действия, без молитвы — что случилось бы с нашим миром? Молящийся искупает грехи ближних, берет на себя все бремя их заблуждений, служит им своими добродетелями, предстательствует за них перед лицом бога.

Кристоф слушал, не перебивая, но враждебное чувство к проповеднику росло в его душе. Он понимал, как лицемерен Леонгард в этом призыве к отречению. Но у него хватило справедливости признать, что не все верующие — Леонгарды. Он отлично знал, что у ничтожной кучки людей это отречение от живой жизни не что иное, как просто неспособность жить, острое отчаяние, желание умереть... и что у единиц — это страстный экстаз. (Но сколько времени длится этот экстаз — вот в чем вопрос.) В большинстве же случаев подобный отказ от жизни — результат холодного умозаключения человека, которому дороже свое собственное спокойствие, чем счастье людей или истина. И если чистые сердцем сознают это, как же должны они страдать, видя крушение своего идеала!..

А Леонгард, весь сияя от счастья, разглагольствовал теперь о красоте и гармонии мира, открывающегося с его небесной колокольни. Здесь, в сей юдоли, все — мрак, все — несправедливость, все — страдание, и все предстает оттуда светом, ясностью, порядком; мир в его изображении становился подозрительно похож на аккуратно выверенный часовой механизм...

Теперь Кристоф слушал рассеянно. Он думал: «Верит ли Леонгард на самом деле, или только верит, что ве-

рит?» Однако собственная его вера, его страстная жажда веры не поколебалась. Не дурачку вроде Леонгарда с его жалкими и пошлыми аргументами дано было смутить такого Кристофа.

Над городом спускалась ночь. Галерею, где они сидели, окутал мрак; зажглись звезды; от реки тянулся белый туман; на кладбище под деревьями трещали сверчки. Послышался благовест: прозвучал удар колокола — его пронзительная жалоба, как птичий крик, о чем-то спросила небеса; потом прозвучал другой, на терцию ниже, и присоединился к жалобе; и, наконец, рокочущей квинтой ответил последний колосол. Три голоса слились в один. Отсюда, снизу, казалось, что там, на колокольне, вдруг загудел огромный пчелиный рой. Воздух и сердце затрепетали. Удерживая дыхание, Кристоф думал, как бедна наша музыка и как несовершенна она по сравнению с этим океаном музыки, где слышатся голоса мириадов существ: здесь — целый мир дикой природы, ничем не скованный мир звуков, а там — прирученная, зажатая в рамки, холодно перенумерованная человеческим разумом музыка. И он растворился весь в этой звучащей громаде без берегов и без границ...

Когда могучее бормотанье стихло, когда последние его отзвуки угасли в небе, Кристоф очнулся. Он испуганно огляделся... И не узнал знакомых мест. Все изменилось вокруг него, в нем самом. Бога больше не было...

Часто вера и благодать осеняют человека вдруг, и так же часто, во внезапном просветлении, человек теряет веру. Разум тут ни при чем, а решает все сущий пустяк — слово, молчание, удар колокола. Человек спокойно гуляет, мечтает, не подозревая ни о чем. И вдруг все рушится разом. Кругом тебя одни развалины. Ты один. И ты не веришь более.

Испуганный Кристоф не мог понять, почему и как произошел в нем этот перелом. Так вдруг начинается весной ледоход...

А голосок Леонгарда попрежнему звучал рассудительно, однообразно, как трескотня кузнечиков. Кристоф теперь не слушал его. Совсем стемнело. Леонгард замолчал. Взглянув на неподвижную фигуру Кристофа, он удивился и, обеспокоенный тем, что они опоздают домой,

предложил вернуться. Кристоф не ответил. Леонгард взял его за руку. Кристоф задрожал всем телом и испуганно посмотрел на него.

— Кристоф, нам пора домой, — начал было Леонгард.

— Да иди ты к черту! — яростно прокричал Кристоф.

— Боже мой! Кристоф, чем же я вас обидел? — боязливо и недоуменно спросил Леонгард.

Кристоф спохватился.

— Прости меня, дружок, — сказал он более мягким тоном. — Я сам не знаю, что говорю. Иди с богом! Иди с богом!

Он остался один. Сердце его сжималось от тоски.

— Ах, боже мой! Боже мой! — воскликнул он, судорожно сжав руки, запрокинув голову и со страстной надеждой глядя в черное небо. — Почему я не верю больше? Почему я не могу больше верить? Что произошло во мне?

Слишком уж большое несоответствие было между полным крушением его веры и разговором, который произошел у него только что с Леонгардом; значит, не в разговоре тут было дело, так же как и не в Амалии с ее вечными криками, и не в странностях семейства Эйлера, — не это стало причиной тех нравственных потрясений, которые происходили в нем. Все это было лишь предлогом. Источник потрясения был не вне его, а в нем самом. Кристоф чувствовал, как со дна его души поднимаются какие-то неведомые чудища, и не имел мужества заглянуть вглубь своих собственных мыслей и в упор рассмотреть свой недуг... Недуг? Полно, разве недуг — это томление и пьянящая, сладостная тоска? Кристоф не принадлежал более самому себе. Тщетно пытался он замкнуться, застыть в своем стоицизме, который был так необоримо силен еще вчера. Все рухнуло разом. Он вдруг почувствовал, как огромен мир — пылающий, дикий, ни с чем не соизмеримый мир... и как узки для него рамки религии!..

Это был лишь краткий миг. Однако и его оказалось достаточно, чтобы нарушить равновесие прежней жизни Кристофа.

Из всей семьи старика Эйлера Кристоф меньше всего обращал или, вернее, вовсе не обращал внимания на Розу. Девушка не отличалась красотой, а Кристоф, сам не будучи красавцем, предъявлял весьма строгие требования к чужой внешности. В нем говорила невозмутимая жестокость юности, которая отказывает во всем женщине, если та некрасива — разве что она уже вышла из того возраста, когда внушают нежные чувства, и отныне к ней относиться спокойно, уважительно, почти благоговейно. Роза была неглупая, ничем не примечательная девушка, но ее болезненная болтливость обращала Кристофа в бегство. Поэтому-то он и не дал себе труда изучить ее, решив заранее, что изучать тут нечего. Он ее просто не видел.

Однако Роза была достойнее многих своих сверстниц, во всяком случае куда достойнее обожаемой Минны: не кокетка, она ничего о себе не воображала и до встречи с Кристофом даже не замечала своей некрасивости или во всяком случае мало тревожилась по этому поводу, потому что все домашние тоже не тревожились. Если иногда под сердитую руку дедушка или мать обзывали ее дурнушкой, она от души хохотала и не придавала этому никакого значения. Сколько дурнушек — порой даже совсем уж безобразных — находят человека, который любит их всей душой. Немцы вообще обладают счастливой снисходительностью к физическим несовершенствам: они умеют не видеть их, более того, умеют даже как-то приукрашать их силою услужливого воображения, которое при желании вдруг находит самое неожиданное сходство между понравившимся лицом и наиболее признанными образцами человеческой красоты.

Не стоило особого труда убедить дедушку Эйлера, что нос у его внучки, точь-в-точь как у Юноны. К счастью, старый ворчун не склонен был делать комплименты кому бы то ни было, и Роза, забывая о несовершенстве линий своего носа, все девичье самолюбие вкладывала в пресловутые домашние хлопоты, неукоснительно следуя семейным обычаям. Как божественному гласу, внимала она всем поучениям домашних. Редко встречаясь с чужими людьми, она не имела достаточно поводов для сравнений и наивно восхищалась родными, свято веря каждому их слову. Экспансивная, доверчивая,

умеющая довольствоваться малым, Роза старалась ни в чем не нарушать царившего в доме унылого тона и покорно повторяла пессимистические рассуждения родителей. А сердечко у нее было на редкость преданное — Роза думала только о других, старалась угодить каждому, разделить с каждым его горе, угадывала чужие желания — так велика была в ней потребность любить, не помышляя о взаимности. Естественно, что близкие злоупотребляли этой ее склонностью, хотя вообще-то люди они были добрые и безусловно любили Розу, — все мы склонны злоупотреблять любовью того, кто всецело отдает нам себя. Все Эйлеры были так уверены в неизменной услужливости Розы, что даже не испытывали к ней особенной благодарности, — чем больше Роза делала для других, тем больше от нее ждали. К тому же она не отличалась ловкостью, движения ее были неуклюжие, быстрые, ухватки резкие, почти мальчишеские, а бурные изъятия нежности обычно вели к катастрофам. То разбивался стакан, то падал графин, то слишком громко хлопала дверь, и каждая оплошность со стороны Розы вызывала негодование всех домашних. Огорченная грубым окриком, девочка забивалась куда-нибудь в угол и горько плакала. Но слезы быстро высыхали на ее глазах, через минуту она снова весело смеялась и болтала с обидчиком, не помня зла.

Переезд Крафтов к ним на квартиру стал для нее важным событием. Она и раньше часто слышала разговоры о молодом музыканте. Имя Кристофа вообще охотно поминалось городскими сплетниками: это была своего рода маленькая местная слава; упоминалось его имя и в их домашнем кругу, особенно когда был еще жив дедушка Жан-Мишель, который, гордясь внуком, во время своих визитов к знакомым пел хвалы его таланту. Два или три раза девочку водили на концерты юного музыканта. Когда она узнала, что Кристоф поселится у них, она от радости даже в ладоши захопала. Но, строго одернутая за непристойные манеры, совсем смешалась. Ничего дурного ведь она не подумала. Просто появление нового человека в их монотонной жизни было нечаянной радостью. В дни, предшествовавшие переезду Крафтов, она жила в лихорадочном состоянии. Ее охва-

тил страх, что Крафтам у них не понравится, и она старалась поэтому изо всех сил привести квартиру в наиболее привлекательный вид. В знаменательное утро переезда она даже поставила на камине маленький букетик, что означало «добро пожаловать». Зато даже не подумала прихорашиваться, и с первого же взгляда Кристоф заметил, что юная особа дурна собой и безвкусно одета. Сама Роза вынесла о Кристофе иное суждение, хотя к этому имелось мало оснований, ибо Кристоф, озабоченный, исхудалый, давно нестриженный, был еще менее красив, чем обычно. Но Роза, не способная плохо подумать о ком бы то ни было, Роза, почитавшая деда, отца и мать совершенством красоты, не преминула увидеть Кристофа таким, каким хотела его видеть, и восхитилась им от души. Сидя с ним рядом за столом, она не знала, куда деться от смущения, но, к несчастью, смущение ее выражалось в потоках слов, что сразу же лишило ее симпатии Кристофа. Сама Роза не заметила этого, и первый их совместный ужин стал для нее лучезарным воспоминанием. Сидя у себя в спальне после ужина, она прислушивалась к шагам новых жильцов, доносившимся сверху, и каждый шаг радостно отдавался в ее сердце; их дом теперь словно ожил.

На следующий день Роза впервые в жизни посмотрелась в зеркало с каким-то тревожным вниманием. Она еще не отдавала себе отчета в том, сколь велико ее несчастье, но почувствовала что-то недоброе. Разглядывая в зеркале свои черты, она пыталась увидеть себя со стороны, но это не удавалось, и тревога ее не проходила. Тогда, глубоко вздохнув, она решила хоть чем-нибудь украсить свой обычный наряд. Но от этого стала только еще некрасивее. И тут ей пришла в голову злополучная мысль покорить Кристофа своей неутомимой предупредительностью. По наивности она решила видаться с жильцами как можно чаще и быть им приятной, для чего она целый день бегала взад и вперед по лестнице, приносила какие-то ненужные им вещи, назойливо предлагала свои услуги и помощь — и все это со смехом, криками, болтовней. Только нетерпеливый окрик Амалии, звавшей дочь, мог положить конец ее неумеренному рвению и столь же неумеренной болтовне. Кристоф сидел насу-

пившись; если бы не принятое заранее решение, он бы уже давно взорвался. Так прошло два дня, а на третий он не выдержал и заперся у себя наверху. Роза стучалась, звала; наконец, пристыженная, она спустилась вниз и не возобновляла больше своих попыток. При встрече Кристоф объяснил Розе, что у него была срочная работа, от которой он не хотел отрываться. Девочка смиренно попросила прощения. Она не могла не видеть, как неудачны ее невинные авансы: они возымели обратное действие, отдалили от нее Кристофа. А он уже не давал себе труда скрывать свою досаду, не дослушивал обращенной к нему фразы, явно выказывая нетерпение. Роза сама чувствовала, что болтовня ее раздражает Кристофа, и ей удавалось иногда усилием воли промолчать почти весь вечер; но такой искус был ей не по силам: она вдруг срывалась, слова лились из ее уст еще более неудержимым потоком, чем обычно, а Кристоф вставал посреди ее разглагольствований и уходил. Роза не сердилась на Кристофа. Она сердилась на самое себя. Она с ужасом упрекала себя в глупости, назойливости, в неуклюжести; каждый недостаток вырастал в ее глазах до размеров преступления, ей страстно хотелось побороть свои слабости, но, обескураженная неудачей первых попыток, она твердила про себя, что все равно ничего не получится, что она не сумеет. И тем не менее снова и снова начинала борьбу.

Но имелись еще и другие недостатки, против которых Роза была бессильна. Как, например, быть с уродством? Ибо теперь уж она не сомневалась, что некрасива. Уверенность эта пришла к ней вдруг, внезапно, когда, глядясь в зеркало, она уразумела свое несчастье; это было, как удар грома среди ясного неба. Естественно, что девочка еще и преувеличивала свою беду — нос казался ей в десять раз больше своего настоящего размера: по ее мнению, на всем лице только и виден был этот нос и больше ничего; она не осмеливалась теперь даже попадаться на глаза Кристофу. Ей хотелось умереть. Но юность обладает таким неисчерпаемым запасом надежд, что эти приступы отчаяния длились недолго. Роза тут же попыталась убедить себя, что она ошибается, и временами ей начинало казаться, что нос у нее самый обыкновенный и даже довольно красивый. Тогда, по наитию,

она стала придумывать — правда, довольно неудачно — разные ребячьи хитрости: например, начесывала волосы низко на лоб, чтобы не так выделялся и не так бросался в глаза непропорционально крупный нос. Но делала она это без всякого кокетства; ни разу мысль о любви не мелькнула в ее мозгу, а если и мелькнула, то втайне от самой девочки. Ведь Роза просила так мало — немножко участия, но и эту малость Кристоф, по всей видимости, был не расположен ей подарить. Розе казалось, что она была бы на вершине блаженства, если бы Кристоф при их случайных встречах ласково пожелал ей «доброго утра» или «спокойной ночи». Но взгляд Кристофа был обычно так строг, так холоден, что Роза вся внутренне сжималась. Кристоф не говорил ей ничего невежливого или неприятного; но ей, бедняжке, любые упреки были бы милее жестокого молчания.

Вечерами Кристоф усаживался за рояль и играл. Он поселился в маленькой, узкой комнатке под самым чердаком, чтобы хоть немножко защититься от постоянного шума. А внизу Роза, задыхаясь от волнения, слушала его игру. Она любила музыку, хотя вкус у нее был отвратительный; да и кто заботился о воспитании ее вкуса? Если Амалия сидела тут же, Роза устраивалась в уголке столовой, низко склонившись над шитьем. Но вся ее душа устремлялась к звукам, которые шли сверху, и жадно ловила их. Однажды, когда Амалия вышла из комнаты, призываемая неотложными хозяйственными делами, Роза вскочила с места, бросила работу и с замирающим сердцем поднялась на верхнюю площадку лестницы. Там, затаив дыхание, она припала ухом к двери и продолжала стоять так до тех пор, пока Амалия не вернулась в столовую. Тогда, осторожно ступая, на цыпочках, чтобы случайно не стукнуть, не зашуметь, Роза принялась было спускаться с лестницы, но по обычной своей неловкости — да еще в спешке — чуть не скатилась вниз. В другой раз, когда она слушала игру Кристофа, наклонившись всем телом вперед и прижавшись щекой к замочной скважине, она вдруг поскользнулась и ударилась лбом о косяк. От растерянности и отчаяния она чуть не упала в обморок. Игра разом смолкла, но у Розы даже не хватило сил спастись бег-

ством. И когда дверь распахнулась, она успела лишь выпрямиться и застыть в неподвижности. Кристоф метнул на нее испепеляющий взгляд, потом в полном молчании невежливо оттолкнул девочку, яростно стуча каблуками сбегал вниз по лестнице и вышел из дому. Вернулся он только к обеду и не обратил никакого внимания на Розу, словно ее и в комнате не было, — не заметил ее отчаянных взглядов, вымаливавших прощение. В течение нескольких недель он ни разу не подошел к роялю. Роза втихомолку оплакивала свое преступление; никто не видел ее горя, никому не было до нее дела. Девочка горячо молила бога... О чем? Она и сама не знала. Просто ей необходимо было кому-то поверить свою печаль. Она была убеждена, что Кристоф ее ненавидит.

И все же она не теряла надежды. То ей казалось, что Кристоф пристально посмотрел на нее, то — прислушался к ее словам, то — пожал ей руку теплее, чем обычно, и таких пустяков ей было достаточно...

К тому же несколько фраз, которыми родители неосторожно обменялись в ее присутствии, направили мысли девочки на ложный путь.

Старик Эйлер и его семья питали к Кристофу искреннюю симпатию. Шестнадцатилетний мальчик, серьезный и замкнутый, имевший самые возвышенные представления о своем долге, внушал им даже известное уважение. А в таком доме, как их, гневные вспышки Кристофа, упорное молчание, хмурый вид и неловкие манеры никого не удивляли. Даже сама г-жа Фогель, которая всех людей, причастных к искусству, обзывала бездельниками, — даже она, при всей своей напористости, не осмеливалась, как ей подчас ни хотелось, упрекнуть Кристофа в этом смертном грехе — безделье, когда вечерами он без всякой цели торчал у окна в своей комнатухе и до поздней ночи глядел во двор, перевесившись через подоконник. Она знала, что весь день, с самого раннего утра, мальчик бегаёт по урокам, и не трогала его, — так же как и другие члены семьи, — лелея про себя некий план, который все домашние одобряли, хотя и не говорили о нем вслух,

Роза не раз замечала, что, когда она беседует с Кристофом, родители ее обмениваются многозначительными взглядами и о чем-то таинственно шушукуются. Сначала девочка не придавала этому никакого значения. Потом ее заинтересовало столь странное поведение, но причины спросить она не смела.

Как-то вечером Роза подвязывала веревку для белья и, прыгая с садовой скамейки, оперлась на плечо Кристофа. В эту минуту взгляд ее упал на деда и отца, которые сидели у порога, покуривая трубочку. Оба обменялись выразительным взглядом, и Юстус Эйлер сказал вполголоса зятю:

— А недурная получилась бы парочка.

Но, почувствовав резкий удар в бок, — это Фогель, заметив, что Роза прислушивается к их разговору, ткнул свекра локтем, — дедушка весьма ловко (так по крайней мере ему казалось самому) вышел из положения: он закашлял столь оглушительно, что, несомненно, должен был бы привлечь внимание любого прохожего на двадцать шагов в окружности. Но Кристоф, стоявший к мужчинам спиной, ничего не заметил. Роза же в смятении чувств песторожно спрыгнула на землю и подвернула ногу. Она непременно упала бы, если бы Кристоф, проклиная в душе ее вечную неуклюжесть, не подхватил девочку. Розе было очень больно, но она даже виду не показала: она не думала о подвернувшейся ноге, а думала только об услышанных словах. С трудом она поднялась к себе; каждый шаг причинял ей ужасную боль, но она крепилась, боясь, как бы родители не пристали к ней с расспросами. Всю ее пронизало какое-то радостное волнение. Доковыляв до своей комнаты, она уселась на стул, стоявший в ногах кровати, и уткнулась лицом в одеяло. Щеки ее горели, на глазах были слезы, а из груди рвался неудержимый смех. Ей было стыдно, ей хотелось спрятаться куда-нибудь, мысли разбегались, в висках стучало, мучительно ныла лодыжка. Ее лихорадило и в то же время охватывало какое-то блаженное оцепенение. До слуха Розы доносились обычные шумы, крики детей, игравших на улице, но она слушала их рассеянно, в ее ушах звучали слова деда, дрожь еще усилилась; Роза

беззвучно смеялась, она молилась, она благодарила, она надеялась, она боялась чего-то — она любила.

Мать позвала ее. Роза попыталась встать. При первых же шагах она почувствовала такую непереносимую боль, что чуть не лишилась сознания. Голова закружилась. Девочка решила, что умирает; ей и хотелось умереть и в то же время всеми силами души, всем своим юным существом хотелось жить, — жить ради обещанного ей счастья. Не дождавшись Розы, мать вошла к ней в комнату, и сразу же в доме начался переполох. Первым делом виновница происшествия получила положенный строгий выговор, затем ногу забинтовали, девочку уложили в постель; физическая боль и переполнявшая душу радость отзывались во всем теле сладостным замиранием. Незабываемая ночь! Так хорошо ей было бодрствовать, что воспоминание об этих чудесных часах осталось для Розы священным. Она не думала о Кристофе, она вообще не могла бы сказать, о чем думала. Она была просто счастлива.

Наутро Кристоф, который считал себя отчасти виноватым в неловком прыжке Розы, зашел к ней справиться о здоровье; впервые он говорил с ней почти ласково. Как же Роза была признательна, как благословляла свою боль! Ей хотелось болеть всю жизнь, чтобы всю жизнь испытывать такую радость. Несколько дней Розе пришлось пролежать в постели, и все эти дни она на сотни ладов обдумывала слова дедушки и подвергала их сомнению, ибо у нее появились сомнения. Ведь неизвестно, что сказал дедушка:

— Получится.

Или:

— Получилась бы.

Да и мог ли он сказать такую вещь? Нет, сказал, она сама слышала... Да что это они! Неужели же они не видят, какая она уродка, не видят, что Кристоф терпеть ее не может... Но так хорошо было надеяться! Иногда Роза убеждала себя: а вдруг она ошиблась и вовсе не такая некрасивая, как ей кажется. Она приподымалась на стуле, стараясь рассмотреть себя в зеркале, висящем напротив, над камином, и уже окончательно ничего не понимала. Дедушке и папе виднее, чем ей; ведь никто не может беспристрастно судить о своей внешности... Гос-

поди боже, а вдруг это возможно... А вдруг окажется — случайно окажется — что она хорошенькая и даже сама об этом не знает!.. А может быть, она преувеличивает неприязнь Кристофа... Правда, равнодушный к Розе Кристоф, так мило беседовавший с нею на следующий день после рокового прыжка, больше не думал об этом случае и забывал справиться о здоровье Розы, но Роза все прощала — ведь он так занят! Где ему заботиться еще и о ней? Нельзя же подводить под общую мерку артиста, ведь он не такой человек, как прочие...

Однако при всей своей безропотной покорности Роза ждала, ждала с замиранием сердца хоть одного ласкового слова от Кристофа, равнодушно проходившего мимо. Одно-единственное слово, один-единственный взгляд! А воображение уже дорисует все остальное. Чем только не обходится любовь при своем зарождении! Достаточно одного взгляда на любимое существо, случайного прикосновения, и такой силы мечта подымется в молодой душе, что она сама, без вмешательства извне, сумеет творить свою любовь; пустяк, ничто погружает ее в восторги, которые — увы! — вряд ли повторятся позже, когда она овладеет, наконец, тем, к чему стремилась, и, познав удовлетворение, становится требовательнее. И Роза жила романом, созданным ею от начала до конца: Кристоф ее любит и не смеет в этом признаться по робости или по какой-то другой пустячной причине — романтической или романической, в зависимости от того, какая пища требуется воображению семнадцатилетней глупенькой гусыни. На этой канве Роза без конца вышивала истории, одну нелепее другой. Она видела всю их нелепость и не хотела видеть; склонясь над рукодельем, она с каким-то сладострастием лгала себе. Она даже разучилась болтать: весь неиссякаемый поток слов ушел вспять, подобно тому как воды реки вдруг уходят под землю. Но там, в глубине души, он с избытком брал свое. Какой разгул диалогов, немых разговоров, которых никто не слышал кроме нее одной! Иногда губы ее шевелились — так люди, желая лучше понять прочитанное, порой произносят какое-нибудь слово про себя по слогам.

А когда мечта вдруг иссякала, Роза чувствовала себя счастливой и грустной. Она отлично знала, что все не

так, как она только что рассказывала себе; но в ней продолжал теплиться огонек счастья, и она снова начинала верить в жизнь. Она надеялась завоевать сердце Кристофа.

И, не отдавая себе в этом отчета, Роза стала действовать. Безошибочный инстинкт, который дается настоящим чувством, помог неуклюжей и неискушенной девочке найти пути, ведущие к сердцу друга. Роза не обращалась теперь прямо к Кристофу. Но, встав с постели и начав бродить по дому, она решила сблизиться с Луизой. Она пользовалась любым предлогом. Оказывала матери Кристофа десятки мелких услуг. Всякий раз спрашивала, не нужно ли купить чего новой жилище; мало-помалу она стала ходить вместо Луизы на рынок, торговалась с молочником, приносила ей воду из колодца, даже помогала по хозяйству: мыла лестницу, натирала паркет, и все это, несмотря на горячие протесты Луизы. Как ни совестно было Луизе, что она без посторонней помощи не может справиться со своими прямыми обязанностями, она была вконец измучена и не имела сил противиться. Кристофа целыми днями не было дома; Луиза страдала от одиночества, и общество этой любезной, шумливой девушки доставляло ей искреннюю радость. Роза чуть ли не переселилась к Крафтам. Она приходила к Луизе со своим рукодельем, и обе болтали не переставая. Девушка с наивной хитростью старалась перевести разговор на Кристофа. Говорить о Кристофе, даже слышать его имя было для нее счастьем; руки у нее начинали дрожать, она боялась поднять глаза. А Луиза — в восторге, что может говорить о своем ненаглядном сыне, — рассказывала одну за другой смешные и пустяковые случаи из его детства — пустяковые, но только не для Розы. Девушка с радостью и несказанным волнением представляла себе Кристофа маленьким карапузиком, со всеми его ребяческими шалостями и выдумками; к материнской нежности, которая живет в сердце каждой женщины, примешивалась другая нежность, и она смеялась от всей души или утирала глаза. Луизу трогало внимание Розы. Она смутно догадывалась о том, что происходит в душе этой девушки, и, не показывая виду, испытывала истинное удовольствие: она одна из всех обитателей дома знала,

какое это чистое сердце. Иногда, посреди рассказа, Луиза умолкала и смотрела на Розу, а та, удивленная внезапным молчанием, поднимала глаза от рукоделья. Луиза улыбалась. С неожиданной страстью Роза бросалась ей на шею, прятала на ее груди свое раскрасневшееся личико. Потом обе чинно брались за работу, и снова начинался разговор, словно ничто его и не прерывало.

Вечерами, когда Кристоф приходил домой, Луиза, исполненная благодарности к Розе, не уставала расхваливать молоденькую соседку — у Луизы тоже был свой незамысловатый план. Кристофа трогала доброта Розы. Он видел, что общество ее приятно Луизе, что лицо матери мало-помалу начинает светлеть, и он горячо благодарил Розу. Она же что-то бормотала в ответ и убегала, желая скрыть волнение, — в эти минуты она казалась Кристофу в сотни раз умнее и привлекательнее, чем когда пускалась в длинные разговоры. Он глядел теперь на нее менее предубежденным оком и с нескрываемым удивлением обнаруживал в ней те качества, о которых и не подозревал раньше. Роза заметила это; она поняла, что Кристоф относится к ней с все большей и большей симпатией, и надеялась, что симпатия эта приведет к любви. Как никогда, отдавалась она своим мечтаниям. С великолепной самонадеянностью юности она почти верила, что если чего-нибудь сильно желаешь, оно непременно сбудется. Впрочем, чем уж так безрассудны были ее желания? Почему Кристоф должен быть менее, чем любой другой, чувствителен к доброте, к ласковой заботе, оказываемой на каждом шагу?

А Кристоф не думал о Розе. Он уважал Розу, но она не занимала в его мыслях ни малейшего места. В те дни его мучило другое. Кристоф уже не был Кристофом. Он не узнавал самого себя. В его душе свершалась грандиозная работа, которая должна была все перевернуть и все разметать.

Кристоф ощущал какую-то усталость и крайнее беспокойство. Он был весь словно разбит, хотя явных причин к этому не имелось: подымался с постели с тяжелой головой, все чувства были напряжены, как звенящая

струна, — все, вплоть до слуха и зрения. Невозможно сосредоточиться на чем бы то ни было. Мысль перепрыгивает с предмета на предмет — утомительно, как в бреду. Это непрерывное мелькание образов доводило Кристофа до головокружения. Сначала он приписывал все это весне, которая всегда вызывала у него чрезмерную усталость и нервную раздражительность. Но прошла весна, а его болезненное состояние только усилилось.

Это было то, что поэты, которые касаются всего легко и изящно, называют: одни — треволнениями юности, другие — томлением Керубино или пробуждением любовных желаний в теле и сердце отрока. Как будто можно свести к пустым словам тот страшный кризис, от которого раскалывается на части, умирает все молодое существо и рождается вновь; как будто можно определить так детски-наивно этот катаклизм, где всё — вера, мысль, действие, сама жизнь словно перестают существовать и вновь воскресают в ином качестве, пройдя сквозь корчи муки и радости.

И тело и дух Кристофа были в непрестанном брожении. Сам он, не имея сил сопротивляться, смотрел на себя с любопытством и отвращением. Он не понимал, что происходит с ним. Все его существо распадалось. Дни проходили в удручающем отупении. Работа стала пыткой. А ночью — тяжелые сны, без конца и начала, уродливые видения, первые ростки желания; зверь, сидевший в его душе, неистовствовал. Весь в поту, сжигаемый внутренним огнем, Кристоф со страхом приглядывался к себе. Он пытался стряхнуть нечистые и безумные мысли, с ужасом думал: уж не сумасшествие ли это? Наступал день, но и день не приносил защиты от зверя, завладевшего его мыслями. Словно где-то там, в самых скрытых тайниках души, прорвало плотину и не за что было ухватиться, не из чего было воздвигнуть преграду хаосу. Вся броня, все крепости, надежно защищавшие доселе Кристофа крепким кольцом стен — его бог, его искусство, его гордыня, его нравственная вера, — все отваливалось кусками. Кристофу казалось, что он, обнаженный, связанный, лежит и не в силах пошевелиться, как труп, кишачий червями. Временами он сжимал кулаки, с возмуще-

нием вопрошал себя, куда девалась его воля, которой он так кичился. Тщетно призывал он ее; так, ночью человек, хотя и знает, что все это только сон, делает усилия, чтобы проснуться, и жаждет пробуждения, но безуспешно: один свинцово-тяжелый сон сменяется другим, и только сильнее задыхается скованная душа. Под конец он решил не мучиться и не бороться. Он подчинился своей участи с равнодушным и унылым фатализмом.

Он видел, что мерное течение его жизни нарушилось. То он весь целиком проваливался в подземные трещины, то яростными скачками подымался на поверхность. Цепь дней распалась. Среди гладкой равнины времени вдруг открывались зияющие бездны, грозившие поглотить его без остатка. Кристоф смотрел на все это глазами постороннего зрителя. Все и вся, да и сам он стали ему чужими. Он попрежнему ходил по делам, выполнял свои обязанности, но бездумно, как автомат: ему казалось, что вот-вот сейчас остановится машина его жизни — механизм пришел в негодность. Сидя за столом бок о бок с матерью и со своими домохозяевами, или в оркестре, среди музыкантов, или перед публикой, он вдруг ощущал какую-то пустоту; изумленно глядел он на окружающих, на их неестественно гримасничающие лица и ничего не понимал.

«Какое отношение, — думалось ему, — имеют эти люди...»

Он не смел добавить:

«ко мне?»

Он не знал, существует ли он вообще. Когда он говорил, ему казалось, что это говорит кто-то другой. Он двигал рукой, переставлял ноги — и видел свои движения издали, словно глядел сверху, с высокой башни. В полной растерянности он проводил ладонью по лбу. Казалось, еще минута, и он совершит что-то непонятное и странное.

Особенно часто овладевало им такое состояние, когда он бывал на людях и приходилось вдвойне следить за собой. В частности, вечерами, когда он в замке должен был играть перед герцогом. Его вдруг охватывала непреодолимая потребность сделать уродливую гримасу, сказать какую-нибудь ужасную глупость, схватить за нос самого герцога или ударить ногой под зад какую-нибудь

важную даму. Как-то раз, дирижируя оркестром, он с трудом поборол в себе желание раздеться на глазах у всей публики; и чем больше он старался прогнать эту нелепую мысль, тем настойчивее она возвращалась к нему; он напрягал всю волю, чтобы не поддаться наваждению. Он победил в этой идиотской борьбе, но пришел домой весь мокрый от пота и с пустой головой. Он становился просто сумасшедшим. Стоило ему подумать, что нельзя делать того-то и того-то, как желание сделать именно это овладевало им, доводило до безумия своим упорством, становилось манией.

Так проходила его жизнь в непрерывной смене безумных порывов и провалов в пустоту. Яростный вихрь над пустыней. Откуда налетали эти вихри? Откуда шло это безумие? Из какой темной бездны выползали эти желания, сводившие судорогой все тело и мозг? Кристоф был словно лук, и чья-то жестокая рука натягивала и натягивала хрупкое полукружие — для чего, зачем? — грозя разломить его и тут же отбросить, как щепку. Чей он стал добычей? Кристоф не осмеливался додумать до конца этот вопрос. Он чувствовал себя побежденным, униженным и боялся убедиться в своем поражении. Он устал, он трусил. Теперь он понял тех, кого так презирал раньше, — людей, не желающих видеть стеснительной правды. В эти часы провалов, граничивших с небытием, когда память услужливо рисовала зря проходившие дни, заброшенную работу, загубленное будущее, он ледел от ужаса. Но, леденя, продолжал бездействовать; и тогда с каким-то отчаянием утверждался в небытии, а малодушие подсказывало ему десятки оправданий; с горькой усладой он отдавался этому ощущению, как обломок корабля — прибою. К чему бороться? Ведь нет ничего, совсем ничего — ни красоты, ни добра, ни бога, ни жизни, ничего живого. Когда он шагал по улицам, ему вдруг не хватало даже земли под ногами: все исчезало — и земля, и воздух, и свет; исчезал он сам. Он чуть не падал, ему казалось, что голова перевешивает и он вот-вот стукнется лбом о землю — упадет в пропасть. Он думал, что это смерть, внезапная, молниеносная. Он думал, что он уже мертв...

Кристоф менял кожу. Кристоф менял душу. И, видя сброшенную душу, сносившуюся и ненужную, душу его детства, он не знал еще, что в нем зреет новая душа — молодая и мощная. Подобно тому как человек меняет телесную оболочку, так же в течение жизни меняет он и душу; и превращение это не всегда совершается медленно, день за днем; бывают такие часы, такие кризисы, когда все обновляется в единое мгновение. Повзрослев, мы меняем душу. Прежняя оболочка умирает. В эти часы тоски и страха человеческое существо считает, что всему пришел конец. А все только начинается. Умирает одна из жизней. И уже родилась новая.

Как-то ночью Кристоф сидел в своей комнатухе, опершись локтями о стол, освещенный скудным огоньком свечи. Он сидел спиной к окну. Он не работал. Теперь по целым неделям он не мог работать. Мысли беспорядочно кружились в голове. Все стояло под вопросом: религия, мораль, искусство, сама жизнь. И в этом всеобъемлющем разброде мыслей — ни порядка, ни системы. Кристоф набрасывался на книги, обнаруженные в пестрой и случайно подобранной библиотеке дедушки и Фогеля; читал книги по теологии, научные труды, философию, ничего не понимал в этих разрозненных томиках — всему надо было учиться с азов; не прочитав до конца ни одной книжки, он заблудился среди туманных разглагольствований и бесконечных отступлений, от которых оставались только усталость и смертельная тоска.

Так и в этот вечер он сидел в изнурительном отупении. Все в доме спали. Окно его комнаты было открыто. Ни дуновения ветерка. Темные тучи сдавливали небосвод. Кристоф без мысли глядел на свечку, догорающую в подсвечнике. Он не мог заставить себя лечь. Не думал ни о чем. Он чувствовал, как это небытие становится поистине бездонным; старался не видеть бездны, грозившей его поглотить, и невольно склонялся над нею, погружал взоры в темные ее глубины. Там, в пустоте, шевелился сам хаос, громоздился мрак. Кристофа охватил ужас, по спине прошла дрожь, кожа покрылась пупырышками, как от холода, он вцепился в край стола, чтобы

не упасть. Это было мучительное ожидание того, что не имело имени — какого-то чуда, бога...

Вдруг словно раскрылись шлюзы, и на улице, за его спиной, хлынули потоки воды, застучали тяжелые, щедрые, прямые струи. Неподвижный воздух дрогнул. Сухая и твердая земля зазвенела, как колокол. И могучие животные запахи пышущей жаром земли, аромат цветов, плодов, влюбленной плоти завладел всем в яростном и упоительном порыве. Кристоф, почти галлюцинируя, напрягся всем телом, чувствуя, как содрогаются его внутренности. Он затрепетал... Завеса разодралась. Ослепительный свет! При блеске молнии в глубине ночи он увидел бога, он стал богом. Бог был в нем самом. Он разбил потолок комнатухи, стены дома; подались тесные оковы человеческого существа: он заполонил все небо, всю вселенную, небытие. Мир хлынул из него водопадом. В ужасе и восторге от этого крушения Кристоф падал тоже, уносимый ураганом, который дробил и сметал, как соломинки, все законы природы. Он с трудом переводил дыхание, он опьянел от этого низвержения в пределы бога... Бог — бездна! Бог — пропасть! Костер бытия! Ураган жизни! Все безумие жизни, без цели, без узды, без смысла, ради исступленного желания — жить!

Когда приступ миновал, Кристоф заснул глубоким сном. Так сладко и спокойно он не спал уже давно. Утром у него кружилась голова, весь он был вялый, разбитый, словно выпил накануне. Но в глубине сердца все еще мерцал отблеск мрачного и могучего света, который опалил его вчера. Он попытался раздуть этот пламень. Тщетно. И чем больше он старался, тем меньше это ему удавалось. Он всеми силами стремился оживить раз промелькнувшее видение. Беспольные попытки. Восторг не откликался на призыв воли.

Все-таки за этим приступом мистического бреда следовали и другие; правда, никогда не достигали они такой силы, как в первый раз. И приходили они тогда, когда Кристоф уж никак не ждал их появления; краткий миг, такой краткий, такой внезапный, не успеешь поднять глаза, протянуть руку — и видение исчезало, прежде чем

Кристоф мог опознать его; и он недоуменно спрашивал себя: да уж не сон ли это? В тот раз ночью горел ослепительным светом метеор, а теперь по следу его пролетала светящаяся пыль, пробегали крохотные огоньки, такие быстрые и маленькие, что глаз не успевал проследить их бег. Но появлялись они все чаще и чаще; и, наконец, они окружили Кристофа кольцом неугасимых, но нечетких мечтаний, ускользавших от сознания. Все, что могло отвлечь от этой полуяви, полубреда, раздражало Кристофа. Работа не шла на ум. Общество людей было ему отвратительно, и в первую очередь — общество самых близких, даже родной матери, потому что они предъявляли больше прав на его душу.

Он уходил теперь на целые дни и возвращался домой только поздно ночью. Он жаждал одиночества полей, чтобы в тишине всласть упиться своими грезами, подобно тому как маньяк, одержимый навязчивой идеей, во всем видит помеху своей мании. Но вольный воздух омывал его грудь, нога чувствовала упругость земли, и наваждение проходило, мысли, до этой минуты неотвязные, как призраки, вдруг обретали ясность. Возбуждение его не улеглось, скорее даже росло; но теперь это был уже не бред, опасный для ума, а здоровое опьянение всего существа, тела и души, обезумевших от прилива новых сил.

Кристоф снова открывал мир, словно никогда и не видел его раньше. Опять начиналось детство. Ему чудилось, что волшебный глас изрек: «Сезам, откройся!» Природа пламенела ликуя. Солнечные лучи вскипали. Расплавленные небеса прозрачной рекой текли куда-то. Земля стонала и дымилась в сладострастье. Растения, деревья, насекомые, мириады живых существ были словно сверкающие языки великого огня жизни, который, клубясь, подымается ввысь. Все и вся испускало крики радости.

И эта всеобщая радость становилась радостью Кристофа. И эта сила становилась его силой. Он не отделял себя от всего сущего. До сего времени, даже в безмятежные дни детства, когда он смотрел на все окружающее с жадным и восторженным любопытством, живые существа казались ему маленькими, замкнутыми мирами,

страшными или смешными, но не имеющими к нему, Кристофу, никакого отношения и совсем непонятными. Мальчик почти не верил тогда, что они тоже чувствуют, живут, что это не просто какие-то странные механизмы; с беспечной жестокостью ребенка отрывал он ножки или крылышки у несчастной мухи, не думая даже о том, страдает она или нет, — просто из удовольствия видеть, как она корчится. Однажды дядя Готфрид, обычно такой невозмутимый и спокойный, не выдержал этого зрелища и с негодованием вырвал из рук Кристофа несчастную стрекозу. Мальчик сначала пытался смеяться, но, заразившись дядиным волнением, горько заплакал: он начал понимать, что его жертва действительно живая, такая же, как он сам, понял, что совершил тяжкое преступление. Но если с тех пор Кристоф никогда уже не мучил животных, он не испытывал к ним и ни малейшей симпатии, равнодушно проходил мимо, не пытаясь разобраться, что движет их маленьким механизмом; вернее, он боялся думать — все это походило на дурной сон. А вот теперь вдруг все разом прояснилось. Эти смиренные и незаметные создания тоже стали для него очагами света.

Растянувшись на траве, где так и кишела жизнь, в тени листвы, пронизанной жужжанием насекомых, Кристоф наблюдал за лихорадочной деятельностью муравьев, длинноногих пауков, которые, казалось, приплясывали на ходу, за прыжками кузнечиков, вдруг выскакивавших из травы, за тяжелыми и суетливыми жуками и земляным червяком, с гладким, розовым, упругим, словно резиновым тельцем, испещренным белыми бляшками. Или, закинув руки за голову, прикрыв глаза, он прислушивался к невидимому оркестру, к пению хора насекомых, с ожесточением кружившихся в солнечном луче возле смолистых сосен, различал фанфары мошкары, органное жужжание шмелей, колокольное гудение диких пчел, вьющихся вокруг верхушки дерева, божественный шепот леса, слабые переборы ветерка в листве, ласковый шелест и колыхание трав, будто дуновение, от которого идут складки по лучезарному челу озера, будто слышится шорох легкого платья и милых ножек, — вот он приближается, проходит мимо и тает в воздухе.

Все эти шумы, все эти крики Кристоф слышал и в самом себе. В самом крошечном и в самом большом из всех этих существ текла та же река жизни, что омывала и его. Итак, он был одним из них, был родной им по крови; их радости и страдания рождали в нем братский отклик, их сила удесятряла его силу, — так ширится река от вливающихся в нее сотен ручейков. Грудь распирало от мощного напора воздуха — он распахивал окна и врывался в закупоренный наглухо дом, в задыхавшееся сердце Кристофа. Перемена была слишком внезапной; раньше перед ним повсюду открывалась бездна небытия; это было тогда, когда он занимался только собой, своим существованием и чувствовал, как оно вот-вот прольется дождем и уйдет от него; а теперь, когда он пожелал забыть самого себя и возродиться во вселенной, теперь повсюду было бытие, бытие без конца и без меры. Ему казалось, что он выходит из могилы. Он с наслаждением плыл по этой полноводной жизни и, увлекаемый ее течением, думал, что он свободен. Он не знал, что сейчас он был еще менее свободен, чем всегда, что ни одно существо не свободно, что несвободен даже закон, управляющий вселенной, что, быть может, освобождает одна лишь смерть.

Но куколка, только что вышедшая из душного своего кокона, уже нежилась в новой оболочке и не успела еще узнать, как тесно и это узилище.

Началась новая череда дней. Золотые, лихорадочные дни, таинственные и волшебные, как в раннем детстве, дни постепенного открытия мира вещей, увиденных впервые. От зари до сумерек он жил среди нетаявшего марева. Все занятия были безнадежно заброшены. Добросовестный мальчик, который ни разу за долгие годы, даже больным, не пропустил ни одного урока, ни одной репетиции в театре, теперь на каждом шагу искал предлога, чтобы увильнуть от работы. Он не боялся даже лгать и не испытывал ни малейших угрызений совести. Стоические принципы, которым он охотно подчинял свою волю — мораль, Долг с большой буквы, — все

представлялось ему теперь бессмысленным и ложным. Их ревнивая тирания не могла устоять против могущества Природы. Здоровый, сильный, свободный человек — вот единственная добродетель. Так к черту же всё и вся! Только снисходительный смех могут вызывать все эти мелочные, глупенькие законы осторожной политики, которую люди украшают пышным названием «мораль», желая сковать ею жизнь. Нелепое кротовье старание, жалкие муравьи! Ничего, сама жизнь проучит их. Хлынет ее поток, и все будет сметено...

Сжигаемый энергией, Кристоф временами готов был разрушать, жечь, бить, лишь бы дать выход силе, душившей его. Такие взлеты кончались самым неожиданным образом: он начинал плакать, бросался на землю, целовал ее, ему хотелось впиться в нее зубами, руками, насытиться ею, слиться с ней; он дрожал от лихорадки и желания.

Как-то под вечер он бродил по опушке леса. Глаза его устали от ослепительного света, голова слегка кружилась; он находился в том состоянии восторженности, когда все живое, каждый неодушевленный предмет предстает иным, чем на самом деле. Бархатистый вечерний свет сообщал всему волшебную прелесть. Пурпурно-золотые лучи меркли в верхушках деревьев. От лугов, казалось, подымался фосфоресцирующий свет. Небо было ласково и нежно, как сияние живых глаз. Рядом на лужайке ворошила сено девушка. В одной рубашке и короткой юбке, с голой шеей и обнаженными руками она подгребала в кучу подсыхающую траву. Нос у девушки был короткий, щеки пухлые, лоб выпуклый, волосы прикрыты платочком. Заходящее солнце окрашивало в красноватые тона ее загорелую, цвета глиняной посуды, кожу, которая словно впитывала в себя последние отблески дня.

Кристоф был очарован. Прислонившись к стволу вяза, он со страстным вниманием следил, как девушка приближалась к опушке леса. Все на свете сгинуло куда-то. Девушка даже не заметила Кристофа. Только раз она взглянула на него; глаза у нее были суровые, синие, казавшиеся особенно яркими на загорелом лице. Она прошла так близко от Кристофа, что, когда нагнулась за

сеном, в вырезе рубашки он увидел вдоль позвонка золотистый пушок. Смутное желание, переполнявшее его, вдруг прорвалось наружу. Он набросился сзади на девушку, схватил ее за шею и за талию, запрокинул ей голову назад и впился поцелуем в ее полуоткрытые губы. Он целовал эти сухие и шершавые губы, чувствовал холодок ее зубов, в гневе укусивших его. Его руки скользнули по крепким плечам, по рубашке, смоченной потом. Девушка яростно отбивалась. Кристоф прижимал ее к себе все сильнее — ему хотелось ее задушить. Наконец, она вырвалась из его объятий, с отвращением плюнула, что-то крикнула, утерла губы ладонью и принялась его ругать. Кристоф побежал прямо по полю. Девушка швырнула ему вслед камень и осыпала его отборной бранью. Кристоф покраснел от стыда: его смутили не так ее слова или неелестные соображения на его счет, как страх перед тем, что он сам думал о себе. Поступок, совершенный в мгновенном бездумье, ужаснул Кристофа. Что он наделал? Что он хотел сделать? Он не совсем понимал, что побудило его так поступить, но чувствовал к себе отвращение. И в этом отвращении был какой-то соблазн. Он боролся против себя самого и не знал, где же настоящий Кристоф. Слепая сила одолевала его. Тщетно бежал он от нее — это значило бежать от самого себя. Что сделала эта сила с ним? Что сделает он сам завтра... через час... или в эту минуту, пробегая через пашню? Добежит ли он до дороги? А не остановится ли вдруг, не повернет ли назад, не бросится ли к этой девушке? И тогда что?.. Кристоф вспомнил то мгновение, когда он схватил девушку за горло — это было, как бред. Значит, он способен на все. Все поступки равноценны... Даже преступление... Да, даже преступление... Сердце так билось в груди, что не хватало дыхания. Выбравшись на дорогу, Кристоф остановился, ловя открытым ртом воздух. Девушка разговаривала со своей подругой, прибежавшей на крик, и обе, упершись кулаками в бока, смотрели вслед Кристофу и хохотали, хохотали...

Кристоф вернулся домой. Он заперся в своей комнате и просидел несколько дней, никуда не выходя. Даже в город он выбирался только в случае крайней

необходимости. Он боязливо сторонился городских ворот и не решался вновь отправиться в поле: боялся, что повторится порыв безумия, который тогда обрушился на него, как порыв ветра среди предгрозового спокойствия. Может быть, городские стены упасут его от соблазна? Кристоф не понимал, что враг умеет проскользнуть в самую узкую и неприметную щелочку между закрытых ставней, куда не проникнуть даже человеческому взору.

Часть вторая

САБИНА

В одном из крыльев дома, по ту сторону двора, квартиру в нижнем этаже занимала молодая женщина, лет двадцати; она недавно овдовела и жила одна с дочкой. Г-жа Сабина Фрелих тоже снимала квартиру у Эйлера. Ее магазинчик выходил фасадом на улицу, а во двор смотрели две комнаты; к флигелю прилегал садик, отделенный от эйлеровских владений простой проволоочной сеткой, обвитой плющом. Сама хозяйка в садике появлялась редко, зато девочка с утра до вечера копалась здесь в песочке; за садом никто не ухаживал, и все в нем разрослось по своей собственной прихоти к великому неудовольствию старика Юстуса, который любил тщательно подметенные дорожки и образцово содержимые клумбы. Несколько раз он пытался просветить свою жиличку на сей счет, но, должно быть, из-за его внушений она избегала выходить из дому, а сад ничуть не выигрывал от этого.

Госпожа Фрелих держала маленькую галантерейную лавочку, и дела могли бы идти неплохо в силу ее удачного расположения на торговой улице в самом центре города, но хозяйка занималась магазином не больше, чем садом. Вместо того чтобы самой вести дом, как и подобает порядочной женщине, — так по крайней мере считала г-жа Фогель, особенно, если не располагаешь достаточными средствами, которые хоть и не оправдывают, зато объясняют безделье, — жиличка держала прислугу, девочку лет пятнадцати, которая приходила каждое утро на несколько часов убрать комнату и присмотреть

за магазином, пока молодая хозяйка нежилась в постели или засиживалась за туалетом.

Иногда Кристоф видел из своего окошка, как Сабина лениво бродит по комнате босиком, в длинной ночной рубашке, или часами сидит перед зеркалом, ибо она была так беспечна, что забывала опустить занавеску, и даже когда замечала это упущение, то ленилась закрыть окно. Кристоф, более стыдливый, чем молодая галантерейщица, отходил от окна, не желая смущать ее, но искушение было слишком велико. С легкой краской на скулах он украдкой глядел на голые худощавые руки, лениво касавшиеся небрежных волос, видел скрещенные на затылке пальцы, которые расцеплялись сами собой, онемев от усталости, видел все ее фигурку, забывшуюся в небрежно-томной позе. Кристоф пытался убедить себя, что любитесь этим приятным зрелищем просто случайно и что оно отнюдь не мешает музыкальным думам, но мало-помалу так втянулся в это занятие, что под конец проводил у окна, глядя на г-жу Сабину, столько же времени, сколько она теряла времени за одеванием. Не то чтобы она была кокеткой, — скорее неряхой, и, уж конечно, не могла сравниться с Амалией и Розой, которые особенно заботливо следили за собой. Если Сабина и сидела часами за туалетным столом, так это от лени: воткнув в волосы шпильку, она подолгу отдыхала от этого непомерного труда и глядела на себя в зеркало со скорбной гримаской. Так она и оставалась до вечера полуодетой.

Часто прислуга уходила раньше, чем Сабина успевала привести себя в порядок, а покупатель звонил у дверей лавчонки. Сабина, не подымаясь со стула, слушала звонки и крики. Наконец, не торопясь, она с улыбкой входила в лавку, начинала искать спрошенный покупателем предмет, и, если не могла обнаружить нужную вещь сразу (бывало и так) или требовалось приложить хоть какое-нибудь усилие, скажем перенести стремянку в другой конец лавки, хозяйка спокойно заявляла, что таких товаров у нее нет; и так как она даже не пыталась навести в лавке хоть относительный порядок, пополнить недостающий ассортимент, терпение покупателей истощалось, и они шли в соседние магазины. Впро-

чем, покупатели не сердились на Сабину. Да и как можно было сердиться на такую приятную даму, с таким нежным голоском и невозмутимым видом! Вряд ли ее могли взволновать упреки или замечания посетителей, — это чувствовалось с первого взгляда; и даже если клиент начинал было жаловаться, у него не хватало мужества продолжать, и он уходил, ответив улыбкой на очаровательную улыбку хозяйки; однако больше не возвращался. А ее это ничуть не тревожило. Она улыбалась.

Лицом Сабина напоминала молодую флорентинку. Тонко очерченные дуги бровей, серые полужакрытые глаза под густой щеточкой ресниц. Нижние веки слегка припухшие, с легкой складочкой. Небольшой, аккуратный носик с закругленной линией горбинки и приподнятым кончиком. Другая закругленная линия шла от носа к верхней губке, слегка выступавшей вперед; маленький рот был всегда полуоткрыт в капризно усталой улыбке. Нижняя губа была немного толще верхней; в очертаниях подбородка чувствовалось что-то детски-серьезное, как у мадонн Филиппино Липпи. Цвет лица был смугловатый, волосы светлокаштановые, вечно в беспорядке, из-под сбитого набок пучка выбивались небрежные локконы. Хрупкая, миниатюрная, она двигалась лениво, как будто против воли. Одета не особенно тщательно — жакет незастегнут, половина пуговиц отсутствует, в старых, стоптанных башмачках, — Сабина не производила впечатления чистюли и тем не менее очаровывала каждого своим молодым изяществом, нежностью и инстинктивно кошачьими ухватками. Когда она выходила на порог лавки подышать воздухом, молодые люди, проходя мимо, с удовольствием оглядывались на нее; и хотя Сабина меньше всего думала о поклонниках, она замечала каждый такой взгляд. В подобные минуты глаза ее светились благодарностью и радостью, как у любой женщины, чувствующей, что ее внешность привлекала внимание. Казалось, она говорила:

«Спасибо! А ну-ка еще раз! Взгляните еще! Смотрите же на меня!»

Но, как ни сильно было удовольствие нравиться, никогда Сабина, по своей лени, не старалась понравиться.

Она служила объектом постоянного возмущения Эйлеров — Фогелей. Все в Сабине оскорбляло это семейство: ее беспечность, беспорядок в доме, небрежный туалет, то вежливое равнодушие, с каким она выслушивала их замечания, ее вечные улыбки, возмутительное спокойствие, с которым она принимала все: смерть мужа, нездоровье дочки, коммерческие неудачи, крупные и мелкие неприятности, — ничто не могло нарушить милых ей привычек, ее вечного ничегонеделания. Все в Сабине оскорбляло домохозяев и сильнее всего то, что такая женщина может нравиться. Вот этого г-жа Фогель никак не могла простить своей жилищке, как если бы Сабина задумала осмеять и опровергнуть своим поведением все традиции, все чистые радости, суету, шум, ссоры, жалобы, здоровый пессимизм, словом все, что составляло смысл существования семейства Эйлера, как и прочих честных людей, и до времени превращало их жизнь в чистилище. Чтобы женщина, завязтая бездельница, целый божий день палец о палец не ударившая, да еще позволяла себе подтрунивать над ними, которые убиваются на работе, как каторжники, а тут еще и окружающие оправдывают ее — это уж чересчур, так, пожалуй, и честным человеком не стоит быть. К счастью — слава тебе господи! — имеются еще на земле здравомыслящие люди. Г-жа Фогель искала отрады и утешения в их обществе. С ними-то и обсуждалось во всех подробностях поведение молоденькой вдовы — то, что успели подглядеть в щелочку ставней. Эти пересуды доставляли самые чистые радости семейству Эйлера в часы обедов и ужинов. Кристоф обычно слушал их разговоры рассеянно, краем уха. Он уже привык к тому, что Фогели строго осуждают поведение всех соседей, и не обращал на их обвинительные речи никакого внимания. Впрочем, он и не знал тогда г-жи Сабины, вернее знал только ее нежную шейку и обнаженные руки, и, как ни привлекало Кристофа это зрелище, все же его было далеко не достаточно, чтобы вынести окончательное суждение о Сабине. Так или иначе, он не только не осуждал Сабину, но, из духа противоречия, был даже признателен ей, и в первую очередь за то, что она не угодила г-же Фогель!

Солнце за день так раскаляло все вокруг, что даже вечерами во дворе у Эйлера не было прохлады. Единственно, где можно было вздохнуть хоть немного, это у порога дома, прямо на улице. Эйлер и его зять, а нередко и Луиза, выходили посидеть часок-другой у двери. Г-жа Фогель и Роза если и появлялись здесь, то лишь на минутку, так как хозяйственные заботы не давали им передышки: Амалия считала делом чести и самолюбия показывать ежечасно и упорно, что ей нет времени бездельничать, и она во всеуслышание заявляла, что не может спокойно смотреть на всех этих дармоедов, — расселись тут и пальцем не шевельнут; нет, это зрелище ей просто на нервы действует. А так как заставить их работать она не могла (хоть и искренно сожалела об этом), она предпочитала вообще их не видеть и с удвоенной яростью принималась за домашние хлопоты. Роза считала необходимым подражать матери. А Эйлеру и Фогелю повсюду мерещились сквозняки, они боялись простуды и, посидев немного, уходили домой; ложились они с петухами, любое нарушение сложившихся привычек казалось им гибельным, так что к девяти часам на улице оставались только Луиза с Кристофом. Целые дни Луиза проводила в комнатах, и вечерами, когда Кристоф был свободен, он чуть не силой выводил ее подышать свежим воздухом и сам сидел с ней вместе. Без него Луиза вообще не спустилась бы вниз — уличный шум наводил на нее ужас. Ребятишки, пронзительно визжа, гонялись друг за другом. Все окрестные псы отвечали им длительным лаем. Из одних окон неслись звуки фортепиано, подалее кто-то упражнялся на кларнете, а за углом хрипел корнет-а-пистон. Кто-то кого-то окликал. Люди кучками прогуливались перед своими домами. Луизе казалось, что, останься она одна среди этой суеты, она пропадет. Но, сидя бок о бок с сыном, она была даже рада вечернему оживлению. Уличные шумы постепенно стихали. Первыми укладывались спать дети и собаки. Люди расходились по домам. Свежело. Спускалась тишина. Луиза тоненьким голоском пересказывала Кристофу все дневные происшествия и местные сплетни, которые сообщали ей Амалия или Роза. Не то чтобы она интересовалась этими пустяковыми событиями. Но она

не знала, о чем говорить с сыном, а ей так хотелось сблизиться с ним, сказать ему хоть что-нибудь. Кристоф разгадал мысли матери и с преувеличенным интересом слушал ее рассказы, но на самом деле ничего не слышал. Он просто сидел не двигаясь, словно оцепенев в блаженной лени, и мысленно обозревал минувший день.

Однажды вечером, когда они сидели у порога и мать что-то рассказывала, Кристоф увидел, как открылась дверь соседней лавочки. Показался женский силуэт, потом женщина бесшумно вышла и села на улице, всего в нескольких шагах от стула Луизы. Она пристроилась в самом темном уголке, и хотя Кристоф не мог разглядеть лица, он сразу же узнал Сабину. Его оцепенение как рукой сняло. Воздух вдруг стал мягче. А Луиза, не заметив присутствия Сабины, вполголоса продолжала свой спокойный рассказ. Теперь Кристоф слушал ее на самом деле внимательно, он вставлял свои замечания, заговорил сам: ему хотелось, чтобы его слышали. Тонкая фигурка не шевелилась, Сабина сидела слегка ссутулясь, скрестив ноги, положив руки ладонками на колени. Смотрела она прямо перед собой и, казалось, ничего не слышала. Луиза стала клевать носом и вскоре ушла. Кристоф сказал матери, что хочет посидеть еще немножко.

Было уже около десяти часов. Улица опустела. Запоздалые прохожие расходились по домам. Стучали и скрипели двери запираемых лавок. Подмигивали освещенные окна и постепенно гасли. Медлили только два или три окна, но и в них умер свет. Тишина... Они остались одни, они не смотрели друг на друга, они удерживали дыхание и, казалось, сами не знали, что сидят бок о бок. С дальних лугов доносился аромат скошенного сена, а на соседнем балкончике благоухал левкой. Воздух был недвижим. Над их головой переливался Млечный Путь. Вправо багровел Юпитер. Над крышей нависла Малая Медведица. В бледнозеленом небе расцветали, как маргаритки, звезды. На колокольне приходской церкви пробило одиннадцать, и удары часов тотчас подхватили все церкви в округе чистыми или простуженными голосами, а за стенами домов откликались приглушенным звоном стенные часы или хрипло куковали кукушки.

Кристоф и Сабина очнулись от дремы и разом поднялись. И, входя в дом, каждый в свой подъезд, они молча, не произнеся ни слова, кивнули друг другу. Кристоф прошел к себе. Он зажег свечу, пододвинул кресло к столу и, опустив голову на руки, долго сидел так, ни о чем не думая. Потом глубоко вздохнул и стал раздеваться.

Наутро, встав с постели, он по привычке подошел к окну и посмотрел на окна Сабины. Но занавески были спущены. Они были спущены все утро. И отныне уже не подымались.

Вечером Кристоф предложил матери пойти снова посидеть у дверей. Он уже привык к этим вечерним сидениям. И Луиза была рада: она беспокоилась, видя, что сын проводит в комнате все вечера при закрытых окнах и ставнях. Тоненькая молчаливая тень вскоре выскользнула из двери и оказалась на вчерашнем месте. Кристоф и Сабина кивнули друг другу, но так быстро, что Луиза ничего не заметила. Сабина улыбалась своей дочке, которая играла тут же на улице; в девять часов она отвела девочку спать, а потом все так же бесшумно возвратилась. Когда она задержалась в комнатах, Кристоф испугался, что соседка вообще не выйдет. Он ловил все шумы в их квартире, смех девчурки, которая не желала ложиться, различил даже шелест платья Сабины еще прежде, чем она переступила порог лавки. Потом он отвел глаза и заговорил о чем-то с матерью — оживленно и весело. Ему казалось, что Сабина нет-нет да и взглядывает на него. И он, в свою очередь, бросал на нее быстрые взгляды. Но глаза их не встретились ни разу.

Знакомство началось из-за девочки. Она бегала со своими сверстницами по улице. Девочки приставали к большому добродушному псу, который дремал, уткнув морду в передние лапы; вдруг он приоткрыл глаз с налитым кровью белком и досадливо тявкнул; проказницы бросились врассыпную, визжа от радости и страха. Дочка Сабины, оглашая улицу пронзительными криками, тоже обратилась в бегство, но при этом она не спускала глаз с собаки, словно ждала, что та вот-вот помчится за ней. Вместо матери девочка подбежала по ошибке

к Луизе и прижалась к ее коленям; Луиза ласково засмеялась. Она не сразу отпустила девчурку, что-то у нее спрашивала. Сабина вмешалась, и начался общий разговор. Кристоф не принимал в нем участия. Он не говорил с Сабинной, Сабина не говорила с ним. По молчаливому соглашению оба делали вид, что не знают друг друга. Но он жадно ловил каждое слово, которым обменивались женщины. Его молчание показалось Луизе враждебным. Сабина думала иначе, но она смущалась, и ответы ее звучали не совсем уверенно. Наконец, она под каким-то предлогом ушла к себе.

Целую неделю Луиза не выходила из комнаты — она простудилась. Кристоф и Сабина сидели вечерами одни. В первый раз они даже испугались. Сабина, желая придать себе духу, не спускала дочку с колен и осыпала ее поцелуями. Смущенный Кристоф не знал, как себя вести, — прилично ли и дальше делать вид, будто он не замечает того, что происходит с ним рядом. Положение создалось трудное: хотя они не обменялись ни словом, знакомство-то ведь состоялось через Луизу. Кристоф постарался выдавить из себя две-три фразы, но слова не шли с его губ. И на сей раз девочка вывела их из затруднения. Она начала играть в прятки и все время крутилась вокруг стула Кристофа, который, наконец, схватил ее и поцеловал. Он не очень любил детей, но эту девочку поцеловал с какой-то особенной нежностью. Малышка вырывалась, ей не терпелось снова начать игру. Кристоф нарочно не спускал ее с колен, она укусила его за палец. Тогда он поставил ее на землю. Сабина засмеялась. Глядя на девочку, они обменялись какими-то незначительными замечаниями. Потом Кристоф (он считал необходимым сделать это) попытался завязать разговор, но он был не очень изобретательный собеседник, да и Сабина не спешила прийти к нему на выручку: она повторяла последнюю фразу Кристофа, и только.

— Какой сегодня хороший вечер.

— Да, вечер прекрасный.

— У нас во дворе прямо дышать нечем.

— Да, во дворе очень душно.

Поддерживать разговор становилось все труднее. Са-

бина, воспользовавшись тем, что пора было укладывать дочку, вошла в дом и больше не появилась.

Кристоф боялся, что она не выйдет и на следующий вечер, что она избегает сидеть с ним наедине, поскольку Луиза еще не появлялась на улице. Но получилось наоборот: на следующий день Сабина первая попыталась завязать разговор. Видно было, что она насилует себя и не получает от беседы никакого удовольствия; чувствовалось, с каким трудом она отыскивает темы для разговора и как скучно ей слушать свои собственные вопросы; а вопросы эти и ответы замирали на лету среди гнетущих длинных пауз. Кристоф вспоминал свои первые встречи с Отто; но с Сабиной круг разговора был еще более ограничен, да она и не обладала долготерпением Отто. Видя, что попытки ее ни к чему не ведут, она сдалась: стоит ли так мучиться? Скучно это... Сабина замолчала, и Кристоф последовал ее примеру. И сразу все стало несказанно милым. Ночь замкнулась в своем молчании, и они ушли каждый в свои мысли. Сабина, мечтая о чем-то, медленно покачивалась на стуле. Кристоф сидел рядом и тоже мечтал. Они не обменялись ни словом. Через полчаса Кристоф, словно говоря сам с собой, начал вполголоса восторгаться пьянящим запахом, который шел от ручной тележки, служившей для развозки клубники. Сабина бросила в ответ два слова. Они снова замолчали. Они наслаждались очарованием этих неоконченных фраз, этих ничего не значащих слов, они мечтали об одном, они были полны одной и той же мыслью, они не знали, что это за мысль, и даже не доискивались. Когда пробило одиннадцать часов, они разошлись по домам, улыбнувшись друг другу на прощание.

На другой день они и не пытались завязать беседу. Оба снова молчали, и как же это было хорошо! Время от времени они обменивались каким-нибудь кратким, односложным замечанием, которое подтверждало, что оба думают об одном и том же.

Сабина вдруг рассмеялась.

— Гораздо лучше, — сказала она, — не принуждать себя и не пытаться во что бы то ни стало говорить! Чувствуешь, что обязан говорить, а это так скучно!

— Ах, если бы все придерживались вашего мнения, — присизнес Кристоф прочувствованно.

Они засмеялись. Оба подумали о г-же Фогель.

— Бедная женщина! — вздохнула Сабина.

— Слишком уж неутомимая! — ответил Кристоф с безнадежным видом.

Сабину развеселили эти насмешливые слова и печальный вид Кристофа.

— Вам смешно? — спросил он. — Вам-то хорошо. Вы от нее защищены.

— Еще бы! — ответила Сабина. — Недаром я запираюсь на ключ.

Она засмеялась, смех у нее был негромкий, почти беззвучный. Кристоф слушал, восхищенный. Он с наслаждением вдыхал свежий воздух, спокойствие ночи.

— Ах, до чего же хорошо молчать! — сказал он, потягиваясь на стуле.

— И до чего же бесполезно говорить! — подхватила Сабина.

— Да, — подтвердил Кристоф, — без слов все гораздо лучше понимаешь!

Снова воцарилось молчание. Ночная темнота мешала им видеть друг друга. Они потихоньку улыбались.

Однако если, сидя бок о бок, они переживали одно и то же, или по крайней мере так им казалось, на самом деле они ничего не знали друг о друге. Сабину это нимало не тревожило. Кристоф был более любопытен. Как-то вечером он спросил Сабину:

— Вы любите музыку?

— Нет, — просто ответила она. — Очень быстро надоедает. Я в музыке ничего не понимаю.

Эта откровенность пленила Кристофа. Ему так надоела ложь, так надоели люди, которые заявляют во всеуслышание, что без ума от музыки, а сами умирают от скуки, слушая ее, — поэтому он счел чуть ли не добродетелью Сабины то, что она не любит музыку и открыто говорит об этом. Он осведомился, читает ли Сабина.

Нет, да у нее и книг нету.

Кристоф предложил к ее услугам свою библиотеку.

— А книги серьезные? — спросила она тревожно.

Если она не хочет серьезных, есть несерьезные, например стихи.

— Но это тоже серьезные книги.

— Тогда романы.

Сабина сделала гримаску.

Как, и романы ее тоже не интересуют?

Интересовать-то интересуют, только они очень длинные, никогда у нее не хватает терпения дочитать до конца. Она забывает начало, перескакивает через главы, в результате ничего не понимает, ну и бросает книгу.

Чудесное доказательство занимательности книги!

Нет, почему же, достаточно занимательно для выдуманных историй. Но она предпочитает интересоваться другим.

Театром, быть может?

Ах нет!

Что же, она и в театр не ходит?

Да, не ходит. Там слишком жарко. Слишком много народа. Гораздо приятнее сидеть дома. К тому же от яркого света режет глаза, и актеры все такие уродливые.

Тут он был с ней согласен. Но ведь в театре есть и еще кое-что: пьесы.

— Да, — рассеянно согласилась Сабина. — Но у меня нет времени.

— Что же вы делаете с утра до вечера?

Она улыбнулась.

— Помилуйте, у меня столько дела!

— Вы правы, — согласился Кристоф. — Ведь у вас магазин.

— О, — спокойно возразила Сабина, — магазином я не особенно много занимаюсь.

— Значит, все ваше время занимает дочь?

— Ах нет, бедная девочка! Она такая умненькая, она сама играет.

— Тогда что же?

Кристоф извинился за свою нескромность. Но Сабина, наоборот, находила разговор забавным.

— Столько, столько дела...

Какого?

Сабина не могла объяснить. Всякого дела, разного. Утром нужно встать с постели, одеться, подумать об

обеде, приготовить обед, съесть обед, подумать об ужине, прибрать комнаты... Так весь день и проходит... А ведь нужно еще хоть немножко времени, чтоб ничего не делать!

— И вы никогда не скучаете?

— Никогда.

— Даже когда ничего не делаете?

— Именно, когда ничего не делаю. Вот делать что-нибудь — это, пожалуй, скучно.

Они, смеясь, посмотрели друг на друга.

— Какая же вы счастливая! — вздохнул Кристоф. — А я вот не умею ничего не делать.

— А по-моему, прекрасно умеете.

— Учусь в последние дни.

— И хорошо учитесь.

После разговора с Сабиной на душе у Кристофа становилось мирно и спокойно. Ему достаточно было просто смотреть на нее. Куда-то разом отходили все тревоги, раздражительность, нервическая тоска, сжимавшая сердце. Когда он говорил с ней, ничто не смущало его спокойствия. И ничто не смущало его спокойствия, когда он думал о ней. Он не смел признаться в этом самому себе, но когда он сидел рядом с ней, он чувствовал, как на него нисходит блаженное оцепенение, почти дремота. И ночами теперь он спал, как никогда не спал раньше.

Возвращаясь домой с работы, Кристоф иногда заглядывал в магазинчик. Почти всякий раз он заставал там Сабину. Они с улыбкой раскланивались. Иногда она стояла у порога, и тогда они с минуту разговаривали, или, заметив в полуоткрытой двери квартиры дочку Сабину, Кристоф подзывал ее и клал ей в руку пакетик леденцов.

Однажды он решился войти. Предлог был уже готов — якобы требуются пуговицы к пиджаку. Сабина начала искать пуговицы, но ничего подходящего не обнаружило. Все пуговицы были перемешаны, и разобраться в этом хаосе не представлялось возможным. Сабина немного смутилась, что Кристоф видит весь этот беспорядок.

док. А он шутливо и даже с любопытством нагнулся над прилавком, чтобы лучше видеть.

— Не надо, — сказала Сабина, стараясь прикрыть ящик руками. — Не смотрите, здесь такой хаос.

Она продолжала поиски. Но присутствие Кристофа ее стесняло. Она вдруг рассердилась и задвинула ящик.

— Все равно я ничего не найду, — заявила она. — Идите к Лиззи. Это на соседней улице. У нее наверное такие пуговицы есть. У нее все есть, что требуется покупателю.

Кристоф от души посмеялся над таким оригинальным способом привлечения клиентов.

— Вы так всякий раз и отсылаете ваших покупателей?

— Иногда, конечно, случается, — ответила она весело.

Однако ей все-таки было стыдно.

— Уж очень скучно все это прибирать, — начала она. — Я со дня на день откладываю уборку. Но завтра непременно уберу.

— Хотите, я вам помогу? — предложил Кристоф.

Сабина отказалась. Ей очень хотелось согласиться, но ее пугали сплетни, и она не посмела принять предложение. Да кроме того и унизительно было.

Они продолжали болтать.

— А пуговицы? — вдруг вспомнила Сабина. — Разве вы не пойдете к Лиззи?

— Ни за что на свете, — ответил Кристоф. — Подожду, когда вы наведете здесь порядок.

— Ох, — вздохнула Сабина, уже успевшая забыть о своем решении, — не стоит вам так долго ждать.

Этот крик души развеселил обоих.

Кристоф решительно шагнул к ящику, столь пренебрежительно задвинутому Сабиной.

— Позвольте, я сам поищу, можно?

Сабина бросилась к нему с явным намерением помешать.

— Нет, нет, прошу вас, не надо, я знаю, у меня таких пуговиц все равно нет.

— А я держу пари, что есть.

И Кристоф сразу же торжественно извлек из ящика требуемую пуговицу. Но нужно было найти еще

несколько штук. Он хотел продолжать свои поиски, однако Сабина вырвала у него из рук ящик и, уязвленная в своем хозяйском самолюбии, стала сама рыться среди груды пуговиц.

Вечерело. Сабина подошла к окну. Кристоф уселся рядом с ней, девочка забралась к нему на колени. Он притворялся, что слушает ее лепет, и рассеянно отвечал на настойчивые детские вопросы. На самом же деле он смотрел на Сабину, и она знала, что он на нее смотрит. Она низко нагнулась над ящиком. Он видел только ее шею и подбородок. И, глядя на нее, он вдруг заметил, что Сабина покраснела. И он тоже покраснел.

Девочка продолжала что-то лепетать. Никто ей не отвечал. Сабина не шевелилась. Кристоф не видел, что она делает; он знал, что она ничего не делает, что глядит она мимо ящика, который держит в руках. Тишина стала гнетущей. Девочка, испуганная молчанием матери, соскользнула с колен Кристофа и спросила:

— Почему вы ничего не говорите?

Сабина резко обернулась и схватила дочку в объятия. Ящик упал на пол; девочка испустила радостный вопль и на четвереньках бросилась в погоню за пуговицами, закатившимися под стулья. Сабина снова стала у окна и прижалась лицом к стеклу. Казалось, она внимательно смотрит на что-то, происходящее на улице.

— Прощайте, — смущенно сказал Кристоф.

Сабина не повернула головы и тихо произнесла:

— Прощайте.

В воскресенье после обеда дом обычно пустел. Все семейство Эйлеров — Фогелей отправлялось к вечерне. Сабина не ходила в церковь. Кристоф в шутку упрекал ее за это, увидев как-то вечером, что она сидит в садике, хотя все колокола надрываются, призывая ее в храм божий. Сабина отвечала в том же шутовском тоне, что только к обедне ходить обязательно, а к вечерне вовсе нет; бесполезно и даже, если хотите, нескромно проявлять излишнее молитвенное рвение, и она предпочитает думать, что бог вовсе на нее не сердится, а скорее доволен ее поведением.

— Вы творите бога по своему образу и подобию, — заметил Кристоф.

— По моему образу? На его месте я не стала бы создавать такую особу, — ответила Сабина убежденным тоном.

— Вы не особенно рьяно занимались бы людскими делами, будь вы на его месте.

— Я бы хотела только одного: чтобы он не занимался мною.

— Что ж, может так оно было бы лучше, — ответил Кристоф.

— Замолчите! — воскликнула Сабина. — Мы просто кошунствуем.

— Какое же тут кошунство? Я только сказал, что бог похож на вас. И уверен, что такое сравнение ему бы польстило.

— Да замолчите же! — повторила Сабина не то сердито, не то смеясь. Она испугалась, что бог и в самом деле вознегодует, и поспешно переменяла тему разговора.

— Кроме того, — добавила она, — в эти часы единственный раз за всю неделю можно спокойно посидеть в саду.

— Да, — согласился Кристоф. — Их нет дома.

Они переглянулись.

— Какая тишина! — добавила Сабина. — Как-то даже непривычно... Будто мы и не здесь...

— Ух! — вдруг гневно воскликнул Кристоф. — Иной раз так бы и передушил их всех...

Объяснять кого и зачем не было надобности.

— Неужели всех? — весело спросила Сабина.

— Верно, — растерянно ответил Кристоф, — Розу бы не стал душить.

— Бедная девочка! — вздохнула Сабина.

Помолчали.

— Вот если бы всегда было так, как сейчас, — вздохнул Кристоф.

Сабина вскинула на него смеющиеся глаза и потупилась. Тут только Кристоф заметил, что она чем-то занята.

— Что вы делаете? — спросил он.

(Кристоф стоял за густой завесой плюща, отделявшего сад Эйлера от садика Сабины.)

— Вы же сами видите, — ответила Сабина, приподняв миску, стоявшую у нее на коленях, — лушу горошек. И она тяжело вздохнула.

— Это не так уж трудно, — со смехом заметил Кристоф.

— Ох, до смерти скучно все время заниматься приготовлением обеда, — ответила она.

— Держу пари, — заметил Кристоф, — что, будь хоть малейшая возможность, вы бы никогда не обедали, лишь бы избавиться от скучной готовки.

— Конечно, не обедала бы! — подтвердила Сабина.

— Подождите-ка! Я вам сейчас помогу.

Кристоф перепрыгнул через изгородь и подошел к Сабине.

Сабина сидела на стуле у порога дома. Он опустился на ступеньки у ее ног. В складках подобранного у талии платья он брал пригоршни зеленых стручков и бросал маленькие круглые горошинки в миску, стоявшую на коленях у Сабины. Кристоф упорно смотрел в землю и видел черные чулки Сабины, плотно обтягивавшие лодыжки; одна туфля держалась только на кончиках пальцев. Он не смел поднять глаз.

Свинцовый воздух предвещал грозу. Ни дуновения под очень низкими, очень бледными небесами. Ни один лист не шевелился. Сад был замкнут высокими стенами; мир кончался за ними.

Девочку увела соседка. Кристоф и Сабина остались одни. Они ничего не говорили. Не могли говорить. Не глядя, брал он с колен Сабины горстку гороха, и пальцы его дрожали, касаясь ее платья; и пальцы Сабины дрожали тоже, когда вдруг, перебирая свежие и гладкие стручки, дотрагивались до руки Кристофа. Они, не сговариваясь, прервали работу. Оба теперь сидели неподвижно, не глядя друг на друга: она, откинувшись на спинку кресла, с полуоткрытым ртом, с бессильно повисшими руками, он — у ее ног, чувствуя плечом и рукой теплые колени Сабины. Им не хватало дыхания. Кристоф приложился ладонями к каменным ступеням, чтобы освежить пылающие руки, и случайно задел ногу Сабины, ту, с которой спадала туфелька, и так и замер, не в силах отвести руку. Обоих охватила дрожь. Они чуть не те-

ряли сознания. Рука Кристофа все сильнее сжимала тонкие пальчики, маленькую ножку Сабины. Сабина медленно приблизила к Кристофу похолодевшее, чуть влажное лицо...

Вдруг слишком знакомые голоса вывели их из опьянения. Оба вздрогнули. Кристоф быстро поднялся с места и перескочил изгородь. Сабина собрала очистки в подол юбки и пошла в дом. В дверях Кристоф обернулся. Она стояла на пороге. Они посмотрели друг на друга. Мелкие капли дождя забарабанили по листе. Сабина захлопнула дверь. Г-жа Фогель и Роза подымались по лестнице. Кристоф прошел в свою комнату...

Когда почти угас в потоках дождя желтоватый день, Кристоф, повинувшись неодолимому влечению, поднялся из-за стола; он бросился к закрытому окошку и протянул руки к домику напротив. И в ту же самую минуту в окошке напротив за стеклом, в полумраке комнаты, он увидел — решил, что увидел, — Сабину, протягивавшую к нему руки.

Он бросился туда. Спустился с лестницы. Побежал к изгороди. Пусть все видят, он все равно пойдет. Но когда он взглянул на окно, где только что стояла Сабина, он увидел, что все ставни закрыты. Дом, казалось, спал. Кристоф не решился постучать. Старик Эйлер, направлявшийся к погребу, заметил Кристофа и окликнул его. Кристоф вернулся домой вместе с Эйлером. Он думал, что все это лишь пригрезилось ему.

Роза недолго оставалась в неведении относительно происходившего. Но ей чуждо было малейшее недоверие, и она не знала еще, что такое ревность. Она готова была отдать все, ничего не требуя взамен. Но если она с грустью и смирением принимала, как должное, то, что Кристоф не любит ее, она никогда не допускала мысли, что Кристоф может полюбить другую.

Однажды вечером после обеда она закончила, наконец, вышивать надоевший ей стеной коврик, над которым трудилась долгие месяцы. Счастливая, она решила хоть как-нибудь отпраздновать свое освобождение и побеседовать с Кристофом. Когда мать занялась чем-то в комнатах, Роза незаметно выбралась из дому. Выскольз-

нула потихоньку, как напроказивший школяр. Она радовалась, предвкушая свое торжество над Кристофом, — ведь он не раз пренебрежительно уверял, что ей никогда не разделаться с ковриком. Она подстерожет его на улице — вот будет весело. Бедняжка прекрасно знала, какие чувства питает на ее счет Кристоф, но все же упорно считала, что раз она при встрече с тем или иным человеком испытывает удовольствие, то и ему это должно быть приятно.

Роза вышла на улицу. Перед домом, как и обычно, сидели Кристоф и Сабина. Сердечко Розы сжалось. Однако она прогнала это мимолетное неприятное ощущение и весело окликнула Кристофа. Звук ее пронзительного голоса в вечернем безмолвии произвел на Кристофа впечатление фальшивой ноты. Его даже передернуло, лицо его исказилось от гнева. Роза торжествующе сунула ему под нос благополучно законченный коврик. Кристоф нетерпеливо отмахнулся.

— А я кончила вышивать коврик, кончила! — твердила Роза.

— Ну и прекрасно. Начинайте новый, — сухо ответил Кристоф.

Роза оцепенела. Вся ее радость разом померкла.

А Кристоф продолжал элым тоном:

— Когда вы закончите вышивать тридцатый коврик, когда вы станете дряхлой старухой, у вас хоть будет приятное сознание, что вы не зря прожили жизнь.

Слезы выступили на глазах у девочки.

— Господи, — сказала она, — какой же вы злой, Кристоф!

Кристофу стало стыдно, и он пробормотал какую-то любезную фразу. А Розе ничего больше не требовалось, она разом обрела обычную безмятежность духа и начала болтать, да как болтать: говорить тихо она не умела и кричала, будто оглашенная, подобно прочим обитателям дома. Как ни старался Кристоф сдерживать свою ярость, ему это плохо удавалось. Сначала он отвечал на болтовню Розы односложно, но сердито, потом вообще перестал отвечать, повернулся к ней спиной и вертелся на стуле, скрипя зубами, словно у него над ухом завели трещотку. Роза видела, что он злится, знала, что ей следует

немножко помолчать, но не унималась. Сабина, сидевшая чуть поодаль, молча и с невозмутимой иронией наблюдала эту сцену. Затем, усталая, поняв, что вечер безнадежно потерян, поднялась и ушла домой. Кристоф заметил ее уход не сразу. Но, заметив, встал и, даже не извинившись, удалился, сухо пожелав Розе спокойной ночи.

А Роза, оставшись одна, растерянно глядела на дверь, за которой скрылся Кристоф. Слезы душили ее. Она быстро вбежала в переднюю, тихонечко, чтобы не оставила мать, поднялась к себе в комнату, быстро разделась и бросилась в постель; закрывшись с головой одеялом, она начала рыдать. Она не пыталась понять, что именно произошло, она не думала, любит ли Кристоф Сабину, ненавидят ли Кристоф и Сабина ее, Розу; она знала, что все потеряно, что жизнь отныне не имеет никакого смысла и что остается одно: умереть.

Утро принесло неизменную и обманчивую надежду, а вместе с нею и рассудительность. Вспоминая события вчерашнего вечера, Роза убедила себя, что зря приписывает незначительному в сущности происшествию такую важность. Пусть Кристоф ее не любит: она покорялась неизбежному, ибо про себя тайно лелеяла мысль, что, любя так сильно, заставит Кристофа полюбить себя. Да и откуда она взяла, что между Кристофом и Сабиной что-то есть? Разве мог он, такая умница, полюбить столь незначительную особу, не видеть ее пустоты? Роза воспрянула духом, но все же стала следить за Кристофом. Днем она ничего не сумела заметить, так как нечего было замечать; а Кристоф, видя, как с самого утра Роза не отходит от него без всякой видимой причины, пришел в неистовый гнев... Гнев достиг своего апогея, когда вечером Роза появилась на улице и решительно уселась между Кристофом и Сабиной. Повторилась вчерашняя сцена. Говорила одна Роза. Но на сей раз Сабина еще раньше, чем накануне, ушла домой, и Кристоф последовал ее примеру. Роза не могла не видеть, что ее присутствие становится назойливым, но несчастная девочка все-таки старалась обмануть себя. Она не нашла ничего лучшего, как снова навязать Кристофу свое общество, и с обычной своей неловкостью продолжала держаться этой тактики все последующие вечера.

Вечером Кристоф в компании Розы напрасно дожидался Сабины.

А еще через день Роза сидела на улице в полном одиночестве. Кристоф и Сабина уступили ей поле битвы. Бедняжка добилась только одного — ненависти Кристофа, который впал в неистовство, когда его лишили единственной отрады — милых вечерних часов. И он тем менее был склонен простить Розе ее вмешательство, что, поглощенный своими собственными чувствами, даже не пытался разобраться в чувствах Розы.

А Сабина знала, уже давно знала, что Роза ревнует, знала даже раньше, чем поняла, что сама может влюбиться в Кристофа; она молчала и с жестокостью, присущей любой хорошенькой женщине, которая не сомневается в победе, спокойно и насмешливо следила за бесполезными стараниями своей незадачливой соперницы.

Роза, оставшись хозяйкой на поле битвы, с сожалением наблюдала теперь плоды своей тактики. Самое разумное было бы с ее стороны не настаивать, ждать, оставить хоть на время Кристофа в покое, но как раз этого она не желала и, наоборот, сделала худшее, что могла сделать, — стала говорить с ним о Сабине.

С замирающим сердцем она робко заметила Кристофу, желая знать его мнение, что Сабина хорошенькая. Кристоф сухо ответил, что очень хорошенькая. И хотя Роза ждала именно такого ответа, сама его вызвала, услышав подтверждение из уст Кристофа, она почувствовала будто удар в сердце. Она отлично знала, что Сабина хорошенькая, но как-то никогда не придавала этому значения; теперь же, взглянув на нее глазами Кристофа, впервые увидела тонкие черты, аккуратный носик, маленький рот, хрупкую фигурку, изящество движений... О, какая мука! Чего бы только не дала Роза, чтобы иметь такую прекрасную оболочку! Она слишком хорошо понимала, что эту оболочку предпочли ее собственной. Ах! Да разве она ее выбирала? Как Роза тяготилась своей внешностью! Какой уродливой казалась себе! Она стала сама себе отвратительна. И только смерть избавит ее от этого бремени! Роза была слишком

горда и вместе с тем слишком покорна и не жаловалась, что ее не любят; она не имела на это никакого права и старалась еще сильнее принизить себя. Но что-то в ней бунтовало... Нет, какая несправедливость! Почему она, ее тело — это ее тело, а не Сабинино? И почему любят Сабину? Что она сделала, чтоб быть любимой? Роза смотрела на нее беспощадным взором и видела маленькую ленивицу, неряху, эгоистку, равнодушную ко всему на свете, не занимающуюся ни хозяйством, ни ребенком, любящую только самое себя, живущую только ради того, чтобы спать, слоняться без толку и ничего не делать. И вот такая-то понравилась... Понравилась Кристофу... Кристофу, такому суровому, Кристофу, умеющему судить обо всем строго и правильно, Кристофу, которого она уважала и которым восхищалась превыше всех на свете. Ах, это слишком несправедливо! Даже глупо! Как Кристоф не видит этого сам? Она не могла удержаться и время от времени ввертывала какое-нибудь нелестное замечание о Сабине. Получалось это помимо ее собственной воли. Всякий раз она потом раскаивалась в своем необдуманном слове, потому что была добрая девочка и не любила осуждать ближних. Но еще сильнее раскаивалась потому, что всякий раз свирепые ответы Кристофа показывали ей силу его увлечения. Он ничего и никого не щадил. Оскорбленный в своем чувстве, он сам старался оскорбить; и, надо сказать, это ему удавалось. Роза не отвечала и молча укладывала, опустив голову и крепко сжав губы, чтобы не разреветься. Она считала, что сама виновата, что получила по заслугам, так как задела Кристофа, неосторожно оскорбив предмет его любви.

Мать ее проявляла меньше терпения. Г-жа Фогель, которая видела все, быстро приметила, равно как и девушка Эйлер, частые беседы Кристофа с их молоденькой жиличкой; нетрудно было догадаться, что здесь роман. А это шло вразрез с их тайными планами женить Кристофа на Розе, и семейству Эйлера теперь казалось, что Кристоф, — у которого никто не спрашивал согласия, — обидел их лично, хотя он вовсе не обязан был знать, как распорядились они его судьбой. Но деспотичная Амалия не могла допустить, чтобы кто-нибудь думал иначе, чем она, и возмущалась тем, что Кристоф не разделяет того

презрительного мнения о Сабине, которое у Фогелей неоднократно высказывалось вслух.

Амалия не стеснялась напоминать Кристофу это свое мнение. Как только Кристоф оказывался рядом, г-жа Фогель под любым предлогом заговаривала о соседке в таком тоне, чтобы особенно больно уязвить Кристофа; и так как глаза и язык ее были беспощадны, она не слишком затруднялась в подыскании соответствующих фактов и выражений. С безжалостным чутьем женщин, которые оставили далеко позади мужчину в искусстве причинять боль, равно как и творить добро, Амалия не столько распространялась о лености и прочих нравственных недостатках Сабины, сколько упирала на ее нечистоплотность. Ее нескромное око соглядатая в поисках доказательств проникало сквозь закрытые ставни, выслеживало Сабину в ее спальне; она не стеснялась даже оглашать женские секреты и сама наслаждалась грубой откровенностью своих наблюдений. Когда она не могла всего сказать из приличия, то прибегала к многозначительным намекам.

Кристоф бледнел от стыда и ярости, он становился белым, как бумага, губы его тряслись. Роза, предвидя, что воспоследует, умоляла Амалию замолчать, даже становилась на сторону Сабины. Но слова дочери лишь распадали г-жу Фогель.

Обычно кончалось тем, что Кристоф, как бешеный, вскакивал со стула. Он молотил кулаками по столу и кричал, что подло так говорить о женщине, подло шпионить за нею, смеяться над ее бедностью; только злобный человек может так ополчиться против прелестного, доброго, безобидного создания, живущего в стороне от всех, никому не причиняющего зла, ни о ком не злословящего. И вообще зря стараются, пусть не воображают, что можно словами повредить Сабине в чьем-либо мнении, напротив, так она еще милее, еще лучше видишь ее доброту.

Амалия понимала, что зашла слишком далеко, но отповеди Кристофа ее оскорбляли, и, переводя спор в другую плоскость, она подчеркивала, что слишком легко говорить о доброте, — чего только не оправдывают этим словом! Черт возьми! Нетрудно прослыть доброй, ни-

чего и никогда не делая, не заботясь ни о людях, ни о выполнении своего долга.

На это Кристоф отвечал, что первейший долг человека делать жизнь приятной своим близким, но что имеется немало таких особ, которые полагают свой долг в ином — делают все, что безобразно, противно, надоедают другим, стесняют чужую свободу, злятся, оскорбляют соседей, слуг, домашних, самих себя. Храни нас бог от таких людей и их долга, как от чумы!

Спор обострялся. Амалия не скупилась на ядовитые намеки. Кристоф не отставал. Все это привело лишь к тому, что Кристоф нарочно стал показываться теперь вместе с Сабиной. Он при всех стучался к ней в дверь. Весело говорил с ней, смеялся и нарочно выбирал такие минуты, когда Амалия и Роза могли их видеть. Амалия мстила ядовитыми речами. Но чувствительное сердце Розы страдало от этой утонченной жестокости; она догадывалась, что Кристоф ненавидит их всех, что он им мстит, и горько плакала.

Так Кристоф, сам не раз страдавший незаслуженно от человеческой несправедливости, научился приносить другим незаслуженные страдания.

Спустя некоторое время брат Сабини — мельник, живший в Ландегге, маленьком селении, всего в нескольких лье от городка, решил отпраздновать крестины своего новорожденного сына. Сабине предложили быть крестной матерью. Она пригласила Кристофа. Кристоф не любил таких торжеств, но из желания досадить Фогелям и побыть с Сабиной охотно согласился.

Сабина не могла отказать себе в невинном удовольствии и пригласила также Амалию и Розу, зная заранее, что они откажутся. Обе действительно не преминули отказать. Розе до смерти хотелось принять приглашение. Она вовсе не питала к Сабине какой-либо неприязни, временами даже чувствовала к ней настоящую нежность, ибо Кристоф любил Сабину; Розе хотелось сказать об этом своей сопернице, броситься к ней на шею. Но рядом была мать, мать, служившая образцом и примером. Поэтому Роза ожесточилась в своей гордыне и отказалась

ехать. Когда же Кристоф с Сабиной уехали и Роза подумала о том, что они вместе, что они счастливы вместе, что они теперь идут по полю этим чудесным июльским днем, тогда как она сидит в комнате, перед нею стопка белья, которое нужно перештопать, да еще мать все ворчит и ворчит, ей показалось, что в их доме нечем дышать, и она прокляла свое непомерное самолюбие. А может быть, еще не поздно? Увы, если бы даже не было поздно, она все равно поступила бы так же...

Мельник прислал за Сабиной и Кристофом тележку. По дороге они заезжали за другими приглашенными из города и с соседних ферм. Погода стояла прохладная, сухая. Яркие лучи солнца играли в краснеющих кистях придорожной рябины и в вишеннике, посаженном вдоль межи. Сабина улыбалась. Ее бледное личико порозовело от свежего воздуха. Кристоф держал на коленях девочку. Им не хотелось разговаривать, они обменивались с соседями ничего не значащими замечаниями; для обоих было радостью слышать голос друг друга, было радостью ехать рядом на одной скамеечке. Показывая друг другу на какой-нибудь домик, дерево, прохожего, они переговаривались важно и весело, как дети. Сабина любила деревню, но почти никогда не ездила к брату: слишком уж ее одолевала лень. Вот скоро год как Сабина не выбиралась из города, и теперь всякий пустяк веселил ее взор. Кристофу все это было давно знакомо, но он любил Сабину и, как всякий любящий, смотрел глазами любимой, откликался на каждое ее радостное движение, вдвое восторгался, видя ее восторг, ибо, разделяя чувства любимой, составлял с нею одно целое. На дворе у мельника собрались все родные и гости, прибывшие раньше; они встретили появление тележки громогласными криками. Кудактанье кур, кряканье уток, лай псов сливались в оглушительный шум. Сам мельник, по имени Бертольд, белокурый малый, с квадратным черепом и такими же плечами, высокий и толстый, словно в противовес хрупкой своей сестре, подхватил ее на руки и бережно поставил на землю, будто боялся разбить. Кристоф сразу же заметил, что молоденькая Сабина, как то и бывает, вертит гигантом-мельником, а тот, хоть и отпускал довольно тяжеловесные шуточки, прохаживаясь насчет ее капризов,

лености и бесчисленных недостатков, служит ей покорно, как раб. И она так к этому привыкла, что считала поведение брата в порядке вещей. Она все считала в порядке вещей и ничему не удивлялась. Она не прилагала никаких усилий, чтобы внушить к себе любовь; ей казалось, что так оно и должно быть, а если кто-нибудь не особенно ее жаловал, ну и бог с ним, — поэтому-то все ее и любили.

Кристоф сделал и другое, менее приятное открытие. Он совсем позабыл, что на крестинах полагается быть не только крестной матери, но и крестному отцу, и что куму по обычаю даются кое-какие права над кумой, от чего вряд ли кто-нибудь откажется, особенно, если кума молоденькая и хорошенькая. Кристоф вспомнил об этом только тогда, когда какой-то фермер с белокурыми кудрями и сережками в ушах подошел к Сабине и вlepил ей в каждую щеку по звонкому поцелую. Ему бы сказать себе, что только такой глупец, как он, мог забыть об этом, что совсем уж нелепо обижаться на всем известный обычай, а он вместо этого надулся на Сабину, будто она нарочно завлекла его в ловушку. А так как во время церемонии он точно на грех оказался далеко от Сабины, он еще больше рассердился. Время от времени Сабина оборачивалась и, высмотрев Кристофа среди длинной процессии, вытянувшейся через весь луг, бросала ему ласковый взгляд. Но он притворялся, что ничего не замечает. Сабина чувствовала, что Кристоф сердится, догадывалась даже почему, но ничуть не тревожилась, а только забавлялась. Если бы даже она по-настоящему поссорилась с любимым и по-настоящему огорчилась этой ссорой, она все равно бы пальцем не шевельнула, чтобы положить конец недоразумению: уж очень много хлопот. Все и так окончится хорошо, все образуется само собой.

За столом Кристофа усадили между мельничихой и толстой краснощекой девицей, — Кристоф уже шел с нею в паре в церковь, но тогда не удосужился даже обернуться в ее сторону; а тут он решил разглядеть получше свою соседку, нашел, что она недурна, и, желая отомстить коварной Сабине, стал любезничать со своей дамой, дабы привлечь внимание изменницы. Он успел в своем замысле, но не такой женщиной была Сабина, чтобы ревновать кого-нибудь к кому-нибудь, лишь бы ее любили; не

почувствовав никакой обиды, она от души радовалась, что Кристофу так весело. Она посылала ему через весь стол самые очаровательные улыбки. Кристоф был обескуражен, он не сомневался более в полном равнодушии Сабины; он вдруг сердито замолчал, и слова из него нельзя было вытянуть — не помогли ни шутки, ни вино. Наконец, он совсем раскис, ругательски ругал себя за то, что согласился поехать на эти проклятые крестины, и не слышал даже, как мельник предложил гостям покататься на лодке, а кстати развезти кое-кого по домам. И не видел, как Сабина быстро кивнула ему головой, приглашая сесть в одну с ней лодку. Но когда Кристоф догадался, что надо делать, места в лодке уже не оказалось, ему пришлось сесть в другую лодку. Понятно, новая эта незадача только еще сильнее его расстроила, но он сообщил, что, к счастью, почти все его спутники постепенно сойдут на берег. Тогда он воспрянул духом и стал даже любезно улыбаться. Да и прекрасная прогулка пореке, удовольствие, которое ему доставляла гребля, веселый смех и шутки соседей окончательно развеселили Кристофа. Раз Сабины нет с ним, он может дать себе волю и со спокойной душой развлекаться так же, как и все остальные.

Гости разместились в трех лодках. Шли они корма в корму и старались обогнать переднюю. С лодки на лодку неслась веселая и беззлобная ругань. Когда лодки Кристофа и Сабины поровнялись, он увидел веселый взгляд молодой женщины, и сам улыбнулся в ответ: оба поняли, что мир восстановлен. Ведь Кристоф твердо знал, что обратно они поедут в одной лодке.

Гости запели песню на четыре голоса. Каждая группа по ходу песни пела один куплет, а хор подхватывал припев. Лодки плыли теперь на значительном расстоянии друг от друга, и голоса доносились, как эхо. Звуки скользили по воде, словно птицы. Время от времени какая-нибудь лодка причаливала к берегу, и двое-трое приглашенных крестьян высаживались; и долго еще они стояли на берегу, махая рукой вслед отплывающим. Компания таяла. С каждой остановкой хор все редел. Наконец, Сабина, Кристоф и мельник остались одни.

Они пересели в одну лодку и пустили ее вниз по течению. Кристоф и Бертольд, сидевшие на веслах, бросили

грести. Сабина, пристроившаяся на корме лицом к Кристофу, говорила с братом, а смотрела на Кристофа. Так они невозбранно могли вести свою немую беседу и знали, что их диалог оборвется, стоит замолкнуть ненужным словам. Слова, казалось, говорили: «Я гляжу вовсе не на вас». А взгляды говорили: «Кто ты? Кто ты? Ты, кого я люблю! Ты, кого я люблю, каков бы ты ни был!»

Небо нахмурилось, с лугов потянуло сыростью, над рекой за клубился туман, и в нем потухли последние лучи солнца. Сабина продрогла и накинула на голову и плечи небольшую черную шаль. Она выглядела усталой. Лодка скользила сейчас вдоль берега под ветвями плакучих ив. Сабина прикрыла глаза, ее тоненькое личико побледнело, вокруг губ легка страдальческая складка, она не шевелилась; казалось, она страдает, отстрадала, уже умерла. У Кристофа сжалось сердце. Он нагнулся к Сабине. Она подняла веки и, заметив тревожный и вопросительный взгляд Кристофа, улыбнулась ему. Это было как солнечный луч. Он сказал, понизив голос:

— Вы больны?

Она отрицательно покачала головой и ответила:

— Нет, просто замерзла.

Оба мужчины набросили на нее свои пальто, закутали ей ноги, подоткнули края пальто под колени, словно ребенка в кроватке. Она молча принимала их услуги и благодарила взглядом. Заморосил мелкий, холодный дождик. Кристоф с мельником приналегли на весла, торопясь поскорее добраться до дома. Тяжелые тучи обволокли все небо. Нос лодки рассекал чернильно темную воду. В полях, в окнах домов, там и сям, замелькали огоньки. Когда они добрались до мельницы, дождь хлынул всюю, и Сабина совсем околела.

В кухне жарко растопили камин, и в ожидании, когда прекратится ливень, все уселись у огня. Но дождь лил все сильнее, поднялся ветер, а до города надо было ехать целых три лье. Мельник заявил, что он ни за что не отпустит Сабину в такую погоду, и предложил Кристофу и сестре переночевать у него на ферме. Кристоф не знал, соглашаться или нет, он пытался прочесть ответ в глазах Сабины, но глаза Сабины не отрывались от яркого пламени; казалось, она боится поднять взгляд и подска-

зять Кристофу решение. Когда же Кристоф согласился, она молча повернула к нему порозовевшее личико (или, может быть, то был отсвет пламени), и все черты ее выразили удовольствие.

Незабываемый вечер... Непогода бушевала во дворе. Пламя, лизавшее черную пасть камина, рассыпалось роем золотых звездочек. Гости и хозяева сидели у огня. По потолку скользили их причудливые силуэты. Мельник показывал дочурке Сабины зайчиков на стене, ловко складывая пальцы. Девочке не верилось, и она все смеялась. Сабина, немного нагнувшись, машинально шевелила поленья длинными щипцами; она сильно устала и рассеянно улыбалась своим мыслям; и видно было, что она не слушает невестки, которая что-то с жаром рассказывает гостю о домашних делах, и только так, для виду, утвердительно кивает головой. Кристоф, сидя в темноте рядом с мельником, нежно перебирал волосики девочки и смотрел на улыбающиеся губы Сабины. Она знала, что он на нее смотрит. А он знал, что она улыбается ему. За целый вечер им не удалось обменяться ни словом, не удалось даже поглядеть друг другу в глаза, да они и не стремились к этому.

Спать разошлись рано. Сабину и Кристофа поместили в двух смежных комнатах. Кристоф машинально взглянул на дверь и заметил, что задвижка находится с той стороны. Он лег и честно старался заснуть. В окна стучал дождь. Ветер сердито завывал в трубе. На верхнем этаже хлопала дверь. Тополь, не сгибаясь под порывами бури, надсадно скрипел. Кристоф лежал с открытыми глазами. Он думал, что она рядом, под одною с ним крышей, только стена разделяет их. Из комнаты Сабины не доносилось ни звука. Но ему казалось, что он видит ее. Присев на кровати, он звал ее тихим голосом, он говорил ей туда, через стену, нежные и страстные слова. Он даже протягивал к ней руки. И ему чудилось, как отвечает ему милый голос, как повторяет его слова, зовет его шепотом; и он не знал, действительно ли говорит Сабина, или он сам отвечает на свои жадные вопросы. Вдруг призыв стал так слышен, что Кристоф не выдержал... Он соско-

Встал с постели, ощупью добрался до двери — он не хотел ее отпирать, ему было бы спокойнее, если бы она была заперта. Но когда он еще раз коснулся ручки ладонью, он почувствовал, что дверь подалась...

Кристоф оцепенел... Он тихонько прикрыл дверь, снова ее открыл и снова закрыл. Разве Сабина не заперла только что дверь? Заперла, он знал, что заперла. Кто ж тогда ее открыл? Сердце бешено стучало в груди, мешало дышать. Он оперся о спинку кровати и сидел так, стараясь отдышаться. Страсть сразила его, лишила его возможности смотреть, слушать, шевелиться; он дрожал всем телом. Ему внушало страх то самое неизведанное счастье, которое он призывал долгие месяцы и которое теперь было здесь, рядом, от которого его ничто не отделяло. И этот обуянный яростной страстью подросток вдруг почувствовал лишь ужас и отвращение теперь, когда желания его сбывались. Он стыдился своих желаний, стыдился того, что должно было произойти. Он слишком любил и не смел насладиться своей любовью, он даже пугался этой мысли, он готов был на все, лишь бы избежать счастья. Любить, любить, неужели любовь — это осквернение того, что любишь?..

Он снова подошел к двери и, дрожа от страсти и ужаса, положил руку на засов.

А по ту сторону двери стояла босыми ногами на каменных плитах дрожащая от холода Сабина.

И так они ждали, они не решались... Сколько прошло времени? Минута? Час? Они не знали, что рядом, за дверью, стоит другой — и все-таки знали. Они тянулись друг к другу: он — не смел войти, раздавленный бременем любви, а она ждала, звала его и содрогалась при мысли, что он войдет. И когда он решился, наконец, войти, было поздно — она решилась и заперла дверь.

«Сумасшедший!» — шептал он самому себе. Он налег на дверь всей тяжестью тела. Прижав губы к замочной скважине, он умолял:

— Откройте!

Он шепотом звал Сабину; до нее долетало его прерывистое дыхание. Она стояла, прижавшись к двери, неподвижная, застывшая, зубы ее громко стучали, она не имела силы ни открыть дверь, ни отойти от двери...

Порывистый ветер стучался в ставни, гнул под окном жалобно скрипевшие деревья. Сабина и Кристоф медленно разошлись по своим постелям, чувствуя неодолимую усталость во всем теле и неодолимую тоску в сердце. Хрипло пропел петух, ему ответил другой; забрызганные грязью окна посветлели — начинался рассвет. Безрадостный, белесый рассвет, еле пробивающийся сквозь упрямый дождь...

Кристоф поднялся с постели, спустился на кухню, заговорил с хозяевами. Ему хотелось поскорей уехать. Он боялся остаться наедине с Сабиной. Он почувствовал даже какое-то облегчение, когда мельник сказал, что Сабина прихворнула, — слишком перемерзла вчера на лодке и в город сегодня не поедет.

Как мрачен был обратный путь! Кристоф отказался от тележки и пошел пешком; он брел по мокрым лугам среди тумана, желтым саваном окутывавшего землю, деревья, дома. И вся жизнь казалась тусклой, как этот свет. Предметы выступали из тумана словно призраки. И сам он был словно призрак.

Дома его встретили сердитые лица. Все были возмущены — провести неизвестно где ночь, да еще с Сабиной. Кристоф заперся в своей комнате и сел за работу. Сабина вернулась на другой день и тоже не выходила. Они избегали встреч. Погода стояла дождливая, оба не покидали комнат. Но они видели друг друга сквозь стекла плотно закрытых окон. Сабина, укутавшись в шаль, сидела у очага и о чем-то думала. Кристоф не подымал головы от своих бумаг. Они раскланивались через окошко, сдержанно, даже холодно, и тут же с нарочитой поспешностью брались за прерванное занятие. Они не отдавали себе ясного отчета в своих чувствах; просто сердились друг на друга, на самих себя, на всё и на вся. Они изгнали из памяти ночь, проведенную у мельника; они краснели, вспоминая о ней, и не знали, краснеют ли, стыдясь охватившего их тогда безумия, или, наоборот, стыдятся, что не уступили ему. Видеться для них стало мукой, ибо при встречах они вспоминали то, что хотелось забыть, и словно по уговору избегали встреч и сидели

безвыходно дома, надеясь, что все забудется. Но это оказалось не так-то легко, и оба страдали, чувствуя втайне взаимную неприязнь. Кристофу всюду чудилось выражение холодной неприязни, подмеченное как-то на личике Сабины. А сама Сабина тоже страдала от этих мыслей. Напрасно она боролась, напрасно пыталась их подавить: они были с ней всегда. Да еще стыд от сознания, что Кристоф догадывается об ее переживаниях, жгучий стыд от того, что сама предложила себя... предложила себя и не посмела отдаться.

Поэтому Кристоф с жаром ухватился за предложение уехать с концертами в Кельн и Дюссельдорф. Ему весьма улыбалась перспектива провести две-три недели подальше от дома. Приготовления к отъезду и новая соната, которую он торопился закончить, чтобы исполнять в концертах, поглотили его, и в конце концов неотвязные и назойливые воспоминания отошли куда-то. Отошли они и от Сабины, которую снова засосала цепящая скука будней. Они уже думали друг о друге с полным безразличием. Любили ли они друг друга? Теперь они сомневались. Кристоф даже собирался уехать в Кельн, не попрощавшись с Сабиной.

Накануне отъезда их свел случай. Было это в воскресенье к вечеру. Фогели и Эйлер отправились по обыкновению в церковь. Кристоф тоже ушел в город, решив сделать покупки к отъезду. Сабина сидела в своем крошечном садике, греясь в лучах заходящего солнца. Кристоф как раз возвратился; он спешил, и первым его побуждением было просто поздороваться с Сабиной и молча пройти мимо. Но когда он поровнялся с нею, какое-то смутное чувство удержало его. Было ли тому причиной бледное лицо Сабины, или неясный страх, угрызения совести, нежность?.. Он остановился, посмотрел в ее сторону и, опершись о проволочную изгородь, поздоровался с Сабиной. Она молча протянула ему руку. На губах ее играла добрая улыбка. Такой улыбки он еще ни разу у нее не видел. Доверчиво протягивая Кристофу руку, она, казалось, говорила: «Мир, мир! Забудем все». Он схватил протянутую сквозь проволочную изгородь руку, нагнулся и поцеловал ее. Сабина не отняла руки. Ему хотелось броситься перед нею на колени, закричать;

«Я люблю вас...» Они молча глядели друг на друга. Но объяснение не состоялось. Подождав с минуту, Сабина отняла свою руку и отвернулась. Кристоф отвернулся тоже, желая скрыть охватившее его волнение. Потом они снова поглядели друг на друга просветленным взглядом. Солнце садилось. По холодному и чистому небу легко пробегали лиловые, оранжевые и розовые отблески. Таким знакомым и милым жестом Сабина плотнее закуталась в шаль.

— Как вы себя чувствуете? — спросил Кристоф.

Сабина только пошевелила губами, словно отвечать не стоило. Счастливые, они смотрели друг на друга. Им казалось, что они уже потеряли было друг друга и вот нашли.

Кристоф первый нарушил молчание.

— А я завтра уезжаю, — сказал он.

Сабина испуганно взглянула на него.

— Уезжаете? — повторила она.

— Всего на две-три недели, — поспешно добавил Кристоф.

— На две-три недели, — произнесла она уныло.

Кристоф объяснил, что он согласился дать несколько концертов, но, вернувшись домой, уже никуда не тронется с места, целую зиму просидит здесь.

— Зиму, — повторила Сабина. — До зимы далеко...

— Да нет, — возразил Кристоф, — совсем недолго.

Она, не глядя на него, покачала головой.

— А когда мы увидимся? — спросила она помолчав.

Кристоф не понял ее вопроса: ведь он же сказал когда.

— Сразу же, как вернусь, — значит, через две-три недели.

Но Сабина попрежнему сидела с таким жалким, растерянным видом, что Кристоф решил пошутить.

— Ну, для вас время быстро пройдет, — сказал он, — будете спать.

— Да, — сказала Сабина.

Она упорно не подымала глаз, пыталась улыбнуться, но губки ее задрожали.

— Кристоф, — вдруг произнесла она, подавшись к нему всем телом.

В ее голосе слышалось смятение. Казалось, она молчала:

«Останьтесь! Не уезжайте!»

Кристоф схватил Сабину за руку, посмотрел на нее; он не понимал, почему так испугала ее эта разлука, ведь они не увидятся всего две недели; и он ждал от нее одного-единственного слова, чтобы ответить: «Я остаюсь...»

Сабина хотела что-то сказать, но калитка распахнулась, и появилась Роза. Сабина отдернула руку и быстро ушла к себе. На пороге она обернулась, посмотрела еще раз на Кристофа и скрылась за дверью.

Кристоф надеялся увидеть Сабину вечером. Но под бдительным оком Фогелей он не сумел вырваться к ней ни на минуту, сам по обыкновению замешкался с приготовлениями к отъезду, да и мать ходила за ним весь вечер по пятам.

На следующий день он уехал, как только забрезжил рассвет. Проходя мимо домика Сабины, он хотел зайти, постучать в окошко, — так мучительно было расставаться, не сказав ей «до свидания», ибо вчера появление Розы помешало ему произнести нужные слова. Но он решил, что Сабина еще спит и, пожалуй, рассердится, если он разбудит ее в такую рань. Да и что он ей скажет? Сейчас уже поздно отказываться от поездки, а вдруг она именно этого попросит? И к тому же ему было приятно чувствовать свою власть над нею, хотя даже от себя он скрывал коварную мысль: что ж, пусть немножко помучается. Он никак не мог поверить, что Сабина действительно так близко приняла к сердцу его отъезд; и он радовался при мысли, что эта недолгая разлука только усилит ее нежность, если она вообще чувствует к нему нежность.

Он побежал на вокзал. По дороге его мучили угрызания совести. Но как только тронулся поезд, все было забыто. Сердце захлестнула молодость. Он весело посмотрел на удаляющийся старый город, крыши и башни которого розовели в первых лучах солнца, с беспечностью

завязтого путешественника послал последнее прости остающимся и забыл о них.

За все время, проведенное в Дюссельдорфе и Кельне, он ни разу не вспомнил о Сабине. С утра до ночи шли репетиции, а потом концерты, обеды, разговоры, новые впечатления и горделивое сознание успеха. Где же тут предаваться воспоминаниям? Только раз, на пятую ночь после съезда, он вдруг проснулся после кошмара и понял, что во сне думал о ней и что именно от этой мысли проснулся, но он не мог вспомнить, как он о ней думал. Только какая-то тоска и волнение не унимались. Впрочем, ничего удивительного в этом не было: вчера он играл в концерте, после концерта его пригласили ужинать, а за ужином он выпил несколько бокалов шампанского. Заснуть он больше не мог и встал с постели. Его упорно преследовала одна музыкальная фраза. Он говорил себе, что именно эта фраза мучила его во сне, мешала ему спать, и он записал ее. Прочитав ее, он удивился, до чего печально она звучит, а ведь когда он писал, он не испытывал никакой грусти, так по крайней мере ему казалось. Но он тут же вспомнил, что не раз уже в минуты грусти писал только веселую музыку, и эта веселость оскорбляла его. Он не стал раздумывать над этим обстоятельством. Он привык к таким неожиданным переменах в себе и даже не пытался понять их. Он тотчас же заснул, а проснувшись, ничего не помнил.

Кристоф решил задержаться еще на три-четыре дня. Ему даже нравилось, что он задерживается, тем более, что стоило ему сильно захотеть, и он мог бы сразу же тронуться в обратный путь, но он не торопился. Только сидя в поезде, увозившем его в родные места, он вдруг вспомнил о Сабине. Он ни разу ей не написал. И по безопасности не потрудился зайти на почту и получить письма до востребования, если такие пришли на его имя. В этом он находил даже какую-то тайную радость, он знал, что там его ждут и любят. Любят? Ни разу она еще не говорила ему, что любит, и ни разу он ей не сказал того же. Но оба знали это без слов. Однако ничто не могло сравниться с признанием. Так зачем же они медлили? Всякий раз когда они готовы были заговорить, какое-нибудь случайное обстоятельство мешало им. По-

чему? Почему? Столько времени потеряно зря. Кристоф сгорал от нетерпения услышать бесценные слова любви из ее милых уст. И чем ближе подходил к родному городку поездов, тем сильнее томили его нетерпение и тоска. Скорее! Скорее же! О, подумать только, что через час он увидит ее!..

Было половина седьмого утра, когда Кристоф добрался домой. Все еще спали. Окна Сабининой квартиры были закрыты. На дыпочках Кристоф прошел по двору, боясь, как бы она не услышала его шаги. Вот будет весело застать ее врасплох! Он поднялся к себе. Мать еще спала. Стараясь не шуметь, Кристоф умылся и переоделся. Очень хотелось есть, но Кристоф боялся, что загремит чашками в буфете и разбудит Луизу. Во дворе послышались шаги, он тихонько открыл окошко и увидел Розу — как и обычно, она встала раньше всех в доме и принялась мести двор. Кристоф вполголоса окликнул ее. Увидев его, Роза вздрогнула от неожиданности и счастья, но тут же взглянула на него суровым взглядом: «Должно быть, дуется еще», — подумал и тут же забыл Кристоф — в таком он был чудесном настроении. Он сбежал во двор.

— Роза, Роза, — заговорил он весело, — дай мне поскорее поесть, а то я тебя съем! Я просто умираю с голоду.

Роза улыбнулась и повела его на кухню, расположенную в нижнем этаже. Наливая молоко в чашку, Роза не удержалась и засыпала Кристофа вопросами относительно его путешествия и концертов. И хотя Кристоф отвечал ей многословно и охотно (он был так счастлив, что вернулся домой, он радовался даже Розиной болтовне), Роза внезапно замолчала, не докончив начатой фразы, лицо ее вытянулось, она отвела глаза в сторону и задумалась. Потом она опять принялась болтать, но чувствовалось, что она раскаивается в своей болтливости; через минуту она снова прервала себя. Кристоф, наконец, заметил это и обратился к ней с вопросом:

— Да что с тобой, Роза? Неужели ты на меня сердишься?

Роза энергично покачала головой, желая показать, что нет, не сердится, и вдруг с обычной своей угловатостью повернулась к Кристофу и обеими руками схватила его за руку.

— О Кристоф! — сказала она.

Кристоф был поражен. Кусок хлеба выпал у него из рук.

— Что? Что случилось? — спросил он.

— Ах, Кристоф, какое несчастье! Какое огромное несчастье!

Кристоф поднялся, оттолкнул стул. Он спросил, запынаясь:

— Где?

Роза указала на домик, стоявший по ту сторону двора.

— Сабина! — закричал он.

Роза заплакала.

— Она умерла.

Кристоф на мгновение словно ослеп. Он поднялся, потом упал на стул, вцепился в угол стола, опрокинув чашку и кувшин, — ему хотелось кричать в голос. Его терзала жесточайшая боль. Он задыхался, его начало рвать.

Роза испуганно захлопотала вокруг него; плача, она поддерживала его голову.

Наконец, он смог сказать:

— Это неправда...

Он знал, что это правда. Но он не хотел этой правды, хотел, чтобы не было того, что произошло. Увидев, как струятся слезы по лицу девушки, он уже не мог сомневаться и зарыдал.

Роза подняла голову.

— Кристоф! — окликнула она.

Упав грудью на стол, он закрыл лицо обеими руками.

Роза нагнулась над ним.

— Кристоф! Мама идет!..

Кристоф поднялся.

— Нет, нет, — сказал он, — я не хочу, чтоб она меня видела.

Роза схватила Кристофа за руку и отвела его в маленький деревянный сарайчик, стоявший во дворе. Кристоф шел за ней, шатаясь, ничего не видя от слез. Роза закрыла дверь. Они очутились в темноте. Кристоф присел на колоду, на которой рубили дрова. Роза пристроил-

лась напротив на связке хвороста. Все уличные шумы доходили сюда словко издалека, приглушенно. Здесь Кристоф мог плакать и кричать вдоволь, никто бы его не услышал. И Кристоф рыдал яростно, неудержимо. Роза никогда не представляла себе, что Кристоф может так рыдать, не верила даже, что он может плакать; по сравнению с ее полудетскими, быстро высыхающими следами отчаяние мужчины было страшно и вызывало жалость. Ее пронизывала страстная любовь к Кристофу. И в любви этой не было ничего эгоистического: Роза испытывала неодолимую потребность жертвы, материнского самоотречения, ей хотелось страдать, лишь бы не страдал он, хотелось взять на себя всю его боль. И она как мать обняла Кристофа.

— Кристоф, дорогой, — повторяла она, — не плачь, ну, не плачь же!

Кристоф отвернулся.

— Я хочу умереть.

Роза умоляюще сложила руки.

— Не говори так, Кристоф.

— Я хочу умереть. Я не могу... не могу больше жить... К чему мне жизнь!

— Кристоф, Кристоф, миленький, ведь ты не один. Все тебя любят.

— А мне-то что? Я ведь больше никого не люблю. Пускай все умрут или живут, мне-то что. Я никого не люблю. Я только ее люблю. Только ее любил! Только ее любил!

И Кристоф зарыдал еще громче, пряча лицо в ладони. Роза не знала, что сказать. Эгоистическая страсть Кристофа как ножом резала ей сердце. Она-то надеялась, что сейчас, в горе, будет ближе к нему, а стала совсем одинокой, совсем несчастной, еще несчастнее, чем раньше. Горе не сблизило их, а только сильнее разлучило. И Роза горько заплакала.

Прошло несколько минут, Кристоф вдруг перестал плакать и спросил:

— А как? Как?

Роза поняла.

— Она тут же после твоего отъезда, в тот же вечер, заболела инфлюэнцей. Ей сразу стало очень плохо.

— Боже мой! — простонал Кристоф. — Почему же мне не написали?

— Я писала, — ответила Роза. — Я только не знала твоего адреса. Ты же нам ничего не сказал. Я спрашивала в театре. Никто не мог толком объяснить.

Кристоф знал, как застенчива Роза и чего стоили ей эти хлопоты. Он спросил:

— Это она... она тебя посылала?

Роза отрицательно покачала головой.

— Нет, я подумала, что...

Кристоф поблагодарил ее взглядом. Сердце Розы растаяло.

— Кристоф, бедный мой Кристоф! — повторяла она.

Рыдая, Роза бросилась ему на шею. Кристоф вдруг понял, как драгоценна эта чистая нежность. Он так нуждался в утешении! И он обнял ее.

— Какая ты хорошая, — сказал он, — ты, значит, любила ее...

Роза высвободилась из объятий Кристофа, бросила на него горящий взгляд и, ничего не ответив, снова зарыдала.

Этот взгляд все сказал ему. Взгляд этот говорил: «Не ее я любила, а...»

Наконец, Кристоф увидел то, чего не желал видеть все эти долгие месяцы. Он понял, что Роза его любит.

— Тише, — сказала Роза, — мама меня зовет.

Со двора доносился голос Амалии.

— Ты сейчас пойдешь к себе? — спросила Роза.

— Нет, — ответил Кристоф, — я пока еще не могу, я не могу говорить с мамой... Потом пойду.

— Тогда посиди здесь, — посоветовала Роза. — Я сейчас вернусь.

Кристоф остался один в темном сарайчике; узкая полоска света проникала сквозь окошко, затканное паутиной. С улицы доносились крики торговли, за стеной в соседней конюшне фыркала лошадь и нетерпеливо перебирала ногами. Открытие, только что сделанное Кристофом, не доставило ему никакого удовольствия, но на минуту отвлекло его от черных мыслей. Теперь он объяснил себе многое, чего раньше не понимал. Десятки мелких, незначительных фактов, которым он раньше не прида-

ваал никакого значения, пришли ему на память и получили новый смысл. Он удивлялся самому себе: как он может думать сейчас о таких пустяках; негодовал на себя, что смел, пусть на короткое время, забыть свое горе. Но горе это было так велико, так давило, что в действии вступил инстинкт самосохранения, более властный, чем воля, чем мужество, чем любовь; он-то и заставил Кристофа отвлечься, ухватиться за новую мысль, подобно тому как утопающий в отчаянии хватается за первый попавшийся предмет, даже зная, что не спасется, а только для того, чтобы хоть еще минуту удержаться на поверхности. Впрочем, именно потому, что Кристоф страдал, он чувствовал теперь, как страдает и другой человек, страдает из-за него. Он понимал эти слезы, которые сам исторг сейчас... Он жалел Розу. Он вспоминал, как был жесток с ней, и знал, что и впредь будет так же жесток. Ибо он не любил ее. К чему ему любовь Розы! Бедная девочка!.. Напрасно он твердил себе, что она хорошая, добрая (ведь только сейчас она доказала свою доброту). А на что ему ее доброта? На что ему ее жизнь?

«Почему, — думал он, — умерла не она и почему та не осталась в живых?»

«Она жива, она любит меня, — думал он, — она может говорить мне о своей любви сегодня, завтра, всю жизнь, а та, единственная, которую я любил, она умерла, так и не сказав мне, что любит меня, и я не сказал ей, что люблю ее, и никогда я не услышу от нее слов любви, и никогда она не узнает...»

И вдруг он вспомнил последний вечер, вспомнил, как они разговаривали и как их разговору помешала Роза. Теперь он просто ненавидел Розу...

Дверь сарайчика скрипнула. Роза шепотом окликнула Кристофа и в темноте ощупью добралась до него. Она зыла его за руку. Ему вдруг стало невыносимо ее присутствие, и он напрасно упрекал себя за это чувство — оно было сильнее его.

Роза молчала. Она так глубоко жалела Кристофа, что научилась даже молчать. Кристоф был благодарен ей за то, что она не смущает его горе ненужными словами. Однако ему хотелось знать... Ведь Роза, только одна

Роза могла говорить с ним о ней. Он спросил еле слышно:

— А когда она...

(Он не смел спросить: «умерла».)

— В субботу на той неделе, — ответила Роза.

Вдруг воспоминания прорезали тьму.

— Ночью, — сказал он утвердительно.

Роза с изумлением посмотрела на Кристофа и подтвердила:

— Да, ночью, между двумя и тремя часами.

Похоронная мелодия пришла ему на память.

Дрожа, он спросил:

— Она сильно страдала?

— Нет, слава богу, нет, дорогой Кристоф, совсем почти не страдала. Она так ослабла. Даже не боролась с болезнью. Мы сразу поняли, что она умрет.

— А она понимала?

— Не знаю. Думаю...

— Она что-нибудь говорила?

— Нет, ничего. Стонала только, как ребенок.

— Ты была там?

— Да, была, целых два дня, пока ее брат не приехал.

В порыве признательности Кристоф крепко сжал руку Розы.

— Спасибо тебе!

Роза почувствовала, как вся кровь прилила к ее сердцу.

Помолчав немного, он произнес, наконец, те слова, которые жгли его:

— А она мне ничего не велела передать?

Роза печально покачала головой. О, если бы она могла ответить так, как ему хотелось... И она упрекала себя, что не умеет лгать. Она попыталась его утешить:

— Она ведь была без сознания.

— А она говорила что-нибудь?

— Говорила, только никто ничего не мог понять.

Очень тихо говорила.

— А где ее дочка?

— Брат увез к себе в деревню.

— А она?

— И ее тоже похоронили в деревне. В прошлый понедельник увезли туда.

И оба заплакали.

Раздался голос г-жи Фогель, она опять звала Розу. Оставшись один, Кристоф мучительно думал о днях, протекших после ее смерти. Восемь дней, уже восемь дней... О, боже, что с ней случилось!.. Ведь всю неделю дождь поливал землю. А он тем временем смеялся, он был счастлив!

Он нащупал в кармане сверток, завернутый в шелковистую бумагу; это были серебряные пряжки, он купил их ей, для туфелек. Он вспомнил тот вечер, когда его рука сжимала ее маленькую ножку, с которой соскользнула туфля. Маленькие ее ножки, что с ними стало сейчас? Как, должно быть, им холодно!.. Он подумал, что прикосновение к этой теплой и живой ножке было единственным, что осталось от нее, от ее желанного тела. Ни разу он не осмелился прикоснуться к ней, обнять ее, прижать к себе. И вот она ушла — неузнанная и навсегда. Он ничего не знал о ней, не знал ни ее души, ни ее тела. Что ему вспомнить о ее земной оболочке, о ее жизни, о ее любви?.. Да и любила ли она его, где доказательства?.. Ни письма, ни слова — ничего у него нет. Где найти, где обрести ее, вне или в самом себе? О, небытие! Ничего не осталось ему от нее кроме любви к ней, ничего не осталось кроме любви... И наперекор всему могучее желание вырвать любовь из-под власти разрушения, настоятельная потребность отрицать смерть привязывали его к этой любви, к тому, что уцелело, силою неистовой веры:

...Ne son gia morto; e ben c'albergo cangi,
Resto in te vivo, c'or mi vedi e piangi,
Se l'un nell'altro amante si trasforma...

«... Я не умерла, я лишь переменила жилище, я продолжаю жить в тебе, кто видит меня и плачет обо мне. В душу любящего превращается душа любимой...»

Кристоф никогда не читал этих возвышенных строф, но они были в нем. Каждому из нас приходит черед подыматься на Голгофу веков. И достоянием каждого

становятся муки, безнадежная надежда и безумие веков. Каждый идет по стопам тех, кто были раньше, до него, тех, кто раньше боролись со смертью, отрицали смерть и умерли.

Кристоф заперся у себя и никуда не выходил. С утра до вечера не открывались ставни: слишком было страшно увидеть окна домика, стоявшего на противоположной стороне двора. Он избегал Фогелей. Они стали ему отвратительны. Упрекнуть их было не в чем: они были слишком славные люди и слишком верующие, они сумели смирить свои чувства перед лицом смерти. Они поняли горе Кристофа и стесались к нему с уважением, не считаясь с личными симпатиями; они избегали произносить при нем имя Сабины. Но когда она была жива, они были ее врагами, и этого было достаточно, чтобы теперь, когда она умерла, они стали врагами Кристофа.

Впрочем, ничто не изменилось в этом шумном и хлопотливом семействе, и хотя Эйлер — Фогели испытывали искреннюю жалость, правда довольно быстро прошедшую, слишком явно чувствовалось, что смерть Сабины мало их трогает (что было более чем естественно); возможно, в глубине души они чувствовали даже облегчение. Так по крайней мере казалось Кристофу. Теперь, когда планы Фогелей на его счет стали ему известны, он нарочно приписывал им бог знает что. А на самом деле их меньше всего интересовал Кристоф, и совершенно напрасно он преувеличивал свое значение. Так или иначе, но он не сомневался, что для Амалии со смертью Сабины исчезла главная помеха, мешавшая осуществлению ее планов, и поле действия оставалось, таким образом, за Розой. Поэтому-то он ее и ненавидел. То, что они (читай: Фогели, Луиза и сама Роза) посмели втихомолку, даже не посоветовавшись с ним, распоряжаться его судьбой, — да это одно, при любых условиях, восставляло Кристофа против той, которую ему навязывали. Всякий раз когда ему чудилось, что Фогели или кто-либо другой посягают на его настороженную свободу, он вставал на дыбы. А в данном случае речь шла не о нем одном. Права, предъявляемые на него, затрагивали

не только самого Кристофа, но и покойную Сабину, которой принадлежало навеки его сердце. И он яростно защищал свои права, хотя никто на них и не думал покушаться. Он подозрительно смотрел даже на добрую Розу, которая страдала, видя его страдания, и часто стучалась к нему в комнату, желая утешить Кристофа, поговорить с ним о той, другой. Он не отталкивал Розу: ему необходимо было говорить о Сабине с тем, кто ее знал, ему хотелось в мельчайших подробностях услышать, что происходило во время ее болезни. Но никакой благодарности к Розе он не чувствовал, он видел в этих беседах лишь корыстный интерес. Разве не ясно, что Амалия разрешала эти визиты и эти долгие беседы, которых раньше она никогда бы не потерпела, только потому, что это на руку Фогелям? А разве Роза во всем не согласна с домашними? Кристоф не хотел верить, что Роза жалеет его искренно, что руководят ею отнюдь не личные соображения.

А ведь так оно и было. Роза жалела Кристофа всем сердцем. Она заставляла себя видеть Сабину глазами Кристофа, любить ее; любя его, она сурово осуждала себя за те дурные чувства, которые временами подымались в ней против Сабины, и вечерами, молясь, просила у покойницы прощения. Но могла ли Роза забыть, что она-то жива, видит Кристофа десятки раз на день, любит его и что теперь ей нечего бояться соперницы, которая исчезла и память о которой исчезнет мало-помалу, тогда как она, Роза, осталась и, быть может, в один прекрасный день... Разве могла она, переживая собственную скорбь, переживая скорбь друга, которая была ей ближе, чем своя собственная, могла ли она сдерживать невольную вспышку радости, помешать безрассудной надежде? Правда, Роза тут же одергивала себя. И вспышка — всего лишь вспышка. Но и этого было достаточно. Кристоф все замечал. Он взглядывал на Розу так, что у нее леденело сердце. Она читала в его глазах ненависть и понимала, что он сердится за то, что она живет, когда та, другая, умерла.

Как-то приехал со своей тележкой мельник забрать скромную обстановку Сабины. Возвращаясь с урока, Кристоф увидел, что перед дверью прямо на улице стоит

кровать, шкаф, лежат матрацы, белье, — все, что у нее было, все, что от нее осталось. Зрелище было непереносимо тяжелым. Кристоф быстро прошел мимо. В воротах он встретил Бертольда, и тот его остановил.

— Ах, дорогой мой сударь, — сказал он, горячо пожимая руку Кристофу, — кто бы мог сказать, что такое горе приключится! Как мы веселились тогда! А ведь с того самого дня, с этой проклятой лодки все и пошло, с тех пор она и заболела. Да что поделаешь, слезами горю не поможешь. Умерла. А там и наш черед придет. Такова жизнь... А как ваше здоровье? Я-то, слава богу, ничего!

Был он красный и потный, и пахло от него вином. И это ее брат! Он имеет право горевать о ней, вспоминать ее — мысль эта оскорбляла Кристофа. Он страдал, слыша, как этот человек говорил о той, которую любил он, Кристоф. А мельник, напротив, радовался, что наконец-то нашелся друг, с которым можно по душам поговорить о покойнице Сабине, и не понимал, почему Кристоф холодно молчит в ответ на все его речи. Мельник и не подозревал, что его присутствие, напоминание о счастливом дне, проведенном в деревне, грубое прикосновение к светлым воспоминаниям, жалкий скерб Сабины, валявшийся прямо на земле, даже то, что мельник в такт разговору постукивал ногой о спинку кровати, — все это подымало боль и горечь в душе Кристофа. Уже одно то, что мельник смел произносить имя Сабины, причиняло Кристофу жестокие муки. Ему хотелось прервать Бертольда, но он не знал, как это сделать. Он стал подыматься по лестнице, а мельник увязался за ним и даже придержал за рукав, чтобы удобнее было разговаривать. Когда же мельник стал рассказывать о болезни Сабины с тем необъяснимым удовольствием, с которым многие люди, особенно простые, говорят о болезнях, присовокупляя множество мельчайших подробностей, Кристоф не выдержал (он весь сжался, чтобы не закричать от боли) и решительно прервал рассказчика.

— Простите, — сказал он ледяным тоном, свирепо глядя на мельника, — мне нужно идти.

И ушел, даже не попрощавшись. Такая бесчувственность возмутила Бертольда. Он догадывался о взаимных

чувствах покойной сестры и Кристофа. И вдруг этот молодой человек взял и выказал такое безразличие, — да он просто чудовище! Мельник решил, что у Кристофа нет сердца.

А Кристоф вбежал в свою комнату. Он буквально задыхался. И пока мельник грузил на тележку Сабинины пожитки, он все время просидел взаперти. Он поклялся даже не подходить к окну, но тут же нарушил клятву и, спрятавшись за занавеску, с мучительным вниманием следил за тем, как исчезали с его глаз такие трогательные и любимые вещи. И когда тележка завернула за угол, ему захотелось сбежать вниз, крикнуть: «Нет, нет, оставьте их мне! Не увозите!» Он бы со слезами вымолил у мельника какой-нибудь пустяк, чтобы хоть что-то от нее осталось. Но как заговорить с ним? Кто он для этого мельника? О его любви даже она не знала — как же открыться чужому человеку? Да если он начнет говорить, он тут же разрыдается... Нет, нет, надо молчать, надо молча глядеть, как исчезает навсегда все то, что связано с его любовью, и не сметь, не мочь сделать ни шага, не сказать ни слова, чтобы спасти пусть обломок крушения...

И когда все было кончено, когда домик опустел, закрылись за мельником ворота, когда прогрохотала мимо тележка и задрожали в окнах стекла, когда затих последний стук колес, — Кристоф бросился ничком на пол и лежал так без слез, без мыслей; он не страдал и не боролся, он оцепенел.

В дверь постучали. Кристоф не пошевелился. Вторичный стук. Оказывается, Кристоф забыл запереть дверь на ключ. В комнату вошла Роза. Увидев Кристофа, распростертого на полу, она вскрикнула и в испуге остановилась. Он поднял голову и гневно спросил:

— Чего тебе? Чего тебе надо? Оставь меня в покое.

Но Роза не уходила. Она стояла, прислонившись спиной к двери, и, запинаясь, повторяла:

— Кристоф!

Кристоф молча поднялся — ему было стыдно, что Роза видела его в минуту слабости, и, стряхивая с пиджака пыль, он сурово спросил:

— Ну, что тебе нужно?

— Прости, Кристоф, — смущенно пролепетала Роза. — Я пришла... я тебе принесла...

Только сейчас Кристоф заметил, что Роза что-то держит в руке.

— Вот, возьми, — сказала она, протягивая Кристофу какой-то предмет. — Я попросила Бертольда, чтобы он дал мне что-нибудь на память о Сабине. Я подумала, что тебе будет приятно...

Это было маленькое карманное зеркальце в серебряной оправе; Сабина смотрелась в него часами, не из кокетства, нет, а просто от нечего делать. Кристоф схватил зеркальце, схватил протянувшую его руку Розы.

— О Роза! — произнес он.

Его потрясла доброта Розы и своя собственная несправедливость. Быстрым движением он опустил на колени и поцеловал ей руку.

— Прости... прости... — твердил он.

Сначала Роза ничего не поняла, потом поняла все, слишком хорошо поняла; она покраснела, задрожала и залилась слезами. Она поняла, что значило это «прости».

«Прости, что я так несправедлив к тебе... прости, что я тебя не люблю... прости, что я не могу... что я не могу тебя любить, прости, что я тебя никогда не полюблю!..» Роза не приняла руки: она знала, что сейчас Кристоф целует не ее. И, прижавшись щекой к ладони Розы, Кристоф горько плакал, он знал, что она угадала его мысли; ему было больно и грустно, что он не может полюбить ее, что он заставляет ее страдать.

И они долго плакали в полутемной комнате.

Наконец, Роза отняла руку. Кристоф бормотал:

— Прости меня!

Роза тихо положила ладонь на его волосы. Кристоф поднялся. Они молча поцеловались, и каждый ощутил на своих губах едкий вкус слез.

— Мы с тобой всю жизнь будем друзьями! — шепнул Кристоф.

Роза кивнула головой и вышла из комнаты; она страдала и не могла говорить.

Оба думали: как скверно устроен этот мир. Кто любит — того не любят. Кто любим — тот не любит. А кто

любит и кто любим — рано или поздно разлучается со своей любовью... И он страдает. И заставляет страдать другого. И не всегда самый несчастный тот, кто страдает.

Кристоф попрежнему избегал сидеть дома. Он не мог здесь оставаться. Не мог видеть окна без занавесок, опустевшие комнаты.

Но еще горшая боль подстерегала его. Старик Эйлер поспешил сдать квартиру Сабины. В один прекрасный день Кристоф увидел в комнате Сабины чужие лица. Новая жизнь, дерзко ворвавшаяся сюда, стерла последние следы навсегда исчезнувшей жизни.

Кристоф при каждом удобном случае убегал прочь и целые дни проводил вне дома; возвращался он только ночью, когда все уже спали. Снова начались загородные прогулки. И всякий раз ноги сами приводили его к ферме Бертольда. Но он не вошел туда ни разу, не смел приблизиться; он на почтительном расстоянии бродил вокруг дома. Случайно он обнаружил укромный уголок, откуда были видны вся ферма мельника, река и домик; здесь заканчивалась каждая его прогулка. Отсюда он следил за излучинами реки, вплоть до той дальней, где сбегали к воде плакучие ивы, где впервые он увидел на личике Сабины тень смерти. Отсюда он различал два окна, там, в двух соседних комнатах, где они не спали всю ночь, такие близкие, такие далекие, разделенные только дверью — дверью, которая вела в вечность. У подножия холма, там, внизу, лежало кладбище, но он не осмеливался туда войти — с детства он испытывал ужас перед этой полной тлена землей, с которой Кристоф никак не связывал образы любимых им и ушедших навеки людей. Но отсюда, сверху, маленький деревенский погост вовсе не казался печальным — он мирно спал в лучах солнца. Спал! Она так любила спать!.. И теперь уж ничто не потревожит ее сна. Внизу в долине перекликались петухи. Оттуда, с фермы, долетал глухой стук мельничного колеса, кудахтанье, криканье, детские веселые крики. Он видел дочку Сабины, видел, как она бегала, до него доносился ее смех. Как-то раз он подстерг ее на

развилке дорог, огибавших забор фермы, схватил девочку на руки и осыпал жадными поцелуями. Девчушка испуганно заплакала. Она уже забыла Кристофа.

— Тебе здесь хорошо? — спросил он.

— Да, здесь весело.

— А ты не хочешь возвратиться домой?

— Нет, не хочу!

Он опустил девочку на землю. Равнодушный тон ребенка опечалил его. Бедная Сабина!.. Все же это она, какая-то часть ее... Крохотная часть! Девочка совсем не походила на мать; что-то перешло к ней от матери, но ребенок сохранил от этой таинственной близости лишь легчайший аромат исчезнувшего существа — капризные нотки в голосе, нетерпеливое движение губкой, манеру наклонять голову. А во всем остальном это было совсем другое существо; и это другое существо, с какою-то приемью Сабины, отталкивало Кристофа, хотя он не признавался себе в этом.

Нет, только в себе самом Кристоф обретал образ Сабины. Она повсюду следовала за ним, струилась вокруг, но по-настоящему она была с ним, только когда он сидел в одиночестве. Нигде она не была ему ближе, чем здесь, в этом укромном уголке, на вершине холма, вдали от посторонних взглядов, здесь, в этой местности, где все напоминало о ней. Он проходил не одно лье, чтобы добраться до холма, бегом подымался на вершину; сердце его билось, словно он торопился на свидание, да и действительно это было свидание. Там он ложился на землю, на ту самую землю, где покоилось ее тело; он закрывал глаза, и она обволакивала его. Он не видел ее лица, не слышал ее голоса, да этого ему и не требовалось: она проникала в него, брала его — и он всецело овладевал ею. В эти минуты страстного бреда он не понимал, что происходит; он ничего не понимал, он знал только, что она с ним.

Но это длилось недолго. Если говорить правду, вполне искренен он был лишь в первый раз. А уже на завтра потребовалось призывать на помощь волю. С тех пор тщетно старался он вновь пережить это состояние; только тут он впервые воскресил облик и лицо Сабины, раньше он и не думал об этом. Были какие-то мгнове-

ния, ярче молнии, когда это ему удавалось. Но он расплачивался за них часами ожидания и мрака.

«Бедная Сабина, — думал он, — все они тебя забыли, только один я люблю тебя, только я навсегда сохранил твой образ, о бесценное мое сокровище! Ты моя, ты со мной, ты никогда не уйдешь от меня!»

Он говорил так, потому что она уже ускользала, уходила из его мыслей, как вода из пригоршни. Он, верный любовник, попрежнему отправлялся на свидание. Ему хотелось думать о Сабине, он закрывал глаза. Но проходило полчаса, час, два часа, и он вдруг замечал, что не думает ни о чем. Его расплывчатая и податливая мысль, как губка, впитывала все шумы, подымавшиеся снизу: шум воды у плотины, позвякивание колокольчиков, сопровождавшее каждое движение двух коз, что паслись на склоне холма, шелест ветра, игравшего низенькими тоненькими осинками, в чахлой тени которых он лежал. Он злился на себя, на глупые свои думы; послушная мысль пыталась запечатлеть исчезнувший навеки образ, с которым он желал связать свою жизнь; но мысль сдавалась, уставшая и обессиленная, и вновь со вздохом облегчения он отдавался ленивому потоку впечатлений жизни.

Он старался стряхнуть с себя оцепенение. Бегал по всей округе в поисках Сабины. Искал ее в зеркале, отражавшем ее улыбки. Искал ее на берегу реки, в воды которой она окунала руки. Но зеркало и вода услужливо показывали только его лицо, его собственное отражение. Возбужденный ходьбой, свежим воздухом, мощным током молодой крови, он чувствовал, как в нем просыпается музыка. Он пытался обмануть себя.

«О Сабина!..» — вздыхал он.

Ей посвящал он свои песни, решив оживить в музыке свою любовь и свою боль. И действительно, любовь и боль оживали в звуках, но бедная Сабина была здесь ни при чем. Любовь и боль обращены были к будущему, а не к прошедшему. Кристоф ничего не мог поделать со своей молодостью. Соки жизни забродили в нем с новой силой. Его горе, его печаль, его целомудренная и пламенная любовь, его затаенные желания — все лишь разжигало лихорадку. И, словно смеясь над его скорбью,

сердце билось веселым и буйным ритмом, задорные песни неслись, как пьяные, сметая размеры: все славословило жизнь, сама грусть становилась празднеством. Кристоф, слишком честный по натуре, не пытался продолжать обман и презирал себя. Но жизнь стремительно уносила его, и с нахмуренным челом, с душой, возлюбившей смерть, и с телом, возлюбившим жизнь, он вновь отдавался нарождающейся силе, хмельной и бессмысленной радости бытия; боль, жалость, отчаяние, горящая рана непоправимой потери, — все смертные муки лишь закаляют и подгоняют сильных духом, впиваясь в бока, словно требовательно злые шпоры.

Однако Кристоф знал, что в глубинах души он сохранил, как в неприступном и неприкосновенном тайнике, тень Сабины. Никакому потоку жизни не унести ее. Каждый из нас носит в себе как бы маленькое кладбище, где покоятся все, кого мы любили. Они мирно спят там годами, и ничто не нарушает их сна. Но приходит день — мы знаем, что такой день приходит, — и могильный ров расступается. Мертвецы выходят из своих могил и улыбаются бескровными устами, всё теми же любящими устами, любимому, возлюбленному, в чьем лоне живет их память, подобно тому как спит ребенок в материнской утробе.

Часть третья

АДА

После дождливого лета наступила сверкающе ясная осень. Ветви яблонь и груш гнулись под тяжестью плодов. Краснощекие яблоки блестели сквозь листву, как бильярдные шары. То тут, то там деревья поспешно облекались в блистательное убранство осени: огненно-красное, пурпуровое, цвета спелой дыни, апельсина, лимона, цвета густой подливки, цвета подрумяненного окорока. Лес стоял пестрый, как переливчатая тигровая шкура, и луга убрались крохотными розовыми огоньками прозрачных безвременников.

Кристоф спускался с холма. Воскресный день угасал. Шагал он крупно, почти бежал, следуя крутому уклону. Напевал музыкальную фразу, которая с утра настойчиво звучала у него в ушах. Растрепанный, с обветренным лицом, он шел, дирижируя в такт шагам рукой, дико вращая глазами, и вдруг на повороте дороги увидел стену, а на ней белокурую девушку, которая изо всех сил притягивала к себе толстую ветку дерева и жадно засовывала в рот маленькие синеватые сливы. Оба замерли от неожиданности. Девушка с испугом смотрела на Кристофа, пережевывая сливу, потом вдруг расхохоталась. Кристоф последовал ее примеру. На незнакомку приятно было глядеть: ее круглое личико лучистой россыпью обрамляли белокурые выющиеся волосы, щеки у нее были круглые и розовые, глаза голубые, нос довольно большой, но зазорно вздернутый, рот маленький, из-под яркокрасных губ виднелись белые зубы с крупными, немного выступающими вперед резцами, подбородок чувственный, и вся она была статная, полнотелая, хорошо

сложенная, крепко сбита. Кристоф крикнул ей, не останавливаясь:

— Приятного аппетита!

Но девушка позвала его:

— Послушайте-ка! Будьте добреньки, помогите мне. Никак не слезу...

Кристоф подошел поближе и осведомился, как же ей удалось влезть на стену.

— А когти-то на что... Влезать легко...

— Особенно когда над самой головой висит такое лакомое угощение.

— Ну, конечно... Зато когда наешься, так вся храбрость сразу пропадает, даже не знаешь, как быть.

Он взглянул на склонившееся над ним девичье лицо и сказал:

— Вам и здесь хорошо, на стене. Подождите до завтра. Я найду вас проведать.

Но сам не трогался с места, словно прирос к земле.

Девушка сделала притворно-испуганную мину и стала умолять Кристофа, мило гримасничая, чтобы он не оставил ее в беде. Они со смехом смотрели друг на друга. Показывая на ветку, за которую она держалась, девушка спросила:

— А разве вы не хотите?

Чувство уважения к чужой собственности не возросло в Кристофе со времени совместных прогулок с Отто, и он сразу же согласился. Девушка от души забавлялась, швыряя в Кристофа сливами. Когда он наелся, она потребовала:

— Ну, теперь помогайте.

Однако Кристофу было приятно помучить незнакомку. А она сердилась и нетерпеливо понукала его. Наконец, он решился:

— Прыгайте! — и протянул ей руку.

Девушка совсем было собралась прыгнуть, но вдруг спохватилась:

— Подождите-ка, сначала нужно запастись на дорогу.

Она стала рвать самые крупные сливы, до которых только могла дотянуться, и засовывала их за приятно округлый корсаж.

— Осторожнее, слышите! Смотрите не раздавите слив!

А Кристофу как раз этого и хотелось.

Девушка нагнулась и прыгнула прямо в его объятия. Мускулистый Кристоф невольно пошатнулся под тяжестью ее тела и подался назад. Они были одного роста. Их лица соприкасались. Кристоф поцеловал ее влажные, сладкие от сока слив губы, и она без малейшего стеснения ответила на поцелуй.

— Куда вы идете? — спросил он.

— Сама не знаю.

— Вы, значит, одна гуляете?

— Нет, с друзьями. Только я их потеряла. Эй, ау, ау! — вдруг закричала она во всю силу своих легких.

Никто не ответил.

Но девушку, видимо, это не смутило. Они зашагали рядом, сами не зная куда, просто так, без дороги.

— А вы куда идете? — спохватилась она.

— Сам не знаю.

— Вот и чудесно. Тогда пойдемте вместе.

Она вытаскивала сливы из-за оттопырившегося корсажа и, вкусно причмокивая, жевала их.

— Вы же заболаете.

— Я? Да никогда в жизни. Я их с утра до ночи ем.

В глубоком вырезе платья Кристоф увидел кружево рубашки.

— Только они сейчас теплые.

— Посмотрим.

Девушка со смехом протянула ему сливу. Он съел. Она искоса смотрела на него и по-детски сосала мякоть сливы. Кристоф уж и сам не знал, чем может окончиться это приключение. Возможно, что у нее на этот счет были кое-какие догадки. Она ждала.

— Эй, ау! — раздалось в лесу.

— Ау! — ответила она. — Это наши! — обратилась девушка к Кристофу. — Вот и хорошо.

На самом деле она считала, что ничего хорошего в этом нет. Но не затем даны женщине слова, чтобы говорить то, что она думает... Упаси господь! Что бы стало тогда в нашем мире с нравственностью?

Голоса приближались. Спутники девушки, очевидно, выбрались на дорогу. Вдруг она одним махом перескочила придорожную канаву, взобралась на противоположный откос и спряталась за деревьями. Кристоф с удивлением поглядел на нее. Она властным жестом велела ему последовать за ней. Кристоф повиновался. Она направилась в самую чащу леса.

— Ау, ау! — крикнула она еще раз, когда они уже углубились в лес. — Пускай они меня поищут! — пояснила она Кристофу.

Спутники девушки остановились у дороги, прислушиваясь, откуда идет голос. Они ответили на ее крик и тоже вошли в лес. Но девушка отнюдь не намеревалась их ждать. Посмеиваясь про себя, она забиралась все дальше, петляя по лесу. Друзья чуть не надорвались, зовя ее. А она молча слушала их отчаянные призывы, потом, вдруг, отбежав в сторону, начинала аукать. Наконец, тем это надоело, и они решили, что лучшее средство вообще не искать ее: сама прибежит.

— Счастливого пути, — донеслось с опушки, и затем послышалась удаляющаяся песня.

Девушка рассердилась: как это они осмелились не подождать ее? Хотя она сама старалась отделаться от них, ей не понравилось, что они так легко отказались от поисков. Кристоф только плечами пожимал. Эта игра в прятки в обществе незнакомой девушки не особенно его увлекала, и он даже не подумал воспользоваться их одиночеством среди леса. Да и девушка, казалось, не думала об этом. От досады она даже забыла о Кристофе.

— Ну, это уж слишком, — заявила она, сердито хлопнув в ладоши. — Значит, они меня так здесь одну и оставили.

— Но ведь вы сами этого хотели, — заметил Кристоф.

— Вовсе не хотела.

— Вы же от них убежали.

— Пусть убежала, это мое дело, а не их. Они должны были меня искать. Вдруг я заблужусь?

У нее даже губы задрожали при мысли о том, что могло произойти, если... если произошло бы то, чего не произошло.

— Ну, я им теперь покажу! — воскликнула она.

И быстрым шагом направилась к дороге.

Очутившись на дороге, она вдруг вспомнила о Кристофе и взглянула на него. Но слишком поздно. Девушка рассмеялась. Чертенюк, который сидел в ней, вдруг куда-то исчез. И сейчас она смотрела на Кристофа равнодушным взглядом. И потом ей хотелось есть. Желудок настойчиво напоминал, что пора ужинать, и она торопилась догнать своих друзей, которые, как условлено было, зайдут в харчевню. Она взяла Кристофа под руку и оперлась на него всей своей тяжестью; она ныла, хныкала, уверяла, что от усталости не может шагу ступить. Это не помешало ей вдруг потащить за собой Кристофа вниз по склону холма, бегать, кричать и смеяться, как сумасшедшая.

Они разговорились. Девушке не было известно имя Кристофа, и его звание музыканта не вызывало у нее ни малейшего почтения. А он узнал, что она работает в шляпном магазине на Кайзерштрассе (самая шикарная улица города), имя ее Адельхайд, но друзья зовут ее просто Ада. Пошла она сегодня гулять со своей подружкой, которая работает в том же магазине, а кавалеры их очень приличные молодые люди — один служит в банке Вейлера, а другой — приказчик в большом модном магазине. Они решили воспользоваться воскресным днем и условились пообедать в харчевне «Шука», откуда открывается очаровательный вид на Рейн, а обратно вернуться на пароходике.

Вся компания уже сидела за столом, когда подошли Ада с Кристофом. Ада тут же устроила друзьям бурную сцену, она упрекала их за подлое предательство и представила им Кристофа как своего спасителя. Но они пропустили мимо ушей ее горькие сетования. Оказалось, что оба кавалера знают Кристофа — банковский служащий понаслышке, а приказчик даже помнил кое-что из произведений Кристофа (и тут же из вежливости промурлыкал несколько тактов). Их подчеркнутое уважение к Кристофу произвело сильное впечатление на Аду и еще больше на Мирру, Адину подружку (в действительности ее звали Ганси, или Йоганна); это была брюнетка с прищуренными глазами, выпуклым лбом, с гладко

зачесанными волосами, чем-то неуловимо похожая на китаяночку; все ее подвижное, немножко козье личико с золотисто-смуглым оттенком кожи было не лишено своеобразного очарования. Мирра начала явно кокетничать с господином Hof Musicus'ом. Все они упрашивали Кристофа сделать им честь откусать с ними.

Впервые в жизни Кристоф попал на такую пирушку; оба кавалера наперебой старались ему услужить, а обе дамы — покорить гостя и, как полагается добрым приятельницам, отбить его друг у друга. Обе заигрывали с Кристофом. Мирра, церемонно улыбаясь и прикрыв веками глаза, касалась под столом его ноги. Дерзкая Ада действовала открыто, пуская в ход разом все свои прелести — красивые глаза, красиво очерченные губы. Это грубоватое кокетство смущало Кристофа. Бойкие девушки являли приятный контраст с надутыми физиономиями Эйлеров — Фогелей. Мирра его заинтересовала — сразу было заметно, что она гораздо умнее Ады, но ее заискивающие манеры и двусмысленная улыбка и привлекали Кристофа и отталкивали. Мирра не могла соперничать с Адой, от которой исходил могучий ток жизни и чувственности, и отлично это понимала. Увидев, что ее попытки не удались, Мирра разом прекратила игру и теперь сидела с загадочной улыбкой, в надежде что придет и ее час. Восторжествовав над своей соперницей, Ада отказалась от борьбы, ибо и кокетничала-то она с Кристофом, желая досадить подруге, а теперь, когда одержала над ней верх, сразу как-то успокоилась. Но все же игра захватила и ее. В глазах Кристофа она читала страсть, и в ней самой загоралась страсть. Вдруг Ада замолчала, оставила свое надоедливое и грубоватое заигрывание; они без слов смотрели друг на друга, оба ощущая на губах вкус первого беглого поцелуя. Временами они присоединялись к шумному веселью своих сотрапезников, потом снова замолкали и украдкой переглядывались. А к концу обеда даже и вглядеть перестали, боясь выдать себя. Поглощенные своими переживаниями, они таили в себе свои желания.

После обеда решили, что пора домой. До пристани надо было пройти лесом километра два. Ада поднялась

первая, за нею Кристоф. На крылечке они остановились подождать остальную компанию; они стояли рядом, не разговаривая, окутанные густым туманом, сквозь который с трудом пробивался свет единственного фонаря, горевшего у входа в харчевню. Мирра все еще охорашивалась перед зеркалом.

Вдруг Ада схватила Кристофа за руку и увлекла за собой; они обогнули дом и углубились в сад, где густела тень. Тут они спрятались под балкончиком, с которого спадала завеса дикого винограда. Мрак окружил их. Они не видели даже друг друга. Ветер сердито раскачивал верхушки сосен. Кристоф чувствовал теплые пальцы Ады, которые она переплела с его пальцами, и запах гелиотропа, исходивший от ее тела.

Внезапно Ада притянула Кристофа к себе. Губы его скользнули по влажным от росы волосам Ады, потом он начал целовать ее глаза, ресницы, ноздри, крепкие скулы, уголок рта и, наконец, нашел ее губы и прильнул к ним.

Кавалеры и Мирра вышли на крыльцо. Кто-то крикнул:

— Ада!

Они не тронулись с места; оба с трудом переводили дыхание, прижавшись друг к другу всем телом, не отрывая губ.

Затем послышался голосок Мирры:

— Да они уже ушли вперед.

Шаги затихли во мраке. А Кристоф и Ада обнялись еще крепче и уже не различали, что шепчут в страсти их нерасторжимо слившиеся губы.

Вдали на сельской колокольне пробили часы. Кристоф разжал объятия. Надо было торопиться. Не сговариваясь, они пошли по дороге, крепко держась за руки; он старался шагать в такт ее не крупным, но быстрым и решительным шажкам. На пустынной дороге, в заснувшей деревне не было ни души. Кристоф и Ада с трудом различали путь, но их вела блаженная уверенность, разлитая в этой желанной тьме. Ни разу они не оступились, не запнулись о камень. Чувствуя, что опаздывают, они решили идти кратчайшим путем. Тропинка,

вившаяся среди виноградника, подымалась и несколько раз опоясывала склон холма. Вдали в тумане слышался плеск реки, звонко били по воде плицы уходявшего парходика. Они сошли с дорожки и побежали прямо через поле. Вот и берег Рейна, но до пристани еще далеко. Однако это ничуть не расстраивало их. Ада, казалось, забыла, что весь вечер жаловалась на усталость. Они могли бы шагать так хоть всю ночь по сонным травам, сквозь клочья тумана, который здесь, над рекой, окутанной белым лунным покрывалом, стал еще гуще, еще влажнее. Гудок на парходике вдруг завыл, невидимое во мраке чудовище, пыхтя, тяжело отвалило от пристани. А они со смехом воскликнули:

— Что ж, подождем следующего!

Мелкие волны, поднятые парходом, бесшумно разбивались у их ног.

На пристани им сообщили:

— Последний парход ушел.

Сердце Кристофа забилося. Рука Ады крепче сжала его руку.

— Ну и пусть! — воскликнула она. — Завтра-то будет парход!

В нескольких шагах среди тумана виднелся бледный нимб — это горел фонарь, висевший на столбе возле реки. А чуть подальше светились окошки маленькой деревенской гостиницы.

Они вошли в крошечный садик. Под ногами захрустел песок. С трудом они отыскали лестницу. В гостинице уже начинали тушить огни. Ада, держа Кристофа под руку, потребовала комнату. Их провели в номер, выходивший окнами в садик. Кристоф, высунувшись в окошко, видел фосфоресцирующую реку и одинокий глаз фонаря, о стекла которого ударялись с разлета длинноногие комары. Замок в двери щелкнул. Ада, улыбаясь, стояла у постели. Кристоф не смел взглянуть на нее. Она тоже избегала глядеть на Кристофа, но сквозь опущенные ресницы следила за каждым его движением. Половицы звонко скрипели под ногой. Сквозь тонкие перегородки доносились все шумы гостиницы. Они сели на кровать и молча обнялись.

Мерцающий свет, шедший из сада, погас. Все погасло...

Ночь... Бездна... Ни света, ни проблеска мысли... Жизнь. Сила бытия, непостижимая и всепожирающая сила. Всевластная радость. Непереносимая радость. Радость, поглощающая все существо, как пустота — камень. Смерч желаний, затягивающий мысль. Нелепый и упоительный закон незрячих и опьяненных собою миров, движущихся в ночи.

Ночь... Слившееся дыхание, золотистая теплота двух тел, растворяющихся друг в друге, оцепенение, куда они проваливаются вдвоем, как в бездну... Ночь, нет, не ночь, а ночи... часы, нет не часы, а века... мгновения, которые равносильны умиранию... Общие грезы, какие-то слова, произнесенные с закрытыми глазами, мимолетное прикосновение голых ног, ищущих друг друга даже в полусне, слезы и смех, счастье любить среди огромной пустоты мира, вместе погружаться в небытие сна, в беспорядочные образы, пробегающие в сознании, полубред, полусон, шорохи ночи... Рейн тихо плещется в бухточке у самого дома, а дальше волны, разбивающиеся о камень, словно каплями дождя осыпают прибрежный песок. Понтонный мост скрипит и жалобно стонет под тяжелым напором воды. Цепь, удерживающая его, непрерывно звенит. Это сжимаются и растягиваются ее ржавые звенья. Голос Рейна крепнет, заполняет всю комнату. Кровать кажется лодкой. И этих двух лежащих рядом увлекает головокружительное течение — они будто взвешены в пустоте, как птица в полете. Ночь становится чернее, а пустота совсем пустой. Они тесно прижимаются друг к другу. Ада плачет, Кристоф почти теряет сознание. Они оба исчезают под волнами ночи...

Ночь... Смерть... Зачем возвращаться к жизни?..

Рассвет робко жмет к мокрым от росы стеклам. Свет жизни зажигается в утомленных телах. Кристоф проснулся. Он видит устремленные на него глаза Ады. Их головы лежат рядом на одной подушке. Руки сплетены. Губы нежно касаются губ. Вся жизнь проходит в течение нескольких минут: дни, полные солнечного света, величия и покоя...

«Где я? Нас двое, или это я в двоих? Да существую ли я еще? Я не ощущаю более самого себя, меня окружает бесконечность, во мне живет душа статуй, той статуи, что с олимпийским, божественным спокойствием смотрит окрест широко раскрытыми глазами...»

Снова сон как бы на века окутывает их. И привычные голоса рождающегося дня, далекий перезвон колоколов, скрип проплывающей мимо лодки, всплеск весел и мерный стук падающих с них капель, шаги на дороге баюкают, не спугивая их забывшееся сном счастье, напоминая им, что они живы, давая вкусить это счастье.

Пароходик, загудевший у окна, вывел Кристофа из оцепенения. Они с Адой условились выехать в семь часов, чтобы вовремя возвратиться в город и не опоздать к занятиям. Он шепнул ей на ухо:

— Слышишь?

Не открывая глаз, Ада улыбнулась, протянула губы, прижала их к губам Кристофа, и тут же ее головка сонно соскользнула на его плечо... Сквозь стекла окна он увидел, как по бледному утреннему небу прошла темная труба пароходика, пустой капитанский мостик, проплыли густые клубы дыма. Он снова заснул.

Целый час он проспал, даже не заметив, что спит. Услышав бой часов, он привскочил на постели.

— Ада, — шепнул он на ухо своей подружке. — Хэди, — добавил он ласково. — Уже восемь часов.

Попрежнему не подымая век, Ада нахмурила брови и сердито повела губами.

— Не буди, — произнесла она.

И, высвободившись из объятий Кристофа, устало вздохнув, она повернулась к нему спиной и, улегшись лицом к стене, снова заснула.

Кристоф лежал рядом с ней. Ровное тепло наполняло их тела. Кристоф думал. Кровь спокойно и мощно струилась по жилам. Его чувства, вдруг ставшие прозрачно ясными, вбирали все окружающее, вплоть до мелочей, с какой-то первозданной остротой. Он наслаждался своей силой и своей молодостью. Сам того не желая, он ощущал гордость — он мужчина. Он улыбался своему

счастьем и чувствовал себя одиноким: одиноким, как и вчера, быть может даже более одиноким, чем раньше, но зато без всякой грусти — и это было высшим одиночеством. Нет больше того лихорадочного волнения. Нет мрака. Природа может свободно отражаться в его безмятежной душе. Лежа на спине напротив окна, блуждая взором в ослепительно-блестящей утренней дымке, он улыбался:

«Как хорошо жить!»

Жить... Мимо проплыла лодка... Он вдруг подумал о тех, кто ушел из жизни, о лодке, на которой они плыли вместе — она и он... Она? Нет, не та, что спит сейчас рядом с ним. А та единственная, любимая, несчастная, так рано ушедшая из жизни. А кто та, что лежит рядом? Зачем пришла она сюда? Как попали они в эту комнату, как очутились здесь на постели? Он глядит на Аду, такую незнакомую, на эту чужую девушку, которая еще вчера утром не существовала для него. Что он знает о ней? Знает, что она неумна, знает, что она недобра. Знает, что сейчас она даже некрасива — лицо бледное, опухшее от сна, лоб низкий, полуоткрытый рот жадно втягивает воздух, губы вздулись и вытянуты вперед; сейчас она похожа в профиль на рыбу. Он знает, что не любит ее, совсем не любит. И щемящая боль пронзает его при мысли, что он в первую же минуту поцеловал эти чужие губы, в первую же ночь после знакомства овладел этим красивым, ненужным ему телом, а та, что он так любил, жила и умерла близ него; и ни разу он не осмелился прикоснуться к ее волосам, так и не узнал благоухания всего ее существа, ничего не узнал. Все исчезло. Земля поглотила все. А он даже не защитил ее...

И пока он, нагнувшись, всматривался недобрый взглядом в лицо этой ни в чем не повинной девушки, она почувствовала, что на нее глядят. Обеспокоенная, она огромным усилием воли приподняла непослушные веки, улыбнулась и проговорила, чуть-чуть пришепывая, как не совсем проснувшийся ребенок:

— Не смотри на меня, я уродливая.

И тут же, сраженная сном, откинулась на подушки, снова улыбнулась и пробормотала:

— Я так... так спать хочется!

И уснула.

Кристоф невольно засмеялся; он нежно поцеловал ее в ребячески припухший от сна носик и губы, затем, поглядев с минуту на это забавное большое дитя, перелез через неподвижное тело и потихоньку встал. Ада глубоко, с облегчением вздохнула и растянулась на постели. Одеваясь, Кристоф старался не шуметь, чтобы не потревожить спящую, но не таким пустякам было ее разбудить; приведя себя в порядок, Кристоф уселся на стул возле окна; он глядел на реку, над которой клубился и уходил к небесам утренний туман, а волна как будто перекатывала блестящие льдинки; так он сидел, ни о чем не думая, и в голове его носилась грустная, пасторальная мелодия.

Время от времени Ада приоткрывала глаза, вскидывала на Кристофа непонимающий взгляд, потом узнавала его, улыбалась и снова засыпала. Как-то, еще не проснувшись окончательно, она спросила, который час.

— Без четверти девять.

И, снова засыпая, она задумчиво пробормотала:

— А это сколько без четверти девять?

В половине десятого она потянулась в постели, тяжело вздохнула и сказала, что пора вставать. Но пробило десять, и только тогда она зашевелилась.

— Опять часы звонят, — жалостно проговорила она. — Все время звонят!..

Кристоф расхохотался и подсел к ней на кровать. Обняв его за шею, она стала рассказывать свои сны. Кристоф слушал не особенно внимательно, иногда каким-нибудь нежным словом, ласковым восклицанием прерывая ее болтовню. Но она требовала, чтобы он молчал, и продолжала рассказ серьезным тоном, будто сообщала новость какие важные вещи.

Она была на званом обеде, там был тоже герцог. Мирра была ньюфаундлендом, такой большой собакой. нет, кудрявым барашком, и она подавала на стол... Аде вдруг удалось отделиться от земли, ходить, танцевать и даже лежать в воздухе. Вот смотри, как это легко, нужно сделать так, потом так — и готово...

Кристоф посмеивался над ней. Она расхохоталась тоже, но видно было, что ее задела его насмешки.

— Ты ничего не понимаешь, — заявила она, пожав плечами.

Позавтракали они тут же в постели, пили из одной чашки и ели одной ложкой.

Наконец, Ада поднялась, отбросив простыню; она опустила свои красивые, крупные белые ноги, с красиво округлыми коленями, на коврик у кровати, потом уселась спокойно, перевела дух и стала разглядывать себя. Затем хлопнула в ладоши и потребовала, чтобы Кристоф убирался, и так как он медлил, она схватила его за плечи, вытолкала за дверь и заперлась на ключ.

Встав с постели, она потянулась, опять стала разглядывать свои красивые руки и ноги; умываясь, напевала чувствительную *Lied* в четырнадцать куплетов, плескала водой в Кристофа, который барабанил в окно; наконец, сорвав последнюю розу, расцветшую в садике, они сели на парход. Туман еще не рассеялся, но солнечные лучи пробивались сквозь его клочья; парходик шел среди молочно-белой пелены. Ада, насупившись, уселась на корме рядом с Кристофом; вид у нее был сердитый, она ворчала, что свет бьет ей прямо в глаза и что весь день у нее будет голова болеть. И так как Кристоф не особенно вникал в ее жалобы, она надулась и сердито замолчала. Ее полузакрытые глаза смотрели кругом с забавной важностью — так смотрят еще не совсем проснувшиеся дети. Но когда на следующей остановке вошла какая-то изящная дама и уселась неподалеку от них, Ада тотчас же оживилась и сочла необходимым обратиться к Кристофу с возвышенными и чувствительными речами. И снова перешла на церемонное «вы».

Кристоф беспокоился, что она скажет хозяйке, как объяснит свое опоздание. Но Аду это ничуть не тревожило.

— Подумаешь, не в первый раз.

— Что не в первый раз?

— Опаздывать, — отрезала она, явно недовольная этим вопросом.

Кристоф не осмелился спросить, чем были вызваны те, прежние опоздания.

— Но что же ты все-таки скажешь?

— Скажу, что мама заболела, умерла... что-нибудь да скажу.

Кристофу стало неприятно, что она говорит таким легкомысленным тоном.

— Я не желаю, чтобы ты врала.

Ада рассердилась.

— Во-первых, я никогда не вру... А во-вторых, не могу же я ей сказать...

Кристоф спросил полушутливо, полусерьезно:

— Почему не можешь?

Ада засмеялась, пожала плечами и заявила, что Кристоф невоспитанный грубиян, и тут же добавила, что просит ей впредь «ты» не говорить.

— Разве я не имею на это права?

— Ни малейшего.

— Даже после того, что произошло?

— Ничего не произошло.

Ада смотрела на Кристофа смеясь, с вызывающим видом, и хотя она явно шутила, неприятно было думать, что ей ничего не стоит (Кристоф чувствовал это) утверждать то же самое всерьез и самой поверить. Но вдруг ее, повидимому, рассмешило какое-то забавное воспоминание, она закатилась смехом, глядя на Кристофа, и громко чмокнула его в щеку, не обращая никакого внимания на соседей, которые, впрочем, не особенно удивились.

Отныне все свои воскресные прогулки Кристоф совершал в обществе мастериц и приказчиков; ему отнюдь не нравились вульгарные повадки новых знакомых, и он всячески старался потерять их где-нибудь в пути, но Ада из чувства противоречия не желала бегать в одиночестве по лесам. Когда шел дождь или мешали какие-нибудь иные причины и нельзя было выехать за город, Кристоф водил Аду в театр, в музей, в Тиргартен, ибо Аде нравилось бывать с Кристофом на людях. Она требовала даже, чтобы он появлялся с нею в церкви в дни торжественных служб, но Кристоф в наивном простодушии не желал переступать порога церкви, раз он стал неверующим (он уже раньше под каким-то благовидным предлогом отказался от места органиста), и в то же время он,

сам того не зная, не перестал верить и предложение Ады воспринимал как прямое святотатство.

Вечерами он заходил к Аде. Почти всякий раз он заставал у нее Мирру, которая жила в том же доме. Мирра не помнила обиды, она ласково протягивала Кристофу мягкую руку, говорила несколько минут о каких-нибудь игривых пустяках и скромно исчезала. Никогда Ада и Мирра не казались так дружны, как сейчас, когда меньше всего имелось поводов для дружбы: девушки почти не разлучались. Ада не имела от Мирры тайн и рассказывала ей решительно все, а Мирра все выслушивала; обе получали от этих интимных излияний настоящее удовольствие.

Кристоф чувствовал себя неловко в присутствии этих двух девушек. Их дружба, их нелепые разговоры, слишком вольные манеры, то, что они, и в первую очередь Мирра, все представляли себе в неприкрытом виде и были слишком откровенны в выражениях (при Кристофе Мирра, правда, сдерживалась, но Ада пересказывала ему все речи подруги), их любопытство, разрешавшееся непристойной болтовней, глупенькой и чувственной, вся эта двусмысленная, немного животная атмосфера стесняла Кристофа, но отчасти и занимала его; впервые в жизни он видел подобные существа. Ему не удавалось вставить в их беседу ни слова, и он молча слушал болтовню этих двух молоденьких дикарок, которые страстно рассуждали о тряпках, несли какую-то чепуху, тупо хихикали, и всякий раз, когда разговор заходил на игривые темы, глаза их горели от удовольствия. Так что, когда Мирра уходила, Кристоф вздыхал с облегчением. Когда девушки были вместе, Кристоф словно попадал в чужую страну, языка которой он не знал. Обе просто не понимали его, не слушали, даже издевались над чужестранцем.

Да и наедине с Адой они говорили на разных языках, но по крайней мере старались — пусть с трудом — понять друг друга. По правде говоря, чем больше он ее понимал, тем непонятнее она ему становилась. Ада была первой женщиной, которую он узнал близко. Правда, была еще Сабина, но он ничего о ней не знал: бедняжка так и осталась для него мечтой, живущей где-то

в глубине души. И он пытался найти теперь разгадку женщины; впрочем, разгадка эта требуется только тем, кто верит, что тут есть тайна.

Ада не отличалась умом, но это было самым значительным из всех ее недостатков. Кристоф примирился бы с ним, если бы сама Ада признала за собой этот грех. Но хотя Аду занимали одни лишь пустяки, она почитала себя знатоком и ценителем искусств и наук и судила обо всем уверенно и смело. Она рассуждала о музыке и поучала Кристофа таким вещам, которые он прекрасно знал сам; она выносила безоговорочные суждения, хулила и одобряла. И бесполезно было переубеждать ее — она ссыалась на свое непогрешимое чутье в любой области; она была ломака, тщеславная упряmica, не желала, да и просто не могла ничего понять. Пусть бы она признала, что ничего не понимает! Насколько бы сильнее он любил Аду, если бы она согласилась быть такой, какая она есть, со всеми своими достоинствами и недостатками!

Но меньше всего Ада любила думать. Ее интересовали только еда, питье, пение, танцы, ей нравилось кричать, смеяться, спать, она хотела быть счастливой, и дай-то боже, чтобы ей это удалось. Но, имея все данные для счастья, Ада — лакомка, чувственная лентяйка и себялюбивая до наивности, возмущавшая и забавлявшая тем Кристофа, короче, владевшая всеми пороками, которые делают жизнь приятной вам, если не вашим друзьям (а впрочем, разве личико, озаренное отблеском счастья, особенно хорошенькое личико, не бросает отблеск счастья и на все окружающее?), — Ада при всем этом не обладала достаточным умом, чтобы быть счастливой. Эта красивая и крепкая девушка с волчьим аппетитом, свежая, беспечная, с ярким румянцем, неиссякаемо веселая, вечно беспокоилась о своем здоровье. Уплетала за четверых и тут же грустно заявляла, что она еле ноги таскает от слабости. Жаловалась она буквально на все: и ходить она не может, и не может вздохнуть, у нее болит голова, болят ноги, глаза, желудок, душа. Она боялась всего и была бесконечно суеверна, во всем и везде она видела плохие или хорошие приметы. За столом она следила, чтобы ножи и вилки не лежали крестом,

проверяла количество обедающих, бледнела при виде опрокинутой солонки и настаивала на выполнении всяких сложных обрядов, предотвращающих несчастье. На прогулке она следила за полетом ворон, пересчитывала их, замечала, с какой стороны они подлетают; она тревожно смотрела себе под ноги, горько сетовала, когда утром ей доводилось увидеть паука, и непременно требовала, чтобы повернули домой; единственным средством уговорить ее продолжать прогулку было внушить Аде, что сейчас уже полдень, а может быть, даже и позже, и, таким образом, обратить злые чары в доброе предзнаменование. Боялась она и своих снов; сны она рассказывала Кристофу длинно, с подробностями и потом еще целых полдня припоминала какую-нибудь забытую деталь. Кристоф обязан был выслушивать всё подряд — длинные нелепые истории о каких-то странных браках, покойниках, портнихах, принцах, о смешных, а подчас и непристойных вещах. И необходимо было слушать внимательно, высказывать свое мнение. Иной раз Ада до вечера ходила мрачная, во власти ночных сновидений. Она заявляла, что жизнь вообще скверная штука, все видела в черном свете, обо всем отзывалась грубо и прямо и донимала Кристофа своими стенаниями; стоило рвать с теми скучными мещанами, чтобы и здесь обрести извечного врага: «*der trauriger ungriechischer Hurochondrist*», думал он.

Вдруг посреди сердитого молчания Аду охватывали приступы бурного, неестественно шумного веселья, и тогда было столь же бессмысленно возражать против этих вспышек, как и против только что прошедшей меланхолии; начинался смех, и так как непосредственных причин для него не имелось, то длиться он мог целыми часами; начиналась беготня по полям, безумные выходки, детские игры; с каким-то непонятным удовольствием Ада делала всякие глупости: брала в руки землю, грязь, зверушек, пауков, муравьев, червей, дразнила их, причиняла им боль, скармливала птичку кошке, червяка курице, паука муравью, и все это беззлобно, в силу какой-то бессознательной потребности, из любопытства, от нечего делать. В такие часы ей было необходимо болтать глупости, по сто раз повторять какое-нибудь бессмысленное

слово, дразнить, злить, придирается, выводить из себя собеседников. Или вдруг, заметив кого-нибудь вдалеке, Ада начинала отчаянно кокетничать. Тогда она говорила громко, с воодушевлением, шумела, гримасничала, словом старалась привлечь к себе внимание; даже походка у нее становилась какая-то неестественная и припрыгивающая. Кристоф с ужасом ждал, что она вот-вот заговорит о серьезном. Так оно и случилось. Вдруг Ада впадала в чувствительность и тут по обыкновению переходила все границы: начинались шумные и долгие излияния. Кристоф страдал, ему хотелось побить Аду. Но прежде всего он не прощал ей неискренности. В то время он еще не знал, что искренность столь же редкий дар, как ум или красота, и несправедлив тот, кто требует их от всех и каждого. Кристоф не выносил лжи, Ада же отпускала ее щедрой мерой. Агала она на каждом шагу, совершенно спокойно, вопреки явной очевидности. Она обладала удивительной способностью забывать то, что ей неприятно, и даже то, что ей нравилось, подобно всем женщинам, которые живут минутой.

И, несмотря на все это, они любили друг друга, любили от всего сердца. В любви Ада была так же искренна, как и Кристоф. Хотя любовь их покоилась не на сродстве душ и ума, это была настоящая любовь, и не было в ней ничего от низких страстей. То была прекрасная юная любовь, и даже чувственность не опошляла ее, потому что все в ней было молодо, — почти целомудренная любовь, омытая наивной пылкостью их страсти. Хотя Ада ни в какой мере не отличалась неопытностью Кристофа, оба они владели божественным даром: оба были юны и душой и телом, оба обладали неподдельной свежестью чувств, светлых и прозрачно чистых, как лесной ручей. Эгоистка, агунья, сама посредственность в повседневной жизни, Ада в любви становилась простой, искренней, даже доброй. Она начала понимать радость, которую находишь в забвении себя ради другого. Кристоф с восторгом глядел на нее, он бы охотно умер ради Ады. Кто знает, сколько смешных и трогательных иллюзий привносит любящая душа в наши чувства! Естественные для влюбленного иллю-

зии еще умножались у Кристофа в силу способности создавать иллюзии, присущей каждому художнику. Улыбка Ады приобретала для него глубокий смысл, ласковое слово становилось доказательством ее сердечной доброты. В Аде он любил все, что было хорошего и прекрасного во вселенной. Он называл ее своим вторым «я», своей душою, жизнью. Нередко они вместе плакали от любви.

И не только любовные радости связывали их — их связывала несказанная поэзия воспоминаний и грез... Чьих? Их собственных? Или тех, кто любил до них, кто жил до них... быть может, в них самих?.. Они хранили, возможно даже не сознавая того, колдовскую память о первых минутах встречи в лесу, первых днях, первых проведенных вместе ночах, сладком сне в объятиях друг друга, когда лежишь без мысли, тонешь, не шевельясь, в потоке любви и умиротворенной радости. Внезапное воспоминание, пришедшая на память картина, неясная мысль, вдруг промелькнувшая в мозгу, заставляли их бледнеть и вздрагивать от упоения, окружали их словно жужжанием пчелиного роя. Сжигающий и нежный свет... Сердце замирает и молчит, ему не по силам эта слишком большая нежность. Молчание, лихорадочная томность, таинственная и усталая улыбка земли, трепещущей под первым весенним лучом... Незамутненная ничем любовь двух молодых существ подобна апрельскому утру. И быстротечна она, как апрель. Юность сердца выгорает, точно линючий ситец под солнцем.

Ничто так не скрепляло любовных уз, связывавших Кристофа с Адой, как отношение к ним окружающих, их суждения и домыслы.

На следующий же день после их первой встречи весь квартал был уже в курсе событий. Ада не намеревалась скрывать свое новое приключение; она, наоборот, гордилась победой. Кристофа коробила нескромность посторонних, но он чувствовал, что за ним жадно следят глаза горожан, и так как он вовсе не желал прятаться от этого назойливого внимания, то стал открыто

появляться с Адой. По всему городку шли пересуды. Товарищи Кристофа по оркестру с явной издевкой приносили ему свои поздравления, но он не отвечал на их насмешки, ибо не переносил вмешательства в свои дела. В замке порицали его неумение вести себя. Городские сплетники сурово критиковали Кристофа. В двух-трех домах ему даже отказали от уроков. А в прочих семьях матери вдруг сочли необходимым впредь самолично присутствовать на занятиях своих дочек и сидели с настороженным видом, словно Кристоф — опасный похититель юных девиц. Считалось, что сами девицы ни о чем не подозревают. На самом же деле они всё отлично знали и, с холодным недоумением осуждая Кристофа за его скверный вкус, буквально умирали от желания узнать подробности. Только среди мелких торговцев и приказчиков Кристоф пользовался популярностью, и то недолго — его в равной мере раздражали как восторженные одобрения одних, так и хула других; и, не будучи в силах прекратить злоязычные разговоры, он постарался отделаться хотя бы от своих почитателей; впрочем, особого труда это не составило. Кристоф негодовал против донимавшего его со всех сторон любопытства.

Сильнее всего восставали против Кристофа старик Юстус Эйлер и семейство Фогелей. Поведение Кристофа казалось им личным оскорблением. Особенно серьезных намерений на его счет у них не имелось: они — и в первую очередь сама г-жа Фогель — не доверяли художественным натурам с их капризным нравом. Но, обладая от природы мрачным складом ума и убежденные в том, что их преследует рок, они внушили себе, что всегда мечтали о браке Кристофа с Розой, именно когда стало ясно, что брак не состоится, и в этом они тоже видели злополучный перст судьбы. По обычной логике выходило, что ежели рок ответственен за их просчет, то виновен в этом не Кристоф, но у Фогелей была своя особая логика — повсюду и во всем находить как можно больше причин и поводов для жалоб. Они твердо верили, что если Кристоф сбился с пути, то вовсе не ради собственного удовольствия, а лишь с целью унижить именно их. Поэтому они были просто скандализированы.

Люди крайне религиозные, нравственные, истые носители семейных добродетелей, они считали, что плотский грех — самый страшный из всех семи смертных грехов, самый непростительный и самый позорный, если вообще не единственно опасный (ведь не станут же в самом деле порядочные люди красть или убивать). Поэтому Кристоф представлялся им окончательно погибшим человеком, и они соответственно изменили к нему свое отношение. Кристоф, вообще не очень дороживший их обществом, только плечами пожимал, видя их недовольные ужимки. Он притворялся, что не замечает дерзких выходов Амалии, которая с высокомерным презрением обходила его стороной, а сама страстно желала, чтобы Кристоф сцепился с ней, дабы выложить все, что накопело у нее на сердце.

Кристофа огорчала лишь Роза. Девушка осуждала его еще более сурово, чем все остальные домашние. Не то чтобы новая любовь Кристофа разрушила ее последние надежды на ответное чувство — она знала, что надежд у нее никаких нет (хотя продолжала надеяться... и надеялась!). Но она сотворила себе из Кристофа кумир, и вдруг кумир этот рухнул. И это была горькая мука... Да, не было для невинного сердца муки горше, чем сознание нелюбви и небрежения Кристофа. Воспитанная в строгих, пуританских правилах, в рамках беспощадно узкой морали, в которую она свято верила, Роза приняла весть о новой любви Кристофа не только с отчаянием, но с брезгливостью. Когда он любил Сабину, она немало страдалась. Уже тогда отчасти потускнел ее идеал. То, что Кристоф может любить такую ничем не примечательную особу, казалось ей не только необъяснимым, но и просто позорным. Однако та любовь была хоть чистая, да и сама Сабина отчасти заслуживала ее. Наконец, смерть унесла все и все освятила. Но то, что Кристоф так скоро полюбил другую, и кого же! — это уж просто низко, гнусно! Роза готова была теперь защищать от Кристофа покойную Сабину. Она не прощала Кристофу, что он так быстро забыл ее... Увы, он думал о Сабине чаще и мучительнее, чем полагала Роза. Но Роза не знала, что в сердцах страстных уживаются самые различные чувства; она считала, что нельзя

хранить верность прошлому, если не принести ему в жертву настоящего. Чистая и холодная, она ничего не понимала ни в жизни, ни в самом Кристофе; все должны быть чистыми, прямолинейными, честно исполнять свой долг, как исполняет она. Это скромное существо со скромной душой гордилось только одним — своей чистотой и требовало ее неукоснительно и от себя и от других. Падения Кристофа она не прощала, и не простила никогда.

Кристоф не раз пытался хоть поговорить с Розой, если уж нельзя было ей всего объяснить. (Да и что мог он сказать пуритански-наивной девочке?) Ему хотелось бы убедить Розу в своей дружбе, доказать, что он ее уважает, имеет все права на ее уважение. Ему хотелось, чтобы она не отстранялась от него так глупо. Но Роза избегала Кристофа, хранила суровое молчание, и он чувствовал, как она его презирает.

Это сердило и огорчало Кристофа. Он сознавал, что не заслуживает такого презрения, и, однако, невольно страдал от него. Он начинал чувствовать себя преступником. И жестоко упрекал себя при мысли о Сабине.

«Боже мой, — терзался он, — как же это возможно? Что же я за человек?»

Но не было сил бороться против уютившего его потока. Он вдруг решил, что преступна сама жизнь; он закрывал глаза, чтобы не видеть ее, — и жил. Ему так хотелось жить, быть счастливым, любить, верить! Ведь в его любви нет ничего достойного презрения! Он признавал, что любить Аду, пожалуй, и неразумно и неумно и что он даже не очень счастлив; но что же тут может быть плохого или нечистого? Предположим даже (он старался сам не верить этому предположению), что в смысле нравственности Ада оставляет желать многого, но при чем тут его любовь к ней, почему его любовь менее чиста от этого? Ведь любовь в том, кто любит, а не в том, кого любят. Ценность любви определяется достоинствами любящего. Для чистого все чисто. Все чисто для сильного и здорового духом. Любовь, которая убирает птицу многоцветным опереньем, выносит на поверхность все благородное, чем богата чистая душа. Вот почему скрываешь от другого то, что может оскорбить его

взор, черпашь удовольствие в мыслях и поступках, созвучных тому прекрасному образу, который вылепила сама любовь. И кипящие струи юности, закаляющие душу, — священное излучение силы и радости, — ведь они прекрасны и благотворны, ведь и они дарят величие сердцу.

То, что окружающие не понимали Кристофа, наполняло его горечью. Но тяжелее всего было, что и мать тоже страдала.

Луиза была чужда узости нравственных правил Фогелей. Слишком много видела она подлинных страданий, чтобы еще изобретать их. Робкая, сломленная судьбой, испытывавшая мало радостей в жизни, да и не просившая их у неба, она покорно принимала и благо и зло, даже не пытаясь понять происходящее; она и помыслить не смела осуждать или порицать ближних — она считала, что даже права на это не имеет. Ей ли, глупой, смиренно думала Луиза, осуждать человека за то, что он поступает иначе, чем она; и навязывать другим твердые правила своей веры, своей морали казалось ей просто смехотворным. К тому же ее мораль и ее вера шли не от разума. Благочестивая и требовательная к себе, она охотно закрывала глаза на поведение близких, снисходительно, как большинство простых людей, относясь к человеческим слабостям и проступкам. За это-то и не жаловал ее покойник дедушка Жан-Мишель. Луиза не делала различия между людьми весьма почтенными и малопочтенными; она, не задумываясь, останавливалась на улице или на рынке поздороваться и поболтать с какой-нибудь приятной девицей, славящейся своими похождениями на весь квартал, хотя всякой порядочной женщине следовало пренебрегать таким знакомством. А Луиза полагалась на господ бога — пусть он сам разбирается, где добро и где зло. И карать и милловать — это уж его забота. От людей она просила только одного: хоть немножко той сердечной теплоты, которая так облегчает жизнь. А самое главное, чтобы все люди поступали хорошо.

Но, поселившись у Фогелей, Луиза незаметно для себя переменилась под их влиянием. Царивший в доме дух всепорицания оказал на нее свое тлетворное воз-

действие с тем большей легкостью, что она была сражена горем и сопротивляться не хватало силы. Амалия постепенно подчинила себе Луизу, и, слушая с утра до ночи разглагольствования г-жи Фогель, которая говорила за двоих и во время стряпни и во время уборки, безропотная и согнувшаяся под бременем несчастий Луиза незаметно для себя переняла от квартирохозяйки привычку всех судить и все критиковать. Понятно, что Амалия не постеснялась выложить жиличке все свои соображения насчет Кристофа. Спокойствие Луизы ее раздражало. Она считала непристойным, что Луиза так равнодушна к событиям, вызывавшим негодование всей семьи Эйлера, и успокоилась только тогда, когда внесла смятение в ее душу. Кристоф заметил перемену, произошедшую с матерью. Луиза не смела его прямо упрекать, однако каждый день с утра начинались намеки, робкие, тревожные, но назойливые; когда Кристоф, выйдя из терпения, резко обрывал мать, она замолкала, но во взгляде ее он читал скрытую печаль, а иной раз, вернувшись домой, заставлял ее с заплаканными глазами. Он слишком хорошо знал мать и понимал, что эта внезапная боязнь за его судьбу внушена со стороны. И не сомневался, что это за сторона.

Кристоф решил, что пора положить всему этому конец. Как-то вечером, когда Луиза не сдержала слез при сыне и встала из-за стола, не окончив ужина, а на все расспросы хранила упорное молчание, он сбежал с лестницы и постучался к Фогелям. Он кипел от гнева. И не только недостойное науськивание г-жи Фогель возмутило его. Он мечтал отомстить ей за все разом: и за то, что она восстановила против него Розу, и за ее травлю Сабины, — словом, за все, что он вынес за долгие месяцы пребывания в их доме. Уже давно он чувствовал, как гнетет его эта копившаяся неделями злоба, и жаждал разом освободиться от груза.

Он ворвался в комнату г-жи Фогель и голосом, дрожащим от гнева, хотя и старался говорить как можно спокойнее, спросил Амалию, что такое она наговорила его матери и чем довела ее до такого состояния.

Амалия приняла Кристофа в штыки — она ответила, что вольна говорить все, что ей угодно, что она никому,

отчетом не обязана, а уж ему, Кристофу, меньше прочих. И, с радостью ухватившись за счастливый случай высказать все, что ей так не терпелось высказать, она добавила, что если Луиза несчастна, то зря Кристоф ищет каких-то посторонних причин, виной всему его собственное поведение, позорное для него самого и вызывающее всеобщее возмущение.

Но и Кристоф ждал удара, чтобы ответить тем же. Он взволнованно закричал, что поведение его касается только его одного, что его весьма мало заботит, по душе оно г-же Фогель или нет, что ежели она желает излить свое недовольство, пусть обращается прямо к нему, пусть говорит ему все, что угодно, хотя ее мнение интересует его как прошлогодний снег, но что он *запрещает* (понятно ей?), *запрещает* говорить о нем с Луизой и что подло с ее стороны приставать к бедной, немолодой и к тому же больной женщине.

Госпожа Фогель завопила. Впервые в жизни с ней говорили таким тоном. Она сказала, что не потерпит, чтобы в ее собственном доме ей читали нотации, и кто же? — какой-то шалопай. За словом «шалопай» последовали и другие словечки.

На шум сбежалось все семейство, за исключением самого Фогеля, который избегал бурных сцен, ибо они могли повредить его здоровью. Старик Эйлер, которого негодующая Амалия призвала в свидетели, сухим тоном попросил Кристофа избавить их впредь от своих посещений и от своих замечаний. И добавил, что они не нуждаются в советах Кристофа, они сами знают, что им следует делать, выполняют свой долг и будут выполнять его впредь.

Кристоф закричал, что он сам рад уйти и что ноги его больше у Эйлера не будет. Но, прежде чем уйти, он облегчил душу — выложил все свои соображения насчет их пресловутого Долга, который с недавних пор стал его личным врагом. Он сказал, что от такого Долга можно полюбить порок. Именно такие люди, как они, отвращают от добра, превращают его своими действиями и словами во зло. Именно они причина того, что человек в силу контраста поддается соблазну, который исходит

от людей пусть не таких идеально честных, зато приятных и веселых. А на каждом шагу поминать долг ради долга, называть выполнением долга любое, самое тупое занятие, любые пустяки, это значит извращать самое понятие «долг» и вконец омрачать и отравлять жизнь другим. Долг есть нечто из ряда вон выходящее. Подождите, когда дело дойдет до истинного самопожертвования, а не прикрывайте именем долга свой собственный дурной характер и желание портить жизнь другим. И если человек по глупости или неумению радоваться ходит надутый, это вовсе не значит, что и другие тоже должны ходить повеся нос, — нельзя заставлять здоровых людей жить, как калеки. Первая из всех добродетелей — это радость, и добродетель должна быть свободной, ничем не принуждаемой. Творящий добро должен сам от того испытывать удовольствие. Но эти разглагольствования о долге на каждом шагу и по каждому поводу, эта тирания школьных надзирателей, этот крикливый тон, эти бессмысленные споры, эта пустая и ядовитая болтовня, вечный шум, жизнь, лишенная какой-либо привлекательности, какой-либо прелести, не знающая тишины, этот мелочный пессимизм, который жадно хватается за все, лишь бы обеднить и без того жалкое существование, это всепрезирающее невежество, с помощью коего так легко презирать ближнего, вместо того чтобы понять его, — вся эта мещанская мораль, чуждая величия, радости, красоты, все это и гнусно и просто вредно; благодаря таким вот людям порок кажется куда более человечным, чем добродетель.

Так думал Кристоф и в своем желании оскорбить тех, кто оскорбил его, не замечал, как он несправедлив и как несправедливы его речи.

Конечно, Кристоф довольно верно нарисовал картину жизни этих несчастных людей. Но не их была в том вина — таково естественное следствие жалкой жизни, которая наложила свою печать на их лица, их жесты и мысли. Страшный гнет бедности исказил их человеческий облик, — не той нищеты, что обрушивается на человека сразу и убивает или закаляет его, но вечных неудач, маленьких житейских бед, которые точат душу день за днем от начала до конца жизни...

Печальный удел, ибо под неприглядной оболочкой — целая сокровищница прямодушия, доброты, молчаливого героизма... все силы народа, все соки будущего!

Кристоф был совершенно прав, утверждая, что долг есть нечто из ряда вон выходящее. Но и любовь такое же исключение. Всё исключение. И самый худший враг того, что имеет хоть какую-нибудь цену, не просто зло (пороки тоже имеют свою цену), а привычка. Заклятый враг души — это каждодневный износ чувств.

Аде начали приедаться их отношения. Она была недостаточно умна, чтобы поддерживать непреходящую свежесть чувства, хотя судьба послала ей такую богатую натуру, как Кристоф. Она сама, ее тщеславие почерпнули из их любви все радости, которые можно было почерпнуть, кроме одной: радости разрушения этой любви. Ада обладала этим тайным инстинктом, присущим многим женщинам, даже добрым, и стольким мужчинам, даже умным, которые не создают в жизни ничего — не ролят детей, не знают радости творчества и деяния, — но переизбыток жизни мешает им равнодушно и смиренно примириться с собственной бесполезностью. Им хотелось бы, чтобы и другие были так же бесполезны, и они прилагают к тому немало усилий. Иногда получается это даже помимо их воли. И когда они вдруг замечают за собой такое преступное желание, они с негодованием подавляют его. Но гораздо чаще их тешит это желание, и они стараются по мере своих сил и возможностей — одни тихой сапой в темном кругу семьи, другие же, напротив, открыто, всенародно — разрушить все то, что живет, все, что любит жить, все, что заслуживает права жить. Критик, который лезет из кожи вон, чтобы принизить до себя великих людей и великие мысли, и веселая девица, которой нравится унижать своего любовника, по сути дела — два вредоносных зверя одной и той же породы. Правда, второй более приятен.

Итак, Ада стремилась развратить Кристофа, дабы унижить его. По правде сказать, ей это было не по

плечу, — даже для развращения требуется больше ума. Ада чувствовала это и затаила в душе обиду на Кристофа за то, что любовь ее не может причинить ему никакого зла; впрочем, если бы она могла сделать ему зло, она, возможно, воздержалась бы. Но ее мучила мысль, что она не властна над ним. Если мужчина лишает женщину иллюзии относительно ее благотворного или вредного влияния на любимого человека, это в глазах ее равносильно отсутствию любви, и поэтому-то она настойчиво и по всякому поводу старается подвергнуть любовь и любимого все новым и новым испытаниям. Кристоф не поберегся во-время. Когда как-то Ада, просто от нечего делать, спросила, бросит ли он ради нее музыку (хотя ей этого отнюдь не требовалось), он искренно ответил:

— Ну нет, детка, ни ради тебя, ни ради кого-либо другого. Музыку я ни за что не брошу.

— А еще уверяешь, что любишь меня! — воскликнула с досадой Ада.

Ада ненавидела музыку, тем более что ничего в ней не смыслила, и не знала, как вернее поразить невидимого врага, чтобы глубже ранить Кристофа в его страсти. Когда Ада начинала говорить о музыке свысока или презрительно отзывалась о сочинениях Кристофа, он хохотал от души, и как ни злилась Ада, она замолкала, чувствуя, что становится смешной.

Но, отчаявшись уязвить Кристофа с этой стороны, она не преминула обнаружить другое место, куда особенно легко было нанести рану, — его нравственные устои. Несмотря на свою ссору с Фогелями, вопреки упоениям юности, Кристоф сохранил врожденную чистоту, потребность в чистоте, которой он сам не признавал и которая естественно должна была поразить, привлечь и очаровать такую женщину, как Ада, а потом начала забавлять ее и даже злить. Но она воздерживалась от любовой атаки. Она лукаво попытывалась:

— Ты меня любишь?

— Ну еще бы!

— А как ты меня любишь?

— Так, как только можно любить.

— Ну, знаешь, это еще не так много... А что бы ты сделал ради меня?

— Все, что ты хочешь.

— Ну, скажем, совершил бы какой-нибудь бесчестный поступок?

— Станный способ доказывать свою любовь.

— Неважно, что странный, скажи, совершил бы?

— Да ведь это не нужно.

— Ну, а если бы я захотела?

— И зря захотела бы.

— Пусть зря... Скажи, сделал бы?

Кристоф хотел ее обнять. Но Ада оттолкнула его.

— Сделал бы или нет?

— Нет, детка, не сделал бы.

Ада в бешенстве повернулась к нему спиной.

— Ты просто меня не любишь. Ты не знаешь, что такое любовь.

— Возможно, — простодушно отвечал он.

Кристоф отлично понимал, что способен, как и любой человек, в минуту безумия совершить какую-нибудь глупость, даже бесчестную, а кто знает, может быть и хуже, но ему претило так вот холодно и бесстрастно хвастаться этим и казалось опасным признаться в этом Аде. Инстинкт подсказывал ему, что обожаемый его недруг подстерегает его, запоминает каждое слово, а он не желал давать Аде оружие против себя.

На этом Ада не успокоилась и предприняла еще одну атаку:

— Ты меня любишь потому, что ты меня любишь, или потому, что я тебя люблю?

— Потому что я тебя люблю.

— Значит, если я тебя разлюблю, ты все равно будешь меня любить?

— Буду.

— А если я полюблю другого, ты все равно меня не разлюбишь?

— Не знаю. Думаю, что да... Во всяком случае тебе я скажу об этом последней.

— А что же переменится?

— Многое. Возможно, я. А ты уж наверняка.

— Но если я и переменюсь, тебе-то что?

— Как что? Я люблю тебя такой, какая ты есть. А если ты станешь другая, я не могу поручиться, что буду тебя любить.

— Ты просто меня не любишь, совсем не любишь! Торгуешься, как в лавке! Любит, не любит. Если ты меня действительно любишь, ты должен меня любить такой, какая я есть, должен всегда любить, что бы я ни сделала.

— В таком случае я любил бы тебя, как животное.

— А я и хочу, чтоб ты меня так любил.

— Значит, ты ошиблась, — сказал он, смеясь. — Я не тот, кто тебе нужен. Если бы я даже хотел, все равно не мог бы. А я и не хочу.

— Очень уж ты гордишься своим умом! Ты больше любишь свой ум, чем меня.

— Но ведь я тебя люблю, неблагодарная ты, больше, чем ты сама себя любишь. И чем ты красивее и лучше, тем больше я тебя люблю.

— Ну, заговорил, хуже учителя, — презрительно произнесла Ада.

— Что ты от меня хочешь? Я люблю все, что прекрасно, а плохое вызывает во мне отвращение.

— И во мне?

— А в тебе особенно.

Ада со злости даже ногой притопнула.

— Я не желаю, чтоб ты меня осуждал.

— Ну, жалуйся теперь, что я тебя осуждаю, что я тебя слишком люблю, — нежно произнес он, желая ее успокоить.

Ада позволила обнять себя и даже ответила улыбкой на его поцелуй. Но через минуту, когда Кристоф надеялся, что все уже забыто, она тревожно спросила:

— А что ты во мне находишь плохого?

Кристоф поостерегся сказать, что именно, и мало-душно ответил:

— Ничего не нахожу.

Ада подумала с минуту, потом улыбнулась и сказала:

— Послушай, Кристи, вот ты говоришь, что неносишь лжи?

— Да, я ненавижу ложь.

— Ты прав, я тоже ненавижу ложь. Впрочем, на этот счет я спокойна, я никогда не лгу.

Кристоф взглянул на Аду — она говорила вполне искренно. И перед такой наивностью он почувствовал себя обезоруженным.

— Почему же ты рассердишься, — спросила она, обвивая его шею обеими руками, — если я полюблю другого и прямо тебе об этом скажу?

— Не мучай ты меня.

— Я вовсе тебя не мучаю — ведь я не говорю, что люблю другого; наоборот, никого кроме тебя не люблю... Ну, а если бы я все-таки полюбила?

— Не будем об этом думать.

— А я хочу об этом думать... Ты на меня рассердишься? А ведь ты не вправе на меня сердиться.

— Я не буду сердиться, я просто уйду, вот и все.

— Уйдешь от меня? Почему уйдешь? А если я тебя буду попрежнему любить?

— Как же это можно, и меня и другого?

— Ну и что? Ведь так бывает.

— Бывает, но только не с нами.

— Почему?

— Потому что в тот день, когда ты полюбишь другого, я не буду тебя любить, детка, не буду и не буду.

— А ты только что говорил, что будешь... Вот видишь, ты меня не любишь.

— Ну пусть. Тем лучше для тебя.

— Почему лучше?

— Потому что, если бы я продолжал тебя любить, а ты полюбишь другого, могло бы плохо кончиться для тебя, и для меня, и для другого тоже.

— Вот тебе на! Ты совсем с ума сошел. Значит, по-твоему, я должна всю жизнь сидеть при тебе?

— Успокойся. Ты совершенно свободна. Можешь уйти от меня в любую минуту, когда захочешь. Только это уж тогда не «до свидания», а прощай навеки.

— А если я попрежнему тебя буду любить, тогда что?

— Когда любят, то приносят себя в жертву.

— Ну и приноси, пожалуйста.

Кристоф невольно рассмеялся этому наивному эгоизму. Ада тоже расхохоталась.

— Если жертву приносит один, — сказал он, — значит, и любит только один.

— Ничего подобного. Двое любят. Просто я тебя любила бы еще больше, если бы ты чем-нибудь пожертвовал для меня. И подумай только, Кристи, ведь и ты бы меня любил еще сильнее, раз ты пожертвовал бы чем-нибудь для меня, ты был бы еще счастливее.

Оба расхохотались, и оба были довольны, что сумели скрыть от самих себя глубину их размолвки.

Кристоф, смеясь, глядел на Аду. И в самом деле, как сказала Ада, она не имела ни малейшего желания расставаться сейчас с Кристофом; пусть даже он ее часто злил и надоедал, она понимала, как ценна такая преданность, и никем увлечена не была. И говорить-то она говорила только так, от нечего делать, потому, что знала, как неприятны Кристофу подобные разговоры, и потому, что получала удовольствие от копания в фальшивых и нечистых чувствах, словно ребенок, который с наслаждением возится в грязной луже. Кристоф знал это и не сердился на Аду. Но он утомился от этих нездоровых споров, от постоянной глухой борьбы с этой нестойкой и нездоровой душой, с этой Адой, которую он любит, которая, быть может, любит его; он устал от тех усилий, которые ему приходилось делать, чтобы обманывать себя на ее счет, — словом, устал до слез. Он думал: «Ну зачем, зачем она такая? Почему вообще люди такие? Как все-таки плоска жизнь!» И в то же время он улыбался, глядя на хорошенькое личико, склонившееся к нему; на голубые глазки; нежный, как лепесток цветка, румянец; смеющийся и болтливый, чуть-чуть глуповатый рот, открывавший яркорозовый кончик языка и блестящие зубки. Их губы почти соприкасались, но он смотрел на нее словно издали, откуда-то очень и очень издали, словно из другого мира, и он видел, как она уходит все дальше и дальше, тает в туманной дымке... И вдруг он перестал видеть ее совсем. Перестал слышать. Он впал в состояние какого-то радужного забвения, и все мысли его влеклись к музыке; он мечтал

о чем-то, не имеющем к Аде никакого отношения. Ему слышалась мелодия. Он творил, творил спокойно. О прекрасная музыка... печальная, такая бесконечно грустная! И, однако, в ней звучит доброта, любовь, и как хорошо становится на душе — вот оно, вот оно... а все прочее пустяки, неправда.

Он почувствовал, что его трясут за руку. Голос рядом с ним кричал:

— Да что с тобой? Скажи, ты, должно быть, с ума сошел? Почему ты на меня так глядишь? Почему ты не отвечаешь?

Он увидел рядом с собой пару глаз, внимательно смотрящих на него. Кто это? Ах, да... Он прерывисто вздохнул.

Ада рассматривала его с холодным вниманием. Она пыталась понять, о чем он думает. И ничего не понимала, только чувствовала, как напрасны ее усилия; она владеет не всем Кристофом, не всем целиком, и есть какая-то дверца, через которую он может ускользнуть от нее. И в глубине души она злилась.

— Почему ты плачешь? — как-то раз спросила она Кристофа, когда он вернулся из такого же загадочного путешествия в другую жизнь.

Кристоф провел ладонью по глазам и почувствовал, что они мокрые.

— Не знаю, — ответил он.

— Почему ты не отвечаешь? Я три раза тебя об одном и том же спрашиваю.

— Чего ты хочешь? — тихо сказал он.

Но Ада уже снова пустилась в свои любимые споры. Кристоф устало махнул рукой.

— Ладно, не буду, — заявила она. — Только одно слово.

И снова началось.

Кристоф гневно выпрямился.

— Оставь меня в покое с твоими мерзостями.

— Но ведь я шучу.

— Потрудись выбирать для своих шуток более пристойные предметы.

— Хоть объясни, скажи, почему это плохо?

— Не желаю! И объяснять нечего. Навоз воняет, потому что он воняет, и всё тут. А я затыкаю нос и прохожу мимо.

И Кристоф уходил; в бешенстве шагал он по улице, жадно вдыхая морозный воздух.

Но Ада снова и снова заводила свои разговоры, заводила завтра, заводила послезавтра. Она выкладывала Кристофу все, что могло задеть или оскорбить его.

Кристоф считал, что это лишь болезненная забава неврастенической девушки, которой нравится дразнить людей. Он молча пожимал плечами или притворялся, что не слышит ее слов, которых, впрочем, и не принимал всерьез. И, однакож, у него иной раз было сильное искушение выбросить ее за окошко, ибо неврастения и неврастеники претили ему выше меры...

Но, уйдя от Ады, он уже через десять минут забывал все, что ему так не нравилось. Он возвращался к ней с новым запасом надежд и молодых иллюзий. Он ее любил. Любовь, по сути дела, акт бесконечно возобновляющейся веры. Существует бог или нет — это неважно; верят в него, потому что верят. И любят, потому что любят: любовь не ищет причин.

После сцены, которую Кристоф устроил Фогелям, дальнейшее пребывание в их доме стало невозможным, и Луизе пришлось перебраться с сыном на новую квартиру.

В один прекрасный день самый младший из братьев Крафтов Эрнст, давно не подававший о себе вестей, вдруг свалился к ним как снег на голову. Он остался без места; впрочем, он уже сменил с десятков профессий, ибо с каждой должности, на которую он поступал, его выгоняли; денег у него не было ни копейки, да и здоровье расшаталось; поэтому-то он рассудил, что разумнее всего передохнуть и набраться сил под материнским кровом.

Эрнст поддерживал с обоими братьями хорошие отношения; Кристоф и Рудольф его не уважали, он знал это и не сердился на них, потому что ему это было безразлично. И они тоже на него не сердились; только

время зря терять. Он выслушивал любые наставления и тут же забывал о них. Лукавые, красивые глаза улыбались, хотя он пытался принять озабоченный вид и, явно думая о другом, поддакивал, благодарил. А кончалась такая сцена обычно тем, что он выманивал у братьев деньги. Кристоф злился на себя, но любил этого обходительного шалопая, напоминавшего еще больше, чем сам он, Кристоф, дедушку Жан-Мишеля. Эрнст был такой же высокий, как Кристоф, но черты у него были правильные, лицо открытое, светлые глаза, прямой нос, вечная улыбка на губах, прекрасные зубы и вкрадчивые манеры. При виде его Кристоф чувствовал себя обезоруженным и забывал главное, в чем хотел его упрекнуть: он не мог подавить какое-то чисто материнское снисхождение к этому красивому мальчику, в жилах которого текла их, крафтовская, кровь и внешностью которого он гордился. Кристоф не считал Эрнста дурным, да и глупым он не был. Образования ему явно не хватало, но он не лишен был какой-то тонкости чувств и даже способен был интересоваться самыми серьезными вещами. Он умел наслаждаться музыкой и, не понимая сочинений брата, внимательно слушал его игру. Кристоф, не избалованный симпатией и сочувствием близких, с удовольствием замечал Эрнста среди публики на своих концертах.

Но самым крупным талантом Эрнста было глубокое проникновение в характер своих братьев и умение играть на их слабых струнках. Пусть Кристоф знал, что Эрнст эгоист и равнодушен ко всему на свете, пусть он знал, что Эрнст вспоминает о них с матерью, только когда ему что-нибудь надо, и все-таки он каждый раз поддавался обаянию ласковых, вкрадчивых мамер младшего брата и ни в чем не мог ему отказать. Он любил его гораздо сильнее, чем своего другого брата — Рудольфа, весьма степенного и вежливого юношу, аккуратного в работе, безупречной нравственности, который денег ни у кого не просил, но и сам их никому не давал, и регулярно по воскресеньям приходил навестить мать; он сидел у Луизы ровно час, говорил только о себе, хвастался своими успехами, своей фирмой и всем ее касающимся, никогда ни о ком и ни о чем не спрашивал и

уходил всегда в один и тот же час, радуясь, что так мило выполнил свой сыновний долг. Кристоф терпеть его не мог. Он старался уйти из дому, лишь бы не встречаться с Рудольфом. А Рудольф завидовал старшему брату — он презирал всех артистов и с трудом переносил известность Кристофа. Однако это не мешало ему кичиться скромной славой брата, что было небезвыгодно в кругу коммерсантов, с которыми он общался, но он скрывал это и от Луизы и от Кристофа, делая вид, будто ничего об успехах брата не слышал. И наоборот, любое неприятное событие в жизни Кристофа немедленно становилось ему известным. Кристоф от души презирал эти мелкие уколы и в свою очередь притворялся, что ничего не замечает, но чего он не знал и что узнать было бы горше всего, — это то, что самые нелестные сведения Рудольф получал непосредственно от Эрнста. Юный бездельник отлично понимал, как велика разница между Кристофом и Рудольфом, и, без сомнения, чувствовал превосходство Кристофа, а может быть, его даже трогало, хоть и смешило, простодушие брата. Но он не упускал случая обернуть себе на пользу наивность Кристофа, так же как старался извлечь выгоду из злобного себялюбия Рудольфа. Он льстил ему, разжигал зависть, почтительно, не возражая, выслушивал его ядовитые речи и держал его в курсе всех скандальных сплетен, ходивших по городу, и в первую очередь тех, которые касались Кристофа. Надо сказать, что Эрнст всегда все знал. И неизменно достигал цели: Рудольф, несмотря на всю свою скупость, позволял обирать себя младшему брату, точно так же как и Кристоф. Так Эрнст пользовался расположением обоих братьев и равно смеялся над ними. И оба брата любили его.

Несмотря на всю свою изворотливость, Эрнст на сей раз вернулся домой к матери в самом плачевном состоянии. Он прибыл из Мюнхена, где его, как обычно, быстро выгнали с работы. Большую часть пути ему пришлось проделать пешком, да еще в дождливую погоду, и ночевать где попало. Он был весь с головы до

ног покрыт грязью, одежда висела на нем ключьями, будто на бродяге, и к тому же он надрывно кашлял, так как подхватил по дороге серьезный бронхит. При виде его Луиза испуганно вскрикнула, а выбежавший на ее крик Кристоф растрогался. Эрнст, который вообще при случае мог легко пустить слезу, не преминул и на этот раз прибегнуть к эффектному приему. В результате Луиза и Кристоф окончательно смягчились, и все трое, обнявшись, долго плакали.

Кристоф поместил брата в своей комнате; постель, куда уложили больного, который, казалось, вот-вот отдаст богу душу, предварительно согрели грелками. Луиза и Кристоф уселись у изголовья Эрнста и всю ночь по очереди продежурили возле больного. Понятно, появился доктор, понадобились лекарства, особая пища, ярко пылающий камин.

Надо было кроме того одеть блудного сына с головы до ног, — и белье, и обувь, и костюм требовались новые. Эрнст все принимал как должное. Луиза и Кристоф из сил выбивались под бременем непредвиденных расходов. Болезнь застигла их в затруднительных обстоятельствах: количество уроков сократилось, а тут еще переезд на новую квартиру, такую же неудобную, но более дорогую, чем прежняя, и всякие прочие траты. Они и так еле сводили концы с концами. Пришлось прибегать к героическим мерам. Кристоф мог бы, конечно, обратиться к Рудольфу, которому легче было помочь Эрнсту, но он не хотел — он считал делом чести самому помочь младшему брату. И считал так потому, что остался старшим в семье, и потому, что Кристоф был Кристоф. С краской стыда на лице он вынужден был принять — чуть не просить — недавно отвергнутое с негодованием предложение одного посредника (богач, от имени которого тот выступал, пожелал остаться неизвестным): речь шла о приобретении в полную собственность какой-нибудь сонаты или трио Крафта для последующего издания под именем вышеназванного меломана. Луиза нанялась подневно штопать белье. И мать и сын скрывали друг от друга приносимые ими жертвы. И оба, заработав несколько грошей, безбóжно лгали относительно их происхождения.

Однажды Эрнст, который уже выздоравливал, уютно сидя у огонька, заявил между двух приступов кашля, что у него есть кое-какие долги. Заплатили и долги. Никто не сказал ни слова упрека. Это было бы неблагородно по отношению к больному, по отношению к блудному сыну и брату, который в раскаянии вернулся под отчий кров, ибо Эрнст, казалось, переродился после пережитых испытаний. Со слезами в голосе он говорил о своих бывших заблуждениях. И Луиза, обнимая любимого сына, умоляла его забыть тяжелое прошлое. Эрнст вообще был от природы очень ласков и всегда приводил в восторг мать своими нежными излияниями. Кристоф раньше, случалось, даже немножко ревновал. А теперь он считал вполне естественным, что самый младший сын, да к тому же еще болезненный, был и самым любимым. Хотя разница в возрасте у братьев была ничтожная, Кристоф относился к нему скорее как к сыну, чем как к брату. Эрнст выказывал Кристофу неизменное уважение, он несколько раз заводил туманные разговоры о работах, которые доставляет домашним, о непомерно больших тратах, но всякий раз Кристоф обрывал его, и Эрнст сразу почтительно умолкал, глядя на родных преданным и робким взглядом. Он жадно выслушивал советы Кристофа; казалось, он твердо решил переменить образ жизни и, как только поправится, начать серьезно работать.

И хотя Эрнст поправлялся, выздоровление все же шло медленно. Врач заявил, что здоровье его молодого пациента подорвано и требует особых забот. Посему Эрнст продолжал жить в материнском доме, делил с Кристофом постель, с аппетитом уписывал хлеб, заработанный трудами старшего брата, и лакомые кушанья, которые Луиза изобретала для любимого сынка. Об отъезде он даже не заикался. Молчали на эту тему и Луиза с Кристофом. Они были счастливы вновь обрести любимого сына и брата.

Проводя почти все вечера вместе с Эрнстом, Кристоф мало-помалу привык разговаривать с ним более откровенно. Ему так нужно было довериться кому-то. Неглупый Эрнст с полуслова понимал или делал вид, что понимает брата. Беседы с ним даже доставляли удо-

вольствие. Однако Кристоф не смел говорить с ним о том, что особенно волновало его душу, — о своей любви. Его удерживала какая-то стыдливость. А Эрнст, который отлично знал все, делал вид, что ничего не знает.

Однажды окончательно выздоровевший Эрнст воспользовался солнечным днем и вышел побродить по берегам Рейна. Проходя мимо какой-то шумной харчевни за околицей города, куда горожане обычно приходили по воскресеньям выпить и закусить, он увидел Кристофа, который весело пировал вместе с Адой и Миррой. Кристоф заметил Эрнста и покраснел. А Эрнст притворился, что ничего не видел, и прошел, не окликнув брата.

Кристофа сильно смутила эта встреча. Он еще острее почувствовал, в каком обществе он встречается. Особенно было ему мучительно, что его видел Эрнст, и даже не потому, что отныне он лишился права судить о поведении Эрнста, а потому, что имел слишком высокое, слишком наивное, немного архаическое представление об обязанностях старшего брата, которое большинству людей показалось бы просто смешным и нелепым; сам же Кристоф полагал, что, пренебрегая своими обязанностями, он упадет в собственном мнении.

Вечером, когда они очутились одни в спальне, Кристоф ждал, что Эрнст намекнет на их встречу. Но Эрнст скромно молчал и ждал первых слов от брата. Они начали раздеваться на ночь, и тут только Кристоф решился рассказать брату о своей любви. Он так волновался, что даже не смел взглянуть на Эрнста, и именно по застенчивости заговорил в преувеличенно грубом тоне. Эрнст ничем не помог брату; он сидел молча, тоже не глядел на Кристофа, но тем не менее прекрасно все видел: от его пронизательного взора не укрылось ни смущение Кристофа, ни его неловкие слова, а главное то, что было в них смешного. Кристоф, вероятно, даже не назвал имени Ады, и нарисованный им портрет мог подойти к любой девушке. Но зато он говорил о своей любви и, отдаваясь потоку нежности, переполнявшей его сердце, воскликнул, что любить — величайшее благо, что он был так несчастлив, пока не увидел это солнце,

озарившее его мрачную ночь, и что жизнь ничто без любви, истинной и глубокой. Эрнст слушал с серьезным видом, тактично вставил несколько слов, ни о чем не спросил; порывистое рукопожатие должно было показать, что он разделяет чувства Кристофа. Братья поговорили еще, высказали друг другу свои мысли о любви и жизни. Кристоф был счастлив. Наконец-то его поняли по-настоящему. Перед сном братья обнялись.

Мало-помалу Кристоф привык — правда, очень робко и очень сдержанно — поверять свои чувства Эрнсту, поскольку уверился в его скромности. Он даже высказал ему свое смутное беспокойство по поводу Ады, но никогда не обвинял ее, а обвинял только себя одного и со слезами на глазах повторял, что не переживет разлуки с нею.

Говорил он и Аде об Эрнсте, хвалил его ум и внешность.

Эрнст ни о чем не заговаривал с Кристофом, не просил познакомиться его с Адой; в глубокой меланхолии сидел он целыми днями дома и отказывался пойти погулять, ссылаясь на то, что у него нет знакомых. Кристоф упрекал себя, что по воскресеньям отправляется, как и прежде, за город с Адой, а брат безвыходно сидит дома. Ему было бы очень трудно отказаться от этих прогулок наедине с Адой, но он корил себя за эгоизм и в один прекрасный день предложил Эрнсту пойти с ними.

Кристоф представил брата Аде на лестничной площадке у ее двери. Эрнст и Ада церемонно раскланялись. Конечно, Ада пригласила с собой неразлучную Мирру, а та при виде Эрнста слегка вскрикнула от удивления. Эрнст улыбнулся, подошел и поцеловал Мирру, которая, повидимому, сочла это в порядке вещей.

— Как, оказывается, вы знакомы? — спросил Кристоф, вне себя от изумления.

— Ну конечно же! — со смехом ответила Мирра.

— И давно?

— Очень давно!

— И ты его знаешь? — спросил Кристоф Аду. — Почему же ты мне ничего не говорила?

— Неужели я должна знать всех Мирриных любовников! — возразила Ада, пожав плечами.

Мирра расслышала слово «любовник» и притворилась шутки ради рассерженной. Так Кристоф и не узнал больше ничего. Он сразу погрузился. Он считал, что Эрнст, Мирра и Ада недостаточно искренни, хотя, по правде говоря, не мог упрекнуть их в прямой лжи; но трудно было поверить, чтобы Мирра, не имевшая никаких секретов от Ады, именно на этот раз не посвятила ее в свою тайну и чтобы Эрнст и Ада не были знакомы раньше. Кристоф стал наблюдать за ними. Но они сменялись самыми обычными фразами, и Эрнст всю прогулку был занят только Миррой. Да и Ада тоже говорила только с Кристофом и была с ним гораздо нежнее, чем обычно.

Отныне Эрнст стал принимать участие во всех их прогулках. Кристоф отлично обошелся бы и без него, но он не смел об этом сказать. Ему просто стыдно было, что брат стал участником его развлечений, — никаких иных причин скрываться от Эрнста у него не имелось. Кристоф был чужд подозрений. Да и Эрнст не давал к этому повода; казалось, он влюблен в Мирру, а с Адой обращался холодно, вежливо и излишне почтительно, что было даже неуместно, — можно было подумать, что он хотел перенести на возлюбленную брата частицу того уважения, которое питал к Кристофу. Ада ничуть этому не удивлялась, но продолжала быть настороже.

Они вчетвером совершали теперь длинные прогулки. Обычно братья шагали впереди, чуть позади шли Ада с Миррой и все время перешептывались, пересмеивались; увлекшись беседой, девушки часто останавливались среди дороги. Кристофу и Эрнсту тоже приходилось останавливаться и поджидать своих спутниц. Но нетерпеливый Кристоф не выдерживал таких пауз и пускался в путь; однако вскоре со злостью поворачивал обратно, досадуя на Эрнста, хохотавшего и оживленно беседовавшего с двумя болтушками. Ему очень хотелось узнать, о чем они говорят, но когда он подходил ближе, разговор сразу умолкал.

— Да что это вы тут затеваете? — попытался он.

Ему отвечали шутками. Эти трое прекрасно понимали друг друга.

Как-то Кристоф сильно поспорил с Адой. Все утро оба дулись. Против обыкновения Ада не приняла благородно обиженного вида, который обычно принимала в подобных случаях: желая отомстить дерзкому, она становилась невыносимо надоедливой. Но на сей раз она притворилась, что вообще не замечает Кристофа, и была на редкость мила с Миррой и Эрнстом. Можно было подумать, что в глубине души она даже рада этой ссоре.

Кристофу, напротив, ужасно хотелось поскорее помириться. Он был сегодня как-то особенно сильно влюблен. Его нежность подогревалась чувством признательности за все, что было в их любви благотворного; он сожалел о том, что время проходит зря в бессмысленных спорах и недобрых подозрениях; беспричинный страх, какая-то тайная мысль, что любовь их скоро кончится, мучили Кристофа. Он печально глядел на хорошенькое личико Ады, а она с умыслом отворачивалась и улыбалась двум другим спутникам; это личико вызывало в Кристофе столько дорогих воспоминаний, такую любовную тоску, такую жажду близости, на этом прелестном личике временами (и как раз сейчас) появлялось выражение такой доброты, так ясна была улыбка, что Кристоф с недоумением вопрошал себя, зачем они портят друг другу радость, почему она старается забыть эти пронизанные светом часы, — ведь есть в ней прямота и честность, к чему же отречься от них, душить в себе все хорошее, какое странное удовольствие находит она в том, чтобы смущать, грязнить, пусть даже в мыслях, их чистое чувство. Он ощущал огромную потребность верить в то, что любил, и пытался вновь и вновь обмануть себя. Он упрекал себя в несправедливости, в том, что приписывает Аде дурные мысли, а сам проявляет нетерпимость.

Кристоф подошел к Аде и попытался с ней заговорить; она сухо и односложно ответила ему: ей вовсе не

хотелось мириться. Но Кристоф настаивал, он шепотом умолял ее выслушать его, хоть на минутку отойти в сторону. Ада с явной неохотой последовала за Кристофом. Когда они отошли на несколько шагов и ни Мирра, ни Эрнст не могли их видеть, Кристоф вдруг схватил Аду за руки, стал просить у нее прощения, опустился перед ней на колени — прямо на сухие, опавшие листья. Он говорил, что не может больше так жить в ссоре с ней, что ему и прогулка не в радость, что прекрасный день испорчен, что ничто ему не мило, что он не может даже дышать свободно, зная, что она его ненавидит, — ему необходима ее любовь. Да, он часто бывает несправедлив, неприятен, часто злится, но он умоляет простить его — ведь виновата во всем его любовь, которая не терпит ничего будничного, ничего, что было бы недостойно Ады и воспоминаний о бесценных днях, пережитых вместе. Он напомнил ей эти дни, напомнил первую встречу, первые часы, проведенные с нею; он говорил, что любит ее с каждым днем все больше, что будет любить ее вечно, — так пусть же она не обращается с ним так холодно! Ведь она для него все...

Ада слушала улыбаясь; она была взволнована, даже растрогана. Она посмотрела на Кристофа тем своим взглядом, который говорил, что она добрая, что они любят друг друга и что ссоре конец. Они обнялись и, прижавшись друг к другу, пошли в сторону леса, с которого уже слетела листва. Ада говорила, что Кристоф прелесть, что она так благодарна ему за эти нежные слова; тем не менее она даже не подумала отказаться от злого умысла, который родился в ее капризном и ограниченном мозгу. Правда, теперь она вдруг заколебалась. Выдумка показалась ей не такой уж забавной. И все же она решила осуществить задуманное. Почему? Кто знает? Потому, что уже пообещала себе? Кто знает? Может быть, ей казалось особенно волнующим обмануть своего друга как раз сегодня, чтобы доказать ему, доказать самой себе, что она свободна. Она не собиралась расставаться с Кристофом — этого ей совсем не хотелось. Она была более чем когда-либо уверена в его любви.

Все четверо вышли на лужайку. Отсюда расходились две тропинки. Кристоф направился было по левой, но Эрнст стал уверять, что правая скорее доведет их до вершины холма. Ада приняла его сторону. Кристоф, который десятки раз ходил по этой тропинке и знал ее наизусть, кричал, что они ошибаются, но Ада и Эрнст стояли на своем. Тогда Кристоф предложил сделать опыт, и обе пары поспорили, какая придет первой. Ада пошла с Эрнстом, Мирра — с Кристофом: она притворялась, что вполне уверена в правоте Кристофа, и даже добавила: «Как всегда». Кристоф принял игру всерьез, и поскольку он не любил проигрывать, зашагал быстро, слишком быстро, как заметила Мирра, которая совсем не собиралась бежать сломя голову.

— Да не торопись так, дружок, — сказала она своим обычным насмешливо-спокойным тоном, — все равно мы придем первые.

Кристоф сразу же устыдился.

— Верно, — ответил он, — я иду слишком быстро, это нечестно.

И он замедлил шаг.

— Я-то их знаю, — добавил он, — я уверен, что они бегут во всю мочь, только бы опередить нас.

Мирра расхохоталась.

— Да нет, нет, не беспокойся, пожалуйста.

Она взяла Кристофа под руку и прижалась к нему. Ростом она была лишь немного ниже Кристофа и, шагая рядом с ним, время от времени скидывала на него ласковый и умный взгляд. Сейчас она казалась просто хорошенькой, даже соблазнительной. Кристоф с трудом ее узнавал — вот так перемена! Обычно лицо у Мирры было бледное и немного опухшее, но достаточно оказалось минутного волнения, задорной мысли или желания понравиться, — и эту старообразность как рукой сняло: порозовели щеки, исчезли складочки вокруг век, зажглись глаза, и все ее личико вдруг стало молодым, живым, умным, чего как раз и недоставало Аде. Кристоф поражался этой перемене и в волнении отводил глаза — он был немного смущен, ощутившись наедине с Миррой. Ее присутствие стесняло Кристофа, он не слушал ее слов, не отвечал на вопросы или отвечал невпопад —

ему хотелось помечтать на свободе, он думал, хотел думать только об одной Аде. Думал, какие добрые были у нее только что глаза, думал об ее улыбке, о ее поцелуе, и сердце его переполняла любовь. Мирра требовала, чтобы он любовался природой, четким рисунком голых веток на яркосинем небе. И верно, кругом было на редкость красиво — тучи рассеялись, Ада вернулась к нему, ему удалось разбить ледок, легший между ними, они снова любят друг друга, рядом ли они, или врозь, — все равно, они одно существо. Он с наслаждением думал: как легко дышать, как свеж воздух! Ада вернулась к нему... Все напоминало Аду... Стало чуть свежо — уж не холодно ли ей?.. Деревца были припудрены инеем — как жаль, что Ада их не видит! Тут он вспомнил о заключенном пари и снова заторопился; он боялся теперь только одного: как бы не сбиться с дороги. С каким торжеством он взбежал на вершину холма!

— Ура, мы первые!

И весело стал размахивать шляпой. Мирра с улыбкой глядела на него. Они находились на вершине крутого холма, поросшего лесом. Отсюда, сверху, с площадки, окаймленной орешником и низенькими чахлыми дубками, виднелись внизу лесистые склоны, верхушки сосен, окутанных лиловой дымкой, и бесконечная лента Рейна в синевших далях. Ни щебета птиц, ни человеческого голоса, ни ветерка. Недвижный, задумчивый день зябко грелся в мертвенно бледных лучах зимнего солнца. Временами издали доносился короткий свисток парсеза. Кристоф, стоя на краю холма, смотрел на растставшийся вокруг пейзаж. А Мирра смотрела на Кристофа.

Он обернулся к ней и добродушно сказал:

— Ну и лентяй! Говорил же я им... Ничего не поделаешь, придется ждать.

Он растянулся на солнышке, прямо на потрескавшейся земле.

— Что же, подождем, — сказала Мирра, снимая шляпу.

Слова ее прозвучали вдруг такой насмешкой, что Кристоф приподнялся и пристально поглядел на нее.

— Что с тобой? — спросила она спокойно.

— Ты что сказала?

— Я сказала: подождем. Незачем было заставлять меня всю дорогу бежать вприпрыжку.

— Верно.

Они ждали, лежа рядом на гладкой земле. Мирра напевала песенку. Кристоф замурлыкал ей в тон. Но каждую минуту он прерывал свое мурлыканье и прислушивался.

— Кажется, они идут.

Мирра продолжала петь.

— Да помолчи ты минутку.

Мирра замолчала.

— Нет, ничего, просто показалось.

Мирра снова затянула песню.

Кристофу не сиделось.

— А вдруг они заблудились?

— Заблудились? Где же они заблудятся? Эрнст знает все тропинки.

Нелепая мысль пришла Кристофу в голову:

— А вдруг они пришли первые и ушли, нас не дождавшись?

Мирра, лежа на спине и глядя в небо, перестала петь и расхохоталась так, что чуть не задохлась. Кристоф наставал. Он решил идти вниз на станцию, где, как он уверял, их уже ждут Ада с Эрнстом. Мирра, наконец, решила выйти из своего оцепенения.

— Вот тогда мы их действительно потеряем. Ведь мы условились здесь встретиться, а не на станции.

Кристоф уселся рядом с Миррой. Ее забавляло его нетерпение. Кристоф чувствовал на себе внимательнo-насмешливый взгляд. Он уже начал беспокоиться всерьез — он беспокоился, но дурного не подозревал. Он снова вскочил на ноги. Твердил, что надо вернуться в лес, искать их, звать. Мирра тихонько хихикнула, словно прокудахтала, вытащила из кармана иголку, нитки, маленькие ножницы и начала спокойно шить. Она решила по-новому положить перья на шляпке и, казалось, готова была просидеть так целый день.

— Да нет же, нет, дурачок, — повторяла она. —

Если бы они хотели прийти, неужели, ты думаешь, они без нас не нашли бы дороги?

Кристофа словно в сердце ударило. Он обернулся к Мирре. Мирра не глядела на него, она вся ушла в работу. Он подошел к ней вплотную.

— Мирра! — позвал он.

— А? — откликнулась она, продолжая шить.

— Мирра! — повторил он.

— Ну, что тебе? — спросила она, подымая глаза от работы и с улыбкой глядя на него. — Что случилось?

При виде его взволнованного лица она насмешливо поджала губы.

— Мирра! — повторил он задыхаясь. — Скажи правду, значит, по-твоему...

Мирра с улыбкой пожала плечами и взялась за шитье. Он схватил ее за обе руки, вырвал у нее иголку.

— Брось, брось сейчас же и скажи...

Мирра смотрела прямо в лицо Кристофу и молчала. Она видела, как тряслись его губы.

— Значит, ты думаешь, — сказал он тихо, почти шепотом, — что Эрнст и Ада...

Она снова улыбнулась.

— А как же иначе!

Кристоф с негодованием отшатнулся от нее.

— Нет! Нет! Это невозможно! Ты вовсе этого не думаешь! Нет! Нет!

Мирра положила руку на плечо Кристофа и залилась смехом.

— Как же ты глуп, как же ты глуп, миленький!

Он свирепо тряхнул ее.

— Не смей смеяться! Почему ты смеешься? Ты бы не смеялась, если бы это было правдой. Ведь ты любишь Эрнста.

Продолжая смеяться, Мирра привлекла к себе Кристофа и поцеловала. Против своей воли он возвратил ей поцелуй. Но, когда он почувствовал на своих губах эти губы, еще теплые от поцелуя брата, он резко отшатнулся и, стараясь уклониться от поцелуев Мирры, спросил:

— Значит, ты знала? Это было условлено между вами, да?

Она, смеясь, ответила:

— Да.

Кристоф не закричал, не ударил Мирру, даже не поднял руки. Он только раскрыл рот, как будто ему не хватало дыхания, закрыл глаза и прижал обе руки к груди — сердце его разрывалось. Потом он повалился на землю, охватил голову руками и, как в детстве, весь затрясся от слез, отвращения и отчаяния.

Мирра, не особенно мягкая по природе, вдруг как-то по-матерински пожалела Кристофа: она нагнулась над ним, что-то нежно говорила, протянула ему флакончик с нюхательной солью. Он злобно оттолкнул ее руку и вскочил так быстро, что она испугалась. Но у него не было ни силы, ни желания мстить. Он посмотрел на Мирру, лицо его перекошилось от боли.

— Дрянь, — сказал он устало, — дрянь. Если б ты только знала, какое зло ты мне причинила.

Мирра пыталась его удержать. Но он побежал прямо через лес, стараясь избавиться от этого отвращения, этой низости, забыть эти нечистые сердца, эту кровосмесительную игру, к которой они хотели его принудить. Он плакал, он дрожал всем телом, он рыдал от омерзения. Он испытывал гадливость к Аде, к Мирре, к брату, он ненавидел себя, свое тело, свое сердце. Презрение нарастало в нем, как буря, она назревала уже давно, рано или поздно он должен был восстать против пошлой, отравленной атмосферы, в которой он жил последние месяцы, против низких помыслов, унижительных компромиссов, но потребность любить, потребность обманывать себя насчет того, кого любишь — все это задерживало наступление неизбежного кризиса. Кризис разразился вдруг — и к лучшему. Мощным порывом свежего воздуха, суровой чистотой, леденящим дуновением смело все миазмы. И сразу отвращение убило любовь к Аде.

Если Ада надеялась подобным поступком упрочить свою власть над Кристофом, то этот расчет лишний раз обнаружил ее глубокое непонимание любящей души юноши. Ревность, как цепью привязывающая низкие на-

туры, могла лишь возмутить чистого и гордого, не тронутого жизнью Кристофа. Он не мог простить Аде одного — и не простил никогда: пусть бы Ада изменила ему под влиянием страсти, пусть даже в минуту нелепого и гнусного каприза, столь неодолимого подчас, что женщина не в силах противиться ему. Но нет. Кристоф понял теперь, что Адой руководило затаенное желание принизить его, сбить с него спесь, наказать за его нравственную стойкость, за чуждую и враждебную ей веру, низвести до уровня мещанской посредственности, держать его у своих ног, доказать самой себе, как велика ее тлетворная сила. И Кристоф с ужасом думал: откуда у многих людей такая потребность пачкать все то чистое, что живет в них самих и вокруг них, почему с таким наслаждением они валяются, как свиньи, в помоях и радуются, убедившись, что на них не осталось ни одного не тронутого грязью местечка?..

Два дня Ада ждала, что Кристоф вернется. Потом забеспокоилась и послала ему нежную записочку, где ни словом не обмолвилась о воскресном происшествии. Кристоф не ответил. Он ненавидел теперь Аду такой глубокой ненавистью, что даже не мог выразить ее словами. Он вычеркнул Аду из своей жизни. Она перестала существовать для него.

Кристоф избавился от Ады, но не избавился от самого себя. Тщетно старался он обмануть себя и обрести целомудренное и могучее спокойствие недавнего времени. Никому не дано вернуть прошлое. Надо идти, продолжать свой путь, и бесполезно оглядываться назад — разве только, чтобы запомнить покинутые навсегда места, увидеть далекий дымок над крышей дома, еще вчера служившего тебе приютом, да и дымок уже тает на горизонте, сливаясь с туманом воспоминаний. Но ничто так не отдаляет нас от нашей прежней души, как несколько месяцев страсти. Дорога вдруг резко поворачивает, все окружающее меняется, и в последний раз говоришь «прости» тому, что осталось далеко позади.

Кристоф не желал с этим примириться. Он тянулся к прошлому, он упорно старался воскресить свою прежнюю душу, умиротворенную и сильную одиночеством. Но ее уже не было. Страсть не так опасна сама по себе, как страшны причиняемые ею разрушения. Что из того, что Кристоф сейчас никого не любил, что из того, что сегодня презирал любовь, — она все равно оставила неизгладимый след своего когтя. В сердце зияла пустота, и ее надо было чем-то заполнить. С исчезновением этой жгучей жажды нежности и наслаждения, которая снедает раз познавшего ее, требовалась какая-нибудь иная страсть, будь то даже совсем противоположная — страстное презрение, страстная в своей чистоте гордыня, страстная вера в добро. Но этих страстей было уже недостаточно — они не могли утолить голод сердца, вернее утоляли его лишь на краткий миг. Жизнь Кристофа стала чередой необузданных порывов, он кидался из одной крайности в другую. То он стремился загнать свою жизнь в суровые рамки безжалостного аскетизма — почти не ел, пил только воду, ходил до тех пор, пока не падал от усталости, не спал ночами, отказывался от всех развлечений. То он убеждал себя, что сила и есть истинная мораль таких людей, как он, и бросался в погоню за наслаждениями. И все равно был несчастлив. Он уже не мог быть одиноким. Он уже не мог не быть одиноким.

Единственным спасением для него было бы найти истинного друга, хотя бы ту же Розу, но он сам оттолкнул ее дружбу. Крафты и Фогели окончательно рассорились. Они теперь не встречались. Только раз Кристоф увидел Розу. Она выходила из церкви. Он побоялся подойти к ней, но она, заметив Кристофа, сделала шаг в его сторону. Когда же он, расталкивая богомольцев, степенно спускавшихся с лестницы, стал пробираться к Розе, она вдруг отвела взор и, холодно поклонившись, прошла мимо. Кристоф понял, что в ее юном, девичьем сердце живет ледяное и неизбывное презрение. Но он не понял, что она все еще любит его и хотела бы сказать ему о своей любви, хоть и клеймит себя за это дурацкое чувство, считает его ошибкой: Роза смотрела теперь на Кристофа как на скверного, испор-

ченного человека, совсем уж далекого от нее. Так они и потеряли друг друга навсегда. Возможно, к лучшему для обоих. При всей своей доброте Роза не обладала той искоркой жизни, которая требовалась, чтобы понять Кристофа. Как бы Кристоф ни жаждал любви и уважения, он не выдержал бы пошленькой, ограниченной четырьмя стенами жизни без радости, без горести, без свежего воздуха. Оба они мучились бы, причиняя страдания друг другу. И, значит, тот несчастный случай, что развел их в разные стороны, в конце концов был для них счастливым случаем, как это бывает нередко, как это происходит всегда с теми, в ком есть сила и стойкость жизни.

Но сейчас окончательный разрыв был и для Розы и для Кристофа большим горем, настоящей потерей. Особенно для Кристофа. Эта нетерпимость добродетели, эта ограниченность чувств, которая полностью лишает разума даже людей умных и доброты даже добряков, раздражала и оскорбляла Кристофа, и он наперекор всему начал вести вольную жизнь.

В те дни, когда Кристоф с Адой бродили по окрестным харчевням, он завел знакомство с веселыми молодыми людьми, с настоящей богемой; беспечность и свобода обращения новых знакомцев даже нравились Кристофу. Один из них, некто Фридеман, тоже музыкант — органист, значительно старше Кристофа (ему шел уже тридцатый год), — был даже неглуп, хорошо знал и любил музыку, однако отличался такой непреходимой ленью, что умер бы от голода, если не от жажды, но пальцем не пошевелил бы, чтобы выбиться в люди. Желая оправдать свою беспечность, он ради собственного утешения поносил людей, которые неизвестно чего ради суетятся и хлопочут, и шутки его, подчас тяжеловесные, вызывали даже смех. Более независимый, чем его коллеги музыканты, Фридеман не боялся — правда, робко, намеками, подмигивая — хулить особ уважаемых, даже позволял себе роскошь не повторять вслед за всеми общеобязательных мнений насчет музыки и исподтишка любил лягнуть дутую знаменитость, шумно входящую в моду. Женщин он не жаловал и шуточно повторял изречение одного монаха-женоненавист-

ника, что «женщина есть смерть души» — «femina mors animae». А Кристоф, как никогда, смаковал этот афоризм.

В том состоянии душевного смятения, в котором жил Кристоф, беседы с Фридеманом являлись даже развлечением. Он знал ему цену; вульгарное зубоскальство нового приятеля быстро приелось Кристофу; уже после двух-трех встреч его стал раздражать насмешливый тон и упорное отрицание всего и вся, скрывавшее в сущности духовную опустошенность, однако Фридеман был отдохновением от самодовольной глупости филистеров. Презирая в глубине души своего приятеля, Кристоф не мог уже без него обходиться. Они всюду появлялись вместе — вот они сидят в кругу собутыльников, людей опустившихся и подозрительных, фридемановских дружка, только еще ступенью ниже органиста. Целыми вечерами они резались в карты, орали, пили без конца; иногда Кристоф, словно пробудившись, вдыхал мерзкий запах колбас и табака, ошалело глядел на своих друзей, не узнавал их и тоскливо думал: «Где это я? Что это за люди? Зачем я с ними?»

Их остроты и смех вызывали в нем физическую тошноту. Но встать и уйти прочь не было сил: Кристофа охватывал страх при мысли, что сейчас он очутится дома, один, глаз на глаз со своими желаниями и укорами совести. Он губил себя и знал, что губит себя; он искал выхода и в то же время с жестокой ясностью видел в Фридемане, словно в кривом зеркале, того человека, каким ему, Кристофу, суждено стать со временем; он переживал часы такого отвращения и упадка, что даже эта страшная угроза не могла отрезвить его душу, а, наоборот, пригибала еще ниже.

Так бы он и погиб, если б только мог погибнуть. К счастью, у людей его закала есть надежный оплот и прибежище против всех разрушительных стихий. Не у всех оно есть — и прежде всего это сила, упорное стремление жить и преодолеть умирание, и стремление это мудрее разума, сильнее воли. Сам того не зная, Кристоф обладал также жадным любопытством художника, умел одним порывом отойти от себя самого — этим великим даром наделены все истинные творцы. Да,

он любил, он страдал, отдавался своим многообразным страстям, но ясно их видел. Они были в Кристофе, однако они не были Кристофом. Мириады крошечных душ неприметно жили в нем и тяготели к какой-то неведомой, но твердо намеченной и неподвижной точке, подобно тому как влекутся звездные миры в таинственную бездну мироздания. Это состояние непрерывного и неосознанного раздвоения проявлялось с особой силой в минуты, когда туманится сознание, когда замирает повседневная жизнь и в глубинах сна возникает око сфинкса, многообразный лик бытия. Вот уже год Кристофа преследовали сны, когда он с предельной отчетливостью чувствовал себя одновременно несколькими различными существами, подчас далекими друг от друга, разделенными материками, мирами и столетиями. Проснувшись, он долго ощущал какое-то беспокойство, словно еще продолжались видения, а откуда они — он не помнил. Словно что-то упорно и долго терзало его и вдруг исчезало, оставив после себя томительную усталость и недоумение. Но пока душа его мучительно билась в тенетах повседневности, другая душа, жившая в нем, внимательно и безмятежно наблюдала за этой отчаянной борьбой. Он не видел этой второй души, но она отбрасывала на него свой потаенный свет. Эта вторая душа жадно и радостно старалась перечувствовать все, всем перестрадать, старалась постичь этих мужчин, этих женщин, эту землю, эту жизнь, эти желания, эти страсти, эти помыслы, даже несущие муку, даже самые обыкновенные, даже нечистые; но и этого слабого света достаточно было, чтобы преобразить их, а Кристофа спасти от пустоты небытия. Она, эта душа, говорила ему, — непонятно как, но говорила, — что он не совсем одинок. Это стремление быть всем и все знать, эта вторая душа как бы плотинкой преграждала поток разрушительных страстей.

Она, эта душа, не очень-то помогала Кристофу, она лишь поддерживала его на поверхности вод, из которых, по ее замыслу, он должен был выбираться сам, без ее твердой руки. Кристофу не удавалось разобраться в себе, овладеть собой, сосредоточиться. Любая работа валилась у него из рук. Он переживал духовный

кризис, самый плодотворный за всю его жизнь, и вся будущая его жизнь уже была здесь в зародыше, но это внутреннее богатство сплошь и рядом прорывалось пока лишь в чудаковатых словах и поступках, так что плоды этого духовного переизбытка мало чем отличали Кристофа от нищих духом. Кристофа захлестывала жизнь. Все его силы испытывали слишком грозный напор и росли слишком быстро, все разом, все вдруг. Одна только воля отставала в росте, и она растерялась перед обступившими ее чудовищами. Все трещало под внутренним напором. Посторонние не замечали этого непрерывного колебания почвы, этих внутренних переворотов. Да и сам Кристоф видел лишь свое бессилие хотеть, творить и быть. Желания, инстинкты, мысли, перегоняя друг друга, вырывались в беспорядке, словно серные пары из трещины вулкана. И сколько раз он думал:

«Ну, что же сейчас появится на поверхности, что будет сейчас со мной? Неужели так будет всегда и настанет ли этому конец? Неужели я так ничем и не стану, никогда не стану?»

На свет вырвались наследственные инстинкты, пороки тех, кто жил до него. Кристоф стал пить.

Теперь он возвращался домой улыбающийся и удрученный, и от него пахло вином.

Бедняжка Луиза молча глядела на сына, вздыхала, боясь произнести слово, и молилась за него.

Но однажды вечером, когда Кристоф вышел из какого-то кабачка, находившегося у городской заставы, он заметил на шоссе в нескольких шагах впереди смешную фигурку — это брел дядя Готфрид с вечным своим кором за плечами. Уже несколько месяцев дядя не появлялся в их краях, да и вообще год от года отлучки его становились все продолжительнее. Кристоф радостно окликнул его. Согнувшийся под ношей Готфрид с трудом оглянулся, посмотрел на Кристофа, нелепо размахивавшего руками, и присел на придорожную тумбу, поджидая племянника. Кристоф, с восторженно веселой физио-

номней, подпрыгивая на непослушных ногах, пожал дядину руку, всем своим видом подчеркивая неумеренную радость свидания. Готфрид пристально посмотрел на племянника и произнес:

— Здравствуй, Мельхиор.

Кристоф решил, что дядя оговорился, и громко захохотал.

«Э, сдает старик, — подумалось ему, — память теряет».

И действительно, Готфрид очень постарел, весь как-то сморщился, усох, скрючился; дышал он затрудненно и прерывисто. Кристоф продолжал свои разглагольствования. Но Готфрид молча взвалил на спину короб и тихонько побрел вперед. Так они и шли рядом — Кристоф, делая широкие жесты и болтая всякий вздор, а Готфрид, потихоньку покашливая и не произнося ни слова. Но когда Кристоф о чем-то спросил дядю, тот, отвечая, снова назвал племянника Мельхиором. На этот раз Кристоф не выдержал:

— Дядя, да почему ты меня все время зовешь Мельхиором? Ведь ты же отлично знаешь, что меня зовут Кристофом. Неужели ты забыл?

Готфрид, не останавливаясь, вскинул на юношу глаза, отрицательно покачал головой и холодно отчеканил:

— Нет, ты Мельхиор, я тебя сразу узнал.

Кристофа словно хлыстом ударили, он застыл на месте. Готфрид потихоньку семенил по шоссе, и Кристоф молча поплелся за ним. Он сразу отрезвел. Проходя мимо дверей какого-то кабачка, он подошел к замызганному окну, в котором отражался неяркий свет газовых рожков и пустынная улица, и внимательно посмотрел на себя: он тоже узнал Мельхиора. Домой он пришел потрясенный.

Всю ночь — ночь тоски и страха — он пытал себя, рылся в своей душе. Теперь он понял. Да, он узнавал теперь инстинкты и пороки, пробудившиеся в нем, и они ужасали его. Он вспомнил, как без сна сидел у ложа умершего Мельхиора, вспомнил свои обеты; он придиристо проверял пройденный путь: каждый день был изменой его тогдашним клятвам. Чем занимался он целый

год? Что сделал для своего бога, для своего искусства, для своей души? Что сделал для вечности? Он не обнаружил ни одного дня, который не был бы безвозвратно потерян, испорчен, запятнан. Ни одной ноты, ни одной мысли, ни часа усидчивого труда. Хаос желаний, взаимно уничтожающих друг друга. Ветер, пыль, небытие... На что ушла его воля? Он не сделал ничего из того, что хотел сделать. Он делал то, чего не хотел делать. Он стал тем, кем не хотел быть. Таков итог его жизни.

Кристоф так и не лег в постель. В шесть часов утра — на улице было еще темно — он услышал, как дядя Готфрид готовится в дорогу, ибо Готфрид не захотел больше оставаться у них. Проходя через их городок, он по привычке заглянул к Крафтам обнять сестру и племянника, но тут же объявил, что завтра чуть свет пойдет дальше.

Кристоф спустился вниз. Готфрид увидел его бледное лицо, запавшие после мучительной ночи глаза. Он ласково улыбнулся племяннику и попросил проводить его. Они вышли вместе еще до зари. Им не хотелось, да и незачем было разговаривать — они понимали друг друга без слов. Когда они поравнялись с кладбищем, Готфрид предложил:

— Хочешь, зайдем?

Каждый раз, попав в родной городок, Готфрид навещал могилы Жан-Мишеля и Мельхиора. Кристоф не был на кладбище целый год. Дядя преклонил колени у могилы Мельхиора и сказал:

— Давай помолимся, чтоб они спали спокойным сном и не мучили нас.

Слова Готфрида обычно являли странную смесь самых наивных предрассудков и здравого смысла; иной раз Кристоф дивился дядиным словам, но сейчас он понял его так, как нужно. Они замолчали и так же молча пошли прочь.

Когда за ними скрипнули железные ворота и они зашагали вдоль кладбищенской стены по узкой тропинке, рядом с которой расстилались зябко спящие поля, а на плечи им падали с ветвей кипарисов холодные капли таившей изморози, Кристоф вдруг заплакал.

— Дядя, — воскликнул он, — если бы ты знал, как мне тяжело!

Он не посмел признаться дяде в печальном опыте своей любви, почему-то боясь смутить Готфрида, но он заговорил о своем позоре, о своей бездарности, о малодушии, о нарушенных обетах.

— Дядя, скажи, что делать? Я ведь хотел, я ведь боролся, а прошел целый год, я не сдвинулся ни на шаг. Куда там! Даже отступил. Я ни на что не гожусь, ни на что не способен. Я погубил свою жизнь. Я клятвопреступник.

Они вззошли на холм, откуда был виден весь городок. Готфрид мягко произнес:

— И это не в последний раз, сынок. Человек не всегда делает то, что хочет. Одно дело жить, а другое хотеть. Не надо огорчаться. Главное, видишь ли, это не уставать желать и жить. А все остальное от нас не зависит.

Кристоф повторил с отчаянием в голосе:

— Я отрекся от всего.

— Слышишь? — спросил Готфрид.

(В деревне перекликались петухи.)

— Когда-то давно петухи пели тому, кто отрекся. Они поют каждому из нас каждое утро.

— Придет день, — горько сказал Кристоф, — и они не будут петь для меня... День без завтрашнего дня. Ибо с чем я приду к завтрашнему дню?

— Завтра всегда есть, — возразил Готфрид.

— Но что же делать, раз хотеть бессмысленно?

— Бди и молись.

— Я не верю больше.

Готфрид улыбнулся.

— Если бы ты не верил, ты бы не жил. Все верят. Молись.

— А кому молиться, о чем?

Готфрид показал на яркокрасное холодное солнце, поднимавшееся над горизонтом.

— Почитай каждый встающий день. Не думай о том, что будет через год, через десять лет. Думай о сегодняшнем дне. Брось все свои теории. Видишь ли, все теории — даже самые добродетельные — все равно

скверные и глупые, потому что причиняют зло. Не на-силуй живую жизнь. Живи сегодня. Почитай каждый встающий день. Люби его, уважай, не губи его зря, а главное не мешай ему расцвести. Люби его, если даже он сер и печален, как нынче. Не тревожься. Взгляни-ка. Сейчас зима. Все спит. Но щедрая земля проснется. Будь таким же, как эта земля, щедрым и терпеливым. Верь. Жди. Если ты сам добр, все пойдет хорошо. Если же ты слаб, если тебе не повезло, ничего не поде-лаешь, все равно будь счастлив. Значит, большего сде-лать ты не можешь. Так зачем желать большего? Зачем убиваться, что не можешь большего? Надо делать то, что можешь... Als ich kann¹.

— Это слишком уж мало, — поморщился Кристоф. Готфрид ласково рассмеялся.

— Это больше, чем под силу человеку. Ты, я вижу, гордец. Хочешь быть героем, поэтому-то и делаешь глупости... Герой!.. Я, конечно, не знаю, что такое герой. Но, видишь ли, я считаю так: герой — это тот, кто де-лает, что может. А другие не делают.

— Ах, — вздохнул Кристоф, — к чему же тогда жить? Не стоит жить. Ведь говорят же люди: хотеть — это мочь.

Готфрид снова тихонько засмеялся.

— Разве? Значит, сынок, это луны, да еще какие. И хотят-то они не очень многого.

Они вззошли на вершину холма и горячо обнялись. Скоро скрылась из виду фигура разносчика, устало ша-гавшего под тяжестью короба. А Кристоф стоял непо-движно, глядя вслед Готфриду, и повторял про себя:

«Als ich kann». (Так, как я могу.)

И, улыбнувшись, подумал:

«Да, ничего не поделаешь. И это уже немало».

Он пошел домой. Слежавшийся снег громко хрустел под ногами. Пронзительный зимний ветер трепал обна-женные ветви корявых дубков, покрывавших вершину холма. От этого ветра разгорались щеки, он жег кожу, взбадривал кровь. Там, внизу, под ногами Кристофа, красные черепичные крыши весело блестели в ярком хо-

¹ Так, как я могу (нем.).

лодном солнце. Воздух был свежий и крепкий. Скованная морозом земля, казалось, ликовала суровым ликованием. Сердце Кристофа вторило ей. Он думал:

«Я тоже проснусь».

На глазах его еще стояли слезы. Он вытер их обшлагом рукава и, смеясь, посмотрел на солнце, которое пряталось в завесу тумана. Тяжелые тучи, набухшие снегом, шли над городом, подгоняемые порывами бури. Кристоф показал им нос. Ледяной ветер свистел в ушах...

— Дуй, дуй!.. Делай со мной все, что хочешь! Уноси меня!.. Я знаю, куда идти.

СОДЕРЖАНИЕ

КНИГА ПЕРВАЯ. ЗАРЯ. Перевод *О. Холмской*

Часть первая	11
Часть вторая	38
Часть третья	85

КНИГА ВТОРАЯ. УТРО. Перевод *Н. Жарковой*

Часть первая. Смерть Жан-Мишеля	129
Часть вторая. Отто	170
Часть третья. Минна	199

КНИГА ТРЕТЬЯ. ОТРОЧЕСТВО. Перевод *Н. Жарковой*

Часть первая. В доме у Эйлера	255
Часть вторая. Сабина	305
Часть третья. Ада	355

Редактор *Т. Кудрявцева*

Оформление художника *Н. Ильина*

Художеств. редактор *А. Ермаков*

Технич. редактор *Д. Ермоленко*

Корректор *А. Кашин*

Сдано в набор 3/III 1955 г. Подписано
к печати 21/VI 1955 г. А03435. Бумага
84×108¹/₃₂—26 печ. л.—21,32 усл.-печ. л.
20,17 уч.-изд. л. Тираж 240 000.
Заказ № 1935. Цена 9 р.

Гослитиздат
Москва, Ново-Басманная, 19.

Министерство культуры СССР.
Главное управление полиграфической
промышленности. 2-я типография
«Печатный Двор» им. А. М. Горького.
Ленинград, Гатчинская, 26.

EDITH L. HILL
1873